

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ А.С.С



W. W. W.

Ф. Ф. Худяков

**ПРОЖИТОЕ
И ПЕРЕЖИТОЕ**

А+С

Издательский дом А.С.С

Киев — 2005

ББК 63.3; 83.3

Худяков Ф. Ф.

Прожитое и пережитое / Подготовка к публикации, послесловие Ю. Ф. Худякова; Редкол.: Н. М. Дёмин, Б. Л. Ерофалов, М. С. Петровский и др. — Киев: Издательский дом А.С.С., 2005. — 472 с.: ил.

ISBN 966-8613-07-4

ББК 63.3; 83.3

Издание книги воспоминаний Фёдора Фёдоровича Худякова (1905–1984) приурочено к 100-летию со дня его рождения. Жизнь Ф. Ф. Худякова прошла в гуще бурных, порой трагических событий первой половины XX века. История жизни обычного человека, полная драматизма, типичная для большинства людей его поколения, описана с несомненным мастерством. Воспоминания дополнены репродукциями художественных произведений автора, фотографиями и документами из семейного архива.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

*Подготовка к публикации, послесловие
Юрия Худякова*

*Редакционная коллегия
Николай Дёмин, Борис Ерофалов, Мирон Петровский
Андрей Пучков, Юрий Худяков*

***Книга издана при щедрой финансовой поддержке
академика архитектуры Николая Дёмина***

ISBN 966-8613-07-4

© Ю. Ф. Худяков, 2005

© Издательский дом А.С.С., 2005

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Книга, которую вы держите в руках, относится к разряду редкостных не столько по жанру, сколько по числу.

Конечно, мемуарная литература появлялась и ныне время от времени появляется на свет. В основном, это тексты, принадлежащие перу людей сколько-нибудь значимых: воспоминаниями делятся военачальники, художники, финансисты, писатели, лицедеи, даже архитекторы. Книг, написанных простым советским пенсионером, много лет игравшим в шахматы в Мариинском парке, немного. Хотя бы по этой причине рукопись Ф. Ф. Худякова — непрямого человека, всю жизнь трудившегося в системе киевского коммунального хозяйства, — следует признать внушительным культурным явлением. Это лишний раз подтверждает соображение, что "простой" человек не менее сложен, нежели человек «сложный», который живет творчеством, искусством, самоощущаясь «лицом свободной профессии». И поскольку жизнь любого человека, будучи осмыслена им ретроспективно то ли в изустном рассказе, то ли с помощью пера, представляет интерес для истории, — постольку жизнь простеца, литературно зафиксированная в мемуарах, свидетельствует не столько о частном, выдающемся, сколько об общем, обыденном. То есть не столько о себе, сколько о времени. Вероятно, этот род воспоминаний — наиболее выразительный портрет эпохи хотя бы потому, что такие воспоминания мог оставить практически кто угодно, если бы дал себе труд их записать.

Однако письмо письму рознь. Из текста Ф. Ф. Худякова вырастает человек, многовекторность деятельности которого позволяла ему проявлять себя в разных сферах деятельности: и батраком на бывших барских плантациях под Черкассами, штабным писарем и уборщиком базарного клозета, стеклографистом и председателем профкома, секретарем-машинисткой и ответственным работником жилфонда,

матущимся от бездействия пенсионером и писателем-беллетристом. Если неприметность такого рода работ обеспечивала средства к бытовому существованию миллионов советских людей, переживших войну, зачастую превращая этих людей в безликую массу, то мемуары, литературный труд, созданный Ф. Ф. Худяковым для себя, для сына, для «памяти», убедительно выделяет фигуру автора среди прочих. Но выделяет таким образом, что свидетельствует о правде жизни ярче профессионального историка. Автор наверняка удивился, если бы ему сказали, что его работа — высокой пробы художественная литература.

Записывая воспоминания, Ф. Ф. Худяков ни сном, ни духом не ведал, что он писатель. Может, это самое поразительное в его воспоминаниях. Под конец жизни, имея досуг, Фёдор Фёдорович проявил именно ту грань дарования, неосознанный поиск которого он, пожалуй, осуществлял всю жизнь: запоминал детали, факты, фамилии, события, поступки, оценивая и характеризуя их так, как кроме него и за него не сделал бы и не сделает никто. Громадная памятьливость на происходящее, которая не может не удивить читателя, пропасть просто так, не закрепившись в письменном слове, — не могла. Наблюдая окружающий мир в течение долгой жизни, автор книги невольно переживал явления мира, будто записывая их, ненамеренно задавая рамку повествования, ракурс восприятия, действуя в духе определенной модели, которая держится моральной крепостью мировоззрения и представлением о порядочности.

В книге есть эпизод, в котором повествуется, как автор бежит в атаку на фашистов, фиксируя внимание на выражении лиц окружавших его солдат, замечая, где рвутся снаряды, потакая не только вполне понятному чувству самосохранения, но закрепляя в памяти трагическую эстетику происходящего (бомбежка под Березанью). Тогда, под рвущимися снарядами, неимоверное напряжение внимания спасло ему жизнь, — много позднее, за письменным столом, это же внимание позволило родиться одним из самых пронзительных по накалу страницам его воспоминаний. Лев Толстой, описывая состояние князя Андрея, который лежит на поле брани под Аустерлицем и смотрит в небо, достиг художественного эффекта благодаря вышколенной писательской фантазии и трудному опыту Севастополя; нашему автору такую «фантазию» заменил только собственный драматический опыт. Страницами, которые подобны этим, полнится книга Ф. Ф. Худякова: она соткана из поражающе выразительных эпизодов.

Читатель не сможет не заметить, что описания мирного, межвоенного времени (20–30-е годы), описания невыносимой тяжести плена, оккупации Киева прописаны с одинаковой тщательностью: автор совершенно не стремится заинтересовать, сю-

жетно увлечь читателя, — он просто повествует, кадр за кадром передвигая свой «меморативный объектив». В книге отсутствует «эффект Кулешова», эффект монтажа сюжетов. Это не художественный «фильм», но — документальный. Скорее всего, так получилось оттого, что рукопись имела конкретного адресата: сын Юрий. Если в книге и есть сюжетная интрига, она заключена именно в этом — поимолитуратурном — обстоятельстве.

Книга Ф. Ф. Худякова — сочинение, которое имеет глубоко залегающий корень отечественной литературной традиции. Автор относится к тем много умеющим, почти этнографическим представителям народа, из которого вышли и сказочный Иван Дурак, и — Иван Денисович. Только здесь устами памятливого и наблюдательного автора описан не «один день», но острым видением нравственно чистого человека дано жизнеописание целой эпохи в ее людях, познавших трудности 20–30-х годов, кошмар сталинских лагерей, тяжесть немецкого плена и оккупации, — и сумевших выжить, сохранив лицо.

* * *

При подготовке к печати рукопись подверглась известной редакторской правке: редколлегия видела задачу в том, чтобы устранить шероховатости слога и недосмотры, которые, безусловно, были бы удалены, если бы автор сам осуществил «вторую редакцию». Хотелось в максимальной степени сохранить индивидуальный и яркий стиль Ф. Ф. Худякова, ни в одном случае не исказив смысл и интонационную связь смыслов в предложениях. Устаревшая орфография изменена, стандартная пунктуация приведена в соответствие с современными правилами, однако авторские знаки препинания — там, где они несут функцию смысловой выразительности и не противоречат правилам, — оставлены без изменений. Меняя в некоторых немногих случаях порядок слов в предложении, повторно вставляя поясняющие знаки препинания, слова или союзы, уже употребленные автором в данном предложении в той же функции, заменяя случайно повторяющиеся слова на полные синонимы, — мы следовали принципу: выразительность текста заключается в его смысле, а не в словах, и следует устранять случайные, не предусмотренные Ф. Ф. Худяковым сложности чтения. Издательские конъектуры заключены в квадратные скобки.

так поучалось, что
говорил и он, по существу
и, следовательно, о своей родни
знает. Да, признаюсь, я тоже
наю. Знаю отца, мать, а что
и бабушек, то знаю только
и, а вообще не никогда не видел, не
и до моего рождения или когда
иках и эти мы в разных городах
и километров друг от друга.
мой отец - русский. Мать - польк
иной из дворянских семейств. Кон
большой гордою гордился до сей
мои родители потомственные рай
крестьяне. Но родители и себе не
знаю только, что дети мои не
и, ни фабриканта ни.
даже совсем ничего не
и, куп
и, куп
и, куп

ДЕТСТВО

Меня мой сын Юра уже несколько раз просил написать воспоминания о своей жизни, о родителях, даже о дедах.

Как-то получилось, что я ничего с ним не говорил и он, по-существу, ничего обо мне и, следовательно, о своей родословной не знает. Да, признаться, я тоже ничего не знаю. Знаю отца, мать, а что касается дедов и бабушек, знаю только, кто они были, а вообще их никогда не видел, так как они умерли до моего рождения или когда я был в пеленках и жили мы в разных городах за многие сотни километров друг от друга.

Мой отец — Фёдор Фёдорович Худяков — русский. Мать — Ядвига Станиславовна — полька (девичья фамилия Яцевич). Оба выходцы из дворянских семейств. Конечно, я бы с большей гордостью говорил сейчас, что мои родители потомственные рабочие или крестьяне. Но родителей я себе не избирал. Знаю только, что деды мои не были ни помещиками, ни фабрикантами. Никакой собственности, даже своего жилого дома, не имели. Не были они и торговцами, купцами. Дед по линии отца был учителем, а дед по линии матери, хоть и поляк — был офицером в старой армии. У деда по линии отца было всего трое детей, а у деда по линии матери — шестнадцать, хотя помню, по словам матери, что в живых всегда было только восемь. Как девятый рождается, — кто-то один умрет. Я своих теток и дядек не знал и не видел, кроме двух братьев матери. Оба были на момент революции офицерами старой армии, оба с первых дней революции — в составе Красной Гвардии, а потом Красной Армии, воевали против белых, против банд.

Один из них — дядя Женя — в период гражданской войны по-колесил по различным фронтам, воевал против Мамонтова, Краснова, Деникина, дослужился до командира дивизии. Но в 1919 году от него ушла жена с двумя детьми, которую он очень любил. Он, видимо, сильно горевал, запил, ударился в распутство. Его снижали в должности и, наконец, в 1924 году уволили из рядов Красной армии в аттестационном порядке. Жил он в то время в г. Черкассы и служил в 73-м стрелковом полку. О нем я еще буду писать.

Другой брат матери — дядя Юзя, в высшей степени порядочный человек, сразу же перешедший на сторону революции, — воевал против Корнилова, Юденича, прослужил в Красной армии до 1928 года (в Ленинграде). После демобилизации перешел на гражданскую работу. Жил все время в Ленинграде. В 1938 году в период «культы личности» его сослали куда-то в Саратовскую область, где он вскоре умер.

Брата и сестру отца я не знал совершенно, и даже не знаю, где они жили, чем занимались. О них я дома разговоров не слышал так же, как и о других братьях и сестрах матери. Смутно помню только, что у одного брата матери была гангрена на руке, и ему до плеча ампутировали руку; гангрена началась на другой руке. Ему предложили ампутировать и вторую руку, он не пожелал и отравился. Другой (это уже четвертый брат) был с детства глухонемой, остался на занятой немцами, при первой империалистической войне, территории и пропал без вести, а одна сестра жила где-то во Владивостоке. Об остальных ничего не знаю.

Но вернусь к отцу и матери, к своему детству. Отец окончил в Пушкино (тогда — Царское село) гимназию, поступил в Военно-медицинскую академию, закончил ее и был выпущен с дипломом врача. По окончании академии был назначен для прохождения службы в город Вильно (Вильнюс) в полк, в котором служил отец матери. Там отец и познакомился с матерью, а через пару лет они поженились. В 1904 году у них родилась дочь, моя сестра Ляля. В 1905 году родился я. Отец к тому времени был на русско-японской войне. Позже, в 1907 году, родилась моя сестра Вера, и, наконец, в 1914 году третья сестра — Таня.

Отец — скромный, правдивый, честный, трудолюбивый человек. Весь был поглощен своей работой как военный врач. Ежедневный обход лазарета, занятия с фельдшерами и санитарями, частые командировки то на призывные пункты для участия в комиссиях по приему новобранцев, то на лагерные сборы занимали у него все время. У отца было не одно, а несколько «хобби», как принято сейчас говорить. Он прекрасно рисовал акварелью, пастелью, карандашом, писал маслом. Вся наша квартира была увешана его картинами. Отец играл на скрипке, и часто по вечерам я, лежа в постели, слышал, как из другой комнаты лились мелодичные звуки этого бесподобного инструмента. А скрипка у отца была замечательная, помню, как он говорил — копия «страдивариуса». Потом, много лет спустя, когда уже появились радио и телевизор, и мне приходилось слышать соло на скрипке, у меня всегда вставал перед глазами образ отца.

Несмотря на занятость отец, когда бывал дома, всегда находил время заниматься с нами, детьми. Он играл в прятки, показывал фокусы, по ночам мастерил для нас кукольные театры с двигающимися персонажами из сказок, строил самоходные корабли с паровыми двигателями и стреляющими пушками, ходил с нами в лес по грибы, на речку. Он очень любил природу, животных и особенно птиц. У нас дома жили прирученные им две синицы, два скворца, причем жили не в клетках, а на воле — в саду, в лесу, — летали где хотели, а утром к завтраку, к обеду и вечером обязательно прилетали, прыгали по столу, ели с рук. Да что птицы — у нас жила в доме прирученная ящерица, которая на свист отца или даже на скрип его шагов выползала откуда-нибудь из-под буфета, взбиралась ему на плечо и очень комично открывала рот, прося поесть.

К моменту возвращения отца с русско-японской войны мы жили в городе Лида Виленской губернии. Но в конце 1908 года полк, в котором служил отец, передислоцировался в Чернигов, и вся наша семья переехала вместе с отцом. Ни Вильно, где я родился, ни Лиды я, конечно, не помню, но о Чернигове у меня сохранились некоторые воспоминания. Мы жили тогда на окраине, в расположении военных казарм. Я запомнил и березовую рощу, где мы с отцом ходили цедить березовый сок, и речушку Стрижень, приток Десны,

и большой луг, где проходили военные муштровки солдат. Запомнил я даже дом, в котором мы жили и, когда в 1946 году мне пришлось быть в Чернигове, я специально прошел в расположение военного городка и, по-моему, узнал и улочку и дом, где мы жили, и березовую рощу за домом. А ведь мы уехали из Чернигова, когда мне едва исполнилось пять лет.

Итак, в 1910 году, опять в связи с передислокацией полка, отец и мы все переехали в город Черкассы, где прошло и мое уже более сознательное и осмысленное детство, и моя юность, и где я прожил до 1932 года.

Теперь несколько слов о матери. То ли это национальная черта характера, то ли ее индивидуальная, как говорят «на грош амуниции и на сто рублей амбиции», но мать всегда стремилась жить шире своих возможностей. Занимали мы пятикомнатную квартиру, а такая квартира требовала и соответствующей обстановки. Мать, не стесняясь, приобретала все только первоклассное. В доме был даже рояль, правда, не купленный, а взятый напрокат. Мать держала двух работниц — кухарку и нянюку для детей, сама хорошо одевалась, любила принимать гостей и хорошо их угощать.

В противоположность отцу мать никогда с нами не играла. Не помню, чтобы мать и ласкала нас. Все ее заботы заключались в том, чтобы мы были сыты, одеты, и то эти заботы больше лежали на нянюке. Правда, мать любила нам вдалбливать «великосветские» манеры: есть без чавканья, не «сёрбать» носом, правильно держать вилку, нож или ложку, здороваясь с гостями шаркать ножкой, а девочек — делать реверансы, здороваясь со старшими первым не протягивать руки и т. д., в общем, всем внешним признакам «культуры». Учила мать еще нас играть на рояле, но только у старшей сестры Ляли что-то получалось, я же только выучил ноты, с трудом мог по нотам что-нибудь легенькое сыграть — Присовского, Рубинштейна, но техники в пальцах не развил, так как терпеть не мог часами сидеть за гаммами или упражнениями «ханона», да и всякие дизезы, бемоли, отказы меня всегда сбивали. Слуха у меня не было совершенно и, если что-то и играл, то чисто механически, а потом, когда я уже учился в гимназии, совершенно забросил рояль.

Никогда не видел мать за книгой, хотя у отца была неплохая библиотека и выписывались различные журналы — «Нива», «Пробуждение» с приложениями полных собраний сочинений различных писателей того времени, как русских, так и иностранных.

Ради справедливости должен сказать, что мать увлекалась рукоделием, в частности, вязанием всяких кружев, шерстяных накидок, шарфов, учила и нас вязать. Кроме того, она была прекрасной кулинаркой. Таких вкусных сдобных булок, пирогов, пирожков, печенья я после матери никогда и нигде не ел. Она хорошо умела готовить всякие мясные, овощные блюда, заготавливать на зиму всякие маринады, соленья, варенья. К пасхальному столу пекла на удивление замечательные куличи, бабы, банкухены, мазурики. Не знаю только, где всему этому она научилась. Конечно, все это она делала не сама, а с кухаркой вместе, так как кухарки, как правило, умели сварить только борщ и, в лучшем случае, сделать котлеты. Привлекала мать в своей кулинарной деятельности и нас, детей, в частности меня, для такой работы как, например, взбить белки, растереть мак, почистить и порубить миндаль или орехи или что-нибудь в этом роде.

Ни мать, ни отец не были религиозными людьми. На все пять комнат у нас была только одна икона в столовой. Я никогда не видел, чтобы отец или мать молились или крестились. Мать как католичка вообще не признавала икон. Не приучали они и нас, детей, молиться или креститься. Даже потом, когда я учился в гимназии, я почти каждый раз в годовом табеле получал по пять с минусом по поведению с припиской «за непосещение богослужений», хотя по предмету «Закон Божий» получал только одни пятерки, впрочем, как и по остальным основным предметам. Я переходил из класса в класс с наградами один раз 1-й степени и два раза 2-й степени.

Отец частной практикой (как и другие военные врачи) не занимался. Поэтому посторонних доходов, кроме жалования, не имел, а жалования этого едва хватало кое-как сводить концы с концами. Если случалось, что в экстренных случаях отца вызовут к больному, он гонорара никогда не брал, хотя я помню случаи, что просиживал у больного всю ночь. Помню, какой по этому поводу был у отца разговор с матерью: «Как же я мог взять деньги, — говорил

отец, — ведь у людей несчастье, семья бедная, ты бы видела обстановку, одни лохмотья, куча малых детей. Я им еще оставил рубль на лекарство». Или: «Что я торгош какой-то, я врач, и мой долг оказать людям помощь. Я за свою работу получаю жалование на службе, а тут ребенок задыхается от дифтерита. А я что? Буду брать деньги за то, что спас жизнь малышу?» Все это, конечно, мать не устраивало при ее стремлении жить «с шиком», да и жалования отца при таких условиях не всегда хватало, и мы сидели всегда в долгах, не говоря о том, что никаких сбережений, как говорят «на черный день», не было. Я, конечно, во все это тогда не вникал и как следует не понимал, ведь мне было 8–10 лет.

Помню, как-то раз я заметил у отца на ногтях беленькие пятнышки. Спросил отца: «Что это за пятнышки?» Отец ответил: «Это подарки». И пояснил: «Вот это пятнышко — завтра придет водовоз, ему надо дать 5 рублей, а это пятнышко — придет мамина портниха, ей надо дать 20 рублей, а это — купцу Малышеву, мы же берем все на книжку, в долг. Наверно, рублей на 30 набрали за месяц, а это подрядчику за дрова очередной взнос, а это мануфактуристу Житомирскому, у которого мама брала в долг разный материал, а это за прокат рояля, а это жалование кухарке и няньке» и еще, и еще. Отец перечислял, кому надо в ближайшие дни и сколько уплатить и закончил: «А жалования я получу только столько, что не знаю, смогу ли я рассчитаться со всеми долгами и останется ли мне даже на папиросы, а ведь месяц надо еще всем жить». Мне было 7 или 8 лет. Я не понимал всей трагедии нашей семьи. Не мог я тогда глубоко осмыслить и всей горечи в голосе отца, хотя чувствовал, что все это говорил он, сильно переживая, нарочито облекая свои слова юмором.

Вот в таких условиях протекало мое детство. Зимы мы жили в городе, а на лето выезжали на дачу в Сосновку. Там были свои детские забавы и радости. У мальчиков — свои, у девочек — свои. Купались в заливе Днепра, рыли в оврагах пещеры, играли в орешнике в сыщиков и разбойников, ходили в лес за земляникой или грибами, собирали коллекции бабочек и жуков, катались на качелях. Отец по воскресеньям всегда ходил с нами в лес. Эти прогулки доставляли мне большую радость. Он всегда находил что-нибудь очень

интересное, рассказывал о деревьях, цветах, зверьках, птицах, насекомых: как живут, чем питаются, рассказывал очень увлекательно, и свою любовь к природе незаметно прививал нам, детям.

В 1914 году я с опозданием на год поступил в гимназию в подготовительный класс. Мне было тогда 9 лет. Я пропустил год, потому что в 1913 году с весны до поздней осени болел — скарлатиной, потом дифтеритом, затем крупом, потом всякие осложнения — и на ноги встал лишь в ноябре—декабре. Итак, с осени 1914 года я стал гимназистом. Мать заказала мне форму — куртку, длинные брюки (до этого я носил короткие штанишки) и на зиму форменную шинель светло-серого цвета, с синими петлицами и блестящими гладкими пуговицами. Но больше всего я гордился форменной темно-синей фуражкой с белыми кантами, блестящим лакированным козырьком и громадной кокардой, на которой в обрамлении веточек с листьями были буквы «ЧГ», что означало «Черкасская гимназия».

Летом 1914 года произошло событие, неизмеримо выходящее за границы моего детского кругозора. Началась Первая мировая империалистическая война. Отец уехал на фронт в качестве старшего врача 167 пехотного Острожского полка. Позже, примерно через год-полтора, он был назначен главным врачом 381 полевого подвижного госпиталя. Я очень тосковал по отцу, и когда летом 1916 года он приехал в короткий 10-дневный отпуск, счастьем моему не было границ. Отец привез мне с десятком хороших книг — «Робинзон Крузо», «Хижина дяди Тома», «Тысяча и одна ночь», а также про путешествия и научные книжки в изложении для детей. Эти книги я еще долгое время читал запоем. Я опять в течение нескольких дней слушал игру отца на скрипке, опять ходил в лес с отцом по грибы или позировал отцу, когда он рисовал мой портрет, или смотрел, как он рисовал портреты сестер.

С начала войны изменились у нас, детей, и игры. Вместо сыщиков и разбойников мы начали играть «в войну». Я не раз приходил домой с синяками, фонарями под глазами или шишками на лбу. Мы, мальчики 10–11-летнего возраста, не очень были разборчивы и рассудительны, применяя пусть даже безобидные деревянные сабли или ружья. Понятно, при игре «в войну» у нас были «русские» и

«немцы», а так как никто не хотел быть «немцем», приходилось бросать жребий. Ведь немцы — это наши враги. Они постепенно захватывали участок за участком нашу территорию. К 1917 году захватили всю Польшу и Литву, входившие тогда в состав России. Ненависть к немцам зарождалась и крепла в моем сознании. Это отразилось и на моей учебе. Я терпеть не мог уроков немецкого языка и едва вытягивал на тройку, хотя по другим языкам и вообще предметам у меня были пятерки, редко четверки.

Изменились у нас и домашние условия. Мать сдала в поднаем две комнаты, мы остались в трех. Рассчитала одну работницу (няньку), осталась одна работница «за все», перестала практиковать вечеринки, сдала взятый напрокат рояль. В общем, уменьшила свои аппетиты к «шику», более того, — взяла осенью 1916 года на воспитание одного мальчика — сироту-беженца с территории, занятой немцами, моего однолетка, некоего Бориса Мазура, определила его в реальное училище (в гимназию не удалось). Мать отвела мне и Борису комнатку-кабинетик и, хотя программы реального училища и гимназии отличались друг от друга, мы вместе делали уроки, вместе играли и очень подружились. У Бори нашелся старший брат, вернее, брат нашел его, и осенью 1917 года откуда-то приехал и забрал его с собой.

Февральскую революцию 1917 года я встретил, как и подобает для того времени одиннадцатилетнему мальчику. Меня увлекала не суть, а форма, внешняя сторона. Демонстрации с красными флагами и бантами, музыка, Марсельеза. Царя уже нет — вот и хорошо, люди радуются, радуюсь и я. В остальном жизнь пошла, как и прежде, разве что всюду поснимали портреты царя, а в гимназии на утренней молитве перестали петь «Боже, царя храни». Война продолжалась, а что происходит в стране, я не знал, да, по правде сказать, не очень интересовался. Дома об этом ничего не слыхал, а когда мать говорила об этом с хозяином дачи, неким «дедушкой», я не вникал. Помню только разговоры — Временное правительство, Керенский, Центральная Рада, большевики, кадеты, эсеры, а что к чему, я не понимал и не вдумывался. Мне едва исполнилось 12 лет, и я знал твердо одно — немцы наши враги. Осенью — перед самым на-

чалом занятий в гимназии (я уже перешел в 3-й класс) — уехал мой товарищ Борис Мазур, на зиму мы возвратились с дачи в свою квартиру. В городе появились непривычные для глаз войска — женские ударные батальоны «Мертвая голова» в военной форме с черными повязками на рукавах, на которых белой краской по трафарету был выбит череп с перекрещенными двумя костями. Они вселяли страх, и я старался нос-к-носу с ними не сталкиваться и, заведев еще издали группу таких «воjak», поспешно перебежал на другую сторону улицы. Но прошло 2–3 месяца — не стало и их. Произошла Великая Октябрьская революция, но нашего захолустного уездного городка она не захватила. Украиной правила Центральная Рада во главе с Грушевским, а что делалось в промышленных и больших городах, мы не знали. От отца письма стали приходить все реже и реже, бывало, проходил месяц, и мы не имели никаких вестей. Перестала и мать получать из казначейства оставленные по аттестату отцом деньги. А жить надо было. Началась распродажа домашнего имущества. Матерью была продана мягкая мебель, полированная венская мебель, ковры, потом пошли в ход картины отца, всякие безделушки (коллекции раковин, серебряных монет — китайских, японских, привезенных отцом еще с русско-японской войны), а также золотые украшения матери — браслет, медальон на цепочке, кольца и наши золотые крестики. Конечно, все это продавалось перекупщикам за десятую долю их действительной стоимости. Мать рассчитала и последнюю работницу, и всю домашнюю работу взяла на себя. Так мы прожили зиму с 1917 на 1918 год. Зимой мы получили от отца, уже не по почте, а через какого-то человека письмо, что он находится где-то под Сарнами и является начальником 14-го эвакуопункта, и скоро приедет. Это «скоро» сбылось лишь в марте месяце. Зима 1917–1918 года была характерна тем, что вся русская армия, уставшая, измученная более чем трехлетней войной, бросила фронт и двинулась домой. А для эвакуации многих тысяч раненых не знаю уж кем был создан на стыке германского и австро-венгерского фронтов эвакуопункт. В марте месяце пришли в Черкассы и немцы, которые вскоре заняли всю Украину, а «царьком» над Украиной был в то время гетман Скоропадский. Бедному гимназическому

попу уже не хватало изобретательности, — какую молитву сочинять и петь перед началом занятий — ни «Боже, царя храни, даруй победу нашему христолюбивому воинству», ни «во здравие Временного правительства» — не годилось, и кончилось тем, что ограничивались только «Отче наш...», а мы, гимназисты, втихую над ним только посмеивались.

Немцы ознаменовали приход в Черкассы тем, что подорвали в районе железнодорожной станции громадные склады снарядов. Пожарище и град рвущихся снарядов бушевали несколько дней, а последствия сказывались еще спустя много лет. Некоторые заядлые рыболовы ходили раскапывать неразорвавшиеся снаряды, и из стаканов выколупывали капсули, из которых мастерили бомбы для глушения рыбы, а те в их руках взрывались, в клочья разрывая таких «любителей».

Немцы, оккупировав Украину, занялись вывозкой зерна, скота, лесоматериалов и даже дров. Все лето в сосновом лесу в Сосновке и вокруг нее валили сосны, дубы, распиливали на колоды и дрова и возили на железнодорожную станцию для погрузки и отправки в Германию.

Мы на лето 1918 года в последний раз выехали на дачу в Сосновку. С зимней квартирой распрощались. Все наше имущество было нами проедено за зиму. Вещей осталось столько, что вместились в две небольшие дачные комнатки. Возвращение отца особого улучшения в наши материальные условия не внесло. Отец вернулся больной. Во рту, в гортани росла раковая опухоль, язык был прикован к основанию, малоподвижен, под языком опухоль. Но все же надо было чем-то жить. Изредка кто-то приглашал его или приходил к нему в Сосновке, но это были крохи. Несмотря на болезнь, отец все-таки поступил на службу в земскую управу врачом для разъездов по селам, и каждую неделю разъезжал дня по 3–4 по окрестным деревням. И хотя жалование было небольшое, да и деньги начали катастрофически падать в цене, но все же это было регулярное поступление в бюджет семьи. Что касается денег, то характерно — ходили николаевские, керенки достоинством в 20 и 40 рублей. Напечатанные на листах, их можно было вырезать сколько надо.

Ходили украинские карбованцы по 50 рублей — в том месте, где обычно печаталось «подделка преследуется законом», было напечатано «чем наши хуже ваших» и, несмотря на то, что это была явная фальшивка, эту купюру у нас взяли, даже не глядя, что и краска не та, и рисунок упрощенный, и подпись «чем наши хуже ваших» слишком вызывающая. Вот такая цена была деньгам.

Осенью 1918 года я пошел в гимназию в 4-й класс, ходил из Сосновки, так как у нас не было еще зимней квартиры, а мы по своим «капиталам» смогли нанять только одну комнату, правда, большую, метров 25 квадратных, с отдельным выходом через крытую и остекленную веранду, но, конечно, это было уже что-то, а не холодная неотапливаемая «дача». Хуже было, что отец не мог работать, не мог говорить и, в довершение всего, младшая сестренка Таня заболела брюшным тифом и лежала в одной комнате с нами.

В ноябре месяце 1918 года немцы стали поспешно уходить. В Германии произошла революция, скинула кайзера Вильгельма, а с немцами исчез и гетман Скоропадский. Власть перешла к Петлюре. Отец взял отпуск в земской управе и поехал в Киев в онкологический институт. Там его смотрел профессор [Н. М.] Волкович, знаменитый на то время онколог. Но вскоре отец вернулся, Волкович сказал, что надо показаться месяца через 2–3, а пока он ничего ни сказать, ни предпринять не может. Отец продолжал работать в земской управе, но уже по селам не ездил. Я ходил в гимназию в 4-й класс до декабря, но учение уже в голову не шло. Всегда голодный, плохо одетый — я ведь из сшитой форменной одежды, когда я был в приготовительном первом классе и даже во втором классе, вырос, дома больной отец, больна тифом любимая сестренка, — вся эта обстановка не давала возможности учиться. Я понимал, что безмятежное детство кончилось. Надо что-то предпринимать. В январе месяце 1919 года установилась советская власть. Отец, как и все земские врачи, перешел на работу в Черкасский уездный здравотдел, и вскоре отцу удалось добиться, что его послали вторично в Киев к этому же Волковичу. В феврале месяце Волкович сделал отцу операцию, после которой он вернулся в мае и уже не встал. А я — я, забросив ученье, забыв детские забавы, начал свою трудовую жизнь. Мне было 13 лет и 7 месяцев.

1919 год

Отец болен. У него рак гортани и полости рта. Ездил в ноябре 1918 года в онкологический институт к профессору Волковичу. Тот ничего не определил, и сказал приехать через 2–3 месяца. И вот в конце января 1919 года отец поехал вторично. Волкович определил — рак. Надо делать сложнейшую операцию. Операция назначена на середину февраля, и он уже остался в Киеве в институте.

Мы живем в одной комнате. Все имущество, мебель, одежда, белье проданы еще в 1918 году. Голодаем. Мерзнем. Младшая сестра Таня (ей едва исполнилось 4 года) заболела брюшным тифом. Старшей сестре Ляле 14 лет, мне 13 лет и сестре Вере 11 лет. Обстановка в комнате самая антисанитарная и, хотя в доме брюшной тиф, — никто больше не заболел. Мать носит на толкучку последние простыни, наволочки, платя. Мы, дети, ходим в лохмотьях. Я ищу заработок. Предложил соседям во дворе попилить им дрова. О цене не договаривался. Не был уверен, что справлюсь. Слишком большие были колоды. Но ничего. Вставал ночью и при лунном свете пилил сам один поперечной пилой. Плакал, мерз, но упорно пилил, потом колол. Зато по утрам иногда соседи давали мне тарелку горячей похлебки и ломтик хлеба. Когда кончились злосчастные колоды, мне заплатили 20 рублей «керенкой». Это была буханка хлеба на то время. А я потратил больше недели. Но я был рад и торжественно принес эти 20 рублей матери. Ведь это я заработал. После этого я ходил из двора во двор и предлагал, — не надо ли попилить дрова. Мне 13 лет, я маленького роста, шуплый. На меня смотрели с усмешкой, но все же в феврале месяце мне удалось еще в нескольких дворах кому-то попилить дрова, и я еще заработал несколько 20-рублевых керенок. Под конец я даже осмелел, и стал сам назначать цену. Я уже знал, что сосновые сухие дрова пилить легче, а грабовые очень трудно. Но наступил март, и никому уже дрова пилить было не надо.

Отцу сделали операцию, и он к маю собирался приехать. Операция сложная — полностью вырезали язык, выскребли догола обе челюсти. Нижнюю челюсть распилили пополам и раздвинули. Ко-

нечно, выдернули все зубы и вырезали всю мякоть на деснах. Затем челюсть сшили и прикрыли голые кости кожей. В мае отец приехал. Говорить не мог, есть не мог. Слабый, истощенный, еле передвигал ноги. О работе говорить было нечего. В 1918 году летом и осенью он после армии и фронта работал в земской управе врачом и разъезжал по селам, но когда болезнь начала одолевать, примерно с октября 1918 года, он обратился в здравотдел (уже с сентября была советская власть). Его зачислили врачом для обслуживания окружающих сел. Зачислили, но он так и не приступил к работе, так как через 2–3 недели после возвращения из Киева слег окончательно. Да и какой из него врач, если он ни одного слова не мог выговорить. Швы на шее стали расходиться, стало прорастать дикое мясо, кусками отгнивать и отваливаться. Отцу дали перевязочный материал, а дома я стал ежедневно делать ему перевязки, начиная с шеи и всю нижнюю часть лица до глаз, только для дыхания оставлял нос.

Но нам надо было жить и что-то кушать. В апреле месяце я узнал, что по дороге в Сосновку в лесу, на склонах Днепра (там сейчас разбит большой парк) был виноградник некоей гражданки Бажановой. С приходом советской власти там организовали питомник лекарственных растений, и требуются рабочие места для ухода за этими растениями. Я договорился, что меня возьмут на работу.

Я и другие рабочие, в основном, молодые хлопцы и девчата, копали грядки, сажали семена валерианы, касторки (*Ricinius Communis*) и еще какие-то, затем пололи. «Управляющая», то есть бывшая владелица виноградника, нас больше использовала на своем винограднике, — мы устанавливали колья, решетки, подвязывали ветки, снимали гусениц, окапывали кусты и, наконец, стали собирать для нее в лесу земляничные листья, из которых она делала чай. Кстати сказать, чай по внешнему виду ничем не отличался от настоящего чая. Только вкус был не чайный, а пах сеном. Так прошли апрель и май месяцы. Платила она очень мало — по 10 рублей за день, а 10 рублей на то время уже упали в цене. На них можно было купить только фунт хлеба (400 граммов).

Как-то, бродя по лесу и собирая земляничные листья, я буквально рукой коснулся целой буханки двухкилограммового черного

солдатского хлеба. Эта находка была так неожиданна и так невероятна, что до моего сознания не сразу дошло, что это хлеб. Ведь я уже в этом месте топтался минут десять и, безусловно, видел этот хлеб, но все внимание было направлено на молоденькие трехлепестковые земляничные листья. Да, я видел этот хлеб, но до сознания не доходило, пока я, срывая очередные листочки, не коснулся хлеба рукой. Я поднял его и задумался. Откуда мог взяться хлеб в самой чаще леса? Может быть он отравлен для уничтожения волков или других зверей? Но нет. Здесь как будто волки не водятся. Я положил хлеб опять на место и стал смотреть, как он выглядит в гуще пожелтевших сосновых иголок, валяющихся во множестве сосновых шишек, растущей травы и земляничных листьев. И мне почудилось, что такую картину я уже где-то видел. Где? Когда? Я не мог припомнить. Я стал всматриваться в стволы сосен и траву с той стороны, откуда пришел. Почти бессознательно я начал петлять, идя обратно по уже проделанной дороге. Шагов через сто я опять увидел в траве буханку хлеба. Значит, я ее уже видел раньше? Видел, но не осознал, что это хлеб, и прошел мимо, но где-то в корочке мозга все-таки запечатлелась картина: печеный хлеб в траве, в стороне от дороги. Я поднял и эту хлебину. А хлеб так вкусно пах. Я чувствовал голод. Мне неудержимо хотелось отломить корочку. Но я подумал о больном отце, о матери, о сестрах. Это же целое состояние. Две буханки — это примерно 10 фунтов свежего ржаного солдатского хлеба. Я подавил в себе желание поесть, бросил хлеб в мешок и стал собирать земляничные листья.

Придя к управляющей, я, как и другие девушки и ребята, занес мешок в одну из ее многочисленных комнат, высыпал листья для провяливания на пол, а хлебины оставил в мешке, который запрятал среди кустов винограда. До конца рабочего дня все время не упускал из виду место, где положил находку.

Вечером я торжественно принес эти хлебы домой, чем, конечно, обрадовал и удивил мать, отца и сестер.

Я потом долго ломал голову, как мог печеный хлеб оказаться в лесу, и пришел к выводу, что чудес не бывает, и никто сознательно не станет разбрасывать хлеб по лесу. Недалеко, километрах в 2–3-х,

в дачном поселке Сосновка стояла воинская часть. Вероятно, из города на двухколке красноармеец вез хлеб. Сидя на облучке, заснул. А лошадка, не чувствуя возницы, сошла с дороги и, пощипывая травку, углубилась в лес. На корягах, ямах, бугорках у двухколки открылся задний борт и от сотрясения две хлебины выпали. Возница, проснувшись, конечно, не подумал искать пропавшие хлеба, выехал на дорогу и поехал в расположение части. На этой версии я и остановился. Но еще долго, идя по лесу и собирая земляничные листья или, как топливо домой, сосновые шишки, посматривал внимательно по сторонам, — не валяется ли еще где-нибудь хлеб. Но, чудес не бывает...

Числа около 20-го мая в Черкассах произошло событие, которое потрясло меня. На город налетела банда атамана Григорьева. К ней примкнули негодяи, босяки и всякая черная мразь, живущая в городе. Эта банда устроила еврейский погром. В течении трех дней бандиты грабили еврейские магазины, квартиры, убивали ни в чем не повинных людей, не считаясь ни с возрастом, ни с полом. Мужчины, женщины, старики и старухи, дети стали жертвами этого погрома. Как потом говорили, было убито около двух тысяч человек. По городу — на улицах, в домах — везде лежали трупы. То и дело раздавались выстрелы. Нас никого мать не выпускала из дому, только на 4-й или 5-й день подошедшие из-за Днепра части Красной Армии выбили бандитов из города. По улицам летал пух от распоротых подушек и перья. Дома, где жили евреи, стояли с выбитыми стеклами, с выломленными дверями. В магазинах в центре города были выбиты все витрины, разворочены железные шторы. По городу разъезжали подводы и подбирали мертвых людей. Их, как дрова, складывали на подводы навалом и увозили за город на еврейское кладбище. Кругом ходили патрули. Меня бросало в дрожь, когда я слышал во дворе рассказы взрослых о всех ужасах, какие принесли григорьевцы.

Конечно, в эти дни я к Бажановой в ее «питомник лекарственных растений», а, вернее, в ее виноградник, не ходил, и только в последних числах мая пошел и несколько дней поработал, хотя у меня прежнего энтузиазма, что я, мол, работаю и зарабатываю, не было.

Я видел, что бывшая владелица усадьбы под видом государственного питомника заботилась больше о своем винограднике и, хотя не понимал и не знал слова «эксплуатация», но чувствовал эту несправедливость.

Мать, между тем, искала способа добыть средства к существованию. Старшую сестру Лялю, — к тому времени ей едва исполнилось 15 лет, — пристроила няней к каким-то зажиточным людям, а для младшей сестры Веры нашла занятие — покупала у крестьян сырые семечки, жарила их и, насыпав в корзину, посылала Веру на бульварчик, где всегда гуляло много людей, продавать на стаканчики. В корзинку насыпала 50 стаканчиков и еще 5 на «распробывание». Вера, продав семечки, приносила домой все вырученные деньги, а иногда даже больше, чем за 50 стаканчиков, объясняя это, что, может быть, набирала «без верха», и получилось больше стаканчиков. Видя, что это дело более или менее доходное, мать отговорила меня ходить на работу к Бажановой, и решила меня приобщить к торговле семечками. Но у меня дело не пошло. Получив порцию 50 стаканчиков плюс 5 на «распробывание», я, продав все семечки, выручал деньги только за 45–46 стаканов. Таким образом, я едва покрывал себестоимость семечек, а иногда приносил даже убыток. То ли у меня «для пробы» люди брали большими горстями, то ли я незаметно семечку за семечкой сам съедал больше, чем «имел право», но факт: торговля у меня не выходила.

Однажды, торгуя семечками, я услышал разговор одних девчат, что, мол, в деревне Николаевка, расположенной в нескольких километрах от г. Смелы, в «экономии» (так тогда назывался совхоз) на плантациях сахарной свеклы, обслуживающих сахарные заводы, принадлежавшие ранее графу Бобринскому, можно хорошо заработать на прополке буряков. И вот я решил поехать в Николаевку. Объявил об этом дома, подготовил сапку, и в один прекрасный день в начале июня первым рабочим поездом поехал в Смелу.

Расспросив дорогу к деревне Николаевка, зашагал туда, а из Николаевки — в экономию. Экономия была расположена в бывшем помещичьем доме. Зайдя в дом, я увидел абсолютно пустые комнаты, заваленные почти на метр высоты соломой. Сбоку, на так назы-

ваемом хозяйственном дворе, были конюшни, коровники, в котлах варилась пища, ходили какие-то люди. Я спросил, как устроиться на работу. Мне ответили, что «иди в барский дом, дождись, когда рабочие придут с поля, попросись в какую-нибудь бригаду и, если бригада возьмет, переночуешь, а завтра утром со всеми выйдешь работать в поле».

На вопрос, как здесь платят, получил ответ: «Харчи три раза в день, 25 рублей за один рабочий день и 10 кусочков сахара». Для меня это была очень щедрая плата.

Я, побродив по экономии часа два, зашел в первую попавшуюся комнату в барском доме, примостился в уголке на соломе, съел взятый с собою кусочек хлеба, свернулся калачиком и заснул. Было примерно 4 часа дня. Часов в 5 вечера комната наполнилась веселым смехом, шумом и голосами девчат. Я немного оторопел. В мой угол направилось несколько девушек, и одна из них закричала: «Дівчата, а у нас хлопець знайшовся». Через минуту вся комната заполнилась сельскими девушками. Шутки, смех, выкрики: «Давай хлопця нам», совсем меня сбили с толку, и я едва выговорил, что приехал из Черкасс, хочу работать в поле на прополке буряков. Меня стали тянуть в разные стороны: «Іди до нас», — выкрикивали девчата из других комнат, но группа девушек из комнаты, где я так удобно примостился, меня отстояла. «Він наш, бо знайшовся в нашій кімнаті, він буде в нашій бригаді».

Так я и остался с этими девчатами. Потом пошли все на хоздвор, получили по полчашки малясы, девушки поделились со мной хлебом, и я пополдничал, а вечером, часов в семь или полвосьмого, все пошли на хоздвор ужинать. Пшениный кондер с жареным салом (шкварки закрывали всю поверхность миски) — я впервые за несколько месяцев сытно поел. Мне девушки уступили место в уголке на соломе, и я блаженно заснул. А в комнате и на дворе еще долго раздавалось девичье украинское народное пение, но я уже спал мертвым сном.

Утром в 5 часов был подъем, умывались, получали хлеб на день (примерно по килограмму на человека), сахара 10 кусочков, — я сахар завязал в платочек и зарыл в солому, затем завтрак, — опять

пшенный кондер, заправленный салом, затем выстроились побригадно и пошли группами в поле.

В поле каждая из девушек заняла по 2 грядки буряков. На мою долю пришлось тоже 2 грядки. И началась работа. Я видел, что девчата, держа равнение, полют скорее, чем я. Вся шеренга девушек ушла от меня уже метров на 5 вперед. Я же со своими двумя рядками застрял. Вдруг меня кто-то сзади стеганул большим кнутом (кнут из сыромятного ремешка, с узелками). Оказывается, от бригады к бригаде ходил дядька-надсмотрщик, и если кто отставал, — подстегивал кнутом. Метод отнюдь не советский, а доставшийся в наследство от панских, помещичьих времен. Но протестовать против такого метода я, конечно, не мог. Тонкие бумажные штанишки почти не предохраняли от ударов, но, получив несколько таких ударов по мягкому месту, я стал стараться полоть быстрее, даже в ущерб качеству. Скорее догнать девушек, вот была главная мысль. Слезы текли по щекам, и я почти не видел ничего. Через несколько шагов я вдруг обнаружил, что мои два рядка прополоты до уровня, где шла вся шеренга девушек, и я опять мог стать вровень с ними. Я понял, что девчата справа и слева выручали меня, прихватив каждая кроме своих двух еще и у меня по одному рядку.

Так продолжалось несколько дней. Девушки каждый раз, видя, что я отстал, помогали мне, но и я не бездействовал, наловчился работать быстрее, и постепенно без особого труда продвигался с ними наравне, не отставая ни на шаг. Ударов кнутом я уже не получал, а впоследствии даже стал опережать девушек и выдвигаться вперед. Но здесь они запротестовали. Мы, говорят, тебе помогли, так и ты держись рядом с нами и не высывайся. Я понял, что они вообще-то работали не в полную силу и не хотели переутомляться, и не стал с ними спорить, тем более что мне и этот сравнительно замедленный темп был достаточно тяжел.

Днем нас переписывал табельщик, днем же привозили горячий обед в поле, в основном украинский борщ и гречневую или пшеничную кашу. В борще — кусок вареного мяса. В 4 часа был конец рабочего дня, шли в экономию, получали полдник — малясу или ку-

сок сала, а вечером ужин. По субботам кончали работу в 2 часа дня, шли в Смелу, и на сахарном заводе получали зарплату из расчета 25 рублей за отработанный и затабелированный день, то есть 150 рублей в неделю. Кроме того, я за неделю накапливал 60 кусочков сахара, и с деньгами и с сахаром возвращался в Черкассы, где все заработанное отдавал матери, а в воскресенье вечером ехал опять поездом в Смелу, откуда пешком в Николаевку, и с понедельника у меня начиналась следующая трудовая неделя. Так прошли июнь и июль месяцы.

Наступил август. Я работал, как и раньше. В субботу, кажется 5-го августа, все пошли на сахарный завод получать деньги. Я не तोпился, так как поезд в Черкассы уходил в 7 часов вечера, поэтому в очереди к кассиру я пристроился в хвосте. Около кассы шли споры с кассиром, все хотели получать только советскими деньгами, а кассир выплачивал керенками, украинскими карбованцами и частично советскими. Когда до меня дошла очередь, советских денег не хватило, и мне выплатили часть керенками, часть украинскими карбованцами. Пришлось взять. Я пошел на вокзал, нашел свой поезд. С сапкой и узелком на плече зашел в один вагон — было очень душно.

Поезд почему-то тронулся с опозданием больше чем на полчаса. Наконец, поехали, но через 10–12 верст на станции Белозерье поезд остановился, и всем пассажирам объявили, что поезд в Черкассы не пойдет, так как город Черкассы занят деникинцами. Что было делать? До Черкасс 15–16 километров. Собралась небольшая группа, в основном женщины. Решили идти пешком. Я присоединился к ним. И мы пошли по шпалам. Когда мы подходили к Черкассам, пройдя почти весь путь, нас обогнал поезд, которым мы ехали от Смелы в Белозерье. Было очень досадно, но ничего не поделаешь. На станции Черкассы все было, как и раньше. Тихо. Ходили красноармейцы, и ни о каких деникинцах и помину не было. С вокзала я пошел домой. Немного огорчил мать, что набрал керенок и украинских карбованцев, так как их неохотно брали на базаре, но мать была уже довольна, что я возвратился, так как вместо восьми часов вечера я вернулся домой почти в полночь.

Легли все спать. Утром, перед рассветом на улице послышалась ружейная и пулеметная стрельба. Стрельба была хотя и далеко, за несколько кварталов, но слышна была очень хорошо, чтобы разбудить нас. У меня мороз прошел по коже. Я вспомнил выстрелы во время налета банды Григорьева, вспомнил разговоры о деникинцах и задержку поезда. Потом стрельба стихла. Слышен был еще топот лошадиных копыт. Когда рассвело, оказалось, что в городе уже деникинцы. Улица была запружена тачанками, верховыми, лошадьми, привязанными к деревьям и заборам, спешившимися казаками. То и дело мимо дома проскакивали верховые. Я тогда политикой не занимался. Дома у нас о событиях того времени не говорили. Отец лежал пластом с отгнивающей нижней челюстью, мать была поглощена уходом за отцом, за младшими сестрами. На мои плечи и плечи Веры выпали все домашние работы, забота об отце и младшей сестре Тане, стирка, варка, «семечки». Ляля, старшая сестра, — где-то в наймах.

Выйдя за хлебом, мать обнаружила, что советских денег не берут, а керенки и украинские как раз в ходу, только цены подскочили еще раза в два. После появились еще деникинские деньги. Я понимал, что моим поездкам в Николаевку наступают конец. Я был этим очень огорчен, так как лишился твердого заработка, хотел было поехать в следующее воскресенье, но мать не пустила. Ежедневные перевязки отца полностью легли на меня. На отца было страшно смотреть. Мешки под глазами, распухшие губы, набрякшие, мертвенно белого цвета. Под подбородком — дыра в полость рта, под ушами и на челюсти обрывки прогнившего мяса, шея с боков и сзади, затылок — в сплошных нарывах.

Я смачивал марлевую подушку в крепком растворе марганцовки, обволакивал все горло и подбородок, закрывал тряпками и забинтовывал бинтами, которые мать стирала, кипятила, гладила. Внешне, сразу после перевязки, отец выглядел чистеньким, но уже через часа два вся повязка намокала. Розовато-зеленые пятна, местами с кровью и гноем, проступали по свежим бинтам. Приходилось два-три раза в день делать дополнительные перевязки. Кормила отца мать. Готовила из натертых сухарей жижу, густоты как сметана, и по ложечке вливала через рот в горло. Что попадало в самое

горло, отец глотал, а что выливалось в дыру в том месте, где прикреплен язык, — то просачивалось с гноем на повязку. Выплюнуть отец не мог, а, наглотавшись, выдувал не попавшую в горло пищу. Выдувал со страшным звуком — не то «ш-ш-ш-ш», не то «х-х-х-х». При чем захлебывался, кашлял. Мое дело было, после кормления сменить повязку. Мать не могла. Я не раз заставлял ее, когда она с тревогой смотрела в зеркало, раскрывая свой рот, как она ощупывала свои железы под подбородком. Ей началось мерещиться, что рак горла и у нее. Позже она на «раке горла» буквально помешалась и почти забросила домашнее хозяйство.

Раза два-три к нам приходил незнакомый человек и приносил в корзинке кое-какие продукты — немного крупы, сахар, чай, кусок колбасы, немного масла, несколько булочек. Какие-то филантропы решили заняться благотворительностью и подавали нам милостыню. Человек, приносивший это подаяние, не говорил, от кого, а молча ставил корзинку и уходил. Существенную помощь оказал нам врач Кузьмин. Он так же, как и отец, был военным врачом в полку, где служил отец, был на войне, в 1918 году вернулся домой, работал при гетмане в земской управе, ездил по селам. С приходом в январе 1919 года советской власти работал врачом в военном госпитале в Городке. Километрах в двух от города в поле еще со времен первой империалистической войны был построен целый городок из деревянных барakov, где был расположен госпиталь. С приходом деникинцев он остался главным врачом этого госпиталя.

Так вот, врач Кузьмин, в прошлом сослуживец и однополчанин отца, зачислил отца в состав больных в госпитале и стал выдавать нам его сухой паек, а главное — перевязочные материалы. За пайком, бинтами, марлевыми повязками, марганцовкой в госпиталь стал ходить я. Кроме того, я и сестра Вера бегали на бульварчик, на вокзал или в другие людные места и торговали семечками.

Так прошло несколько месяцев. Наступила зима. В первых числах декабря в городе опять появилось много деникинских вояк, в основном казаки, офицерские части. На железнодорожной станции стояли и грузились воинские эшелоны. Похоже было на то, что деникинцы удирают. Никто ни о чем не говорил, но все жили в ожидании

больших событий. Отец лежал почти без сознания. Мать все время только ощупывала железы на шее и смотрела в зеркало. Мы были предоставлены самим себе.

В конце ноября мы перебрались в пустой пятикомнатный дом, брошенный какими-то местными богатеями. Заняли две комнаты и кухню. Имущества там никакого не было, но сарай был весь забит дровами, так что у нас было чем топить. Отца положили в одну комнату, а сами заняли другую. Выход был через кухню на так называемый черный ход. Как удалось матери договориться и заполучить право на занятие этих комнат, я не знаю. Но факт остается фактом. Сделалось возможным и изолировать больного отца, и создать нам более или менее нормальные санитарные условия.

Числа 15-го декабря я пошел в госпиталь взять очередную порцию перевязочного материала и выпросить у Кузьмина немного продуктов и хлеба наперед. К моему удивлению, доктор Кузьмин дал распоряжение на склад дать мне увеличенную порцию продуктов — хлеба несколько буханок, пшена, сала, постного масла, сухой таранки, а также двойную против обычного порцию перевязочных материалов. Нагрузившись, я шел, отдыхая через каждые 100–150 шагов. Груз был явно не по моим силам. Но меня подстегивала радость, что я приду домой с такой богатой ношей.

Когда я, где-то во второй половине дня, пришел домой, меня стала неприятная новость. Отец был еще жив, но утром у него было сильное кровотечение. По рассказам сестер Веры и Ляли (она в этот день как раз пришла к нам), — у отца горлом хлынула кровь, «как струя из водопровода», и лилась с полчаса, пока отец не потерял полностью сознания. Вся подушка, простыня и одеяло были залиты кровью. На полу возле кровати — лужа крови. Отец лежал с закрытыми глазами и не подавал признаков жизни. На мой оклик отец открыл глаза и сделал рукой отрицательное движение, мол, не трогай меня. Мать сидела в углу комнаты, как помешанная, не проявляя никакой инициативы. Но мы, дети, за последнее время уже привыкли видеть мать в таком состоянии.

Я с сестрами убрали возле кровати отца, но его самого привести в порядок, — обмыть, перевязать, не могли. Ночью никто не спал.

Часов около двух ночи послышался большой силы глухой взрыв, как оказалось потом, деникинцы подорвали железнодорожный мост через Днепр.

На следующее утро мать с маленькой сестренкой Таней (ей 14 декабря исполнилось 5 лет) куда-то ушла из дому. Дома были сестры Ляля и Вера и я. Мне показалось, что отец попросил пить. Я подогрел чай, натер на терке сухарей, как это делала раньше мать, а потом я или сестры, сделал такую жидкую кашу и, подложив под голову еще одну подушку, осторожно ложечкой стал вливать ему в горло эту жижу. Сделав несколько глотков, отец вдруг взмахнул вверх обеими руками, как-то неестественно захрипел и замер.

«Папа, папочка, выпей еще», — я что-то говорил, но отец уже был мертв. Я видел, что он даже движением глаз не следит за мной. Я окликнул сестер: «Где мама? Папа, кажется, умер». Вера и Ляля побежали искать мать по соседям и знакомым. А у меня работала мысль: «Что делать, что делать?» Я еще не хотел верить, что отца уже нет, я звал его сквозь слезы, ходил перед его постелью, но он смотрел открытыми выпученными глазами в одну точку. Я сознавал, что отец умер. Мы в доме, как-то не стовариваясь и не признавая этого страшного слова «смерть», были уже готовы к тому, что отец вот-вот не выдержит и умрет. Но, когда это случилось, верить не хотелось. Что делать? И первое, что я сделал, хотя об этом никогда не думал раньше. Я знал, что умерший человек через несколько часов костенеет, а если не закрыть глаза, он и будет лежать в гробу с открытыми глазами. Я осторожно закрыл отцу страшные выпученные глаза и подержал ладони на веках, пока не добился, что глаза не открываются. Потом опустил запрокинутые наверх руки и сложил на груди. Отец был в полусидячем положении, но выровнять его один я не мог. Мне было страшно. Казалось кощунственным так бесцеремонно притрагиваться к телу дорогого, горячо любимого отца, лежащего сейчас без всякого движения мертвым. Мысль, что делать дальше, преследовала меня, я был один на один в комнате с мертвым отцом. Я растерялся.

Сестры и мать еще не вернулись. Только через два часа пришли сестры, они нашли мать с младшей сестренкой у одних знакомых,

а еще через час пришла мать с какими-то двумя старухами. Эти старухи были взяты из богадельни (так тогда назывался дом для престарелых — бездомных стариков и старух). Эти старухи занялись обмыванием тела отца и переодеванием его, а мне мать посоветовала пойти к доктору Кузьмину, просить помочь похоронить отца.

Когда я вышел на улицу, меня поразило полное отсутствие пешеходов. Не было видно и казаков или других военных. Город казался вымершим.

К счастью, я доктора Кузьмина застал дома. Когда я сквозь слезы рассказал, как умер отец, он сообщил, что деникинцы ночью удрали из города в направлении города Смелы и станции Бобринской (теперь станция Шевченково), что вчера, после выдачи мне пайка, в госпитале весь вечер раненых, которые стояли на ногах и могли передвигаться сами, вывозили на вокзал для эвакуации. Остались только лежащие тяжелораненые. Он остался в Черкассах, и будет работать в госпитале и дальше. Что вот-вот должны прийти большевики, а что будет дальше, он не знает, но помочь похоронить отца — поможет. Кузьмин написал мне записку кому-то в госпиталь. Уже смеркалось, но я побежал в Городок. Нашел там человека, наверно, завхоза, которому была адресована записка Кузьмина. Тот меня успокоил. Сказал, что сделают гроб и привезут дня через два, то есть 19 декабря, выкоют на кладбище могилу, и те люди, которые привезут гроб, помогут вынести и похоронить отца. Затем он спросил, ел ли я что-нибудь с утра, а когда узнал, что я ничего не ел еще с вчерашнего вечера, — накормил меня. Хотя мне никакая пища не шла в горло. На прощанье он сказал: «А ты постарайся за эти два дня найти попа, а комнату, где лежит отец, не отапливайте и откройте форточку».

Я опять разревелся, но это были уже слезы облегчения и благодарности людям, которые пришли бескорыстно нам на помощь. Теперь вопрос «что делать?» меня уже не мучил. Хотя на 4-й день, но похоронить отца мы сможем. Теперь дело только за «попом». И хотя наша семья не отличалась религиозностью, над попами не раз посмеивались и отец и мать, а у меня еще в гимназии были в годовых

табелях сниженные отметки по поведению «за непосещение богослужений в церкви», но традиция требовала хоронить человека с попом.

В городе жило несколько священников, и мне казалось, что найти попа для похорон будет легко. Но оказалось, что это была нелегкая задача. Дело в том, что власти белых, то есть деникинцев, в городе уже не было. А Красная Армия еще в город не вошла. Железнодорожный мост был взорван. Днепр еще не замерз. Второй, так называемый стратегический, деревянный мост также был разрушен уходящими деникинцами. Советские войска наступали из-за Днепра, а при той технике, которая была в 1919 году, река Днепр была непреодолимой преградой. Советский бронепоезд, подойдя вплотную к мосту, периодически обстреливал город, в основном район железнодорожного вокзала, артиллерийскими снарядами.

В поисках попа я первым делом обратился к гимназическому попу, но он замахал руками: «Что ты? Да я только читал вам в гимназии Закон Божий и служил службы в гимназической церкви, и никаких «треб» на стороне не выполнял, и выполнять не могу. Обратись к отцу Николаю». Это поп, который имел свой приход в одной из церквей города. Но и отец Николай отказался, заявив, что, мол, «видишь, какая обстановка: большевики обстреливают город, с минуты на минуту они могут появиться в городе, и может случиться так, что как раз я буду хоронить твоего отца, а большевики меня увидят и расстреляют на месте. Ведь они безбожники». Примерно так мне отвечали и другие «отцы церкви». Я уже побывал по пяти или шести адресам, но никто идти не хотел. Наконец, я нашел одного священника. Он только предупредил, что будет хоронить по упрощенному методу, то есть не будет останавливаться на перекрестках улиц и отпевать, будет без хора и без хоругвей, даже не будет облачаться в ризы. Меня эти детали не интересовали. Будет поп — и хорошо. На этом и покончили.

18-го декабря я еще сбежал в Городок, убедился, что все в порядке, что будет лошадь, гроб, могила. И вот 19-го декабря подъехала подвода (бендюг) с тремя рабочими и гробом. Уложили тело отца в гроб. Гроб был легкий, так как отец был очень истощен, одни кости. Я сбежал за священником, и вся процессия — поп с крестом в руке,

с кадилом, за ним подвода с рабочими и гробом, за подводой мать, я и две сестры. Малышку мать отвела к знакомым. Так прошли пару кварталов.

Вдруг из-за Днепра послышались орудийные выстрелы и где-то недалеко разрывы снарядов. Кладбище было расположено впритык к железнодорожной станции. Возчик скомандовал нам: «Все садитесь на подводу». Первым вскочил священник, затем мы с матерью, и возчик погнал лошадей. На кладбище у вырытой могилы поп наскоро прочитал слова молитвы, я только услышал «со святыми упокой душу раба твоего, Господи, помилуй» и еще что-то, объявил последнее целование и замахал кадилом.

Мать первая поцеловала отца в лоб, затем поцеловали сестры и я, гроб закрыли крышкой и опустили в могилу. Раздалось еще несколько выстрелов из орудий, и один из снарядов разорвался где-то на кладбище. Возчик с подводой заторопил нас, мы все сели на подводу и уехали с кладбища, оставив там двух рабочих, которые засыпали могилу.

Потом только весной я приходил на могилу отца, сделал холмик, но ни креста, ни другого памятника так поставить и не пришлось. Вечером, в день похорон отца, мать спросила, спрятал ли я отцовские карманные часы, которые лежали у него на тумбочке возле кровати, и серебряный портсигар, а также, кто снял с руки отца золотое обручальное кольцо. Я ничего не прятал и не снимал. Сестры тоже. Решили, что это забрали те старухи, которые обмывали тело отца. Тем более, что пропали и некоторые другие вещи — забрызганное кровью добротное шерстяное одеяло, которым укрывался отец, залитые кровью простыни и кое-что из одежды отца — военный китель и еще что-то. Мать сказала, что простыни, наволочки и белье отца она разрешила старухам взять как плату за работу, кроме того, она им дала буханку хлеба и бутылку постного масла, которые я принес в последний раз из Городка. Но часы, портсигар, кольцо, китель, одеяло — этого она им не обещала и они, попросту говоря, украли.

Я с несправедливостью людей уже сталкивался не раз, вспомнил Бажанову, которая использовала нас, молодых ребят, под видом рабочих государственного питомника для своих корыстных це-

лей, вспомнил удары кнутом дядьки-надсмотрщика в экономии, вспомнил с гневом и ненавистью толстопузых попов, которые только умели говорить «о любви к ближнему» и отказывались хоронить отца, вспомнил бандитов-григорьевцев, убивших несколько тысяч людей. Я решил пойти завтра в богадельню, разыскать старух и отобрать украденные вещи.

На другой день утром я отправился в богадельню. Без труда нашел этих двух старух и потребовал все возратить. Что я им говорил, — не помню. Но сознаю, что в свои 14 лет нагнал на них страху. Они божились, крестились, что ничего не брали. Тогда я в порыве злости сорвал одну постель и обнаружил под тюфяком на досках кровати сложенное одеяло и китель отца. Я взял их, но понимал, что такие маленькие вещи, как обручальное кольцо, портсигар и часы, я не найду. Для этого надо было сделать тщательный обыск и их вещей и их самих, а я это сделать сам не мог. Довольный тем, что хоть что-то нашел, я забрал одеяло и китель и пошел домой.

Дома мать сказала, что договорилась с одними знакомыми, которые занимали квартиру из 3-х комнат, что они одну комнату уступят нам, и мы должны переехать. Мать не хотела оставаться одна с нами в большом 5-комнатном пустом доме, где умер отец. И мы, в течение нескольких дней, на ручных санках перевезли все наше домашнее имущество и перебрались сами к этим знакомым.

Эти несколько дней город был в полном безвластии. Как и в дни смерти и похорон отца, советские войска стояли по другую сторону Днепра, а деникинцев и след простыл. Иногда раздавались артиллерийские выстрелы из-за Днепра по городу, но существенного вреда они не приносили. Стояли крепкие морозы. И вот числа 24–25 декабря, наконец, в город вошла Красная Армия, как ее называли попы: «красные большевики».

Улицы опять заполнились верховыми, повозками, орудиями. Красноармейцы стали расквартировываться по домам. Остановились человек восемь и в квартире знакомых, которые приютили нас. Они заняли одну из комнат этих знакомых и кухню, спали просто на полу, накрываясь шинелями. Думали пристроиться и в нашей комнате, но увидели, что нас 5 человек — мать, три сестры и

я, и оставили в покое. Красноармейцы были одеты неважно, кто в шинели, кто в телогрейке, а кто и вообще в штатском или в матросской робе. Увидев шинель отца, они попросили продать ее им. Мать отдала шинель отца, отдала китель. Сказала, что есть хорошее шерстяное одеяло, но один край залит кровью от больного отца, — они с большой охотой взяли и одеяло. Предлагали деньги, но мать отказалась. Вместо этого те несколько дней, что они прожили в этом доме, они приносили в котелках горячую пищу, приносили хлеб, вяленую рыбу, сахар, в общем, кормили всех нас, а дней через пять, перед уходом, оставили нам запас хлеба.

Был канун 1920 года. Прошедший 1919 год многому меня научил. Во-первых, я понял, что только трудом можно добиться благополучия, обрести моральное удовлетворение, не быть зависимым ни от кого. После случая с девушками на прополке буряков, когда они меня выручали, я стал понимать, что такое взаимопомощь, выручка или солидарность трудящихся, хотя этих слов я тогда вообще не знал. Я начал разбираться в людях. Я видел и корыстных толстосумов, и действительно хороших людей, простых рабочих.

Я видел честного, отзывчивого врача Кузьмина, приходившего нам на помощь в самые тяжелые минуты. И видел в то же время врачей, как некто Макаревич, которого в ходе болезни отца мать иногда вызывала, а еще к больной тифом сестре, и как без извозчика он не мог пройти 2–3 квартала пешком, а, уходя, не брезговал взять плату за визит, да еще и говорил, что за визит он всегда берет не менее 25 рублей, но мол, так уже и быть, ведь они с моим отцом коллеги, и он молча клал в карман 20-рублевую керенку, может, только утром вырученную матерью за проданную простынь.

Я вспомнил случай, когда еще в 1918 году мы жили в Сосновке, отец нигде не работал, и его пригласили к одному больному, умирающему от чахотки. Отец по просьбе членов семьи трое суток, день и ночь, дежурил у больного. А когда вернулся, мать спросила: «Что они заплатили?» Отец ответил: «Ты знаешь, семья большая, куча детей, обстановка бедная, жена и другие родственники в отчаянии, — я не мог ничего взять, отказался от платы, тем более, что больной не выжил».

Я видел последствия налета григорьевской банды, видел пьяных деникинских офицеров, катающихся в экипажах, запряженных тройками дородных лошадей с дочками местных главарей Дорожкиных, Борзяков и прочих, в то же время, когда мы и многие сотни других людей нуждались в куске хлеба.

Я, наконец, видел, как отнеслись к нам передовые красноармейские части, освободившие Черкассы от деникинцев, с каким участием и вниманием они относились к нам, когда временно были расквартированы в одном доме с нами.

Другими словами, я о людях начал судить не по словам, а по делам, в моем детском уме (мне было только 14 лет) начало складываться определенное мировоззрение, хотя я, конечно, тогда ни о большевиках, меньшевиках, эсерах ничего не знал и не думал. Был царь, его скинули. В гимназии все торжествовали, ходили по городу на демонстрации с красными бантиками, потом Временное правительство с Керенским во главе, потом наступил период оккупации города немцами, был украинский гетман, потом, в ноябре 1918 года немцы поспешно исчезли, о гетмане уже не говорили, был Петлюра, потом советская власть, потом несколько дней григорьевцы, затем советская власть, наконец, — деникинцы, и опять советская власть. Я был современником всех этих событий, но о политических корнях, конечно, я тогда и думать не мог, как в силу своего еще детского возраста и разума, так и потому, что дома родители при нас, детях, вообще не говорили на эту тему, а с болезнью отца все были поглощены, в основном, материальными заботами.

1919.
сротно и полой рта.
лесный институт к профессору
едина и слезах прилежал
либер 1919. отец поехал в
ак. ндо декабрь сонию в
середнику арестант и уне
из публики в одной комнате
жене, белы, ~~мать~~ продали
Младшая сестра Таня (ей еще не
старшая сестра - 14 лет. Мне -
моя в комнате - самая афри
мной мир - никто больше
отне прирости, невол
завработка

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Итак, наступил 1920-й год. Январь — морозный, снежный. Надо искать работу. Работу во что бы то ни стало, так как кушать что-то же надо. Я пошел по городу, и где видел какое-нибудь учреждение, — заходил, спрашивал начальника, а когда добивался приема, просил устроить на какую-нибудь работу. В нескольких местах мне отказали: «Что ты умеешь?»

— Полоть огороды, пилить дрова.

— Нет, таких нам не надо.

Наконец, в одном месте, это оказался пересыльный пункт военкомата, меня приняли курьером, а так как я все-таки был грамотным, пообещали выучить быть писарем. Зарплату, не помню какую, назначили, но дело было даже не в зарплате, так как цены росли с каждым днем, и счет деньгам уже шел не на рубли и даже не на сотни рублей. Но выдавали всем красноармейский паек, а это было основное — хлеб, сахар, постное масло, сало или вяленая рыба вместо мяса, ну, ясно, — махорка (махорку я продавал).

Что такое «пересыльный пункт»? Дело в том, что в то время было большое движение красноармейцев-одиночек, едущих из госпиталей и разыскивающих свои части, едущих в отпуска по болезни, и т. д. Все проезжающие город Черкассы красноармейцы останавливались в пересыльном пункте на сутки-двое, получали на дорогу по аттестатам продукты на два-три дня и следовали дальше.

Я был курьером, разносил бумажки по городу — в военкомат, комендатуру города, ездили на подводе с каптенармусом на склады

и получали продукты. В общем, работа не тяжелая, а паек шел систематически, а иногда каптенармус мне давал больше, чем полагалось. Где он брал, — не знаю, я тогда не задумывался над этим. Так тянулось до мая месяца. Раза три нам выдавали жалование (зарплату) 100-рублевыми советскими купюрами, сколько, уже не помню, но они уже почти ничего не стоили. Продолжали ходить, правда, уже с трудом, 50-рублевые купюры и керенки, целыми листами из 20 или 40 рублевых квадратов.

Сестры Ляля и Вера пошли опять работать куда-то прислугами или няньками. Дома была только мать с маленькой сестрой, но где-то в апреле мать поступила на работу сидилицей водопроводной будки. Жизнь как будто вошла в какую-то определенную колею. Но время не было спокойным. На Украину наступали белополяки. Заняли Житомир, Киев, пробивались к югу. Все силы Красной Армии были сосредоточены на юге — добивали деникинцев под Одессой, на Донбассе, под Ростовом.

Органы советской власти потихоньку готовились к эвакуации из Черкасс. В Черкасском, Уманском, Звенигородском уездах бесчинствовали банды различных «батек» — Зеленого, Коцура, Чучупаки, Голого и других. Черкасский уездный военкомат возглавлял военком т. Рябоконь. Он был грозой для этих банд. Формировал отряды добровольцев, создавал в городе подразделения самообороны, а с некоторыми отрядами выезжал в глубинные пункты, в разные местечки и села для ликвидации банд. Но противостоять белополякам с этими отрядами советская власть, конечно, не смогла бы. Поэтому, к концу мая эвакуация началась открыто. Военкомат и его пересыльный пункт должны были погрузиться на баржи и отплыть по Днепру в сторону Кременчука.

Нас, нескольких сотрудников пересыльного пункта, прикрепили к отделу снабжения военкомата, и мы начали грузить продовольствие, обмундирование, оружие (винтовки, ящики с патронами) на подводы и сопровождать подводы до пристани, а там грузить на баржи.

Помню курьезный случай. Нагрузили одну подводу мешками с какими-то продуктами. Выделили меня сопровождающим. Дали

винтовку. Я был маленького роста, винтовка была для меня ношей довольно тяжелой. Но я с гордостью повесил на ремне на одно плечо и зашагал рядом с возчиком — мобилизованным селянином. Винтовка, вися на плече, едва не волочилась прикладом по мостовой. На одном из перекрестков улиц нам надо было к пристани свернуть направо. Возчик остановил лошадь и задал мне вопрос:

– Что ты будешь делать, если я сверну не направо, а налево?

Я важно ответил:

– Буду стрелять!

– Как же ты будешь стрелять, если твоя винтовка без затвора?

Я растерялся, не зная, что ответить. Что такое затвор и какую он играет роль в винтовке, я не знал, но на всякий случай скинул винтовку с плеча и взял, как говорят у военных, «на изготовку», положив палец на курок. Возчик расхохотался, подошел ко мне и объяснил устройство винтовки, показал, где должен быть затвор и почему без затвора винтовка не может стрелять. После чего спокойно повернул лошадь в правильном направлении, и мы молча поехали к пристани. От обиды я глотал слезы. Ведь меня обманули, не доверили настоящего оружия или боялись, что я сдуру стрельну в кого-нибудь. На пристани я сдержаться уже не мог и разревелся вовсю, упрекая почему-то какого-то военного, который руководил погрузкой на баржу. Тот только улыбался. Вдруг над пристанью появился польский самолет. Он летел очень низко, сделал пару кругов над нашими баржами и сбросил две бомбы, которые упали в воду, не причинив вреда. Все, у кого были винтовки, начали стрелять по самолету, а я со своей разукomплектованной винтовкой мог только плакать и просить военного: «Дайте мне настоящую, с затвором». Но самолет уже улетел, а мне военный сказал: «Отнеси винтовку тому, кто тебе ее дал, и иди домой к мамке».

Но баржи с имуществом военкомата так и не отплыли из Черкасс. Я несколько дней ходил то к пустому зданию военкомата, пересыльного пункта, то на пристань, но меня никто не признавал, никакой работы не поручал, а затем незнакомые мне люди грузили имущество опять на подводы и везли все обратно в город.

Я пошел к Рябоконю, рассказал ему все. Он посочувствовал, но сказал, что я еще слишком мал, для меня в военкомате пока работы нет, но тут же распорядился выдать мне со склада сахарной пудры аж полпуда и дал кому-то записку в госпитальный городок, который тогда разбирался на слом, отпустить мне две подводы досок.

Наш квартирный хозяин был извозчик. У него была лошадь. Я с ним договорился — одну подводу досок, потолще, он привез нам на дрова, а другую, годную для стройки, потоньше, но ровные и неразломанные, нагрузил себе и ремонтировал потом свой сарай.

На этом и закончилась моя работа в пересыльном пункте и «боевые» действия против белополяков. А отмена эвакуации произошла по простой причине. Части Красной Армии выбили белополяков из Киева и гнали к границам Польши.

Передо мной опять встал вопрос — что делать? Надо искать работу. Мои хождения по разным учреждениям пока ничего не давали. Но вот в Комхозе мне предложили подметать бульварчики. Я сразу согласился. Сейчас уже не помню, какая плата была назначена, но важно было, что я все-таки работаю. Мне выделили квартал по ул. Шевченко от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса, против базара. Я должен был каждый день с 4-х часов утра и до 8 подмести весь бульварчик, а мусор собрать и снести в ящик, установленный на базаре. Потом днем несколько раз пройти по бульварчику и подобрать накапливающийся мусор.

Так продолжалось недели две, но в один прекрасный день мне мой начальник в Комхозе заявил, что, мол, сегодня ночью я должен дежурить возле общественной уборной на базаре, приедет ассенизационный обоз, выберет из выгребной ямы в бочки все фекалии, а когда закончит, я должен буду метлой и водой смыть всю уборную от расплесканного «золота». Канализации тогда в городе не было. В более или менее крупных домах были выгребные ямы, а в большинстве малых индивидуальных домах владельцы время от времени выкапывали новую яму, переносили уборную, а старую яму засыпали землей. Что мне было делать? Я пошел дежурить на базар. Примерно в час ночи приехал ас-обоз — бочек шесть, часа два длилось вычерпывание «золота». Ассенизаторы не очень старались быть ак-

куратными. «Золото» расплескивалось и в самой уборной, и на булыжниках возле уборной. Вонь стояла невообразимая. Рассветало, обоз уехал, и я приступил к работе. Взял метлу в кладовке при уборной, взял ведро, наточил из крана воды и, работая то метлой, то поливая водой из ведра, стал наводить порядок. Забрызгался, вымазался сам, но я торопился, уже не обращая внимания на то, что я весь грязный, в «золоте». Тогда еще никакой техники, даже в виде шланга, не было. Об охране труда, о спецодежде тоже никто не думал, не говоря уже о том, что несовершеннолетних на ночную работу, да еще такую, допускать нельзя.

Подметание бульварчика мне тогда казалось раем. Хорошо ли, плохо ли, но к началу открытия базара, то есть к часам 6 утра, когда стали съезжаться и сходить крестьяне и местные торговки, я закончил работу. Днем в конторе меня похвалили и сказали, что бульварчик с меня снимается, а я в дальнейшем должен ежедневно только убирать уборную, зато я буду работать не 8 часов в день, а ровно столько, сколько мне утром понадобится для ежедневной текущей уборки.

И вот я стал подниматься в 3 часа, шел на базар и чистил и мыл «М» и «Ж», в общей сложности 8 очков, плюс корыто, плюс пол и территорию вокруг всего сооружения. Так продолжалось около двух недель.

Дома мать меня упрекала за такую работу, что от меня несет, как из «золотой» бочки, что она выбивается из сил, стирая мою одежду и, хотя я, пользуясь летом, стал ходить после работы на Днепр, но этот вьедливый запах все время меня самого преследовал, и я решил бросить Комхоз и базарную уборную. Тем более, что плата была мизерная, а, учитывая ежедневный рост цен на базаре и стремительное падение курса денег, моя зарплата почти абсолютно не играла никакой роли.

Здесь подвернулся случай. Я уже говорил, что мы жили в районе, примыкающем к железной дороге. Почти все население, пользующееся водой из водопроводной будки, где работала мать, были железнодорожники. И кто-то предложил отвезти меня в село помочь одному железнодорожнику, работавшему на ст. Бобринская в составе

поездной бригады, а жившего в селе Ротмистровка. Дело в том, что он был наполовину рабочий, наполовину селянин со своим хозяйством, землей, скотиной. Жена этого полурабочего была беременна, дома у него был еще четырех или пятилетний ребенок. Хозяйство было большое — пяти голов рогатого скота, откармливался кабан, был огород, участок земли, засеянный хлебом, участок луга под сенокос. Кроме того, он арендовал еще участок земли под буряки для сахарного завода в Балаклее. В общем, это был крепенький кулак. И вот, отсутствуя дома по 3–4 дня в неделю (ездил с поездами), он не справлялся со своим хозяйством, а жена его, будучи беременной на пятом или шестом месяце, тоже была для тяжелых сельхозработ не вполне полноценной помощницей. Вероятно, нанимать батраков в самом селе он уже не решался, а так — шито-крыто — использовать в роли батрака привезенного из города хлопца ему никто не мешал.

Как бы там ни было, я распрощался с Комхозом и уехал в Ротмистровку. Надо отдать справедливость: хата состояла из комнаты, кухни с русской печью, лавами и большой коморой (кладовой). Меня поселили в комнате на кровати с десятком подушек, чистым постельным бельем, с развешенными по стенам иконами, фотографиями, вышитыми полотенцами. Сам же хозяин и его жена с ребенком спали на кухне, на печи или на лавах (не знаю). Из пяти голов рогатого скота было две коровы молочных, одна корова, как говорят, «яловая», двухлетняя телка и годовалый бычок «карпо». Лошадей не было, а тягловой силой были две коровы — одна яловая и одна молочная.

Целую неделю я работал с хозяйкой, а в дни, когда был дома «сам» хозяин, — втроем. Что я делал? По утрам чистил коровник, свиарник, помогал хозяйке кормить скотину и свиней, таскал воду из колодца, затем запрягал коров, и мы отправлялись в поле или на луг. Возили уже скошенный и сложенный в снопы хлеб (пшеницу), скирдовали сено, потом его возили. «Цоб-цобе» — я научился ловко запрягать коров, управлять ими. Пололи буряки — эту работу я освоил еще в 1919 году в Николаевке. Молотил пшеницу. В общем, выполнял все, что приказывала хозяйка.

По воскресеньям все отдыхали, я же выгонял все рогатое стадо на пастбище (холмы, опушки леса, в общем, на невозделанные уча-

стки земли). Там собиралось несколько пастухов в возрасте десяти-двенадцати лет. Мы садились в кружок, вели беседы, время от времени поглядывая на пасущихся невдалеке коров. Если какая-либо корова удалялась за пределы поля зрения, то один, то другой паренек, то я поднимались и пригоняли ее в общий гурт.

Кроме завтрака, в основном это были белые коржи, наломанные на куски и облитые сметаной, вернее, плавающие в миске со сметаной, хозяйка мне давала с собой кусок сала, этак грамм 200, несколько помидоров, большой корж, вареник с творогом, а позже со сливами. Да, я не оговорился. Не вареники, а вареник. Чтобы понять, что это был за вареник, его надо было видеть. Вареник, в который она заворачивала по 15 и более, а один раз я насчитал 19 штук сырых слив-венгерок. Целый лапоть. Мы с хлопцами выкладывали все на траву, и ели кому что понравится. Ребята меня очень полюбили за мои рассказы. Я в детстве много читал — и сказки Андерсена, и сказки Шехерезады «Тысяча и одна ночь», и «барона Мюнхгаузена», и про всякие путешествия, Майн-Рида, Жюль Верна. Кроме того, я много читал о различных грозных явлениях природы — извержениях, землетрясениях, бурях, смерчах и т. д. Я довольно ясно представлял себе, что такое солнечная система с ее планетами, спутником Земли Луной, звездное небо, что такое ветер, молния, гром. В общем, я был на много голов выше их, грамотнее, с более широким кругозором. И я говорил, говорил, рассказывал им истории из географии, перемежал их сказками. Они слушали меня, разинув рты.

Постепенно к нам стали присоединяться ребята постарше, лет по тринадцать-пятнадцать. Потом эти старшие ребята стали приходить к нашей хате, и по вечерам мы перед сном еще и еще раз собирались на окраине села, на пригорке у мельницы, и я досказывал то, что не успел сказать в воскресенье.

Я, сам того не сознавая, был пропагандистом материалистического взгляда на окружающую природу, на окружающий мир. Я любил и ребят, и эти беседы.

В одно из воскресений меня хозяйка на пастбище с коровами не отправила, а сказала, что в Ротмистровке ярмарка, и мы поедem

на базар. Я запряг в ярмо коров, она положила на воз продукты, какие хотела продать, посадила на воз пятилетнего сына, сама взобралась, и мы поехали. Я шел рядом пешком, «цоб-цобе» — подгонял коров.

На базарной площади стали в ряд других возов, и она развернула товары — масло, сыр, сливы и еще что-то. С одной стороны базарной площади тянулся ряд кирпичных складов, как говорили «пакгаузов», около которых прохаживался милиционер, вероятно, единственный вооруженный человек на всю Ротмистровку, осуществляющий от имени советской власти надзор за порядком. Вдруг раздались беспорядочные винтовочные выстрелы, и на площадь влетели на всем скаку человек тридцать верховых, а за ними с десятков подвод. Как оказалось потом, село Ротмистровку захватила банда батьки Голого. Бандиты поотбивали замки на дверях складов, а там хранилось зерно и мука, и стали грузить зерно на свои подводы. Бандиты были очень пестро одеты. Несмотря на теплый осенний день, на некоторых были даже бурки и папахи. Были петлюровские жупаны, офицерские кителя, селянские чумарки, гражданские пиджаки, синие, красные шаровары. Многие опоясаны пулеметными лентами. Теперь, когда смотришь кино, воспроизводящее то время, например, [фильм] по сценарию В. Типота и Л. Юхвита «Свадьба в Малиновке»*, вспоминается то время. Да, так оно и было. Сам атаман Голый взобрался на подводу и стал «держатъ речь», которая свелась к следующему: «вот, граждане-крестьяне, мы советскую власть в Ротмистровке скинули. Теперь вы свободны от большевиков, и можете жить, как хотите. Мы здесь долго не задержимся, так как нам надо освободить еще другие села и города, а пока что, кто из вас нуждается в хлебе — подходите с мешками, мы вам дадим муки».

К складам потянулись с разных концов базара несколько человек крестьян, и бандиты, орудующие в складах, стали насыпать в протянутые мешки муку. Кто-то спросил: «Скажи, батько, а торговать можно? И какие деньги теперь будут ходить?»

* В рукописи — *lapsus memoriae* автора: в рукописи автором сценария указан А. Корнейчук. — *Ред.*

Батько Голый важно ответил:

— Торговать, кто чем хочет, я разрешаю. Что касается денег, так вот — наше дело только выгнать большевиков, а после нас придет настоящая украинская власть, она и деньги свои установит, а пока какие хотите, — такие и берите. Можете советские, можете украинские, можете керенки и даже николаевские. Я к деньгам власти не имею. Мое дело воевать.

Подводы бандитов уже были нагружены. Для острстки они еще дали несколько выстрелов в воздух, повскакивали на коней и усаkali с территории базара и вообще из Ротмистровка. Базар продолжался. Кое-кто еще забирался в открытые двери складов и набирал себе муки.

Вдруг раздался свисток милиционера, и все увидели его на каком-то возвышении возле складов. Он закричал: «А ну, граждане! Кто брал муку из склада — несите обратно, а то будете отвечать по закону как за грабеж». И он убедительно помахал в воздухе наганом.

— Кто возвратит муку, тому прощается, — добавил он. Угроза подействовала, и к складам потянулись опять крестьяне, неся в мешках муку, полученную от бандитов или взятую самими.

Вот так в селе я проработал до 1-го октября. Ездил я еще с хозяином на паровую мельницу молоть пшеницу, ездили ночью в лес, он рубил прямые дубки для столбов — собирался ставить новый сарай, молотил в его дворе пшеницу, копали с хозяйкой картошку в поле. Мой хозяин за трехмесячную мою работу оплатил мне натурой, то есть продуктами. «Деньги сейчас ничего не стоят, — сказал он, — а я дам тебе мешок пшеницы (это около 5 пудов) и еще, что ты захочешь». Я попросил картошки и других овощей. Он дал пару мешков картошки и один мешок буряков и морковки, кусок сала, так примерно килограммов на четыре-пять и несколько белых коржей толщиной в два пальца и диаметром до 30 сантиметров. Я, откровенно говоря, не ожидал такой щедрости. Хозяин все отвез на железнодорожную станцию Ротмистровка, погрузил в вагон рабочего поезда и сопровождал меня до станции Бобринской, там перегрузил на поезд, идущий в Черкассы, довез до Черкасс и ожидал, пока я схожу за подводой. Подводу я нашел быстро, там же, на вокзальной площади. С

возчиком договорился, что за 3 фунта сала он довезет домой. Когда я все привез, то на глаз отрезал ему кусок сала, может, и намного больше, чем 3 фунта, но я был доволен, что уже все: я дома.

Картошку и овощи мы ели несколько месяцев, а пшеницу мололи на паровой мельнице, принадлежавшей ранее некоему Гринблату, по частям — примерно по пуду в течение целого года.

Последние месяцы 1920-го года я еще немного работал, правда, с перебоями. Так, например, встретил как-то своего начальника из Комхоза, который меня заставил чистить базарную уборную, и он предложил поработать с комхозовским садовником на прищепке роз. Садовник, седенький старичок, привел меня в питомник декоративных растений. Там была площадка, засаженная кустами шиповника. Показал, как к шиповнику прививают розы. Я быстро освоил эту операцию, и что-то с неделю работал с ним. Что получилось потом, принялись ли мои розы, — не знаю.

Затем работал в усадьбе одной черкасской домовладелицы, некоей Братковой. Ее дочь была инженером, как она себя называла. Она якобы работала в Смелянском потребительском обществе, а в Черкассах, в усадьбе своей матери, организовала сушку фруктов и варку яблочного повидла. Сосватал меня туда мой товарищ по гимназии Юра Спасовский. Вот мы, вместе с Юрой, под руководством дочери Братковой участвовали в постройке в сарае сушилки для фруктов. Мы, конечно, выполняли неквалифицированную работу — кирпичную кладку фундамента, месили глину, а всякие там каналы, дымоходы, а также жестяные работы выполняли печники и жестянщики. В этом же сарае было построено несколько котлов для варки повидла. После окончания строительства сушилки мы с Юрой варили повидло из яблок, нарезанных на спецмашинке на ломтики. В яблочное повидло Браткова добавляла примерно добрую половину тыквы. Конечно, яблок мы ели, сколько влезет, но это только в первые дни. Уже к концу недели нам было противно смотреть и на яблоки, и на повидло. Готовое повидло укладывали в трехведерные бочонки, и Братковша куда-то его отправляла, как она говорила «в кооперацию». Платила она нам поденно, уже не помню сколько, но, в общем, какую-то мелочь. Ведь в то время ко-

робка спичек уже стоила 100 рублей. На рынке за деньги почти ничего нельзя было купить, соль была равноценна сахару: за фунт соли — фунт сахару.

В конце декабря на пару дней городом завладела банда какого-то «батьки». Бандиты особого дебоша не учинили, ограничившись ограблением государственных складов с продовольствием. К городу приближалась бригада из 3-х полков (217-й, 218-й и 219-й полки), свернутая из знаменитой 25-й Чапаевской дивизии, после разгрома Врангеля на Перекопе и в Крыму. Я об этом узнал лишь пару лет спустя. Бандиты быстро ретировались. Так кончился 1920-й год. Что сулил мне 1921-й год?

1921-й год

Я стал опять обходить все учреждения, пытаюсь устроиться на работу. Попал я и в ЧЕПО — Черкасское единое потребительское общество. Контора была расположена на ул. Свердлова. Занимала восемь или девять комнат. Мне посоветовали обратиться к завхозу. Завхоз, седенький старичок, сначала замахал руками. Куда, мол, тебе, малыш. Потом задумался и заявил: «Нам нужен сторож, который топил бы печи и убирал бы после работы контору, — подметать и раз в неделю помыть полы, ночевать в конторе. Справишься?» Я вспомнил, как я подметал бульварчик, как мыл базарную уборную и заявил, что, конечно, справлюсь.

— Но работать надо не днем, а после окончания рабочего дня, а печи топить с раннего утра, чтобы к приходу служащих все печи были горячие.

Я согласился и на это. Подумаешь, в 4 часа дня кончается работа в конторе, — до 8–9 вечера я уберу, а в 5 часов утра затоплю, и к 9 часам мои печи нагреются. Не сказал мне только старичок, что и дрова пилить и колоть придется мне самому. В одной из внутренних передних он мне поставил плетеный диванчик — вроде кушетки — и сказал: «Принеси подушечку и одеяло, и сможешь здесь отдыхать». Я так и сделал. На работу я должен был явиться с вечера 1-го января (тогда еще Новый год не праздновали) к 7 часам.

И вот 1-го января, когда стемнело, мать мне дала небольшую подушку, дала солдатское рыжее шерстяное одеяло, я завернул в него подушку, перевязал веревкой, взвалил на плечи и пошел в ЧЕПО. Был сильный мороз. На дворе темно. Я шагал по главной улице Шевченковской. Вижу, навстречу по дороге едут два верховых красноармейца. Увидели и они меня. Окликнули: «Стой!» Я остановился. Они въехали на тротуар: «Что несешь?» Я спокойно отвечаю: «Подушку и одеяло».

— Где взял, куда несешь?

Я объяснил, что взял дома, мать дала, а иду в ЧЕПО, так как должен там работать, а это — я показал на узел — когда прилягу отдыхать.

— Ясно, — сказал один из них тоном, по которому было видно, что ему ничего не ясно, — выходи на дорогу и шагай!

Я подчинился, думая, что меня отпустили, и я могу спокойно идти в свое ЧЕПО. Однако они меня не отпустили, а поехали рядом. Я оказался между двумя лошадьми. Красноармейцы сопровождали меня как конвоиры. «В комендатуру!» — услышал я голос одного из них. Я немного струсил. При чем здесь комендатура? Я же не военный и вообще мальчишка. Ничего предосудительного не сделал. Отвечал им сущую правду. Конечно, это патруль. Время, считай ночное, ведь уже в 5 часов вечера на дворе темно, а в Черкасах всего 3–4 дня назад хозяйничали бандиты. Сейчас пришла регулярная воинская часть, и для спокойствия разъезжают патрули и задерживают подозрительных. А я, мальчик, несу солдатское одеяло, говорю, что иду на работу на ночь, так зачем же на работе подушка и одеяло? Конечно, это им показалось странным. Да, они решили, что подушку и одеяло я где-то украл, и ведут в комендатуру для выяснения. Там, конечно, начальник все быстро выяснит и меня отпустит. Я, может быть, только немного опоздаю, так что особых причин переживать и волноваться нет.

Так я шел, размышлял и успокаивал себя. Но случилось не совсем так, как я рисовал в воображении. Привели меня во двор дома, где расположилась военная комендатура. Спустились в подвал. В первой комнате стоял стол, и горела не то коптилка, не то трехли-

нейная лампа с закопченным черным стеклом. Вокруг стола и сбоку на скамейках сидело человек шесть красноармейцев с винтовками. Сбоку была дверь.

— Вот задержали подозрительного пацана, — сказал мой конвоир. Один из красноармейцев поднялся, отпер висячий замок на этой двери, грубо меня схватил за плечо и толкнул во вторую комнату. Там было совершенно темно. Я сразу же наступил на чьи-то ноги, послышалась матерная ругань, смысла слов которой я не понял, а дверь уже захлопнулась, и слышен был только звук закрываемого замка. В абсолютной темноте, наступая или задевая за чьи-то тела и ноги, я пробрался к стенке, нашел свободный уголок, положил свой узел на пол и присел на него. Я понял, что это камера для арестованных. Но я? При чем здесь я? Почему меня не повели к начальнику, а впихнули в подвал для арестантов? Может, это бандиты? Что я имею с ними общего? Что же будет дальше? И как с работой? Ведь не на кого оставить контору и никто сегодня после работы не убирал. Кто же завтра вытопит печи? Еще не работая, я уже чувствовал ответственность за свою будущую работу. Рядом чиркнула спичка. Я увидел, что комната полностью набита людьми — в солдатских шинелях и в гражданской одежде. Люди все сидели и лежали прямо на полу. Рядом со мной лежал кто-то в шинели. Это он зажег спичку, посмотрел мне в лицо, ощущал рукой мой узел. Когда спичка потухла, он безразличным голосом заявил:

— Расстреляют. Как пить дать расстреляют.

— Кого расстреляют? — не выдержал я.

— Тебя, конечно. Вот я ложку у товарища спер, и то грозят расстрелять, а тебя за солдатское одеяло, ясное дело, никакой пощады не будет.

У меня пошли желтые круги в глазах, я хотел крикнуть: « Не виноват я, ни в чем не виноват! Я правду говорил! Ведите меня к начальнику! »

Но я не проронил ни слова, только молча стал глотать слезы. Всякие мысли лезли в голову. Наконец, я устал и заснул. Утром меня повели к коменданту, может, к дежурному, не знаю. За большим письменным столом сидел человек в военной форме, с двумя

пулеметными лентами на груди, с несколькими гранатами на боку, в черной кубанке с огромным красным бантом. Перед ним на столе лежал наган. Сбоку телефон.

— Кто такой? Что нес? Куда шел? Почему вечером, разве не знал, что с 6 часов комендантский час, и ходить по улицам запрещено?

Я повторил все, что говорил еще вчера патрулю, назвав еще только свою фамилию и имя.

— Кто тебя в ЧЕПО знает и кто твой начальник?

Фамилии завхоза я не знал, да и вообще никого не знал, и меня также никто не знал, кроме завхоза, которому я оставил свое заявление о приеме на работу. Я сказал об этом коменданту. Он снял трубку, попросил связать с ЧЕПО, вызвал завхоза и, расспросив обо мне, сказал, что я был задержан комендатурой, но что меня освобождают, и я скоро приду.

— Бери свое одеяло и подушку, — сказал он с усмешкой, — иди работай, но больше по ночам ни с каким барахлом не шлейся, а то второй раз не отпустим.

Вот и все. Я пришел в ЧЕПО и стал работать. Должность — сторож. Обязанности: сначала уборка помещения конторы, сперва шесть комнат, а с переходом в новое помещение, дом бывшего грабаря Дорожкина — девять комнат, пилка, колка дров, топка печей. Потом добавились обязанности: днем работать курьером, убирать конюшню на 14 лошадей, ночью смотреть за лошадьми, подбрасывать им сено с чердака, готовить в кормушках сечку с половой и отрубями, насыпать порции овса с викой, поить лошадей. На работу приняли нескольких парней конюхами. Они приходили к 7 часам утра, а уходили в 6 часов вечера. Чистили лошадей, запрягали, ездили за товаром, развозили по магазинам или выполняли другие работы. ЧЕПО, имея сравнительно большой транспорт (все-таки 14 лошадей), брало подряды на перевозки для других организаций. Все остальное время, то есть от 6 вечера и до 7 утра, лошади были под моим присмотром. Убирали конюшни, грузили навоз для вывозки вместе со мной еще два парня по фамилии Жила — Мишка Жила — мой ровесник или на год старше и его брат Митька Жила года на четыре старше.

Когда наступила зима 1921 года, кстати говоря, очень суровая, возчиков (или конюхов) и меня (сторожа) правление ЧЕПО стало использовать на перевозке для пивоваренного завода льда с Днепра. Лед был толстый, сантиметров 40, а то и больше. Каждый запрягал в сани по одной лошади, сами вооруженные баграми и ломами, мы ездили на Днепр, подъезжали к проруби и ударами лома откалывали куски льда, потом баграми цепляли эти куски, выволакивали на целинную часть ледяного покрова реки, затем грузили на сани и отвозили на пивзавод, где по желобам спускали этот лед в подвал завода. Все бы ничего, если бы я не мерз. Обуви у меня не было. Я старым байковым одеялом, разрезанным на куски, обматывал себе ноги в несколько слоев, обвязывал веревками. Но, работая у воды, моя самодельная обувь быстро намокала, ноги коченели, и как я их не отморозил окончательно, не знаю. Может, непрерывное пританцовывание и движения спасали меня. Во всяком случае, возвращаясь с работы, я подолгу их оттирал, а вот Мишка Жила, ходивший в кожаных сапогах, отморозил себе на обеих ногах все десять пальцев и надолго выбыл из строя.

Один раз с нами произошел интересный случай. Дня два или три нас не посылали за льдом на Днепр. Был сильный мороз, градусов под 30, а может, были другие перевозки, но вот поступила команда опять отправиться на Днепр. Когда мы — я и еще несколько хлопцев — приехали с лошадьми на реку, мы не смогли найти нашу прорубь. Ее затащило свежим льдом, да еще присыпало снегом. Накануне была метель, и весь день и ночь валил снег. Боясь, чтобы лошади не провалились в прорубь, так как молодой лед, надо полагать, был еще тонкий, мы начали метров за 50 выше нашей проруби рубить новую. Дело оказалось довольно трудным. Ломом стали поочередно бить лунку. Когда пробили лед насквозь, и образовалась дырка сантиметров 10 в диаметре, из нее стала выливаться вода. Видно, подо льдом был напор днепровской воды. Стоя в луже воды, мы стали расширять лунку, и когда ее диаметр уже равнялся полуметру, из воды вдруг выскочило что-то большое, синего цвета. Выскочило и плюхнулось на лед. Начало извиваться, подпрыгивать. Короче говоря, мы поняли, что это большая рыба, метров до двух

длиной. Наши лошади испугались и понеслись в разные стороны. Испугались и мы. А вдруг наши лошади попадут в чуть подмерзшую и занесенную снегом прежнюю полынью, провалятся и пойдут под воду. Мы побежали догонять своих лошадей. Те, отбежав шагов 100–150, остановились. Но пока мы добрались до них и вернулись назад, — нашей рыбы уже не было. Какие-то дядьки с берега погрузили ее на свои сани, и нам только помахали руками. Рыба эта оказалась большим осетром. Да, тогда в Днепре водились осетры. Мы тогда не знали, что это была за рыба. Делать нечего. Добычу упустили.

Мы продолжали работать — откалывать лед и возить на пивзавод, в тайне надеясь, что может нам повезет, и выскочит еще какая-нибудь рыба. Напрасные надежды. Возвращаясь назад в ЧЕПО, мы проезжали мимо центрального магазина на углу ул. Свердлова и Шевченко-вской. Видим, в витрине лежит наш осетр — голова загибается на одну боковую стенку, а хвост на другую. Синий красавец, с серебряным брюхом, с шишками на спине и по бокам от головы до хвоста. Приехали в ЧЕПО, зашли к председателю и со слезами на глазах, перебивая друг друга, рассказали, как этот осетр попал к нам и как мы его прозевали. Председатель посочувствовал нам и сказал, что этого осетра привезли местные рыбаки, и ЧЕПО купило его у них. Теперь осетр полежит дня 2–3 на витрине как украшение — там мороз такой же, как и на дворе, — а потом его будут резать на куски и продавать на вес. Нам же, чтобы мы не переживали, он дал записку зав. магазином отпустить бесплатно по 2 фунта осетрины. На этом и кончилась история с осетром.

В конце 1921 года я вступил в профсоюз сотворгслужащих. В билете была записана должность — сторож, профессия — художник. Эту профессию мне придумали, так как я написал на белой бумаге красивым шрифтом несколько вывесок: «Бухгалтерия», «Председатель правления», «Секретарь», «Завхоз» и еще что-то. Вот сотрудник, который оформлял в профсоюз, и решил написать, что я художник. Потом это мне пригодилось, но тогда было безразлично, так как у меня не было фактически вообще никакой профессии. Так я работал до мая месяца 1922 года. Что я получал? Грустно

и смешно вспоминать. Денег даже не помню, сколько, так как деньги потеряли всякую цену. На рынке все расценивалось уже на миллионы рублей. Платили в основном натурой, но что это была за натура? Председателю я как-то раз отвозил [ее] на подводе, так внести в дом можно было только за 3–4 приема, в мешках. А мне, стоящему в списке в конце, например, месячный паек состоял из такого набора продуктов: пшена — 1 фунт, муки — 1 фунт, махорки — 8 пачек, уксусной эссенции — 5 флаконов, спичек — 1 десяток, пива — 1 ведро. Вот и живи месяц, да еще матери помогай. Я, конечно, махорку, пиво, спички, уксусную эссенцию нес сразу на базар и менял на пшено или ячневую крупу, пиво кружками продавал, а затем покупал себе хлеб, пшено или картошку, так что кое-как впроголодь едва мог прожить 10–12 дней. А что делать дальше? А дальше я находил выход в том, что, замешивая лошадям сечку с отрубями, я отсыпал себе отрубей. Засыпая в кормушки вику с овсом, я от каждой лошади брал себе горсть этой вики и овса, а затем по вечерам варил похлебку. Ел много, но не насыщался. Голод я чувствовал все время. Пек из отрубей коржи, но они не получались, жевал колючую труху. Я только вспоминал, как меня хозяйка в селе кормила белыми коржками в сметане или варениками по 15–20 слив в каждом.

В конюшне было всегда много лошадиного навоза. В этом навозе почти целый день греблись куры из соседнего двора, пролезавшие в дыру в заборе возле конюшни. Вот один раз я не выдержал, поймал курицу, полез с ней на чердак, где лежало сено для лошадей, зарезал, ощипал, выбросил все внутренности, а когда работа в конторе закончилась, стал в кастрюле варить курицу, заранее предвкушая сытную и вкусную еду. Вдруг заходит главный бухгалтер по фамилии Каневский.

— Ты варишь что-то вкусное... А! Это курица! — проговорил он.
— Где же ты ее взял?

Я обомлел. Ведь я совершил преступление. Поймал чужую курицу, зарезал ее и вот собираюсь съесть. Ведь это воровство. Я стал путано объяснять, что, мол, в конюшню зашли чужие куры, и лошадь одну из них пришибла копытом. Так вот, чтобы она не пропала даром, я ее дорезал и теперь варю.

– Ну ладно, я буду вечером работать поздно, а когда сварится, ты мне принеси одну ножку... и никому ни слова, — добавил он.

Я понял, что за куриную ножку он и сам никому «ни слова» не скажет. Конечно, когда сварилась моя курица, я ее разрезал на 4 части, одну часть с ножкой отнес ему в комнату, где он работал. Каневский приходил работать по вечерам несколько дней, и каждый раз меня спрашивал: «А сегодня лошадь курицы больше не ударила копытом?»

Меня мучила совесть, и я больше кур пока не трогал. Я опять сидел на лепешках из отрубей. Но намеки Каневского возымели свое действие, и я повторил номер с курицей. Каневский получил, как и в первый раз, свою четвертушку с ножкой, и я 2–3 дня питался курятиной. Все мое нутро восставало против этих поступков. Я проклинал себя за них. На мое счастье, хозяева с соседнего двора наверняка заметили пропажу двух кур, хотя их было больше двух десятков, и заделали дыру в заборе. Курицы перестали ходить в конюшню, и я был доволен, что моя охота на чужих кур кончилась.

Между тем страна взялась за восстановление разрушенных империалистической и гражданской войнами предприятий. Начались работы по ремонту Черкасского рафинадного сахарного завода. Дмитрий Жила, или как мы его просто называли — Митька, — работавший до революции на сахарном, уволился из ЧЕПО и пошел работать на сахзавод. Обещал, что когда отремонтируют, завод в сезон 1922–1923 гг. будет пущен в ход, он поможет мне и своему брату Мишке Жила устроиться на завод. Пока же мы продолжали работать в ЧЕПО.

Более подробно остановлюсь на братьях Жила, потому что судьба через многие годы меня опять столкнула и с Митькой, и с Мишкой, причем при совершенно непредвиденных обстоятельствах. Дело в том, что Митька Жила выскочил далеко вперед и вверх, и в 1939 году уже был заместителем Председателя Совнаркома Украинны, ну а Мишка... Но об этом скажу позже.

Май 1922 — август 1924 года

В начале мая 1922 года я прочел объявление, что существующие в Черкассах 42-е пехотные командные курсы объявляют набор курсантов. И я решил порвать с ЧЕПО, не ждать сахарного завода, а пойти учиться на командные курсы. Профессия военного меня всегда привлекала, может быть, потому, что мой отец был военным, может быть, потому, что я всегда с восхищением смотрел на пеших и конных красноармейцев, которые только своим появлением заставляли бежать из города всяких бандитов и даже такую армию, как деникинская. В общем, романтика военной судьбы сыграла тоже какую-то роль, а я ведь был мальчишкой, и всякая романтика привлекала меня с детства.

Я подал заявление в канцелярию курсов. Мне только 30-го мая должно было исполниться 17 лет, но меня приняли. Я подробно описал в биографии свою такую разнообразную «трудовую» деятельность, почему-то комиссия обратила внимание на мою профессию — художник, — попросили показать рисунки. В общем, меня приняли и зачислили «художником» в хозкоманду, дали койку в общежитии курсантов и прикомандировали к клубу для помощи действительно художнику, который работал по росписи стен и по изготовлению декораций для сцены.

Я приготавливал клеевые растворы, составлял колера (цвета), по готовым рисункам на стенах и фанере, сделанных художником, — раскрашивал, потом сам делал на бумаге эскизы виньеток или декораций — деревьев, колонн и пр.

Так я проработал недели две. Курсы занимали помещение бывшей мужской гимназии и прилегающий квартал зданий. Спальные комнаты курсантов были расположены в классах. В одной из них стояла и моя кровать. Поднимался я со всеми курсантами по сигналу трубы — «подъем», затем утренний туалет, потом курсанты шли завтракать, а затем — на классные занятия. Я же после завтрака имел час свободного времени, а затем шел в клуб. Где-то числа 10-го июня меня вызвали в канцелярию, и адъютант начальника курсов

дал мне планшетку с участком карты. На карте была река, несколько сел и отдельных хуторов, кусок леса, луг, болото, пашня. Черными квадратиками были показаны отдельно стоящие сооружения, например ветряная мельница, хата лесника. Показан на речке брод и мостик.

Адъютант дал мне такой же величины лист белой бумаги, дал карандаш, краски, кисточки и сказал, чтобы я попробовал нарисовать такую карту. Я разлинейил бумагу на квадраты, как это было на планшете, и за несколько минут перерисовал всю карту, затем красками раскрасил речку голубой, лес и зеленые насаждения — зеленой, поле — желтой, села и отдельные здания — черными квадратиками. Получилось очень хорошо. Я даже сам удивился. Ушло на все это минут 15–20.

Адъютант был в восторге, побежал к начальнику курсов Шатунову, — между прочим, полковнику Генерального штаба царской армии (тогда по приказу Реввоенсовета все царские офицеры Генерального штаба, занимавшие какие либо должности в Красной Армии, на всех бумагах и документах обязаны были после своей должности добавлять звание, полученное в царской армии). Шатунов так и подписывался: Начальник 42 пех. ком. курсов, полковник Генерального штаба.

Возвратившись от начальника курсов, адъютант заявил мне, что курсы скоро едут на маневры в район города Полтавы. Карта, которую он мне дал, и еще другие карты — это район маневров. Такие карты должны быть у каждого курсанта. Ведь они — будущие командиры, и должны научиться ориентироваться на местности по карте. Но получили они ограниченное количество планшеток. Так вот, на меня возлагается задача в течение недели нарисовать что-то штук 300 различных карт, поэтому мое хождение в клуб отменяется, и я должен сидеть в канцелярии и рисовать, рисовать, рисовать.

К моменту выезда курсов на маневры в Полтаву я полностью заказа не выполнил, хоть и старался всю, прихватывая, когда можно было, и время после 4-х часов дня, когда адъютант оставался работать, так как, уходя, он все данные мне планшетки и нарисованные карты запирает в сейф. Предложено было ехать и мне.

И вот я в Полтаве, вернее в 14 километрах от Полтавы возле села Патлаевка. Село расположено на склоне горы, внизу луг, по лугу извивается речка Ворскла. Берега реки то песчаные, то заросшие ивами. Глубина реки в отдельных местах едва доходила до колен, а в некоторых так глубоко, что я и другие курсанты пытались нырять, чтобы достать дно и никто не мог достать. Между прочим, у меня на левой ноге на бедре и сейчас еще есть шрам длиной сантиметров 15. Это я, пытаюсь достать дно, нырнул, напоролся на какую-то корягу и разрезал ногу.

Палатки курсантов разбили на лугу возле ставка. Там же поставили палатку для канцелярии. В канцелярской палатке разместились два писаря — один от хозяйства, один — от строевой, капитанармусы и я. Поставили там и три столика. За одним из них я работал, продолжая рисовать карты.

На лагерный сбор, кроме наших 42-х Черкасских, прибыли еще 92-е Лубенские и 52-е Кременчукские командные курсы, а также 14-я пехотная командная школа. Курсы разместились по соседству с нами, а 14-я школа занимала свои зимние помещения, расположенные в полутора-двух километрах на горе.

Так прошла неделя, может быть, две. Курсанты занимались учебными стрельбами, изучали карты предстоящих маневров, изучали теорию военного искусства — всякую тактику, стратегию, фортификацию и прочие военные науки. Я рисовал карты, писаря писали приказы: «полагать выбывшим», «полагать прибывшим», «снять с довольствия», «зачислить на довольствие». Выдавали выходящим продовольственные и денежные аттестаты, объявляли расписание занятий, в общем делали то, что полагается писарям.

Начальник курсов, комиссар, адъютант, завхоз, комбаты и командиры рот разместились по хатам в селе Патлаевка. Кончали работу в 4 часа дня, и до вечера было свободное время. Шли купаться или в деревне помогали крестьянам молотить цепями хлеб. Здесь мне пригодилась учеба, которую я получил еще в 1920-м году, будучи батраком у дядьки железнодорожника в селе Ротмистровка. Многие удивлялись: я, городской парень, 17-ти лет, а молотил гораздо ловчее, чем другие курсанты — коренные крестьяне. Что ж,

всякая наука когда-нибудь да пригодится, как говорят, за плечами ее не носить.

Но вот один раз ко мне в палатку зашел адъютант курсов и объявил, что карт я намалевал уже достаточное количество, а с завтрашнего дня меня откомандировывают в распоряжение начальника 52-х Кременчукских курсов, где я должен также рисовать карты. Канцелярия 52-х курсов была расположена в бывшем помещицьем доме на склоне горы, примерно в одном километре от нас.

На следующий день я пошел туда, явился в штаб, представился адъютанту 52-х курсов, и примерно с неделю рисовал карты, но уже с иной планшетки, чем карты для наших курсов, что внесло разнообразие в мою работу. Мне уже осточертело рисовать изо дня в день одни и те же карты. В комнате, где я работал, сидела только одна машинистка, а адъютант ей беспрерывно диктовал. Я не прислушивался, так как был поглощен своей работой, но иногда до меня долетали отдельные слова, вроде: «Траекторией полета пули называется воображаемая линия...» и т. д.

На питание я был прикреплен к 52-м курсам. Утром приходил к 8 часам — у меня уже на столе стоял котелок с горячим завтраком, хлеб на весь день, сахар. Для чая в коридоре был куб, и я мог пить сколько хочу. Днем, в 12 или в час дня, мне приносили котелок с борщом и миску с кашей и куском мяса на обед, а вечером я не ужинал, так как ходил ночевать в свою палатку и ужинал со своими ребятами уже за счет 42-х курсов. Так прошло около недели. Но вот один раз утром адъютант 52-х курсов мне говорит:

— Сегодня ты рисовать не будешь, а сходи в город Полтаву и купи на почте десяток конвертов. Не торопись вернуться к обеду. Обед твой будет здесь ждать тебя, а [ты] посмотри город.

Шутка сказать, сходи в Полтаву. Это 14 километров туда и 14 назад, итого 28 километров, да еще по городу несколько километров, и все это из-за десятка конвертов. Но я усвоил, что приказ командира не обсуждают, а выполняют. Съел свой завтрак, завернул кусок хлеба в карман и пошел в Полтаву. Ближайшей дороги не знал, а поднялся на гору и там попетлял лишних, может, 3 километра, но до города дошел, нашел почту, купил конверты и пошел об-

ратно. Пришел в штаб 52-х курсов часов в 6 вечера. Застал адъютанта и машинистку. Бедная, думаю, целый день ее заставляют работать, тогда как мы у себя на 42-х курсах кончаем работу всегда в 4 часа дня.

Он поблагодарил. «Садись кушай, наверно проголодался, и иди отдыхай».

Я поел холодный борщ, кашу и уставший поплелся в расположение 42-х курсов в свою палатку.

На другой день утром адъютант мне говорит:

– Ты знаешь, я забыл тебе вчера сказать, чтобы ты купил еще марок для тех 10 конвертов. Придется пойти еще раз в Полтаву. Но ты не торопись возвращаться. Может, в кино захочешь пойти или еще куда-нибудь, погуляй, а с марками придешь завтра утром. Вот тебе деньги на марки и на кино, а если проголодаешься — возьми с собой хлеб, и вместо обеда вот тебе колбаса, несколько яблок и кусок сала. Как-нибудь перебейся и потерпи...

Говорит, а в глазах насмешка, да еще как-то странно подморгнул машинистке. Я стал кое-что соображать, понял, что он ухаживает за машинисткой, а я им мешаю, вот и спроваживает меня то за конвертами, то за марками... На другой день я в штаб 52-х курсов к 8 часам утра не пошел. Обыкновенно в 8 утра все курсанты строились на утреннюю линейку, приходил начальник курсов, комиссар, адъютант, обходили строй, давали какие-то указания, и курсанты поротно уходили на занятия. Я подождал, когда все разошлись, подошел к нашему адъютанту, и стал рассказывать, как меня посылали в Полтаву за конвертами и марками адъютант 52-х курсов и как он моргал машинистке. К нам подошел комиссар Иванов. Он слышал мой рассказ и вмешался в разговор:

– Вот что т. Худяков, ты к ним больше не ходи. Марки дай мне, я им сам отдам, а иди помогай нашим писарям, а то они запарились.

Я отдал комиссару марки. Затем он спросил, как мне понравилась Полтава, что я вчера смотрел, какую картину. Я сказал, что в кино не был, днем был в музее, осматривал в городе памятник Котляревскому, колонну, где отдыхал Петр I после победы над шведами, и вообще город, а вечером в парке, где памятник победы над

шведами (Памятник славы) я смотрел цирковой аттракцион — езду на велосипеде в колесе, подвешенном на высоких столбах. Мне очень понравилось, но пришел в наш лагерь уже после полуночи.

— Тогда сегодня отдыхай, покупайся в речке и поспи, — сказал комиссар. На этом и кончилась моя командировка в 52-е Кременчукские курсы.

На маневры меня не взяли — было освобождение санчасти, так как за несколько дней до начала маневров я сильно порезал ногу при купании (нырянии), как я уже говорил раньше. А жалко. Мне очень хотелось побывать в походе, поучаствовать в «боевых действиях».

Пребывание в лагерных сборах у меня связано еще с рядом воспоминаний. Например, к нам приезжал командующий войсками УкрКрыма [Р. П.] Эйдеман. Он был на легковой машине. Но как раз в этот день прошел дождь, а почва была глинистая. Кто знает, что делается на глинистых дорогах после дождя, — поймет. Машина Эйдемана, при всем старании шофера, не могла одолеть гору, на которую надо было въехать. Поднявшись на несколько метров, машина начинала буксовать и скользить вниз. Пришлось курсантам и мне в том числе легковушку Эйдемана вытягивать на гору, — а это подъем метров 300–400.

Помню я и сплошную ночную грозу с ураганным ветром, когда наша палатка едва не улетела — мы впятером едва ее удержали, а маленькие палатки курсантов ураган разметал во все стороны, причем штук 20 палаток улетело за 3–5 километров. Потом крестьяне находили и приносили эти палатки.

Помню, как небольшой ставок, возле которого были расположены наши походные кухни, почти высох. Ставок был искусственно когда-то вырыт в виде прямоугольника размерами примерно 150 на 50 метров и обсажен ивами. Весной, во время разлива Ворсклы ставок заливался водой. Потом луг вокруг ставка высыхал, покрывался травой, а в ставке оставалась вода глубиной метра 3. Но к середине лета он пересыхал, на дне воды было не более одного метра, а может, и меньше, и это была не вода, а жидкая грязь. И вот как-то раз подъехали к ставку несколько крестьянских подвод. Их окру-

жали ребятишки — хлопцы лет по 8–12. Ребята поскидывали штанишки и с ведрами полезли в ставок. Меся ногами грязь, они руками выбирали в ведра рыбу и передавали на берег. Крестьяне высыпали эту рыбу в кузова подвод, и пустые ведра передавали хлопцам. Те в течение 5–6 минут наполняли их снова. Так, через какой-нибудь час-полтора подводы были наполнены рыбой — караси, линьки, окуни, выюны. Наши повара, или как их называли кашевары, стояли и только рты разевали. Я да и никто не думали, что в таком небольшом ставке может быть столько рыбы.

Курсы ушли на маневры, километров примерно за 30 от нашей стоянки. Остались только больные под присмотром медсестры, в том числе и я, да еще один писарь и один каптенармус. Делать нам было нечего, и дней десять мы только ели, купались, загорали.

Но вот вернулись курсанты. 42-м Черкасским командным курсам по результатам маневров приказом Реввоенсовета и командования УкрКрыма было присвоено звание «славные». Отныне полное наименование курсов было «42-е Черкасские славные пехотные командные курсы». В начале августа мы свернулись, пришли на северный вокзал Полтавы, погрузились в вагоны и поехали домой в Черкассы. Город встретил нас торжественно. Оркестр на вокзале, оркестр по пути с вокзала в расположение курсов. На Смелянской улице и на углу Шевченковской и Свердлова были сооружены деревянные ажурные арки с транспорантами: «Привет славным 42 Черкасским пехотным командным курсам» и «Добро пожаловать славным курсантам». У всех было приподнятое настроение.

Я забежал на полчаса домой. Мать и сестры отметили, что я подрос, загорел и как будто бы немного, что вполне возможно, возмужал. Почти два месяца пробыть день и ночь на свежем воздухе, хорошо питаться и совершенно не переутомляться работой, заниматься в меру физическим трудом, — конечно, сделали свое дело.

Меня опять отправили в распоряжение художника клуба. За время лагерных сборов в корпусе, где располагались курсанты, был сделан ремонт, побелены стены, потолки, покрашены окна и двери. В результате этого все написанное прямо на стенах: лозунги,

нарисованные в простенках виньетки были смыты, и помещения спальных комнат и коридоры выглядели пустыми, голыми. Художнику и мне предстояло наново их размалевать, чем я и занимался по возвращении из лагерных сборов.

В остальные дни я работал в клубе, где готовились постановки самодеятельности курсантов, размалевывали фанерные декорации.

Но у меня была еще одна забота. Дело в том, что еще, работая в ЧЕПО, в конце апреля я взял участок под огород. Взял тайком, ничего не говоря матери, хотел преподнести сюрприз, так как меня мучила совесть, что я в последнее время ничем не мог помогать ей и сестрам, а им — четырем человекам — приходилось существовать только на одну зарплату матери, работавшей сиделицей водопроводной будки, да на скромные доходы от продажи семечек или пирожков, которые мать пекла, а Вера и Ляля носили на бульварчик и на вокзал продавать. Короче говоря, они голодали, а что такое голод, я знал.

Участок под огород был очень велик — 300 саженей, это 14,6 соток. Половину участка я отдал человеку, который мне его вспахал, а половину оставил себе. Я еще до поступления на курсы его засадил кукурузой, картошкой и рассадой помидор, не считая мелочи — редиски, огурцов, буряков. Труднее всего пришлось доставать картошку, потому что остальные растения рассевались семенами и стоили сравнительно недорого. Рассаду помидор достало для своих сотрудников ЧЕПО и выдавало в счет зарплаты. Итак, я свои 7 соток (тогда считали еще по сажениям, то есть 150 саженей) засадил и... забросил. Поступил на курсы, а потом в лагерь, и мне было не до обработки огорода. И вот, возвратившись из лагерных сборов и выкроив время, я пошел за город посмотреть, что же вышло из моего огорода. К моему удивлению, земля оказалась очень хорошей, не засоренной бурьянами, лето было очень благоприятное и в смысле тепла, и дождей, и мой огород даже без прополки дал обильный урожай. Я даже растерялся. Договорился с соседом по дому, где жила мать, после работы в клубе я брал ручной возок и ежедневно ездил на огород, собирал помидоры, рвал кочаны кукурузы, копал молодую картошку и вечером привозил полный возок домой. Даже

после этого, уже в сентябре, я выкопал что-то мешков 5 картошки, мешка 3 кочанов кукурузы, буряков, морковки. Пропали у меня только полностью редиска и огурцы. Конечно, я не забывал и своих курсантов — товарищей по спальной комнате — и ежедневно приносил в кошелке им в дополнение к питанию, какое они получали, помидоры или кочаны кукурузы, а они покрывали мои поздние возвращения, и на вечерней поверке, когда выкликалась моя фамилия, кто-нибудь из задних рядов выкрикивал: «Есть».

В начале сентября на курсы приехал инспектировать представитель Киевского Управления учебных заведений некто Евгений Станиславович Яцевич. Этот Яцевич, как я потом узнал, был родным братом моей матери. Но в те дни, что он был в Черкассах, я его видел раза два-три, а он, возможно, меня и не видел вообще. Он мне с первого взгляда не понравился. Держался высокомерно. Выправка у него была старая офицерская, а я уже привык к простому человеческому отношению и со стороны курсантов, и со стороны командного состава — командиров рот, комбатов, комиссара, адъютанта, который меня даже называл не по фамилии, а по имени — Федя. Мать кое-что о нем рассказала.

Частично из ее рассказов, частично из личного знакомства с ним и его документами, с которыми я познакомился впоследствии, я узнал, что дядя Женя имел не ахти какую биографию. Учился в кадетском корпусе. За неуспеваемость и нехорошее поведение был из корпуса с 6-го или 7-го класса исключен. Сбежал из дому. Несколько лет где-то пропадал. Потом объявился в роли служащего на железной дороге не то в Витебске, не то в Минске. Женился, имел двух детей. В 1912 году был призван в царскую армию в качестве «вольноопределяющегося». Была такая категория для лиц, не имевших законченного среднего образования. В начале империалистической войны был направлен в школу прапорщиков, в 1915 году окончил школу, был произведен в прапорщики. Будучи на войне, получил звание подпоручика, потом поручика. В конце 1917 года вступил в Красную Гвардию, затем перешел в Красную Армию, участвовал в гражданской войне в составе Красной Армии, дослужился до должности командира дивизии, а потом — потом

начал скатываться вниз. Жена в 1919 году его бросила и уехала с двумя детьми куда-то, и он о ней и детях ничего не знал. В Красной Армии его постепенно за разгульную, распутную жизнь, за пьянство понижали в должностях от командира дивизии до командира взвода (это уже в 1923 году), а в конце 1923-го года в аттестационном порядке уволили из рядов Красной Армии. Об остальных эпизодах я напишу потом.

Меня перевели в канцелярию писарем в хозчасть. Я попал под начальство делопроизводителя хозчасти по фамилии Чижики. Этот Чижики начал меня учить делопроизводству: как писать бумажки, где размещать штамп, где должны быть подписи, какой формат бумаги допустим при разной величине написанного, где оставлять место для резолюции, что такое входящий и исходящий журнал, как подшивать дела, и прочей канцелярской премудрости.

В конце сентября 1922 года мой дядя Женя переводится в Черкасы на должность начальника учебной части командных курсов. Ему в здании школы на углу улиц Карла Маркса и Свердлова (напротив здания профсоюзов, в котором помещались учебные классы командных курсов) выделили комнату, а смежную с его комнатой с отдельным выходом в коридор отвели под общежитие писарям курсов. В эту комнату поселили меня и еще двух писарей. Не знаю, может, это произошло по «протекции» моего дяди, но я переселился из спального корпуса курсантов в комнату при учебной части. Мой дядя начал меня использовать как денщика — я убирал его комнату, носил к прачке грязное белье, бегал за папиросами и за водкой (самогоном) в столовую и т. д. По должности, как писарь хозчасти курсов, я был избавлен от утренних и вечерних проверок, от обязанности в 10 часов вечера ложиться спать, а в 6 часов утра по сигналу «подъем» — вставать. Я имел свободного времени больше, так как занятия в канцелярии курсов были от 9 утра до 4-х [часов] дня.

Питался я в курсантской столовой, а для комсостава была отдельная столовая, где питался мой дядя. Питание в курсантской столовой было очень неважное. Мне, мальчишке, явно не хватало, а что говорить о курсантах. Хоть паек и назывался «фронтвой», но вместо хлеба нам давали мамалыгу — 500 грамм застывшей куку-

рузной каши. Мы съедали ее в один присест, а обедали и ужинали без хлеба. Какая-то баланда на первое, что-то вроде рассольника и пару ложек размазни — пшенной каши. Мясо бывало не чаще двух раз в неделю, по кусочку величиной со спичечную коробку. Среди писарей курсов даже ходили такие разговоры:

— Сколько нужно давать хлеба на паек?

— Я думаю, не меньше 8 фунтов в день (это 3,2 килограмма).

— Ну, это ты загибаешь!

— Ничего не загибаю, считай: утром за завтраком ты съешь 2 фунта?

— Запросто...

— За обедом еще 2 фунта, вечером за ужином опять 2 фунта, вот уже шесть, а вечером, когда придешь из кино или клуба, перед сном жрать хочешь? Съешь еще 2 фунта. Вот тебе и все 8 фунтов. А ты говоришь, что загибаю.

Так мы мечтали, и ложились спать с пустыми желудками. Один раз я предложил всей компании писарей хозяйственной и строевой части — это человек семь — сделать в складчину вареники с вишнями. Получили 20-го сентября жалование. Все выложили свою месячную зарплату. Двое из нас пошли на базар, купили ведро вишни, с полведра сметаны, несколько фунтов белой муки, полдюжину яиц и сахар. Затем меня и еще одного писаря Кузьменко деловой Чижик освободил от работы, мы заперлись в нашей комнате и налепили несколько сот вареников. Разложили по койкам на газеты, на окнах, на столах. Пошли искать посуду, чтобы варить. В соседней усадьбе жила одна женщина, у которой были свиньи. Она нам предложила трехведерный котел, в котором она варила свиньям лущипайки и другую какую-то еду. Мы взяли котел, почистили его, и на дворе, на кирпичках, вскипятили воду, сварили вареники, через дуршлаг, взятый у той же женщины, процедили и разложили подсушить. Потом в 2-х ведрах залили сметаной, пересыпали сахаром, и к 4-м часам вареники были готовы. После окончания рабочего времени мы все собрались, пригласили и деловода Чижика и адъютанта, хотя они в складчине не участвовали. С шутками и смехом мы начали поедать вареники. Мы их ели часа два, вареники были на славу.

И долго еще потом вспоминали эту затею, хотя она и стоила нам, семи человекам, месячного жалования.

Прошло два месяца. Я работал писарем в хозчасти курсов, жил еще с двумя писарями — один по фамилии Кузьменко, другого не помню, так как он вскоре куда-то выбыл, и со своим уважаемым дядюшкой в соседней комнате. По утрам убирал дядину комнату. Особенно мне доставалось, когда накануне дядя устраивал у себя вечеринки, вернее, попойки с какими-то девицами, затем по очереди с Кузьменко убирали нашу комнату, шли завтракать в курсантскую столовую, потом — работать, и возвращались после 4-х часов, иногда я еще забегал в клуб, и по старой памяти помогал художнику малевать декорации. Моя мечта быть строевым командиром не сбылась, а такая жизнь мне была не по душе, я начал тяготиться, тем более, что пошел слух о ликвидации командных курсов, и в канцелярии стали приводить все старые дела в порядок — подшивать, нумеровать.

Действительно, в начале ноября месяца был получен приказ о ликвидации курсов. Личный состав был распределен по воинским частям, кое-кого направили в 14-ю Полтавскую школу, вольнонаемных задержали до 1-го января для осуществления ликвидации. Я не считался курсантом, так как еще в мае медкомиссия по зрению (я на один глаз почти не видел) меня забраковала для строевой службы. Я был на каком-то неопределенном положении, — не то вольнонаемный, не то на действительной службе как доброволец (мой год еще не призывался). С меня была взята подписка, что я обязан прослужить в армии не менее двух лет. Короче говоря, меня перевели в 73-й стрелковый имени Чапаева полк, стоявший тогда в Черкассах. Туда же перевели и писаря Кузьменко, нас обоих на должности писарей. Кроме нас, туда перевели из числа оканчивающих курсы человек 10 курсантов на должности командиров отделений, завхоза Терпугова на должность начальника хозкоманды и моего дядюшку на должность командира батальона.

Итак, с 1-го января 1923-го года я — писарь штаба 73-го стрелкового имени Чапаева полка. Меня назначили писарем строевой части и вменили в обязанность ведать «столом» учета ком., адм.,

хоз. и политсостава. Я должен был вести на каждого командира, поллитработника, на лиц админхозсостава послужные списки, отмечать в них все перемены по службе, накапливать аттестационный материал, отражая это в послужных списках, готовить материал о прибытии, выбытии, перемещениях, составлять для дивизии весь отчетный материал о движении ком., админхоз. и политсостава.

Все дела, какие я вел или [которые] находились у меня в работе, были секретными, и в зависимости от степени секретности литеровались «А», «Б» и «К». Во время работы к моему столу никто не имел права подходить ближе, чем на 1 метр, а на ночь я запирали их в нестораемый сейф, который запечатывался и находился под охраной часового наряду с другими секретными сейфами, денежным ящиком и знаменем полка. Эта работа была очень ответственной, и я отнесся к ней со всей серьезностью. Меня можно было убить, но я ни одним словом не проболтался бы о том, с чем мне пришлось сталкиваться.

Как пример скажу, что мой дядя Женья мучил меня допросами в части характеристики, данной ему аттестационной комиссией, а его один раз понизили в должности с комбата сразу на комвзвода (правда, взвод был конной разведки), а потом вообще уволили из рядов Красной Армии. Я про эти его перемещения знал за 6 месяцев до их осуществления, но ни одним словом ему не промолвился. Я сказал, что взвод, в который перевели дядю, был конной разведки, не случайно. Надо отдать справедливость — дядя ездил прекрасно верхом, держался в седле прямо, артистично. Будучи еще комбатом, ему полагалась верховая лошадь и, вполне понятно, верховой ординарец. И вот дядя решил учить кататься верхом своих знакомых девушек. По воскресеньям ординарец приводил двух оседланных лошадей — свою и дядину — к нашему дому, и дядя с какой-нибудь своей кралей отправлялся верхом на прогулку. Это весной и летом, а зимой ему в хозкоманде запрягали лошадь в сани, и до позднего вечера он катал девиц на санках. Вполне понятно, что отводить лошадей, оседланных или запряженных в санки, обратно в расположение полка он поручал мне. Пользу из этого я извлек только ту, что научился немало ездить верхом и... полюбил лошадей.

Так прошел 1923-й год. Днем я работал в штабе полка, летом нас, писарей, выводили на стрельбище. Я по стрельбе в числе первых не был, но и не плелся в хвосте, занимал средние места, досконально изучил винтовку, мог ее разобрать и собрать до последнего винтика, и вызывал взрыв смеха, когда рассказывал, как еще в 1920 году мне в военкомате дали сопровождать подводу, вооружив винтовкой без затвора.

К нам — писарям штаба полка — был прикреплен политрук по фамилии Гадяцкий. Он раз в неделю проводил политзанятия. Изучали историю партии, начиная со времени отмены крепостного права, народничества и дальше — организации революционных кружков, создания партии РСДРП, раскол на II съезде на большевиков и меньшевиков. На политзанятиях изучали историю революций — 1905 года, февральской 1917 года и Великой Октябрьской революции, роль Ленина во всем революционном движении. Я впервые столкнулся с новой для себя наукой о классовой борьбе, о развитии общества. Многие события, свидетелем которых я был и которые не вполне понимал, стали для меня ясными. Были занятия на антирелигиозные темы. Политрук Гадяцкий дал мне несколько книжек, и я сделался твердым, убежденным атеистом.

Потом, несколько лет спустя, я свои знания пополнял, занимаясь в 1927–1928 годах в политшколе нормального типа, читая много литературы — Ленина, Фридриха Энгельса, частично «Капитал» К. Маркса. Недостаток общего образования не давал мне возможности одолеть такие произведения, как «Диалектика природы» Ф. Энгельса или «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, но «Анти-Дюринг», написанный более популярно, мне был полностью по плечу. Но это все потом, а пока мы осваивали азы политграмоты и политэкономии из уст Гадяцкого, который, как я понял потом, и сам был, к сожалению, не ахти какой грамотный, но твердый, убежденный коммунист. Он тогда мне казался профессором, и я сохранил о нем самые лучшие воспоминания и большую [к нему] благодарность.

Несколько слов о том, что собой представлял наш 73-й стрелковый полк. Во-первых, это был полк имени Чапаева. Это имя он носил не случайно, так как знаменитая 25-я Чапаевская [стрелковая]

дивизия после разгрома Врангеля была свернута в бригаду в составе 217, 218 и 219-го стрелковых полков. Впоследствии, в 1922 году, эти три полка слились в один — 73-й стрелковый полк, который вошел в состав новой 25-й дивизии, расположенной в г. Кременчуке. В эту же дивизию вошли 74-й стр. полк Кременчукский и 75-й стр. полк Крымский, но весь личный состав, оставшийся от бывшей 25-й Чапаевской дивизии был сосредоточен в 73 стрелковом полку. К нему же и перешло наименование «имени Чапаева». Все реликвии чапаевской дивизии хранились у нас в полку. Знамена дивизии, в том числе и знамя ВЦИК, фотоснимки, архив дивизии. Из личного состава я помню комбатов т. Петрова, т. Грибанова, комполка т. Травинского, помначштаба т. Дахно, комвзвода т. Свиридова и некоторых других.

В полку был установлен ежегодный день памяти о тов. Чапаеве, который припадал на день его гибели [4 октября]. Как сейчас помню траурный вечер в гарнизонном клубе, на котором выступали с воспоминаниями соратники Чапаева.

Во-вторых, полк был, как тогда называли, «территориальный». Это значит, что в нем в течение всего года, кроме лета, был только комсостав, начиная от командиров отделений до командира полка, а рядовой состав был только приписан, числился по спискам, а находился у себя дома по месту жительства и призывался лишь на летние лагерные двух или трехмесячные сборы. Конечно, были и рядовые красноармейцы — вся хозкоманда: ездовые, конюхи, шорники, мастера оружейной мастерской, ординарцы и, конечно, писаря ротные, батальонные, штабные, каптенармусы, в общем, вся нестроевищина. Помню беднягу капельмейстера (забыл фамилию). Если рядовой состав проходил теоретические занятия, и от одних лагерных сборов до других был занят, то бедняга капельмейстер три четверти года скучал без дела. Ведь вся музкоманда была «приписная» и собиралась только летом на время сборов.

Он от скуки писал ноты для каждого инструмента, а потом объявил запись добровольцев в музкоманду. Предложил он и мне. Я отказывался, так как к музыке был совершенно не приспособлен, не имел слуха. Еще учась в гимназии в подготовительном классе,

учитель пения, испробовав мои способности, заявил мне: «Вот что, дружок, на моих уроках ты садись на самую заднюю парту и не смей подавать никакого голоса, а если будет скучно, я тебе буду приносить занимательные книжечки, вроде Ната Пинкертон или Шерлока Холмса, сиди тихо и читай, только не пробуй петь. А отметки буду ставить не ниже 4».

И вот меня капельмейстер начал вербовать в музыканты и, в конце концов, ради шутки, я согласился. Мне капельмейстер торжественно дал трубу, которая называлась «бас Б», и начал показывать, как извлекать из этой трубы ту или иную ноту. С нотами я был знаком. Еще когда-то мать научила меня читать ноты, а вот как воспроизвести их на трубе, — эту премудрость преподнес мне капельмейстер. С большим трудом я научился выдувать из своего «бэйного баса» звуки, и через месяца три уже мог играть в несложных произведениях — Егерский марш, Интернационал, вальс, краковяк... Благо, бас мелодий не играл, а только аккомпанировал отдельными короткими звуками на «раз» или на «раз-два» (ту..., ту-ту).

Я уже говорил, что благодаря дядиной прихоти кататься верхом со своими кралями, я научился ездить верхом и полюбил лошадей. Мы кончали работу в 4 часа дня. Летом ездовые из хозкоманды и конной разведки часов в 5–6 вечера водили лошадей к Днепру и купали их. Я после работы сплошь и рядом пристраивался к ним, и вместе с ними ездил на Днепр, взобравшись на одну из лошадей. В числе лошадей была одна крупная рыжая лошадь — мерин английской породы. Лошадь числилась верховой, но из-за ее неровного характера, кому ее ни прикрепляли — все командиры, безуспешно испробовав несколько раз, возвращали ее на пустую стоянку в хозкоманду. Пробовали эту лошадь приучить ходить в упряжке, но только надевали на нее хомут, она начинала брыкаться, ломала оглобли, а если ее седлали, стоило только седоку вставить ногу в стремя и сделать попытку сесть верхом, — она поворачивала голову и хватала зубами седока за мягкое место. В общем, числилась «дикой» и все ее избегали. Но лошадь была прекрасная. Высокая, с тонкими ногами, вся рыжая, только белая звездочка во лбу, белые носочки у копыт и очень умный взгляд. Если бы она не была породистой, ее

бы, наверно, давно пристрелили и списали, а пока держали для украшения конюшни. Мне пришла мысль приручить ее. А официальная кличка у лошади была «Колът», но все ее звали Колька.

Каждый раз, когда мне приходилось бывать в конюшне, я подкармливал ее куском хлеба, иногда куском сахара, при этом гладил ее по щекам, похлопывал по ее могучей шее и ласково приговаривал: «Колът, Колька, Коленька, хороший мой, на, еще скушай». Я заметил, что он меня стал узнавать. Стоило мне войти в конюшню и пройтись вдоль всех боксов, он поворачивал голову в мою сторону и провожал взглядом.

И вот один раз я решил проехаться на Колъте, когда мы ввели лошадей на купание. Дав кусок хлеба и сахара, приласкав коня, я взобрался на него верхом. Конечно, лошадь оседлана не была, я это почувствовал сразу, так как даже у самой упитанной лошади хребет проступает и больно натирает определенное место у седока. К моему удивлению, Колът только немного мотнул головой, и попытки укусить меня не сделал. Вся команда, в том числе и я, рысцой доехала до Днепра. Там я спрыгнул, разделся и вторично взобрался на своего Кольта, благополучно выкупал его, даже зашел на глубокое место, где ему пришлось проплыть несколько метров. Я не смог усидеть на нем, так как корпус лошади был достаточно глубоко, а я всплыл, но все-таки удержался ногами за бока, и мы благополучно выбрались на берег. Перед окончательным выходом из воды я щеткой помыл Кольку, разгладил шерсть и дал ему опять кусочек хлеба. Прошла слава, что никто не может на Кольке сидеть верхом, а меня он признает и допускает к себе.

Днепр я полюбил еще с тех пор, как ходил в 1920 году отмыться после мойки базарной уборной. Я научился тогда плавать, и постепенно совершенствовал свое мастерство. Уже в 1923 году я свободно переплывал Днепр в самом широком месте в обе стороны с небольшим отдыхом на противоположном берегу. Речка Ворскла под Полтавой, где я был в лагере с командными курсами, меня не удовлетворяла, так как там даже негде было повернуться. Но в 1923 году я стремился каждую свободную минуту после работы, с лошадьми или без них, бывать на Днепре.

От дома — матери, сестер — я оторвался, и все реже навещал их, хотя меня все время мучила совесть, что я почти ничем им не помогаю. Сестра Ляля к тому времени работала уже конторщицей на железной дороге, Вера помогала матери, заменяя ее в водопроводной будке, так как там рабочий день был с 7 утра до 7 вечера, то есть 12 часов, и матери высидеть все время в будке было тяжело. Да и домашняя работа — варка, стирка — требовала дома взрослых женских рук. Сестренка Таня, ей в 1923 году исполнилось только 8 лет, была дома слабой помощницей, и была только на побегушках. Мать почему-то не определила ее учиться, а я как-то не задумывался над этим, хотя Таню очень любил и всегда жалел. Когда приходил домой, всегда приносил ей какой-нибудь гостинчик — ягоды, фрукты, конфеты кустарного производства, продававшиеся на штуки. Она, бедняжка, была очень болезненная, худенькая, с печальными голубыми глазами и светлыми волосами. Через 3 года — в 1926 году летом — она умерла от скарлатины. Последние три дня перед смертью она была без сознания, а в ночь, когда умерла в больнице, в одиночной комнате, я всю ночь сидел над ее постелью. Она бредила, не узнавала меня, металась по постели, потом, часа в 4 утра как будто успокоилась, а я, сидя на стуле, на какие-то полчаса вздремнул. Когда я очнулся, меня охватило жаром, я увидел ее бледное неподвижное лицо и заподозрил неладное. Я вышел в коридор, разбудил дремавшую за столиком дежурную медсестру. Она вошла в комнату, взяла Танину ручку, та упала. «Все, — сказала медсестра, — ей уже ничего не надо». Мать, дежурившая прошлые ночи, спала в другом коридоре, ей поставили там раскладушку. На дворе уже было совсем светло. Я вышел к матери и повторил ей слова медсестры: «Все. Тане уже ничего не надо, нету нашей Танечки». И тут не выдержал и заплакал.

Бедная Танечка не знала детства, не знала жизни, для нее была радость, когда я приносил ей кустарный леденец в виде петушка на палочке или надувной резиновый шарик. А сколько радости у нее было, когда к встрече нового 1925 года я устроил ей елку. За месяц до елки я лепил ей из цветной бумаги различные игрушки — домики, мельнички, куколки, балеринки, звездочки. Из ваты Деда Мороза, Снегурочку, орешки позолоченные и посеребренные листоч-

ками из фольги, купил свечи, конфеты в бумажках, и накануне Нового года купил елку (сосенку) на базаре, установил, и мы с Таней развешивали на елку самодельные игрушки, яблочки, орешки, конфетки. Потом зажгли елку и танцевали, прыгали, она так весело смеялась, радовалась.

Но праздник омрачила моя сестрица Ляля. Через несколько дней я обнаружил, что все развешенные конфеты съедены, а на елке только пустые завернутые бумажки, да и яблочек осталось меньше половины. Таня плакала, сестра Вера накинулась на Лялю: «Я видела, как ты заворачивала бумажки и вешала на елку, но я промолчала, думала — один раз». Ляля призналась, что она постепенно съела все конфеты. Я тогда пришел в ярость и поколотил Лялю, колотил от всей души и от всей силы. Мать почему-то не вмешивалась. Я не мог себе даже представить, как могла Ляля это сделать. Вообще, с раннего детства, мы с Верой привыкли, что Ляля была любимицей матери, и вообще в доме ее всегда поощряли, хвалили, прощали всякие детские проступки, лучший кусок был всегда для нее, лучший подарок на именины или к Новому году — ей, а мне с Верой, а потом и с Таней — так, для формы что-нибудь. Зато подзатыльники и другие меры наказания — вроде стоять в углу или лишение пойти в цирк — на нашу долю припадали чаще. Но тогда я об этом не задумывался, считал все это вполне естественным, жалел мать, считая ее больной после трагедии с отцом, да и к Ляле не питал злобы, понимал, что она старшая. Но когда она съела с елки Танины конфеты и по ее поведению видел, что ее даже не мучают угрызения совести, я понял, какой эгоисткой она выросла, и стал смотреть на нее уже совершенно другими глазами.

Но все это было потом, уже в 1925 году, а пока, пока я работал в штабе 73-го полка, купался летом до поздней осени в Днепре с другими ребятами из полка. Купал лошадей, а раз в неделю тренировался выдувать на своем «бэйном басу» ноты, разучивая несложные партии марша или вальса, пристрастился к шахматам.

У меня был постоянный партнер, некто писарь по фамилии Богдасевич, человек, обиженный судьбой. Он был лет на десять старше меня, очень маленького роста. На лице не было никакой

растительности, зато под подбородком на шее росла большая черная борода. Все его дразнили «козел», он не обижался. Он был влюблен в машинистку штаба, но боялся ей признаться, и, видимо, очень страдал, а когда осенью машинистка уволилась и уехала в Москву, он посылал ей горячие письма, писал ей возвышенные стихи. Я, между прочим, помогал ему в сочинении этих стихов, он обещал ей, что после 1-го апреля 1924 года, когда у него, как и у меня, кончится подписка служить в армии (у всех добровольцев брали такую подписку еще в 1922 году), он обязательно придет в Москву, так как без нее жить не может.

И вот в ненастные или холодные зимние дни мы ходили с ним в клуб и сидели за шахматами, обсуждая перспективы его жизни. Играл в шахматы он очень хорошо, и мне редко удавалось его обыграть, но тем интереснее мне было играть с ним.

Летом 1923 года к нам прибыл новый командир полка латыш Таубе. Прежний командир, Травинский, был откомандирован в штаб дивизии, в Кременчук. Новый командир сразу всем не понравился из-за своей строгости. Взыскания посыпались одно за другим за малейшее нарушение дисциплины от наших комбатов до рядового красноармейца, от нарядов на внеочередное дежурство до гауптвахты и даже до передачи дел в Ревтрибунал. Осенью была проведена аттестация всего командного состава, и было записано моему дядюшке «уволить в аттестационном порядке из рядов Красной Армии». Я уже об этом говорил. Как пример приведу такой факт. Мы в штабе полка — пять писарей и помначштаба по строевой части — работали в одной комнате. Сидим, каждый занят своим делом, не обращаем внимания на входную дверь. Вот кто-то взглянул на дверь, видит — стоит у порога новый комполка Таубе, стоит молча и смотрит на ручные часы. Писарь, который его увидел, подает команду «Встать!» Все встают, комполка здороваается, потом говорит: «Я простоял и ждал команды «встать» четыре минуты. Больше одной минуты не замечать своего командира не разрешаю, — и молча отправился в свой кабинет». Через несколько минут приходит начальник штаба и дает приказисту (писарь, который ведет книгу приказов) — текст одного из параграфов сегодняшнего приказа, ко-

торый гласит: «За нарушение установленного порядка встречи командира полка объявляю выговор помощнику начальника штаба по строевой части т. Дахно, старшему писарю тов. Чумаку приказываю дать 5 нарядов дежурства вне очереди...»

Ясно, что после этого, как только кто-то из нас услышит скрип двери, сразу поворачивает голову, смотрит кто вошел и, если оказывается, что вошел комполка, сразу же срывающимся голосом кричит «Вста-а-ть!» Мы все ошалело бросаем ручки, уже не глядя куда, нередко ставя кляксы на почти законченной работе, и поспешно встаем. Таубе здоровается с нами и идет в свой кабинет. Так вот, за такие штуки его невзлюбили все. Это поначалу. А потом оказалось, что Таубе — это милейший человеческий человек, очень справедливый, хотя и требовательный.

В январе 1924 года всю страну постигло большое горе. Умер Владимир Ильич Ленин. 21-го числа утром мы почти одновременно получили телеграммы от Черкасского уездного партийного комитета, от Исполкома и из штаба дивизии из Кременчука. Несколько позже получили напечатанные на розовой бумаге в траурной рамке экстренные сообщения о смерти Ленина. Политсостав полка готовился отмечать траурные дни, посвященные убийству в Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург, а также дни «9-го января» (22-го по новому стилю) — день расстрела мирной рабочей демонстрации в Петербурге, спровоцированного попом Гапоном. Но смерть Ленина затмила все эти горестные дни. С 21-го по 26-е января во всех подразделениях полка и в клубе проходили собрания и собеседования о Ленине, его роли в создании партии большевиков, роли в Великой Октябрьской революции. Горе сжимало сердце, сухие комки стояли в горле, у многих на глазах выступали слезы, и все собрания и беседы оканчивались словами: «Ленин умер, но дело Ленина живет и будет жить, дело Ленина непобедимо, без Ленина будет трудно, но партия коллективом будет и дальше продолжать осуществлять все великие идеи Ленина, рабочий класс еще теснее сплотится вокруг своей Коммунистической партии».

Это были не громкие слова, а священная клятва коммунистов и беспартийных, командиров и рядовых красноармейцев. В эти дни я

жадно читал газеты — центральные, киевские губернские и местные, слушал слова нашего комиссара полка (Лисовский его фамилия), политруков и тяжело переживал эту потерю. Я тогда ловил себя на мысли, что меньше чувствовал горе при смерти отца, чем сейчас, когда умер Ленин.

27-го января в Москве хоронили Ленина, но его хоронила не только Москва, его хоронила вся страна. Тогда не было ни радио, ни телевизоров, но в час, назначенный для положения тела Ленина в Мавзолей, наш полк и весь гарнизон (в Черкассах тогда стоял еще легкий артиллерийский дивизион «Легартдив» и артдивизион тяжелых орудий «Гаубартдив») собрался на Первомайской площади... Мороз был очень сильный, градусов до 30, снега — в рост человека. Площадь была почти непроходимой, но вокруг установленной посредине трибуны выстроился наш полк, артдивизион выкатил орудия, выстроились шеренги милиции пешей и конной. Было очень много и делегаций от рабочих коллективов. Снег не был ни расчищен, ни вывезен. Снег от множества людей был утоптан. Не помню точно, но, кажется, в 2 часа дня раздались гудки всех паровозов на железнодорожной станции, всех фабрик и заводов города. Мы получили команду дать 25 залпов из винтовок. Стрелять приходилось голыми руками, пальцы примерзли к металлическим частям винтовок, но я и другие не чувствовали это, и при взмахе флажка нажимали курки и стреляли. Первые залпы не получались дружными, но потом освоились, и на 6-м или 7-м залпе мы стреляли одновременно. После винтовочных залпов начали стрелять орудия артдивизионов. А гудки паровозов и фабрик еще продолжали печально звучать в воздухе. Ленина похоронили. Ленина нет. Что теперь будет? И опять вспомнились слова комиссара — «Ленин жив, живет ленинская партия, дело Ленина живет в сердцах коммунистов и пролетариев всего мира, живет в сердцах и деяниях всех трудящихся».

В феврале месяце уволили из армии моего дядьку. До этого времени мы жили в здании, где ранее размещалась учебная часть курсов. После ликвидации командных курсов здание было передано детской трудовой школе. В одном крыле школы на 2-м этаже были расположены по коридору три комнаты. Вход только с улицы по де-

ревянной лестнице прямо на второй этаж. Крайнюю комнату от входа — небольшой кабинетик метров 12 — занимал дядя, вторую комнату, чуть побольше, занимал я с писарем Кузьменко, а третью комнату занял с семьей директор школы. Так как здание целиком было передано школе, директор несколько раз напоминал, что все три комнаты предназначены под его квартиру, и что нам пора бы выбраться, но вопрос о нашем выезде ребром пока не ставил. Когда же дядьку уволили из армии, директор школы стал действовать более решительно и даже стал угрожать, что выселит нас с милицией. Первым выбрался писарь Кузьменко куда-то к своим родственникам, затем дядя нанял себе маленькую комнатку, а я вернулся домой к матери, которая снимала у одного частника трехкомнатную квартиру. Название «трехкомнатная» очень громкое, но все три комнаты имели общую площадь не более 30 метров, квартира без водопровода и, конечно, без всякого санузла. Для матери с тремя дочками было достаточно, а когда я въехал, стало тесновато.

Дядька устроился на работу продавцом в железо-скобяном магазине. Вот так судьба наказала его за его поведение, за пустую разгульную жизнь. Бывший командир дивизии, человек военный, привыкший приказывать, повелевать, видеть беспрекословное подчинение, превратился в продавца хозмага — дверных ручек, печных заслонок, чугунных плит, разных охр, суриков, белил, то есть продавцом предметов, о которых он в текучке никогда и не слышал и [которых] не видел.

Для полной характеристики дяди Жени вспоминается такой эпизод. Как-то он у себя устроил вечеринку. На вечеринке был помначштаба полка Уваров, начальник хозкоманды Терпугов и, конечно же, три девицы из черкасских представительниц лучшей половины человечества. Мы с Кузьменко сидели в своей комнате, слышали хохот, пьяное пение, визг и обсуждали, какая это гадость. Вдруг мы услышали выстрел из нагана, затем второй выстрел. После этого наступила тишина. Я вскочил и быстро вошел в комнату дядьки. Трое представительниц прекрасного пола сидели, прижавшись друг к другу, на кровати, а три пьяных представителей сильного пола — с наганами в руках стояли посреди комнаты, и один из

них целился в цветочек на обоях поверх голов девиц. Я понял, что может произойти несчастье. Не знаю, откуда у меня взялась прыть — я быстрым движением выхватил наган из рук Терпугова, рукояткой нагана ударил по руке Уварова, который как раз целился в цветочек. У него наган вывалился из рук, упал на пол, а я его откинул ногой под шкаф. Дядька же успел сунуть свой наган в стол.

— Вон отсюда! — в руках у меня был наган Терпугова. Девчонки схватили свои пальто, выбежали в коридор, а оттуда на улицу, и больше не возвращались. Стал одеваться и Терпугов, а, уходя, попросил меня: «Ты мой наган отдай мне завтра». А Уваров, повалился на кровать и захрапел. Я незаметно от дядьки вытащил из ящичка стола его наган и вернулся в свою комнату к Кузьменко.

Рано утром на другой день, еще было темно, к нам раздался стук, я откинул крючок. Вошел Терпугов и попросил свой наган. Я отдал. Он поблагодарил и попросил никому не рассказывать о вчерашнем происшествии. Я заглянул в комнату дядьки. Он с Уваровым в одежде и сапогах лежали в обнимку на кровати. Я разбудил дядьку, а затем и Уварова. Тот ничего не помнил, только когда встал, обнаружил, что кобура пустая. Стал искать свой наган. Видя, что дядька и Уваров уже протрезвели, я вернул им оружие, — дядьке из своей комнаты, а Уварову — из-под шкафа, и рассказал, как я «наводил порядок». Они похвалили меня, затолкали наганы в кобуры и уехали в полк, не преминув опохмелиться глотком самогона, оставшегося в некоторых бутылках. В комнате стояла вонь от селетки и самогона, дымный угар, я открыл форточку, и в первый раз отказался убирать и мыть посуду. Моему дядюшке пришлось делать это вечером самому.

Я возненавидел тогда своего дядьку Женю, многое понял, почему и в Красной Армии его понижали все время в должности и, наконец, уволили, и почему ушла жена с двумя детьми. Развратный, распущенный человек, пустой человек, умевший только хорошо танцевать, играть на пианино и на кларнете, красиво сидеть и гарцевать в седле верхом на лошади. И хотя в Красной Армии был с самого ее основания, но был далеким от всяких политических идей. Одним словом — дрянь.

Позже мне пришлось столкнуться с еще одним бывшим царским офицером, работавшим в штабе полка в оперативной части, неким Добрянским. Он был очень груб с теми, кто «чином» ниже, особенно с писарями, и не стеснялся в выражениях. Мы под руководством политрука выпускали стенную газету. Прописали и его. Он, конечно, обиделся и громогласно заявил, что всякое говно только пачкает бумагу. Это вызвало общее возмущение, и через несколько дней мы выпустили следующий номер, где я поместил свое стихотворение. Я его уже не помню сейчас, но в этом стихотворении были такие строчки:

*Ты пользуешься властью, что тебе дана.
Но лучше было б без говна.
Раз в Красной служишь Армии
Забудь, что офицером был ты где-то.
Пишем про тебя недаром мы, —
На то стенная нам дана газета.*

Добрянского вскоре также уволили из рядов Красной Армии.

Наступил март 1924 года. Пошли слухи, что наш полк куда-то передислоцируется. В полк прибыло много командно-политического состава, и в каждом подразделении были созданы параллельные должности, то есть в каждом взводе по два командира взвода, в каждой роте, батальоне — по два командира роты или батальона. Короче говоря, на базе нашего полка создавался второй полк, который и остался потом в Черкассах. А пока что у нас всех было очень много работы, так как надо было составлять на рядовой приписной состав списки по месту жительства, сверять списки с военкоматом и сельсоветах, а мне заполнять уйму новых послужных списков, и через каждые 5 дней подавать в штаб дивизии и политотдел дивизии сведения по определенной форме, какие я раньше составлял только раз в месяц. Работали днем и вечерами. Наконец, 15-го числа объявили, что наш основной Чапаевский полк передислоцируется в город Полтаву, и отъезд назначен на 18 марта. Началась срочная упаковка имущества, погрузка в железнодорожные вагоны. Нам был подан

целый эшелон. Погрузили все в срок, и отъезд назначили на 23 часа. Был ясный морозный вечер. Я только на пару часов зашел домой, попрощался с матерью и сестрами, оставил им паек, полученный за прошлую неделю, — мясо, постное масло, хлеб, сахар и еще что-то. В последние месяцы я перестал питаться из солдатской кухни, а получал паек натурой на каждую неделю, который приносил домой. Я отправился с вещевым мешком на вокзал. Ночь была безлунная, в черном небе ярко горели звезды, снег хрустел под ногами. На вокзале, на запасном пути, нашел вагон, предназначенный для писарей строевой части полка. Это была теплушка, то есть обыкновенный товарный вагон. В центре стояла чугунная «буржуйка», раскаленная до красна, по бокам — два яруса нар с тюфяками, набитыми соломой. Старшим по вагону был наш пом. нач. штаба тов. Дахно. Под первым ярусом нар стояли ящики с имуществом строевой части, вокруг печки маленький столик и штук 5 табуреток. В общем, все было очень хорошо. Когда все собрались, мы задвинули входную дверь, и в вагоне скоро сделалось тепло. Ребята запели песни. Песни слышались и из других вагонов. Наконец, в положенное время поезд тронулся, и под мерный стук колес мы постепенно заснули.

В Полтаву рассчитывали приехать часов в 11–12 дня 19-го марта, но часа в 4 или 5 утра поезд наш остановился на перегоне между Лубнами и *<пропуск в тексте>*. Неожиданная остановка поезда постепенно разбудила всех, мы отодвинули входную дверь, чтобы узнать, что произошло. Оказывается, валил снег. Такого снегопада я еще не видел никогда. Снега насыпало вровень с полом товарного вагона, то есть около 1,5 метра. Когда наш бедный Дахно спрыгнул, он по грудь увяз в снегу и, конечно, пойти разузнать, что произошло, не мог. Да было все ясно само по себе. Ведь снег продолжал сыпать. Поезд застрял. Мы за руки еле втащили Дахно обратно в вагон, задвинули дверь и уже не спали до самого рассвета.

Так мы простояли почти весь день 19-го и, как потом узнали, нас выручили снегоочистители, присланные со станции Ромодан, и пока они не пробили дорогу, пока нам не прицепили второй паровоз, эшелон не мог двинуться с места. Вот тебе и Полтава, вот тебе и весна.

В Полтаву прибыли ночью на 20-е марта. Эшелон загнали в тупик на станции «Полтава–Киевская», где мы проспали до утра. Утром началась разгрузка эшелона, и в течение дня подводы перевозили имущество полка в так называемые Красные казармы. Под штаб полка был отведен небольшой особнячок, расположенный на одной из улочек вблизи Красных казарм. В этом особнячке разместился не только штаб, но и общежитие для писарей. Для писарей строевой части была отведена комната, в которую вместились 8 кроватей, стол и 3 гардеробных шкафа. Перед каждой кроватью — тумбочка. Начальствующему составу на этой же и на соседних улицах были отведены или квартиры, или комнаты в общих квартирах в зависимости от количества и состава членов семьи. Видно, квартирьеры из хозчасти поработали неплохо.

Полтава была завалена глубоким снегом, но весна своё, наконец, взяла. Уже 20-го марта, то есть в день нашего приезда, стояла плюсовая температура, и город целый день был окутан густым туманом. Все улицы были почти непроходимы от таявшего снега, который лежал рыхлой мокрой массой, и в которой ноги грузли почти до колен. Конечно, мы никуда не выходили, хотя всем хотелось осмотреть новый город.

Начальник штаба полка Иван Георгиевич Орлов сразу же после приезда в Полтаву вызвал меня в свой кабинет и заявил:

— Я тебе, Федя (он назвал меня не по фамилии, а по имени впервые и обратился на «ты») подготовил сюрприз. Мы будем за март получать жалование в золотом исчислении, новыми деньгами, червонцами, серебром. Твоя подписка прослужить в Красной Армии добровольцем кончается 1-го апреля, но мы надеемся, что ты не воспользуешься правом уволиться с 1-го апреля и не уедешь домой в Черкассы, а послужишь еще, пока к нам не прибудет новое пополнение, и ты не обучишь своей работе нового человека. Так вот, подписан приказ командира полка о назначении тебя отделенным командиром-добровольцем с прикомандированием для работы к штабу полка. Оклад отделенного командира 5 рублей в месяц, а отделенному командиру-добровольцу или закончившему годичную школу младших командиров — 15 рублей. Ты уже за

март получишь 15 рублей золотом. Так как? Будешь увольняться или останешься?

Я был очень растроган, и не столько 15 рублями золотом, которые в то время равнялись нескольким десяткам тысяч рублей бумажных инфляционных денег, сколько доверием, оказанным мне командованием полка, дружественным, товарищеским тоном начальника штаба. Я понимал, что этот шаг предпринят командованием в связи с тем, что у некоторых писарей, служивших добровольно, уже отслуживших действительную службу ранее, которые были значительно старше меня и имели в Черкассах свои семьи, перед отъездом в Полтаву шли разговоры, что раз подписка кончилась, они ехать не желают и ставили вопрос об увольнении. Но меня это не касалось. Я такого вопроса не ставил. Я отлично понимал, что уволиться сейчас нельзя. Это бы равнялось дезертирству. Не скрою — и 15 рублей замаячили в глазах очень заманчиво. Я знал, что как писарь полка, получал бы в золотом исчислении только 1 рубль. Я поблагодарил начальника штаба и сказал, что я бы никогда не бросил на произвол своего участка и что независимо от срока подписки и независимо от оклада содержания буду работать столько, сколько я буду нужен полку.

Через два дня нам выдавали зарплату, выдали серебром — рублями, полтинниками и мелочью по 10, 15 и 20 копеек. Получив горсть серебра, я и другие счастливые добрый час потряхивали в руках это серебро, приговаривая: «Хай живе СРСР». Потом пошли на базар, купили молока, яиц, сала, одолжили в соседском доме большую сковороду, нажарили яичницу, заправили молоком, и пировали весь вечер. На другой день я пошел на почту и отправил матери денежный перевод — 5 рублей золотом. Работали все с большим воодушевлением.

В дальнейшем я каждый месяц отправлял матери денежный перевод по 5 рублей, вторую пятерку расходовал на приобретение гражданской одежды для себя, а третьи 5 рублей расходовал на разнообразие своего стола — покупал молоко, яйца, молодую зелень, ягоды. В общем, жил припеваючи. После цен инфляционными деньгами, выражавшихся в миллионах (или как их тогда называли

«лимонах») или тысячах рублей в дензнаках выпуска 1922 года, — их называли «кусками», — сначала непривычно было слышать слово «копеек». Бутылка молока (это примерно 600 грамм, то есть немногим больше полулитра) — 6–7 коп., десяток яиц — 8–10 коп., пучок редиски — 1–2 копейки. На первую получку серебром я купил себе полный набор кожи на сапоги. Надоело возиться с обмотками. Набор состоял из таких предметов: хромовые голенища, хромовые переды и задники, кожаные подклейки под голенища, кожаные «бланковые» подошвы и такие же подметки, из такой же кожи куски для выделки каблучков, кожаные стельки, и все это за 5 рублей, и все на черном рынке на толкучке. Позже за пошитые сапог я уплатил частному сапожнику 3 рубля и имел прекрасные, замечательные сапоги, которые носил без малого четыре года.

Между тем, работы в штабе полка значительно прибавилось, мало того, что больше половины командного и политического состава получили новые назначения, и отбыли из полка, а на их место прибыли новые, но младший комсостав (отделенные командиры) особенно в параллельный состав, зачислялись из числа переменного состава. Я ежедневно получал из губернского и уездных военкоматов послужные списки, заполнял их, составлял всевозможные сведения в штаб 25-й дивизии и в политотдел, благо, штаб дивизии из Кременчука перебазировался также в Полтаву, ну, и теребил нас больше, чем тогда, когда мы были в Черкассах, а штаб дивизии — в Кременчуке. Особенно много было работы писарям, работающим по учету рядового состава. Приближалось время территориальных летних сборов, надо было всех оформить приказом, а предварительно сверить списки с сельскими и волостными сельсоветами, уездными и городскими военкоматами. В общем, работы хватало, и мы сидели в штабе ежедневно до 8–9 вечера. Я всю свою переписку вел по секретной линии, за мной была закреплена пишущая машинка, и приходилось сначала медленно, потом быстрее весь свой материал печатать самому, и я незаметно для себя сделался незаурядной «машинисткой».

День 2 мая 1924 года остался в моей памяти на всю жизнь. В этот день я и еще один писарь по фамилии Рыжиков «заработали»

гауптвахту. Дело в том, что понедельник 2 мая совпал со вторым днем Пасхи, а по примеру прошлых лет мы знали, что даже в воинских частях религиозный праздник Пасху праздновали (конечно, по инерции) три дня. Вот, после парада 1 мая мы с Рыжиковым условились, что завтра, то есть в понедельник, мы совершим поход на Шведскую могилу. Это памятник великой победы русского воинства под водительством Петра Великого над шведами (битва под Полтавой). В голове все время вертелись слова, заученные еще с детских времен, из поэмы Пушкина «Полтава»: «Кто при звездах и [при] луне так поздно едет на коне?» «Далече грянуло *ура*: полки увидели Петра», «Но близок [, близок миг] победы. Ура! Мы лопим; гнутся шведы, О славный час! о славный вид! еще напор — и враг бежит...» Я очень хотел побывать на Шведской могиле, и очень жалел, что в 1922 году, когда был в лагерях под Полтавой с командными курсами, мне это не удалось. И вот теперь я уговорил Рыжикова составить мне компанию.

2 мая, после завтрака, никому ничего не говоря, мы пошли. Кто знает Полтаву, то от Красных казарм до Шведской могилы не далеко. Надо пересечь весь город, пройти поле, где происходила сама битва со шведами. Все поле, а это километра 3–4 усеяно памятниками «редутам», то есть местами, где находились укрепления русских войск. Памятники скромные — невысокие, метра 3 высотой, гранитные обелиски, увенчанные литыми чугунными двуглавыми орлами (гербами царской России). Меня это очень удивило. Ведь прошла революция, гражданская война, все памятники царям и все, что относилось к царской России, как мне тогда казалось, должно было быть скинуто, уничтожено. Потом уже военком объяснил, что это памятники не царю, а русскому воинству, отстоявшему нашу страну от нашествия шведов, а что там двуглавые орлы, это не важно, ведь тогда еще не было герба с изображением серпа и молота. Да и царей не всех скинули. Например, в Ленинграде и сейчас стоит памятник Петру I или другим императорам, если эти памятники сами по себе представляют художественную ценность. Я успокоился, и больше над этим голову не ломал. Памятник «Шведская могила» расположен на линии железной дороги, соединяющей две станции — «Пол-

тава–Киевская» и «Полтава–Южная» — длиной 18 километров и огибающей город с северо-востока. Памятник состоит из двух частей: собственно Шведская могила стоит в стороне примерно на полкилометра у проезжей грунтовой дороги и представляет собой черный гранитный крест, установленный на черном гранитном пьедестале, на котором высечены данные о том, сколько в этой общей могиле похоронено генералов, офицеров и рядовых шведов, погибших в той знаменитой битве под Полтавой. Цифр, конечно, я не помню, но число погибших шведов составляло несколько тысяч человек.

Братская могила, где захоронены павшие в Полтавской битве русские воины, расположена у самой железной дороги, в центре излучины, огибающей Полтаву и проходящей в выемке. На самом краю выемки, в огороженной усадьбе, среди густой зелени окружающих деревьев и кустарников высятся насыпной холм. С одной стороны в подножье холма — входная дверь, ведущая во внутреннюю часть холма, где устроена часовня, с узкими просветами в стенах, проходящими через толщу земляного слоя и устроенными узенькими, наподобие бойниц, окнами. Пол в часовне чугунный. Простенки между окнами-бойницами заполнены иконами. Не знаю, фресковая ли это живопись или иконы нарисованы на дереве или металле, — я тогда не вникал в эти детали. Меня и Рыжикова поразили акустические свойства часовни. Наши шаги по чугунному полу в ботинках с железными подковками гулко и многократно отдавались громким эхом. Каждое произнесенное слово, даже отдельный звук голоса так же многократно повторялся эхом. Создавалось впечатление, что нас зашло не два человека, а несколько десятков человек, и все одновременно громко разговаривают. Снаружи, на противоположной стороне, высился огромный пьедестал с гранитным крестом, установленном на нем. На пьедестале были высечены данные о числе погибших в битве со шведами русских военачальников, офицеров и рядовых солдат. Число погибших также исчислялось тысячами.

Осмотрев часовню, постояв молча со снятыми головными уборами на вершине холма, мы с Рыжиковым решили осмотреть домик-музей, стоявший вблизи в этой же усадьбе. Но музей оказался

закрыт, и мы пошли в обратный путь уже по полотну железной дороги к станции «Полтава–Киевская», а оттуда — в Красные казармы.

Когда мы пришли в штаб, было уже более 4-х часов дня. Нас встретил начальник штаба Орлов, и между нами состоялся такой, примерно, разговор:

- Где вы пропадали?
- Ходили осматривать Шведскую могилу.
- А кто вам разрешил?
- Мы никого не спрашивали, сегодня же выходной день.
- А где сказано, что понедельник выходной день?
- Так ведь это второй день Пасхи!

– А разве был приказ, что вообще надо праздновать первый или второй день Пасхи? Может, еще будете праздновать день рождения Богородицы?

- Так мы думали...
- Думали?! Марш на гауптвахту. Посидите там и подумайте еще!

Гауптвахта была в этом же здании. Мы, склонив головы, повернулись, как полагается, через левое плечо, виновато зашагали в сторону гауптвахты. Начальник штаба пошел вслед за нами, сдал нас часовому и сказал: «На пять суток каждого». Потом обратился к нам:

- Обедали?
- Нет, тов. начальник штаба, мы ж только пришли.
- Вам обед принесут сюда, ужин тоже, — повернулся и вышел, злой, как черт. Часовой отобрал пояса, прощупал карманы, нет ли там острых предметов вроде ножика или бритвы, и впустил в соседнюю комнатку, где стояло только два или три голых деревянных топчана, а окно было заделано железной решеткой.

Затем щелкнул снаружи замок, и мы остались вдвоем. Рыжиков возмущался:

- Это все из-за тебя. Дернул черт меня послушать, — идем да идем на Шведскую могилу. Мало того, что голодные, устали, а теперь еще пятеро суток сиди в этой норе как преступник какой-то.

Я не обращал на него внимания. Я был доволен, хотя и не предполагал такого оборота событий. В голове вертелось: «А Шведскую могилу я все-таки видел, видел и редуты, а пять суток пройдет быстро». Я вспомнил, как еще в январе 1921 года меня только на одну ночь задержал с подушкой и одеялом комендантский патруль, как надо мной посмеивался сосед по гауптвахте, мол, расстреляют, как я ревел. Теперь я уже не ревел, хотя не иметь права высунуть нос за дверь, сознавать, что ты заперт, а за дверью часовой, чувство не из приятных, паршивое чувство, что и говорить. Принесли обед. Мы молча, без аппетита поели холодный борщ и гречневую кашу, завалялись на топчаны и погрузились в размышления.

Часов в 7 вечера замок щелкнул, вошел начальник штаба. За ним стоял часовой с винтовкой.

— Марш в штаб! Будете работать до 12 часов ночи, а потом обратно на гауптвахту!

Мы обрадовались. Часовой принес нам наши пояса. Мы наскоро привели себя в порядок, застегнули воротнички на гимнастерках, пригладили волосы и пошли в штаб. Все-таки, хоть и условная, но свобода, а не четыре стенки с дверью, в которой маленький квадратик, через который нам подавал часовой котелки с обедом, и одно окно с решеткой, в которой я уже почти бессознательно считал и пересчитывал число клеток, образуемых железными прутьями. Пересчитал я и число досок в полу и число пятен на стенах, и число трещин в штукатурке потолка, в общем, все, что можно было посчитать.

Начальник штаба сидел в соседней комнате, склонившись над бумагами, что-то писал, что-то читал, в общем — работал. Кроме нас работал пом. нач. штаба Дахно и еще человека три писаря.

Около 12 часов ночи начштаба вышел из своего кабинета — «Идите отдыхать», сказал он, а потом, обратившись ко мне и Рыжикову: «А вы — на гауптвахту». Эту ночь мы ночевали, не раздеваясь, на голых деревянных топчанах, подложив под головы руки. Я чувствовал себя очень уставшим, и сразу заснул. Рыжиков — тоже. Мы проспали до утра, и нас разбудил часовой, просовывающий через квадратное окошечко котелок с завтраком и хлебом. При этом он

сказал, что начштаба распорядился, чтобы мы шли в штаб работать. День прошел как обычно, если не считать, что мы с Рыжиковым ходили обедать не в столовую, как обычно, а на гауптвахту, где нас ожидали остывшие котелки с борщом и кашей.

В конце рабочего дня начштаба нам заявил:

– До ужина можете помыться, привести себя в порядок и отдохнуть в своих комнатах. На улицу в город ходить запрещаю. Ужинать будете в столовой как всегда. После ужина — сюда в штаб работать вечером. После вечерней работы гауптвахту отменяю. Заменяю домашним арестом на пятеро суток с исполнением служебных обязанностей. Ясно?

– Ясно, товарищ начштаба, — ответили мы с Рыжиковым.

О, милый, добрый Иван Георгиевич (так звали начштаба г. Орлова), — хотелось мне сказать. — Мы, конечно, провинились и вполне заслужили это наказание. Большое тебе спасибо за урок, который ты преподавал нам, за твое человеческое, чуткое отношение к нам.

Жизнь вошла в нормальную колею. Оставшиеся 4 дня «домашнего» ареста пролетели быстро, незаметно. Работы было по горло. Полк готовился принимать переменный состав и выезжать в конце мая в лагеря под Полтавой. Пользуясь уже полной свободой передвижения, я в свободное от работы время и в воскресные дни ходил по городу, осматривал достопримечательности — Памятник Славы в центральном парке, представляющий маленькую чугунную черную колонну с золотым двуглавым орлом наверху, держащим в клюве золотой лавровый венок, причем, орел выполнен не плоскостным, как на царском гербе или на памятнике редутам, а в виде объемной натуральной птицы с распростертыми крыльями. Сама колонна в нескольких местах обвита золотыми лавровыми кольцами-венками. Основание колонны прямоугольное с барельефами с каждой стороны, изображающими моменты из самой битвы под Полтавой. Памятник огражден массивными чугунными цепями, прикрепленными к стволам чугунных пушек, врытых на полствола в землю. Памятник коменданту города в период битвы со шведами Колену. Кстати, бюст самого командира Колена в бурные дни рево-

люции был необоснованно скинут с пьедестала, но гранитный пьедестал, огражденный чугунными цепями с гранитными шарами по углам, стоял на месте; памятник на месте, где Петр Великий отдыхал после победы над шведами; скромный памятник украинскому писателю Котляревскому. Осматривал музей, очень богатый историческими реликвиями, относящимися к петровским временам, и художественными произведениями.

По вечерам иногда ходили в кино, один раз в театр — слушал оперу «Аида». Получил удовольствие от самого театра, а не от оперы. Я привык видеть черкасский театр в виде длинного узкого сарая, наполовину врытого в землю, а тут в Полтаве — красивое, архитектурно оформленное здание, внутри также с богатой архитектурой, богатой лепкой, тремя розовыми ярусами, с ложами, обрамленными бархатом цвета бордо, со сценой в два раза большей, нежели в Черкассах. Что касается самой оперы, то я, будучи абсолютно не музыкальным человеком, сам без голоса и слуха, пения, тем более серьезного пения, и музыки, не понимал, и не получил потому никакого удовольствия. Тяготился растянутостью событий на сцене. Действие, которое при разговорной речи артистов можно было вложить в 5–10 минут, растягивалось на полчаса, если не больше. Поэтому, я больше смотрел на декорации, на костюмы, даже просто на потолок, на люстры, чем слушал оперу. Ни тогда, после посещения в Полтаве театра, ни тем более сейчас я содержания оперы «Аида» рассказать не мог и не могу, тем более что при пении даже всех слов разобрать не мог.

Между тем, в штаб полка прибыло несколько новых писарей из состава вновь призванных на военную действительную службу молодых ребят. Ко мне на выучку прикрепили одного парня, 21 года, кажется, его фамилия Мазурук, белорус из Гомельской области. Ну, и помучался я с ним. Почерк красивый, но только и всего. Неповоротливый, медлительный, несообразительный увалень. Мой стол — стол учета ком., адм., хоз. и политсостава. Так, даже такую простую вещь, что в полку 3 батальона, в каждом батальоне по 3 роты, в каждой роте по 3 взвода, в каждом взводе по 3 отделения, он освоил примерно через месяц, да и то ошибался. Бывало, спросишь его,

проверь, пожалуйста, в какой роте и взводе у нас не хватает отделенных командиров. Он листает, листает книгу, и ничего не может сказать, хотя книга так построена, что, открыв, например, страницу 1-го батальона 1-й роты видно — первый взвод — командир такой-то, отделкомы такой-то и такой-то, а третьего нет. Значит, ответ ясен — 1-й батальон, 1-я рота, 1-й взвод — не хватает одного отделкома. А эти данные нужны, чтобы зачислить по приказу вновь прибывшего отделенного командира. Но ничего, я постепенно научил его и вакантные должности искать, и анкетные сведения собирать, и послужные списки заполнять, и отчетные данные в штаб дивизии и политотдел составлять, но попотел я с ним, да и он, бедняга, попотел порядочно. Вот с черновика переписывать он умел и чисто и красиво. Поэтому его, вероятно, и взяли в штаб полка.

Когда еще в Черкассах осенью 1923 года у нас уволилась машинистка, любовь моего дружка Богусевича, мы не смогли найти другую машинистку, и печатать стали все кому не лень и кому было нужно. Печатали, конечно, одним пальцем, подолгу разглядывая буквы на клавишах. Начал печатать и я. За несколько месяцев тренировок я научился печатать довольно быстро. Изучил и саму машинку, мог разобрать до винтика и собрать и даже исправить мелкую порчу. Например, лентодержатель не скачет — соскочила пружинка; сниму каретку и подцеплю, лопнул шнур к пружинке — свяжу, сломались буквы — отнесу в оружейную мастерскую, припаяют мне, а потом я ее подрихтую и вставлю. Умение печатать и знание машинки мне потом пригодилось.

В конце мая месяца был призван весь новый приписной состав. Полк сразу сделался похожим на солидную военную часть. Десять пехотных рот плюс несколько специальных подразделений (пешая разведка, конная разведка, саперный взвод, химкоманда и др.). Через несколько дней по прибытии приписного состава мы вышли в лагерь, расположенные в сосновом лесу, недалеко от деревни Семеновка, километрах в 15 от Полтавы. Проходя по городу, впереди колонны шел наш оркестр из добровольцев, так как капельмейстер еще не успел сколотить свою музыкальную команду из приписников. Шагал в составе оркестра и я со своим «бэйным басом». Первые два-три дня за-

нимались благоустройством лагеря — ставили палатки, расчищали линейки и дорожки, рубили в грабовом молодом леске четырех-шести метровые столбики для палаток, носили песок на носилках для посыпки дорожек и т. д., а потом началась обыденная работа.

Разместились все писаря, а нас было человек пятнадцать, в двух палатках, поставленных рядом со штабом. «Подъем» горнист играл в 5 часов утра, но мы дрыхли часов до 7, потом потихоньку поднимались, совершали утренний туалет, в 8 часов шли с котелками за завтраком, и в 9 приходили в штабную палатку на работу.

Один раз, примерно через полчаса после сигнала «подъем», полотнище палатки открылось, и в просвете появилась фигура командира полка Таубе. Я услышал его властный голос: «Товарищи писаря, в котором часу подъем?» Кто-то ответил: «В пять часов утра, но нам же надо в штаб к 9, а завтрак только с 8».

— Подъем для всех в 5, а с 6 до 8 будете со всеми проходить строевые занятия. Ясно?

Мы вскочили, начали поспешно одеваться, но процедура одевания заняла минут 10–12. То у кого-то не стало одного ботинка, с вечера играли ботинком в футбол, и он залетел под чужую койку, то у кого-то обмотки не свернуты, то гимнастерка наизнанку, то еще что-то не в порядке. А Таубе стоит у входного полотнища и смотрит на ручные часы. Стоит, смотрит и молчит. Хоть бы слово, — молчит — и, загораживая своей фигурой выход, никого не выпускает. Ну, думаю, будет беда. Знаю же я его крутой нрав. Наконец, он заговорил:

— Одеваться надо за 3 минуты, а вы потратили почти четверть часа. Подъем в 5 утра. Завтра проверю. Ясно?

— Ясно, товарищ комполка. В пять часов, одеваться за три минуты.

Таубе вышел. На другой день мы все проснулись еще до сигнала подъема. Всю свою одежду накануне аккуратно сложили, и лишь только труба проиграла подъем, полотнище палатки раскрылось, и появился комполка Таубе. Мы вскочили и начали поспешно одеваться. А Таубе стоит молча и смотрит на часы. Но как мы не спешили, процедура одевания заняла 8 минут. То проклятая обмотка у

кого-то вывалилась из рук, размоталась, и пришлось ее сматывать, то ремешок (шнурок) в дырочку в ботинке никак не попадал, в общем, 8 минут прошло. Когда все оделись, раздался голос Таубе:

– Все-таки в пять минут не уложились. Завтра проверю еще раз. Больше пяти минут одеваться не разрешаю...

Сказал и вышел. На следующий день он не пришел нас проверять, но мы усвоили правило, и вставали уже по сигналу и одевались быстро. Так нас приучал наш комполка к военной дисциплине.

Лагерная жизнь вошла в свою колею. Как-то раз понадобилось отвезти в Полтаву в штаб дивизии и в политотдел срочные сведения. Начальник штаба Орлов поездку поручил мне:

– Зайди в хозяйственную и скажи, что я приказал оседлать тебе лошадь, и поезжай.

Мне оседлали рыжего Кольта, другой более спокойной лошади не оказалось. Я откровенно побаивался ехать на Кольте, очень уж он был строптивый и горячий, но делать нечего. Я приласкал его, потрепал рукой по щекам и шее, дал кусочек хлеба, положил себе в карманы несколько кусков сахара и хлеба на всякий случай, быстро вскочил в седло и рысцой отправился в город. В одном месте дорога проходила по краю обрыва. С одной стороны обрыв метров 15 высотой, с другой забор какой-то усадьбы. Дорога шириной метров 6. Вдруг мой Колька (Кольт) с разгону остановился, уши поднял и стал пятиться назад. Я чуть не вылетел из седла, но удержался и увидел, что посреди дороги лежит бухта колючей проволоки. Эта черная бухта, лежащая на дороге, испугала моего Кольку, и он, пятясь задом, стал прижиматься к краю обрыва. Еще пару шагов, и он задними ногами сорвется вниз, и я с ним. У меня захватило дыхание. Я моментально спрыгнул на землю, схватил Кольку под уздцы, а папкой, где были донесения, прикрыл ему правый глаз, чтобы он не видел этой бухты колючей проволоки, причем, нашел в себе силы спокойно сказать: «Коленька, милый, чего ты испугался, ничего нет, идем, я тебя проведу». Это ли я сказал или что-то другое, я, конечно, сейчас не помню, но примерно это. Колька перестал пятиться, а потом бочком пошел за мной, и когда мы прошли мимо проволоки, и он убедился, что на дороге впереди ничего нет, а затем ску-

шал кусочек сахара и успокоился совсем, я вскочил на него и уже без приключений доехал до Полтавы. Возле штаба дивизии я привязал Кольку к телеграфному столбу, привязал поводьями и недоуздом. В штабе дивизии я задержался около получаса, когда же вышел — увидел, что мой Колька стоит у столба, уздечка на нем оборвана и болтается под шеей вместе с удилами, а он привязан только на один недоуздок. В стороне стоял какой-то паренек, он подошел ко мне и сказал, что проехал по улице автомобиль, а Колька испугался, рванулся и порвал уздечку, но задержался на недоуздке. Ехать верхом уже было нельзя. Пришлось вести его на поводу за недоуздок в расположение зимних казарм. Там была наша шорная мастерская. Я привел Кольку, напоил его, дал сена, а когда шорники починили уздечку, поехал обратно в лагерь. Приехал уже вечером, когда стемнело, сдал Кольку в хозкоманду на конюшню и рассказал Орлову о своих приключениях. Он посмеялся и похвалил за находчивость и сообразительность.

Жизнь в лагере пошла своим чередом. Через несколько дней мы выходили почти всем полком встречать шефов. Дорога проходила через лиственный лес. Надо было пройти километров пять. Ночью перед этим была гроза с ливнем, и на дороге то и дело попадались лужицы. Я в составе музыкальной команды шел во главе колонны. Чтобы красноармейцам было нескучно идти, мы с небольшими перерывами играли марш. Но разученных маршей у нас было только два, которые мы и чередовали между собой. Но все-таки наше музыкальное сопровождение было однообразным и казалось скучным. Тогда нашему капельмейстеру пришло в голову сыграть вместо марша краковяк. Но краковяк рассчитан на счет «раз-два», а все марши построены на счете «раз-два-три-четыре». Чтобы получилось подобие марша, надо было играть в два раза медленнее. После объяснения капельмейстера мы, пока еще без шефов, заиграли импровизированный марш. После нескольких не совсем удачных тактов мы вошли во вкус, и заиграли краковяк вместо марша довольно успешно.

Среди нас шло командование полка — командир, комиссар, начальник штаба, — и мы слышали их реплики вроде: «Вот ловкачи,

как сумели приспособить танец под марш», — но вдруг раздался голос командира Таубе:

— Товарищи музыканты! А кто вам дал право сходить с дороги или прыгать? Ишь чего испугались! Военный человек, если ему дана команда «Прямо!», значит, никакие препятствия, будь то лужа или канава, не дают права сходить в сторону, а надо идти только прямо. Иначе это не строй, а беспорядочная толпа!

Так незаметно, но настойчиво Таубе преподносил нам уроки воинской дисциплины. Мы пошли ровнее, да и наши марши зазвучали слаженнее. Перед переправой через реку Ворсклу полк сделал небольшой привал, а когда на другой стороне показались подводы с шефами, полк выстроился вдоль берега, а командование вместе с командирами батальонов вышло на мостик через Ворсклу, где встретилось с руководителями шефской группы. Мы играли туш. Картина была очень торжественная и волнующая, особенно, когда подтянулся весь состав группы шефов, состоящий в основном из молодых девушек — все в красных косынках. Затем шефы в сопровождении нашего командования обошли строй красноармейцев, поздоровались с нами, и мы отправились в лагерь. В лагере шефы разбрелись по палаткам, зашли и в нашу палатку две девушки. Каждому из нас они вручили подарки — вышитый кисет для махорки и носовой платочек. Настроение было приподнятое, и мы весело болтали, пока труба не проиграла сбор на обед: обед был улучшенного качества. Жирный борщ и рисовая каша с коровьим молоком, а на третье — компот. После обеда часик отдыхали, а часа в 4 — гуляние на открытом воздухе: пение, танцы, выступления шефов, выступления красноармейцев. Шефы уехали в 7 часов вечера, но мы еще долго вспоминали этот день, воочию показавший, какая любовь у трудового народа к своей Красной Армии.

Дни бежали. Приближался конец июля. Мой ученик, молодой писарь Мазурук, освоил полностью обязанности по ведению стола учета ком., адм., хоз. и полит. состава. Среди старых писарей, у которых закончился срок подписки или которые отслужили положенный срок действительной службы и подлежали увольнению в запас, все чаще возникали разговоры об увольнении и возвращении

домой. Я заражался этим настроением, и хотя очень привык, даже полюбил службу в Красной Армии и совершенно не тяготился ни дисциплиной, ни строгим распорядком дня, но тяга поехать домой все возрастала. Особенно я скучал за своей сестричкой Таней. Поэтому, когда ко мне обратился начальник Орлов, опять назвав меня по имени, с предложением остаться в полку и добавил при этом, что мы, мол, после лагсборов осенью направим тебя на учебу в военную школу, я, после некоторого колебания, отказался, добавив, что я уже был курсантом командных курсов и меня для строевой службы забраковали из-за того, что я левым глазом почти ничего не вижу. Если правый глаз оценивался по определению медкомиссии единиц, то левый глаз всего 0,1. Не подействовало и замечание Орлова, что послать меня могут в школу админхоз. работников. Это была моя первая ошибка в жизни. Я хорошо ориентировался в сиюминутной ситуации, а перспективно мыслить не мог и в будущее не заглядывал. Короче, я еще раз подтвердил свое желание уволиться в запас вместе с группой других писарей.

По распоряжению т. Орлова мне выдали новое обмундирование: темно-синие диагональные брюки, гимнастерку темно-серого цвета с нашитыми на груди поперечными лацканами с боковыми косыми карманами и погоном на левом рукаве, на котором были прикреплены три треугольничка. Я же все-таки был отделенным командиром. Я упаковал фанерный чемоданчик, где сложил гостинцы домой и свои вещи, приобретенные за последние месяцы, получив документы и, распрощавшись с товарищами, вместе с группой демобилизуемых, а нас было человек пятнадцать, уехал. На вокзал нас отвезли на двух пароконных повозках.

Мы должны были приехать в Черкассы 28 июля. В поезде договорились с ребятами, которые остаются в Черкассах, после явки в военкомат, первым делом пойдем на биржу труда и станем на учет. Намечали явку на биржу 30 июля. На бирже труда нас на учет не взяли, так как до 5 августа был объявлен переучет безработных. Мы все же выделили своего уполномоченного, который должен был контролировать все поступающие на биржу требования с тем, чтобы направлять в первую очередь безработных из числа демобилизованных,

а пока нам посоветовали обратиться в Окрисполком, там, якобы, дают демобилизованным талоны на обед. Мы гурьбой отправились в исполком, я, правда, не нуждался в талонах, так как у меня были с собой деньги — рублей 15, а обед в столовой стоил всего 35 копеек, но за компанию пошел со всеми. Нам выдали по 3 талона — обед на 3 дня.

Назавтра я от нечего делать заглянул опять на биржу труда. Наш уполномоченный, некто писарь Таран, находился за барьером, и важно прохаживался между столами сотрудников. Увидев меня, он закричал:

— Худяков! Есть требование на машинистку. Ты же прекрасно печатаешь. Пойдешь?

— Так я еще не взят на учет, — ответил я.

— Ничего, я говорил с зав. биржей.

Я подумал: специальности у меня нет. Я никакой ни слесарь, ни токарь, ни плотник, ни маляр. Идти каким-нибудь делопроизводителем — я могу год ждать, и требования не будет. А работать надо. Сейчас по знакомству поступить нельзя. Только через биржу. А идти разнорабочим, опять бульварчики подметать или чистить базарные уборные — нет уж, хватит. И я решил: пойду машинисткой, а дальше будет видно. Короче — я согласился. Через несколько минут Таран оформил мне направление биржи труда в окрфинотдел: направляется, мол, на должность машинистки товарищ Худяков. В финотделе меня встретил упрделами т. Куринной.

— А ты ж печатать умеешь? — задал он мне вопрос.

— Если бы не умел — не брал бы направления, — ответил я.

— Тогда вот стоит свободная машинка, садись и напечатай заявление о приеме на работу.

Машинка знакомая — «ундервуд», я взял листок бумаги и быстро оттарабанил заявление. Куринной взял заявление и внимательно рассмотрел — сначала, как расположен текст, затем внимательно прочитал и говорит:

— Напечатано быстро и хорошо, но на русском языке, а на украинском ты можешь печатать? У нас все делопроизводство ведется на украинском языке.

Я почувствовал, что провалился. Украинский язык я знал только бытовой, разговорный, и то почти никогда его не применял, так как дома у нас говорили только по-русски, учился я в русской гимназии, а на военной службе вся переписка велась только на русском языке. Писать же по-украински я вообще не мог, так как в жизни ни одного слова по-украински не написал. Я понял, что меня сейчас отправят обратно на биржу с пометкой «не подходит», и решил уйти, так, на прощанье хоть «хлопнуть дверью». Я ответил: «Конечно, могу и по-украински». Куринной предложил напечатать новое заявление уже на украинском языке. Я сел за машинку и напечатал также быстро и хорошо второе заявление, но опять таки на русском языке, и дал его Куринному. Тот молча взял, некоторое время смотрел то на меня, то на заявление, усмехнулся и говорит:

— Ах ты, шельмец! Так значит, украинского языка не знаешь. Ну, да ладно. Пусть будет так. Понемногу научишься. Выходи завтра на работу к 9 часам утра. Машинистка в отпуске. Будешь две недели ее замещать. Ставка твоя 20 рублей в месяц. Если будут успехи с украинским языком, потом будешь замещать вторую машинистку, а там будет видно.

Прошло две недели. Я с трудом справлялся с украинским языком, часто путал «и» с «і», делал и другие ошибки, но все-таки меня оставили замещать другую машинистку, потом третью, а когда все машинистки побывали в отпуске — меня оставили замещать регистратора, то есть посадили на журналы «входящий» и «исходящий». С 1-го сентября при окрфинотделе были организованы для сотрудников курсы украинского языка, занимались после работы три раза в неделю, и я стал постигать грамматику украинского языка. 1-го октября вернулся из отпуска регистратор «входящих» и «исходящих», и мне Куринной предложил освоить новую профессию — стеклографа.

Стеклограф тогда был новшеством, недавно изобретенный множительный аппарат, работающий на принципе химической реакции различных составов, носящих мудреные названия — соляноль, глиноль, ромалин. Чистое стекло намазывается тончайшим слоем глинолем, затем написанный специальными чернилами

текст или напечатанный на машинке со специальной лентой прикладывается к стеклу, выдерживается под прессом от 10–20 секунд до 2 минут в зависимости от температуры в комнате, от давности нанесения текста и от толщины слоя грунтовки линолем, затем ваткой, смоченной в ромалине, текст на стекле проявляется и закрепляется, после чего резиновым валиком накатывается краска, которая берется только к тем местам, до которых дотрагивались буквы, после чего на чистую бумагу перебивается отпечатанный экземпляр. Для плотного прилегания чистой бумаги по ней прокатывается второй сухой валик. Так, работая двумя валиками — с краской по стеклу и сухим по бумаге на стеклографе — можно отпечатать до тысячи экземпляров со скоростью 200–250 экземпляров в час.

Когда финотдел приобрел этот аппарат, то несколько человек уже до меня пытались его освоить, но у них ничего не получилось. Мне же повезло. Я в течение трех-четырех дней понял, в чем секрет, а именно — в равномерности наложения грунтовки и в продолжительности держания оригинала под прессом, — и уже на четвертый-пятый день я стал печатать вполне прилично. Оттиски у меня были чистые, четкие, ясные. Так я стал стеклографистом. Особенно мне пришлось воевать с машинистками, так как оригинал должен был быть напечатанным равномерно, без всяких перебивок букв, и буквы на машинке должны были быть хорошо прочищены щеткой, иначе на стекле получались черные кляксы, и нельзя было разобрать текста. Кончилось тем, что мне выделили самую лучшую пишущую машинку, и я сам стал печатать оригиналы для стеклографа. Так, совмещая профессию машинистки и стеклографиста, я проработал в финотделе до января 1925 года, а в январе мне обещали увеличить зарплату до 25 рублей в месяц. В декабре закончились занятия на курсах украинского языка, и я получил свидетельство, в котором было сказано, что я «цілком опанував українську мову».

Помню хорошо, как мы праздновали 7-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Почти весь коллектив был вовлечен в работу по украшению здания финотдела. Одни плели гирлянды из соновых веток, другие орудовали над гирляндами электролампочек

для украшения фасада, третьи писали лозунги на материи и на обоях. Я и еще несколько человек были в этой третьей группе. Все это делалось после работы и в воскресный день, делалось с любовью, с энтузиазмом и, конечно, бесплатно, никто не отказывался от работы. Потом развешивали плакаты, портреты, транспаранты внутри здания и на фасаде. Ничем не примечательный дом, который занимал финотдел, к празднику Октября засиял огнями электроламп, освещенными портретами, бумажными цветами, зеленью елок и, конечно, красными флагами, флажками, лозунгами. В городе и другие здания — Окрисполком, Окрпартком и другие учреждения — были украшены, в нескольких местах города были установлены ажурные арки, также переплетенные гирляндами из зеленых елок и электроламп. На всех зданиях развевались красные флаги. Я днем и вечером брал свою сестренку Таню, водил по городу, показывал все наиболее интересно оформленные здания. Впоследствии, за все прошедшие годы моей жизни я видел не только в захолустном городке Черкассы, но и в больших городах, в столице Украины Киеве, в тысячи раз более замысловатые украшения к дням революционных праздников, но они не производили такого впечатления, не волновали меня так, как то скромное, меряя по сегодняшнему дню, украшение города в 1924 году.

В начале января 1925 года меня пригласили в Окрпартком — научить одного молодого парнишку печатать на стеклогrafe. Я дня три, с разрешения своего начальника, управделами Куринного, ходил в Окрпартком и учил этого парнишку, но тщетно — у него ничего не получалось. То он слишком толстый или неравномерный слой грунтовки накладывал, то недодерживал оригинал или передерживал его под прессом, то утверждал, что оригинал никуда не годится, хотя после ряда его неудач я этот же оригинал проявлял и, как говорили в Окрпарткоме, у меня получалось «как в ЦеКа». Тогда управделами Окрпарткома Анисимов задал мне вопрос:

— Ты сколько получаешь в Финотделе? Да, как тебя зовут?

Я ответил:

— Получал до января до января 20 рублей, а с января обещали дать надбавку, и буду получать 25 рублей, а имя мое Фёдор.

– Мы тебе будем платить 30 рублей в месяц, дадим хорошую пишущую машинку, — перейдешь к нам на работу? Ну, как, Федя, по рукам?

Я сказал, что мне неудобно бросать работу, ведь квалификацию стеклографа я приобрел в финотделе, и это будет нечестно. Анисимов ответил, что стеклографист в Окрпарткоме для государства важнее, чем в финотделе, что никакого неудобства здесь нет и что, в конце концов, меня переведут по работе, и никаких хлопот мне не предстоит. Я согласился — ведь 30 рублей это не 20 и даже не 25 рублей. Но не только деньги меня привлекли. В коллективе Окрпарткома я почувствовал атмосферу товарищества, дружбы, атмосферу, несколько схожую с той, какая царила в штабе полка, по которой я скучал и не раз жалел, что уволился из армии, а в финотделе по сути была чисто чиновничья обстановка, разговор только служебный, на меня, по сути еще мальчишку, все смотрели как-то свысока. Обращались друг к другу только по фамилии, а здесь в парткоме я слышал и «дядя Ваня», и «папаша», и «Кузнечик» (вместо тов. Кузнецов), и «Валя», и все почти на «ты».

Через несколько дней в финотдел пришла бумажка: «Окрпартком просит перевести на постоянную работу в ОПК машиниста-стеклографа т. Худякова Ф. Ф.» И вот с 25 января 1925 года я — работник Черкасского Окрпарткома.

Мне для стеклографа в общей комнате, где работали машинистки, поставили два стола — один для пишущей машинки, а другой для стеклографа и, как обещал Анисимов, дали одну из лучших пишущих машинок с наиболее четким, ровным шрифтом.

Анисимов был строгий управделами. Пишущие машинки он закрепил за каждой машинисткой и не разрешал никому пересаживаться с одной машинки на другую. Обязывал каждую субботу последние два часа работы расходовать на то, чтобы каждая машинистка почистила свою машинку, вытерла пыль, смазала. Печатавая в полку и в финотделе на разных машинках, я знал примерно пять или шесть систем, умел их разобрать и, чистя свой «ундервуд», я помогал другим машинисткам частично разобрать их «смиты», «континентали», «торпедо», чтобы им легче было добраться

внутри машинки к скрытым местам, где всегда накапливалась пыль, грязь или где надо было смазать маслом. Строгость Анисимова проявлялась не только в том, что он требовал следить за машинками, но и в том, что он требовал безукоризненного качества печатанья. Например, если на странице писчего листа, напечатанного густо, строка за строкой, он обнаруживал три или более перебивки букв, — он молча перечеркивал всю страницу красным карандашом и говорил машинистке:

— Останетесь после работы и перепечатайте без ошибок.

И добавлял:

— Берите пример с Феди, у него ошибок нет.

Когда один раз новенькая машинистка заартачилась и заявила: «Зачем после работы, я сейчас перепечатаю», — Анисимов сказал: «По закону трудящийся должен давать продукцию без брака, а если допущен брак, переделывается такой за счет виновного. Если вы будете перепечатывать свой брак в рабочее время, за которое вам платится зарплата, значит, переделки будут происходить за счет государства, а если вы перепечтаете после работы, значит, переделка произойдет за ваш счет. Я уже не говорю, что полагалось бы удерживать и стоимость испорченной бумаги, а вообще это вас приучит печатать аккуратней и не допускать ошибок». И это действительно научило окрпарткомовских машинисток печатать без ошибок, и все Вали, Сони, Мани впоследствии были очень благодарны Анисимову и, наверное, не раз в жизни вспоминали его хорошим словом.

Сменился секретарь Окрпарткома. На день 8 Марта, как всегда, в городском театре шло торжественное собрание городского актива и передовых рабочих. Новый секретарь делал доклад о международном женском дне. Мы все, сотрудники окрпарткома, как всегда, запаслись пригласительными билетами и сидели в партере в первых рядах. Одна из наших машинисток наклонилась к машинистке, работавшей в КК РКИ, и в конце доклада шепотом сказала:

— Прежний секретарь в прошлом году сделал доклад лучше. Видно, он был лучший оратор.

Какой-то подхалим, сидевший сзади, эту шепотом произнесенную фразу доложил секретарю Окрпарткома, и на завтра появился

приказ: «Такую-то машинистку за дискредитацию секретаря Окрпарткома уволить с работы». Тогда Анисимов вызвал меня, а я был в то время председателем месткома (вернее группкома) прфсоюза. Группком объединял коллективы Окрпарткома, Окружкома комсомола, РКИ, и еще к нам городское отделение прфсоюза пришилило несколько одиночек из школы кройки и шитья. Вызвав меня, Анисимов сказал:

– Я подчиняюсь секретарю Окрпарткома, но приказ об увольнении машинистки, да еще одной из лучших, неправильный. Я подчинился, написал этот приказ, но идти к секретарю отстаивать свою точку зрения я не могу. Иди ты, и как председатель месткома уговори его приказ аннулировать.

Все сотрудники Окрпарткома, в том числе, как члены партии — ответственные работники, так и рядовые беспартийные, в том числе и я, возмущались этим приказом, но никто не отважился пойти к секретарю ОПК и сказать ему правду. Он, может быть и умный, преданный партии коммунист, но докладчик он не ахти какой, — без огонька монотонно прошамкал свой доклад, как бы отбив формальную повинность какою-то. Ну, думаю, если никто не решаетя ему сказать правду в глаза, пойду я. Меня-то он не уволит. Во-первых, я буду говорить от имени профсоюза, а во-вторых, я единственный в городе специалист по печатанию на стеклографе — ко мне ходили учиться и из Окрисполкома, и из штаба дивизии, и из других учреждений, и если меня уволят — я без работы не буду. Я выбрал момент, когда секретарь был один, и сказал ему:

– Вы подписали приказ об увольнении машинистки якобы за дискредитацию вас. Во-первых, это не дискредитация. Один человек лучший оратор, другой хуже говорит, и если вам это не нравится, а это, понятно, но это не является основанием для увольнения человека с работы, и профсоюз протестует и требует аннулировать приказ.

Я тогда не знал ни прав профсоюзов, да и были ли в то время такие права, но во мне говорила горячая молодость и возмущение несправедливостью. Я еще что-то говорил в таком же духе. Секретарь вызвал Анисимова, и из книги приказов молча вырвал листок,

где было написано об увольнении машинистки. На этом вопрос и был закончен.

Я сказал, что я был председателем месткома. Да. К тому времени я с головой окунулся в общественную работу. Я был членом Ревкомиссии окружкома МОПР, был КООПдитуполномоченным, сам вел подписку на газеты и журналы, был организатором, а потом членом бюро ячейки ОСО АВИАХИМ, выпускал стенгазету, и как автор половины статей, и как художник ко всем праздникам писал лозунги для украшения здания внутри и снаружи, был членом президиума Окружкома профсоюза работников просвещения (РОБОС), организатором ячейки ОЗЕТ в коллективе ОПК (Общество землеустройства трудящихся евреев).

В эти годы я решил вступить в партию. Я знал, что это для меня трудно. Работая в Парткоме, я знал, что рост партии регулируется — 50–60% рабочих, 30–40% крестьян бедняков, и только 10% служащих. А я не только служащий, я еще и по происхождению из дворянской семьи. Кроме того, в Парткоме своей ячейки не было, а все коммунисты были распределены по ячейкам различных предприятий, а я в этих ячейках был абсолютно чужой человек, меня там никто не знал.

1925-й, 1926-й, 1927-й годы были для партии особо бурными. В это время, когда основной ленинский костяк партии трудился над планами индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, партию изнутри терзали всяческие оппозиции. Троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы и другие. В газете «Правда» была развернута широкая дискуссия о путях развития социализма в нашей стране. Я читал запоем все статьи в «Правде», все выступления на XIV и XV съездах партии, хотя и не во всех тонкостях мог разобраться, но твердая убежденность в правоте ленинской политики у меня была и осталась на всю жизнь. Я чувствовал свою отсталость не только общеобразовательного характера, но и в политических знаниях. Я поступил в Совпартшколу, которую окончил после двухлетнего обучения. С упоением читал «Анти-Дюринг» Энгельса, пытался читать «Капитал» Карла Маркса, но не осилил, не мог ничего понять в таких произведениях, как,

например, «Диалектика природы» Энгельса или «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина.

В общем, чем больше я учился и читал, я приходил к выводу, что, в сущности, я очень малограмотный человек. Особенно тяжело мне давались философские темы. В этих условиях я считал себя неподготовленным к вступлению в партию, а потом, после разгрома оппозиций, прием в партию служащих был вообще закрыт. Я так и остался беспартийным коммунистом, и во всей своей жизни, в работе, в отношении к людям проявлял эти свои качества.

Период 1924–1928 годов остался у меня в памяти и как период украинизации советского аппарата. Не знаю, действительно нужно ли было проводить в таких объемах и с таким рвением эту работу или здесь приложили руку украинские националисты, но требования, какие предъявлялись к служащим советского аппарата, были иногда, мягко выражаясь, чрезмерными. Еще работая в финотделе (я об этом писал), я закончил трехмесячные курсы, занимаясь каждый день по 3 часа. Получил свидетельство, в котором было сказано, что я «цілком опанував українську мову». Кажется, всё. Но нет — в октябре 1925 года специальная комиссия из Наробраза устроила всем экзамен. Мне выдали после экзамена свидетельство, по которому я был отнесен ко 2-й категории. А это означало, что мне необходимо пройти еще 6-месячный срок обучения. Я, конечно, никаких курсов не посещал, и в мае 1926 года предстал перед экзаменаторами с теми знаниями, какие имел. Письменную работу (сочинение на произвольную тему) я написал без единой ошибки. Устно по всей грамматике и синтаксису ответил на 5 с «зауваженнями на фразеологію».

Думал, на этом конец, но весной 1927 года опять нагрянула экзаменационная комиссия. Я в третий раз экзаменационную работу сдал без единой ошибки, на устном экзамене мне задали вопросы по истории революционного движения на Украине и, конечно, про период «козацтва». Они поняли, что я хорошо знаю. Перебив меня, задали второй вопрос: «А тепер розкажіть про період Центральної Ради». Я с полным знанием стал рассказывать о Винниченко, о Центральной Раде, о Петлюре. Экзаменаторы после реплики «доб-

ре» перебили меня и спросили, какую литературу на украинском языке я читаю, и на каком языке я вообще дома разговариваю. Это меня вывело из терпения. Человеку, который обратился ко мне на украинском языке, я отвечал всегда по-украински, к человеку, который обратился ко мне на русском языке, я, естественно, отвечал на русском. Дома я всегда говорил по-русски. Да и вообще, какое им дело, на каком языке я говорю в частных разговорах с близкими или знакомыми. Читал я кое-что на украинском языке, например, Шевченко, Коцюбинского и даже пресловутого Владимира Винниченко «Соняшну машину» прочел, но я спокойно ответил:

— Я росіянин. Дома і в приватних розмовах вживаю тільки російську мову. Українську літературу не читаю, крім газети «Радянська думка» (это черкасская районная газета).

— Ну, а яких українських письменників ви знаєте?

Я еле сдерживался, чтобы не выйти из себя, и самым невинным тоном сказал:

— Чув, що був Шевченко.

— Як так чули? — воскликнул председатель комиссии.

— Авжеж не бачив, — ответил я спокойно.

— А що ви читали Шевченка?

— «Гайдамаки» — в російському перекладі.

— Так, так..., — неопределенно процедил сквозь зубы председатель комиссии. — Ну, все... Ідіть.

Выдали мне «свідоцтво», по которому я отнесен был уже к 1-й категории, но все-таки с «зауваженням»: больше читать украинскую литературу. Я думал, что это уже конец. Но в 1928 году летом был еще один экзамен. Только письменный. Сочинение я опять написал на «отлично». И выдали нам, в том числе и мне, уже не полуметровые «свідоцтва», а на восьмушке писчего листа «довідку», в которой было сказано, что я «українську мову» знаю. Больше мне не пришлось экзаменоваться.

В 1927–1928 годы посещал я и курсы ОСО АВИАХИМ (ныне это общество называется ДОСААФ). Прилежно изучал средства от химического нападения. Изучал действие отравляющих веществ (хлор, хлор-фосген, иприт, люизит) на человеческий организм,

оказание первой медицинской помощи отравленным, средства дегазации, тренировался в работе и походе в противогазе. По окончании курсов получил звание — инструктор противохимической обороны. Эти знания мне пригодились впоследствии, уже в 1938 году, когда я освобождался от аналогичных курсов и сдавал экзамены на «отлично».

Но, вернусь к 1926–1928 годам: я работал по-прежнему машинистом-стеклографистом, нес десятки нагрузок или, как теперь говорят, «поручений». Не было такой области, где бы я не принимал участия или не был организатором в общественных мероприятиях, а основная работа с каждым месяцем увеличивалась. Бумаги шли в ход. Директивы, резолюции, тезисы всяческих докладов, программы политобразования и т. д. рождались в Окрпарткоме по всем линиям — орготдел, агитпропотдел, женотдел, отдел нацменьшинств, отдельные работники — все писали, писали, и все надо было печатать на машинке для стеклографа, а потом размножать. Помню два случая, когда я, придя на работу во вторник, не уходил с работы до вечера субботы, и печатал под диктовку страница за страницей, а потом отбивал на стекле по 200 экземпляров.

Это был отчет ОПК окружной партконференции. Первый раз конференция была назначена на середину октября, и надо было напечатать отчет для раздачи делегатам. А так как все хотели в отчет включить самые последние данные, то каждый работник ОПК, принимавший участие в составлении отчета, свой раздел давал с большим нарушением графика, чуть ли не в последние дни перед конференцией, а я должен был все напечатать и размножить. Я работал буквально день и ночь, не уходил домой, и ни на минуту не смыкал глаз в течение четырех суток. Питание мне управделами Анисимов организовал, и мне приносили из столовой завтрак, обед и ужин. Возвращаясь в субботу вечером домой, я еле добирался до кровати и, не переодеваясь, валился на постель, сразу же засыпал и спал без перерыва 20–25 часов. Только закончил я печатать отчет, как по указанию ЦК КП(б)У конференция была отложена на январь следующего года. Весь напечатанный материал пошел в печку. Данные, составленные по состоянию на 1-е октября, надо было заменить

данными по состоянию на 1-е января. Отчет все исполнители начали переделывать, и вот накануне второго срока все повторилось снова. Я опять был занаряжен со вторника по субботу в круглосуточную работу. Тут я обнаружил оригинальную способность человека — работать абсолютно механически, без малейшего участия сознания.

Дело в том, что в порядке экономии электроэнергии черкасская электростанция, чуть только появлялись признаки рассвета, выключала электроосвещение, и получался до полного рассвета интервал минут сорок, когда в помещении было еще настолько темно, что даже под окном нельзя было ничего прочесть. В это время я мог пойти умыться, выпить чай и перекусить чего-нибудь, что для меня по распоряжению Анисимова заготавливал так называемый комендант или попросту сторож, некто Смолин. Так вот, печатая под диктовку заворгинстра тов. Оскерко очередную страницу отчета, я должен был прервать печатание, так как потух свет. За минуту перед этим я взглянул на стенные часы — было ровно половина пятого утра. Мы с Оскерко удивились, что свет потух раньше времени. А так как страница для стеклографа должна быть отпечатана в один прием, а при интервале между напечатанной частью до того, как потух свет, и частью страницы, которую мы бы продолжили днем, прошло бы более 3-х часов, вся страница оказалась бы испорченной, — мы решили разбудить Смолина, пристроить к машинке свечи и продолжать печатать при свечах. Так мы и сделали. Я продолжал печатать под диктовку Оскерко. Вдруг свет зажегся. При ярком свете электричества я опять машинально глянул на часы. Было без четверти 5 часов. Значит, света не было около 15 минут. Оскерко, не отрываясь от своих черновиков, продолжал диктовать. Тут я заметил, что никаких свечей вокруг машинки нет. Никакого устройства, чтобы эти свечи приладить, тоже нет, а, глянув на напечатанный текст, я увидел, что успел напечатать строчек 20, то есть уже почти заканчиваю страницу. Я задал вопрос Оскерко:

— Куда девались свечи?

Оскерко удивился:

— Какие свечи?

– Да ведь потух свет, и мы приладили к машинке свечи.
– Свет вовсе не тух, и никаких свечей мы не прилаживали, тебе это померещилось.

– Так значит, я спал, и все это видел во сне.
– Да ты вовсе не спал, а печатал. Я диктовал, а ты печатал.

Я понял, что я действительно спал. Видел во сне и как будили сторожа Смолина, и как прилаживали свечи, и как я при свечах продолжал печатать. А на самом деле я действительно продолжал печатать под диктовку, хотя спал самым настоящим образом и даже видел сон. Самое удивительное, что, прочитав напечатанный текст, на этих 20 строчках я обнаружил лишь 3 или 4 ошибки (ударял пальцами не по тем буквам), а Оскерко даже не заметил, что я сплю. Выходит, что в момент наивысшего напряжения нервов человек, мало того, что может не спать по трое-четверо суток, но даже, полностью заснув, продолжать какую-то работу бессознательно, чисто автоматически, даже такую умственную работу, как слушать и слышать, мозг может давать команду рукам что-то делать, даже печатать на машинке, не видя ни машинки, ни клавишей букв, пальцы руки будут печатать механически, как автоматы.

Да, в те годы я работал много и по основной своей работе, и по общественной линии, занимался самообразованием, учился на курсах ОСО АВИАХИМА, в политшколе, но при всем этом я находил время для хорошего здорового отдыха. Моя любовь к Днепру, к воде, зародившаяся еще в период, когда я служил в 73 полку и купал лошадей, или еще раньше, когда я отмывался после чистки базарной уборной в 1920 году, разрасталась все сильнее. Я очень хорошо плавал. Будучи председателем месткома Окрпарткома, я добился разрешения правления Союза РОБы, и мы приобрели три лодки — гребные шлюпки: две по две пары весел и одна поменьше на одну пару весел. В ней можно было разместить по три-четыре человека, но лучше всего было кататься одному или вдвоем. В лице бухгалтера Окрпарткома Бориса Звенигородского я обрел верного хорошего товарища и друга, хотя он был и старше меня лет на семь. И вот летом каждый погожий день после работы, а работа кончалась в 4 часа дня, мы с Борисом шли обедать в сто-

ловую, а после обеда — на Днепр, на лодку. Катались, купались, а по воскресеньям загорали с раннего утра до позднего вечера на пляже. Очень часто нам составляла компанию некто Мария Фёдоровна Прохоренко — зав. школой кройки и шитья. Эта школа по профсоюзной линии входила в группком ОПК. Борис ее называл просто Мура, и часто говорил: «Мура — свой парень». С Борисом я дружил в полном смысле слова. Даже на работе знали, что если Федя, то есть я, идет в отпуск, надо на это же время дать отпуск и Борису, так как мы один без другого шагу не могли ступить. На Днепр — вместе, в кино или театр — вместе.

Летом 1928 года мы с Борисом решили поехать на экскурсию на Днепрострой. Тогда только начиналась эта стройка, но о ней очень много писалось в газетах. Крупнейшая в Европе гидроэлектростанция на 600 тысяч киловатт энергии, один из первенцев 1-й пятилетки, пятилетки индустриализации страны, — вполне понятно — привлекала всеобщее внимание. Мы с Борисом решили посмотреть эту стройку, посмотреть знаменитые Днепровские пороги, воспеть в литературе, так как после окончания строительства эти пороги должны были быть затопленными навеки 20–40 метровой толщей воды.

За несколько дней до отъезда к нам изъявила желание присоединиться и Мария Прохоренко. Мы были очень довольны. В назначенный день отъезда в 6 утра мы втроем собрались на пристани в ожидании парохода, предвкушая интересное путешествие. Не помню, кому пришло в голову, но мы решили ехать коммуной. Распределили обязанности. Все организационные вопросы — покупка билетов, связь с экскурсбазой в Днепропетровске, организация поездки на лодках через пороги, устройство ночевок в пути и прочие организационные вопросы возложили на меня. Все питание на время экскурсии — на Марию, а все финансовые вопросы, конечно, — на бухгалтера Бориса. В соответствии с этим распределением я постоял в очереди у кассы и купил всем билеты до Днепропетровска. Всю взятую с собой провизию (а ехать пароходом предстояло двое суток, если пароход не сядет где-нибудь на мель) выложили в чемодан Марии. Провизия состояла из хлеба, булок, колбасы, вареных яиц, жареных

котлет. Деньги, все какие были у меня и у Марии, сдали в один кошелек — Борису. Все документы, удостоверяющие наши личности, — справки с места работы, письмо Окркома профсоюза РОБОС к Днепропетровской туристической базе — я взял себе для предъявления в случае надобности. После этого мы позавтракали, запили сельтерской водой, и до отхода парохода мы с Борисом успели еще искупаться в Днепре.

Не обошлось и без курьеза. Когда перекладывали провизию, обнаружили, что Борис забыл взять полотенце, зато почему-то взял расческу для волос, хотя голову всегда брил наголо. Милый, дорогой Борис, всегда такой аккуратный, внимательный, и вдруг такая оплошность. Мы все весело посмеялись и тут же решили, что по приезде на место в счет наших общих расходов купим ему полотенце, а пока, пока в наказание пусть сохнет на солнце или вытирается газетой. Позже в Днепропетровске нам купить полотенце не удалось, не встретился по пути галантерейный магазин, а в Кичкасе в ларьке, организованном американцами, работающими на Днепрострое, Борис на выделенные ему деньги для покупки полотенца купил... американский будильник. Так он все две недели нашего путешествия и пробыл без полотенца, поскольку денег мы ему больше тратить не разрешили. Ведь все наши средства были все-таки очень ограничены.

В Кременчуке на пароход села группа из человек 30 экскурсантов, солидных мужчин и женщин — все инженерно-технические работники, москвичи, одетые в костюмы с галстуками. Они резко выделялись среди нас и по одежде, и по своему высокомерному поведению, но мне, как ответственному «по организационным вопросам», пришлось завязать с ними знакомство, так как мы решили влиться в их группу, будучи уверенными, что в Днепропетровске им будет оказано на экскурсбазе больше внимания, чем нам троим.

Пароход прибыл в Днепропетровск часов в 10 утра, а в 12 часов дня мы уже были на экскурсбазе, организованной в одной из школ. Оттуда я с руководителем группы ИТРовцев сразу же отправились в предместье, которое называлось Лоцманская Каменка, для того, чтобы договориться о лодках и проводниках через пороги в Кичкас,

то есть на Днепрострой. Договорились, что лодки и проводники будут ждать нас в 3 часа дня. Договорились о цене и поспешили обратно на экскурсбазу. К 3-м часам мы все собрались в Лоцманской Каменке. Всей нашей группе было предоставлено два баркаса, на которых мы разместились. На баркасах, или как их называли «дубах», были установлены примитивные паруса. В них, кроме нас, село по пять человек лоцманов — четыре человека на веслах и один на руле, а всего с нами, пассажирами, по 20–25 человек. В начале четвертого часа мы торжественно отплыли. Жара стояла нестерпимая. Мы, привыкшие к солнцу и воде, как только отплыли, моментально разделись до трусов, а москвичи как были в пиджаках и при галстуках, так и сидели, напыщенные, важные, и с нами даже разговаривать не хотели. Мы сначала потихоньку, чтобы было незаметно, посмеивались над ними, а потом уже вслух бросали в их сторону намешливые реплики.

И это возымело свое действие. У них постепенно стала пропадать вся их чопорность и официальность. Сначала робко были развязаны галстуки и расстегнуты воротники рубашек, потом слетели с плеч пиджаки и, наконец, многие поснимали рубашки. Женщины, правда, платьев не снимали. Так мы проплыли все 80 километров от Днепропетровска до Кичкаса. Я никогда не забуду, да и можно ли забыть эту замечательную поездку.

На Днепре, на этом сравнительно небольшом участке, было 13 порогов. Один не похож на другой. Самый большой порог — это Ненасытец, протяженностью более километра. Днепр в этом месте широкий, возможно, до 2-х километров, но мелкий. Все дно усеяно большими и малыми камнями, причем большинство камней выступают на поверхности как малые и большие островки. Вся масса воды или перекачивается через эти камни или стремится между камнями с бешеной скоростью, с пеной и грозным ревом. Метрах в 50 от левого берега еще с времен Екатерины сооружено два продольных параллельных вала из гранитных камней, образующих коридор. Только по этому коридору и можно было проплыть на легких суденышках с небольшой осадкой, так как глубина его составляла всего 1,5–2 метра. Мы на своих «дубах» пронеслись по стремительному

течению за каких-нибудь пару минут со скоростью курьерского поезда тех времен. Не буду описывать всей красоты Ненасытца, это лучше меня сделали в свое время писатели и поэты. Мой наспех сделанный зарисовок тоже не дает никакого представления <см. илл. на вклейке>. Мы были зачарованы, сидели молча, глядели по сторонам и вслушивались в гул и рев могучего Днепра. У некоторых москвичей были фотоаппараты, и они делали снимки, но как потом выяснилось, снимки были неудачными, — слишком быстро летел наш «дуб» и невозможно было дать необходимую выдержку.

Остался у меня в памяти и знаменитый камень «Богатырь». Днепр в этом месте был спокойный и довольно широкий, более километра ширины. Правый берег высокий, скалистый, левый песчаный, отлогий, поросший лозняком. В одном месте посредине Днепра в виде островка возвышалась скала величиной с двухэтажный дом, а на левом песчаном берегу лежал еще один камень величиной с трех-четырёхэтажный дом. Вокруг золотой песок, кусты лозы, и никаких признаков гранита. Один из лоцманов рассказал нам легенду о том, как попал на левый берег этот громадный камень.

В древние времена с левого берега наступали орды татар. Перестрелка из луков ничего не давала, так как стрелы не долетали с берега на берег. Устраивать переправу было практически невозможно. Большое войско с обеих сторон с тысячами лошадей, повозок и десятками тысяч людей потребовало бы уйму лесоматериала для устройства плотов, а леса в этих краях не было. И вот пошли переговоры. Договорились, что каждая сторона выделяет богатыря. Каждый богатырь берет по большому камню и бросает в лагерь врага. Чей камень перелетит Днепр, та сторона и считается победителем. Побежденные выплачивают обусловленную дань и уходят. Первым бросил богатырь татар. Ему приволокли издалека большой камень величиной с двухэтажный дом. Он поднял его, размахнулся и бросил. Камень едва долетел до середины Днепра и хлопнулся в воду. Образовался островок. Тогда русский богатырь отломил от прибрежной скалы камень величиной с четырехэтажный дом, поднял его, размахнулся, и камень перелетел на левый берег, упав на песок. Так он и лежит с тех давних, давних времен, одинокий, среди кус-

тов лозы и золотого песка на левом берегу. Татары выплатили русскому князю условленную дань, переправив ее на лодках, и ушли восвояси в Донские степи.

Помню хорошо я и последний порог. Называется он «Волчье горло». Подплывая к нему, я обратил внимание, что Днепр становится все уже и уже. С обоих берегов громоздились высокие скалы. Наконец, Днепр сделался шириной не более 60–70 метров. Вода казалась черной, зловещей. Глубина, по словам лоцманов, более 100 метров. Течение быстрое, но спокойное. Солнца из-за стоящих стеной берегов не видно. Потемнело. В воздухе сделалось прохладнее. Мы все присмирели. Я считал, что это и есть «Волчье горло». Так мы проплыли 3–4 километра. Ветра не было, и лоцманы взялись за весла. Стояла зловещая тишина.

Вдруг с обоих берегов скалы как ножом срезало. Правый и левый берега оказались пологими, левого берега даже увидеть нельзя было. Днепр разлился на ширину двух, а то и более километров, зато, как и на Ненасытце, вся поверхность воды была усыяна тысячами островков из отдельных камней. Вода бурлила и перекатывалась через камни. Подул свежий ветерок. Как по волшебству сделалось, светло. Мы увидели солнце, голубое небо, и сразу повеселели, но лица лоцманов были серьезны, сосредоточены. Помогая рулевому и его командам, они загребали то правыми, то левыми веслами, давая «дубу» нужное направление. Дело в том, что метрах в 100 от правого берега возвышались две высокие скалы. Оказывается, только между ними и можно было проскочить через пороги. По другому пути лодки неизбежно были бы разбиты о камни. Вот эти-то две скалы и дали порогу название «Волчье горло». Но все обошлось благополучно. Лоцманы знали свое дело и хорошо изучили путь через пороги. Мы успешно в несколько секунд пронеслись между этими зловещими скалами. Еще пару сотен метров, и Днепр сделался спокойным. Мы пристали к правому, уже не скалистому, а песчаному, с кустами лозы, берегу и сделали привал. Было часов 9 утра. Лоцманы ловили рыбу. Ее скапливалось перед порогами огромное количество. Плывая вверх по течению, рыба не могла преодолеть каменную преграду, образуемую порогами, и слишком быстрое течение. Лоцманы просто

черпали ведрами воду, и в каждом ведре каждый раз оказывалось по 1–2 штуки довольно крупной морены. Затем лоцманы стали варить уху, а мы с Борисом и еще несколькими экскурсантами из группы москвичей купались. Я даже расхрабрился и, поднявшись по берегу вверх по течению, забрался, прыгая с камня на камень, метров на 20 от берега и плюхнулся в бурлящую пену порогов. Сильное течение хлестнуло по телу и мигом вынесло на чистую воду. Один из москвичей попытался последовать моему примеру, но неудачно. Его течение поволокло по камням, и он вышел на берег с ободранной кожей на груди, животе и ногах. После этого второй раз я побоялся испытывать пороги, рискуя собственной шкурой.

Позавтракав свежей ухой и оставшимися у нас припасами, мы уселись в свои «дубы» и двинулись дальше к Днепрострою, до которого уже без приключений доплыли где-то после полудня. Остановка — в Кичкасе. Первое, что бросилось в глаза, — это замечательный ажурный из металлоконструкций двухъярусный мост. Первый ярус для машин, подвод и пешеходов, второй — для поездов железной дороги. Мост, как мы с Борисом определили, арочный. Арки упирались концами в оба скалистые берега, но потом оказалось, что этот мост был консольным. По обоим берегам над мостом высились высокие кирпичные башни, служащие противовесом для полупролетов, соединенных вместе на середине Днепра. Днепр и здесь, как и у порога «Волчье горло», был узким и глубоким. По словам лоцманов и по рассказам экскурсоводов — в Кичкасе глубиной до 100 метров. Этот мост был обречен на снос, так как вода в этом месте Днепра должна была подняться после окончания строительства Днепрогэса на 40 метров и подошла бы вплотную к самому настилу первого яруса моста. А жаль. Думаю, что где-то в архивах сохранились чертежи или фотоснимки этого замечательного творения рук человеческих.

Самое строительство Днепрогэса еще только начиналось, и все работы проходили где-то ниже по течению Днепра. Слышны были только взрывы подрывных работ, да в воздухе висела пыль и дым. Я сразу приступил к выполнению своих официальных обязанностей. Явившись в экскурсбюро в Кичкасе, получил на нашу тройку

талончики на места в палатке для экскурсантов, получил пропуска в столовую для питания. Столовая называлась фабрикой-кухней. Мы пешком отправились на территорию стройки. По дороге обратили внимание на группу домиков, типа двухэтажных коттеджей, крытых красной черепицей. Эти домики были выстроены специально для американцев, приглашенных советским правительством для консультаций при строительстве Днепрогэса. Палатки были громадные, человек на 200 каждая. Таких палаток было десятков пять. В части палаток разместились рабочие, трудившиеся на строительстве, а несколько палаток пока использовались для экскурсантов. Внутри палаток были сплошные нары, на которых вплотную лежали матрацы, набитые соломой, и такие же соломенные подушки. Под подушками лежали сложенные простыни, которые служили нам одеялами.

Мы облюбовали себе уголок, оставили в головах за подушками чемоданчики и пошли искать фабрику-кухню. При входе перед вертушкой, после предъявления пропуска, каждому из нас выдали ложку, вилку и ножик, затем мы попали в большой зал, уставленный длинными столами и скамейками. В проходах между столами сновали официантки в белых чепчиках и передничках. При входе в этот зал было десятка два касс, очереди не было, и мы за несколько минут приобрели талончики на выбранные нами блюда. Правда, выбор был небольшим — украинский борщ, гороховый суп, котлеты с гречневой кашей и просто гречневая каша. Едва мы сели, как подошла официантка и забрала талоны. Через несколько минут подкатила тележка-этажерка, и официантка дала нам сразу первое и второе. Поели мы с удовольствием, так как проголодались порядочно. Едва мы кончили обедать, как официантка забрала у нас грязные тарелки, оставив почему-то ложки, вилки и ножи. Пустые грязные тарелки официантка установила на пустую тележку и укатила в противоположную сторону, как потом выяснилось, в посудомоечное отделение. Когда мы с недоумением обратились к нашей официантке, что она, мол, забыла забрать ложки, вилки и ножи, она ответила: «Берите с собой и при выходе сдадите». Нам стало ясно, что таким образом был поставлен контроль за сохранением столовых

приборов. Получил при входе — сдай при выходе. Не сдал, сунул в карман — вор, и попался.

Я сейчас вспоминаю еще один метод борьбы с хищением столовых приборов. Через год, в 1929 году, я летом во время отпуска был с экскурсией выпускников Черкасского педтехникума в Киеве. Зашли мы на Крещатике в столовую Нарпита пообедать. Толкотня, давка, за каждым столиком четыре человека обедают, а восемь стоят за спиной и ждут очереди. Наконец, дошла очередь до нас. Сели за стол, стол грязный, на нем гора грязной посуды. Наконец, официантка убрала посуду, размазала по столу грязной тряпкой разлитый кем-то суп. Через минут 10 принесла ложки и вилки и взяла талоны, еще через минут 10–15 принесла остывший борщ. Если посчитать время, что мы стояли в очереди в кассу, то прошло уже минут 40. Пока ожидали первое, от нечего делать крутили в руках пустые ложки. Я обратил внимание, что на рукоятке алюминиевых ложек и вилок выбит штамп «украдено». Вдруг за одним столом раздался громкий басистый голос:

– Я краденными ложками есть не буду, дайте мне некраденую.

Стоявшая неподалеку официантка сказала:

– Ложки не краденые, а наши, а на них выбит штамп, чтобы вы не украли.

Тот же бас на весь зал прокричал:

– Я ничего не знаю. Вы даете ложку, на которой написано, что она украдена, кем украдена? Значит, вами, а не мной, да и какое вы имеете право подозревать, что я или кто-то польстится на алюминиевую ложку и украдет ее у вас.

К нему присоединилось еще несколько голосов. В зале поднялся шум, многие повскакивали с мест, потрясая в воздухе «краденными» ложками и вилками, требуя замены. Выскочил заведующий, стал уговаривать:

– Товарищи, это штамп, чтобы предостеречь вора, чтобы сохранить народное добро, успокойтесь, видите какая очередь, кушайте скорее...

Но шум только нарастал, выкрики «безобразие», «возмутительно», «замените приборы» не утихали. Почти все обедающие пре-

кратили еду. Короче, заведующий послал человека в находящийся рядом посудный магазин и купил новые ложки и вилки. Благо, они стоили гроши. Ведь из нержавеющей стали столовых приборов тогда еще не делали. В общем, мы потратили на обед около двух часов, но благодаря этому басу ели хоть и холодный обед, но не краденными ложками. Вот два метода борьбы с возможными хищениями столовых приборов.

Само строительство Днепрогэса меня поразило грандиозностью, колоссальной территорией и множеством по тем временам техники. Тогда только забивались в дно Днепра стальные из рельс сваи, вплотную друг к другу, выгораживая с обоих берегов Днепра участки русла реки с тем, чтобы на этих участках после выкачки из них воды, можно было на гранитном ложе Днепра закладывать плотину. По правому берегу, более высокому и крутому, который спускался к воде террасами, были проложены пути узкоколейки. По ним на разных уровнях взад и вперед ходило до двух десятков «кукушек», которые тащили составы платформ, груженных камнем. Вся площадка длиной около километра и шириной от берега метров 300 была усеяна сотней изящных подъемных кранов-дериков, стрелы которых как лес поднимались вверх. Этими кранами грузилась на платформы взорванная порода, а при необходимости, переставлялись с террасы на террасу и сами платформы. В разных местах то и дело слышались взрывы, но близко к местам, где проводились подрывные работы, нас, естественно, не подпускали, а так по территории стройки ходить можно было везде, и смотреть, кому что захочется.

Тогда я впервые увидел американские экскаваторы. Меня поражала эта умная, казалось, живая, машина, зачерпывающая ковшом породу и загружающая платформы.

Был я очень удивлен и тем, что взрывы производились не порохом или динамитом, а обыкновенным толченым древесным углем, смоченном в жидком кислороде. Жидкий кислород подвозился в открытых бидонах, вроде тех, в которые у нас сейчас продают разливное молоко. Добывался этот кислород из воздуха на специально выстроенном заводе. Температура жидкого кислорода – 180 градусов, и

он в бидонах кипел ключом. Над открытыми бидонами вился голубой дымок — пары испаряющегося «кипящего» кислорода.

Нам рассказали, как делается подрывной патрон: круглый из картона цилиндрок диаметром 5–7 сантиметров и длиной 25–30 сантиметров набивают толченым древесным углем, погружают в бидон с кислородом, уголь намокает. Из этого цилиндрика, как фитиль из свечки, торчит кусок бикфордова шнура. Патрон с углем закладывают в пробитый шурф в скале, поджигают бикфордов шнур, и подрывники уходят поспешно в укрытие. Бикфордов шнур догорает до патрона, зажигает уголь, который, будучи насыщен жидким кислородом, сразу воспламеняется. Пламени и возникающим газам нет выхода, так как весь патрон залегает глубоко в скалистом шурфе. Получается взрыв, может, и слабее, чем взрыв, скажем, от динамита, но достаточно сильный, чтобы вырвать из монолитной скалы несколько кубометров гранита. Просто и дешево, как говорят в народе.

Ездили мы с группой экскурсантов и в Запорожье. По дороге нам экскурсовод показывал места, где будет прорыт шлюзный канал. Но там пока никаких работ не производилось, кроме, возможно, геодезических. В самом Запорожье тоже ничего примечательного в то время не было. Проехали по ажурному консольному мосту, о котором я уже говорил. Экскурсовод сказал, что после окончания строительства Днепрогэса вода в Днепре в этом месте поднимется на 40 метров, мост будет снесен, а вместо него ниже по течению через остров Хортица будет построен новый железнодорожный и автожелезнодорожный мост.

Ниже места будущей плотины мы купались в Днепре. Я любовался оригинальным островком, возвышающимся над водой в виде огромного кресла. Этот островок из цельного гранита так и называется «Кресло Екатерины». Я даже зарисовал его, и рисунок у меня где-то сохранился <см. рис. на вклейке>. Еще ниже по Днепру был виден остров Хортица, известный тем, что там обосновалась Запорожская Сечь — поселения украинских казаков, родоначальники которых состояли из беглых крестьян, не вынесших притеснения и угнетения. Эти запорожские казаки сыграли немаловажную роль в

борьбе с различными интервентами — турками, поляками. Их героизм воспет и в литературе (Тарас Бульба), и в музыке, и в величественных полотнах художников (Репин — «Письмо турецкому султану»). Даже такой польский писатель, глубоко патриотичный с точки зрения поляков, как Генрик Сенкевич, в трилогии «Пан Володыевский», «Потоп» и «Огнем и мечом» не может обойти стороной всей храбрости и удали, присущей запорожцам.

Дни, проведенные на Днепрогэсе, пролетели быстро, и нам пора было возвращаться, да и денег в нашей кассе оставалось едва на три дня существования да на билеты. В Днепропетровск мы ехали автобусом, и сделали там на пару дней остановку. Посетили хлебозавод, музеи, осмотрели старый парк на проспекте Карла Маркса и новый, заложенный лишь пару лет назад, парк на склонах к Днепру возле Горного института.

Купив на пристани билеты на пароход, в ожидании отплытия (было в резерве еще около двух часов), я решил выкупаться. Компанию мне ни Борис, ни Мария составить не захотели. После покупки билетов, как сейчас помню, каждому для карманных расходов было выдано всего по 10 копеек. Я на свои 10 копеек купил пачку махорки и книжицу курительной бумаги. Пища на обратный путь была уложена в чемодан Марии, пища, конечно, более скромная, чем когда мы ехали из Черкасс. В поисках места, где выкупаться, я прошелся довольно далеко от пристани по причалу и молу. Везде баржи, различные грузы, ящики, бочки, уголь, дрова, и нигде даже войти в воду — везде причалы метра на полтора над водой. Я выбрал участок, где не стояли баржи. Решил купаться с мола. На берегу были сложены штабелями дрова, то ли выгруженные ранее с барж, то ли приготовленные для погрузки. Между штабелями сидели группой не то беспризорники, не то просто бездомные подростки лет по 16–18. Все оборванные, грязные. Возле них пустые бутылки из-под водки. Они играли в карты, курили самокрутки, переругивались. Вдруг один из парней поднялся, трахнул о землю своими картами, сплонул, что-то сказал и отошел к самому краю мола, уселся и, подперев коленями подбородок, стал молча смотреть на воду. Видно, проиграл в карты и откололся от своей компании. Я

подошел к нему, сел рядом, рядом же поставил свой чемоданчик — желтую фанерную коробку, в которой у меня кроме запасных трусов, майки да одной верхней рубашки, полотенца, мыла и махорки (той пачки, что я купил) ничего не было.

— Слушай, парень! Я хочу здесь выкупаться, да вот не решаюсь. Видишь, какой народ кругом, так вот я хочу тебя попросить, — погляди за моим чемоданом и одеждой, а я мигом — в воду, освежусь и обратно, а то очень жарко, если ты, конечно, минут 10 еще посидишь здесь, — сказал я ему.

Он оглядел меня с головы до ног. Обыкновенная ситцевая рубашка, как называли тогда «фантазия», бумажные брюки, сандалии, на голове тубетейка и желтый чемоданчик. Что в нем он, конечно, не знал.

— Ну что ж, валяй. Я погляжу, — сказал он.

Я быстро разделся и, прыгнув с мола в воду, поплыл не оглядываясь. Отплыв метров 30 от берега, я оглянулся. Парень сидел, не двигаясь, на том же месте. Я возвратился к молу (причалу), но не тут-то было. Полутораметровая, выложенная из гранита вертикальная гладкая стенка не давала возможности на плаву ни достать руками верха, ни ухватиться ниже за какой-нибудь выступ, а течение сносило все дальше и дальше от того места, где я раздевался. Смотрю, парень встал и крикнул мне:

— Там немного ниже есть скобы!

Я с благодарностью кивнул ему головой и, проплыв еще пару десятков метров, увидел спасительные скобы, по которым и выбрался наверх. Моя одежда и чемоданчик были нетронутыми и лежали так, как я их оставил. Я несколько минут покрутился на солнце, затем быстро оделся и стал благодарить парня, на что он ответил:

— Если бы ты просто пошел купаться, то ни одежды своей, ни чемоданчика ты бы больше не увидел, но ты доверился мне и попросил посмотреть. Я обещал, а раз обещал, то убили бы меня раньше, чем взяли эти вещи. Дай закурить.

Я с радостью раскрыл чемоданчик, показав ему, что многим он не поживился бы, взял свою единственную пачку махорки, скрутил

кулечек из обрывка газеты и отсыпал ему полпачки, затем оторвал половину книжки курительной бумаги и дал ему, сказав:

– Поверь, это все, что у меня есть. Еще раз большое тебе спасибо.

Я пожал ему руку, что его, видимо, сильно удивило, и пошел к пристани. Через час мы отплыли пароходом в Черкассы.

Я тогда еще не видел первого звукового фильма «Путевка в жизнь». Он вышел на экраны через три года. Не читал я еще и трудов Макаренко. Но как-то интуитивно чувствовал, что, доверив этому беспризорному свои вещи, я могу купаться спокойно: он не подведет. Вера в человека — наилучший метод воспитания, особенно этих несчастных подростков-беспризорников.

В Черкассах жизнь вошла в свою нормальную колею. Я по-прежнему печатал на машинке и стеклографе. Был разгар лета, и в свободное время я с Борисом наслаждался пляжам и катанием на лодке. К нам присоединился еще один человек — демобилизованный из армии Костя Поставнюк, принятый на работу в Окрпартком, кажется, в отдел учета. Почти всегда нам сопутствовали и некоторые другие сотрудники ОПК — Фаня Шур, завагитпропотделом Борисенко. С жадностью вчитывались в газеты и обсуждали ход поисков экспедиции Нобиле. Восхищались героическим походом нашего советского ледокола «Красин» и полетами Чухновского. Впервые о трагической гибели дирижабля «Италия», летевшего к Северному полюсу, мы узнали еще, будучи на экскурсии на Днепрострое. И когда Чудновский сначала обнаружил среди вечных льдов и снегов Ледовитого океана группу Мальграма, а затем и основную часть экспедиции Нобиле, и когда они были взяты на борт «Красина», — мы все переживали и огромную радость за спасение людей и невыразимую гордость за нашу советскую страну.

Время летело быстро. Лето подходило к концу, и я все чаще ловил себя на мысли, что мне уже 23 года, не буду же я вечно машинистом-стеклографистом, надо подумать о более серьезной работе и, наконец, я решил сказать об этом Анисимову. Я попросил его совета и помощи устроиться где-нибудь на более серьезную работу. Он обещал, потерпи, мол, немного, мы найдем человека вместо тебя, а

тебя устроим. И вот в конце сентября он предложил мне перейти работать в Окружком МОПРа — техническим секретарем.

Анисимов был председателем, а ответственным секретарем была некая Ольга Дмитриевна Станченко. О ней я расскажу потом. Я к МОПРу всегда чувствовал какое-то влечение. Мне импонировало то, что это международная организация, что она ведет большую и почетную работу по оказанию помощи политическим борцам в капиталистическом мире. На добровольные взносы членов МОПРа содержится ряд детских домов для детей политзаключенных. Через организацию МОПР ведется переписка с этими детдомами. В частности, Черкассы шефствовали над детдомом в немецком городе Эльгельсбурге, и в Черкассском окружкоме МОПР было ряд писем и фотографий из этого детдома. Были письма и из тюрем цанковской Болгарии, Польши и других капиталистических стран. Нам их присылал ЦК МОПР СССР из Москвы. Меня как члена Окружкама Анисимов всегда привлекал писать ответы на письма. Эти письма обсуждались на собраниях МОПРовского актива, а Станченко была неспособна в письме изложить мысли, хотя язык у нее был подвешен превосходно. Письма отправлялись в Москву для переправки их по назначению. Не скрою, и хвастаться не хочу, но ответы, автором которых был я, были всегда сердечные, ободряющие и, безусловно, политически выдержаны. Обыкновенно после таких совещаний актива значительно усиливался приток средств в МОПР, то ли от добровольных пожертвований, то ли от кружечных сборов, от организованных в рабочих клубах театральных постановок, буфетов, продажи МОПРовской литературы, значков и других мероприятий.

Короче говоря, я согласился с предложением Анисимова, хотя меня немного смущало, что я совершенно не знал бухгалтерии, а техническому секретарю надо было в первую очередь знать, так как надо было вести расчеты со всеми райкомами и ячейками МОПР, с издательством ЦК МОПР СССР и ЦК МОПР Украины. Но Борис, бухгалтер по профессии, меня успокоил, мол, там не сложно, ты за неделю все освоїшь, а я как бухгалтер и как член Окружкама тебе помогу. Спасибо, дорогой Борис.

В Окружке МОПР я проработал до февраля 1930 года в должности технического секретаря, хотя выполнял работу, далеко выходящую за пределы технической. Так, ездил в райкомы МОПР в Смелу, в Золотоношу, Иркиево, Шполу на ревизии, проводил райконференции МОПР, в Черкассах проводил перевыборы бюро ячеек МОПР на сахарном заводе, на железной дороге, в курортном управлении в Сосновке и других ячейках и, конечно, вел протоколы и бухгалтерию Окружка. Для увеличения средств МОПРа мы в день Парижской коммуны, 18 марта, проводили по городу кружечный сбор, а в день 1-го Мая организовали на улицах буфеты и даже арендовали некоторые магазины — кондитерские, по продаже сельтерской воды, закусовые, привлекая для участия в торговле МОПРовский актив. Помогал я во всем и ответственному секретарю т. Станченко, которая, как я говорил, была малограмотной. Писал за нее отчеты, писал тезисы для выступлений и даже полностью доклады.

Но вот Анисимова с 1 января 1930 года перевели из аппарата Окрпарткома на хозяйственную работу — председателем правления Окржилсоюза — Союза жилищно-арендных и жилищно-строительных кооперативов, и ему, видно, захотелось в аппарате жилсоюза иметь своего человека. Он начал меня уговаривать перейти на работу в Жилсоюз. «Что тебе МОПР, вот у нас действительно дело. Мы, мол, развернем новое жилищное строительство, создадим на предприятиях строительные кооперативы, весь существующий национализированный жилой фонд передадим в аренду жильцам, создав жилищно-арендные кооперативы. Здесь есть, где развернуться». Короче, он меня уговорил, а впоследствии работа в Жилсоюзе меня захватила.

Назначил он меня инструктором Жилсоюза, а через пару месяцев — зав. оргсектором, установив оклад содержания тот же, то есть 50 руб., а потом повысив его до 75 рублей в месяц.

Работа, я сказал, меня увлекла. Будучи усидчивым, пунктуальным, вникая в детали не поверхностно, а глубоко, я стал изучать жилищное законодательство, особенно в части квартплаты (в 1928 году вышел Закон о квартплате, который действует и сейчас, то

есть через 50 лет), в части порядка национализации домов, а также законы о финансировании строительства жилых домов.

Между прочим, это строительство проводилось тогда на очень льготных условиях. Пайщики должны были внести только 10% стоимости своей квартиры, а 90% финансировалось государственным кредитом сроком на 55 лет. Государственный кредит шел из нескольких источников — средства коммунального банка, спецкапиталы местных советов, ФУБРы (Фонды улучшения быта рабочих) предприятий, которыми распоряжалось ЦК профсоюзов.

И вот, наряду с бесконечными собраниями жильцов арендованных домов, наряду с участием в заседаниях завкомов предприятий, с которых начиналась работа по организации строительных кооперативов, я писал, писал письма, то в ЦК профсоюзов, то в местные горсоветы, райсоветы, добиваясь денег на строительство. Наряду с этой работой на мне как на зав. оргсектором лежала обязанность проверки ежемесячных балансов и финансовых отчетов всех ЖАК и ЖСК. Бухгалтерия Окргилсоюза к этому не имела отношения, вела учет торговых операций (ОЖС имел несколько магазинов — железоскобяной, лесной и сыпучих стройматериалов), а также учет по смете расходов на содержание Жилсоюза.

Помимо служебной работы в ОЖС я оставался членом президиума окружкома МОПР, регулярно посещал заседания Президиума, где председателем по-прежнему был Анисимов. Ольгу Дмитриевну Станченко Анисимов тоже переманил на работу в Жилсоюз, назначив ее зав. культмассовым сектором для работы среди неорганизованного населения, а ответственным секретарем МОПР была назначена некая Позднякова, а потом Полинская. Но каждая из них продержалась очень недолго — Позднякова что-то около двух недель, а Полинская два или три месяца. Окружком МОПР оставался без работников.

И вот тогда по рекомендации партийных органов на должность ответственного секретаря Окружкома была выдвинута работница сахарного завода Анна Ильинична Сапожникова. 30-го мая на окрконференции МОПР ее ввели в состав президиума Окружкома МОПР, и с 1-го июня 1930 г. она стала работать в Окружке. Тех-

нического секретаря не было, и на ее голову свалилась вся работа как ответственного секретаря, так и техническая работа. Я, будучи также членом президиума, всячески ей помогал, и каждый вечер после работы мы просиживали в комнате, отведенной при Окрпарткоме для МОПРа. Я обучал ее премудростям бухгалтерского учета и ведения расчетов с райкомами, ячейками МОПР и ЦК МОПР. Не скрою, она, никогда ранее не работавшая на канцелярской работе, с моей точки зрения, была не очень хорошей ученицей, и я иногда проявлял вспыльчивость и нетактичность к ней, но, в общем, мы сделались друзьями. Со мной очень часто заходил в МОПР и Борис, а на заседаниях президиума мы были всегда вместе. Я писал ей протоколы заседаний, и вообще многое делал за нее.

Так пробежало лето 1930 года, зима и лето 1931 года. Для налаживания работы по бухгалтерскому учету финансовой деятельности арендных жилкопов была создана так называемая счетная контора, которая вела учет всех операций, проводимых жилищно-арендными кооперативами. Начальником этой конторы был назначен Борис Звенигородский, которого Анисимов перетащил из аппарата Окрпарткома, а осенью 1931 года забрал и Аню Сапожникову на культмассовую работу в жилкоопах.

Посещая ежедневно МОПР, а потом, работая с Аней в Жилсоюзе, я постепенно почувствовал к ней большую привязанность. Мне в ней все нравилось — и ее большие задумчивые глаза, и ее маленькие ручки, и ее несколько монотонный растянутый голос, и рассудительность. Другие мои знакомые девушки перестали меня интересовать, и я перестал с ними встречаться. Для меня было большой радостью, наслаждением сидеть с Аней где-нибудь вдвоем, держать ее руку в своей и говорить о чем-нибудь совершенно отвлеченном, не касаясь наших взаимоотношений, или просто молчать. Что это такое? — задавал я себе вопрос. Уж не любовь ли это? Но так ли это или не так, если мне в какой-то вечер не удавалось почему-либо проводить ее с работы домой, посидеть часок-другой на завалинке ее дома рядышком с ней, я скучал по ней, считал день пропащим, и с нетерпением ждал следующего дня, чтобы опять встретиться наедине.

И вот как-то зимой, кажется, это было в январе 1932 года, я сидел с Аней у нее в комнате, и она мне сказала примерно следующее:

– Федя! Что будет? Ты меня провожаешь каждый день, мы сидим вместе здесь в комнате или на улице, на завалинке до полуночи, кругом начались различные разговоры, ведь меня окружают и соседи, и родные.

Другими словами, она дала мне понять, что ее, честную девушку, могут легко опачкать, а я, дурень, рвусь к ней всем сердцем, всей душой, дня не могу прожить без нее и гадаю: люблю ли я ее?

Я мысленно представил себе, что буду видеть ее только на работе в официальной обстановке, с официальными вопросами и ответами по службе, что, спасая ее репутацию, мы больше не посидим вот так вместе, я не возьму ее за маленькую теплую ручку, — и я содрогнулся от ужаса. Я вспомнил, как еще летом, не задумываясь о своем отношении к ней, я как-то пригласил ее покататься на лодке по Днепру. И вот на середине Днепра я, ради пустого мальчишеского бахвальства, положил весла в лодку, встал на нос и прыгнул в воду. Нырнул поглубже и постарался быть под водой подольше, а когда выплыл и взобрался на лодку, Аня сидела бледная как смерть и едва проговорила:

– Что ты сделал? Я думала, что ты уже утонул, а как же я одна посреди Днепра, я же грести не умею.

Вполне понятно, что чувство самосохранения заставило ее подумать и о себе, что будет с ней, когда, не умея грести, останется одна в лодке на середине Днепра, но все-таки первая мысль обо мне, что со мной, а может, я утонул. Я вспомнил еще один эпизод. Я проводил собрание жильцов жилкоопы имени Свердлова — это полквартала от дома, где жила Аня, — и вот, когда собрание уже закончилось, и я разговаривал по существу вопросов, разбиравшихся на собрании с членами правления жилкоопы, вошла, запыхавшись, Аня.

– Идем скорее ко мне! — сказала она.

– Что случилось?

– Потом... потом узнаешь!

Я взял ее за руку (под руку тогда ходить было не в моде). Я почувствовал, как рука ее дрожит, и мы отправились к ее дому. Дома в

ее комнате сидел какой-то военный, этак лет на 8–10 старше меня и Ани. При нашем появлении он встал и заторопился уходить. Попрощался и ушел. Я не придавал этому значения, но позже Аня рассказала, что еще в 1922 году он служил в полку, штаб которого был где-то вблизи их дома, познакомился с Аней и делал попытки ухаживать за ней. Ане тогда было 17 лет. Она была девчонкой, и хотя он ей тоже нравился, она боялась этого ухаживания. Затем он был куда-то переведен, и выехал из Черкасс. Почти 10 лет о нем не было ни слуху, ни духу, и вдруг он появился. Через день Аня получила от него открытку. Он писал ей, что не ожидал такой пощечины, очень обижен таким приемом (это значит, что Аня не осталась с ним наедине, притащила меня как заслон от возможных его притязаний к продолжению ухаживания после десятилетнего перерыва). Мне все это казалось смешным. И серьезность этого ухажера, и Анина безосновательная тревога, но теперь, когда наступила решающая минута, как мне быть, я вспомнил этот эпизод. Все-таки не маму свою она позвала для «заслона», а побежала за мной. Значит, я в какой-то мере ей дорог, и она за «спасением» побежала ко мне.

Вспомнил я свое состояние, когда Аня поздней осенью 1930 г. по командировке Окргпаркома почти на месяц уезжала на село проводить коллективизацию, раскулачивание и выкачку хлеба. Ездила она, понятно, не сама, а еще с другими коммунистами, но время было очень беспокойное. То и дело поступали сведения о вооруженных сопротивлениях кулачества, об убийствах из обреза из-за угла, и я буквально не находил себе места, беспокоясь о судьбе Ани.

И я решил: мне без Ани будет не житье. И я впервые сказал ей, что люблю ее, пусть соседские языки плещут что хотят, а мы должны пожениться, и всем разговорам наступит конец. Я говорил с ее матерью, — она прослезилась, отказа не дала, а сказала, что пусть Аня решает сама. А Аня в тот вечер ничего не решила, ничего не сказала, а только своей маленькой ручкой закрыла мне рот. Да я, кажется, и не сказал ей ничего, а написал эту фразу на полях газеты, лежавшей на столе. Я вообще был очень скромным, боялся девушек, не умел как другие парни «наливать», и не позволял себе никаких вольностей, никого никогда не обнимал, не целовал. Я считал

такие действия оскорбительными для женщин вообще, и был серьезным и в то же время наивным не по летам парнем. Тогда, сделав Ане таким нелепым образом предложение, я уже несколько месяцев не отступал от Ани, и все добивался ее согласия.

Я не задумывался тогда над тем, что я жених-то некудышный, голый и босой, без всякой материальной базы, даже своего жилья не имею. Года два тому назад я ушел из дому и нанял в частном порядке комнату у одного члена стройкоопы, а в комнате у меня своих вещей только письменный стол и этажерка для книг, железная кровать, и та не моя, а моего хозяина. Где мы будем жить, как будем жить, — эти вопросы меня не тревожили. Пусть только Аня даст согласие, и мы тогда вместе будем все решать...

Но судьба решила сама раньше, чем Аня дала согласие выйти за меня замуж. Я, неожиданно для себя, переехал в Киев. Произошло это так.

В административном строении Украинской ССР произошли две реорганизации. Осенью 1931 года были ликвидированы округа, и все районы попали в подчинение непосредственно центральным организациям. В соответствии с этой реорганизацией от Окржилсоюза и от Окркома МОПР отпали все райцентры, и Окржилсоюз стал называться Горжилсоюзом (а потом Горжилснабом). В январе 1932 года произошла вторая реорганизация: было организовано девять областей, и в Киевскую область вошли теперешние Киевская, Житомирская, Черниговская и Черкасская области, а также часть теперешней Сумской области.

Был организован и Киевский областной Жилсоюз. Этот Облжилсоюз в феврале месяце созвал конференцию из всех жилищных союзов, жилищно-арендных, жилищно-строительных кооперативов всех городов этих областей, а также четырех киевских райжилсоюзов для избрания правления Облжилсоюза. На конференции представители всех городов должны были сделать доклады о состоянии жилкооперации своих городов и районов. Представителем от Черкасского жилсоюза правление выделило Ольгу Дмитриевну Станченко. Я как зав. оргсектором готовил ей доклад. Поезд из Черкасс в Киев отходил в 2 часа ночи. Станченко была снабжена

всеми документами и материалами для доклада и любой справки. Ей были выписаны все вопросы, какие она должна была выяснить в Облжилсоюзе. Но в последнюю минуту Анисимов засомневался в ее способностях. Сам он поехать не мог, так как болел (у него было больное сердце, и он страдал частыми припадками). В 12 часов ночи он зашел ко мне, я еще не спал, а сидел и не то читал что-то, не то рисовал, и предложил ехать в Киев мне. Он от Станченко уже забрал все материалы, только надо было переписать командировку. Помещение Жилсоюза было в той же усадьбе, и мы с Анисимовым зашли в контору. Перепечатать командировочное удостоверение было делом нескольких минут, и я уже через каких-нибудь 15–20 минут готов был ехать.

Мы тогда в Черкассах строили один двухэтажный кооперативный дом на пару десятков квартир и начали строительство административного дома для Исполкома Горсовета (впоследствии в этом доме разместился педтехникум). Естественно, что у нас были заготовлены процентов на 70–80 необходимые стройматериалы, особенно такие как железо, стекло, кирпич, цемент, лесоматериалы, заготовлена еще с осени известь. Не хватало, в основном, котлов для центрального отопления для дома Исполкома (в жилом запроектировано печное отопление), не хватало радиаторов, труб, сантехприборов — ванн, унитазов, раковин и других предметов. Всего этого надо было добиваться в Облжилсоюзе.

Анисимов боялся, что Облжилсоюз не только не даст недостающий материал, а, узнав, что у нас есть с лихвой кровельное железо или еще что-то, заберет и эти материалы. Поэтому он дал мне наставление полностью наши карты не раскрывать, а больше вывести, что нам может дать наше новое начальство.

Короче говоря, я поехал. На конференции я сделал блестящий доклад. У нас было чем похвастать по сравнению с другими жилсоюзами. Наши жилищные кооперативы жили полнокровной жизнью. Массовая работа была на высоте. У нас было подсобное хозяйство, огород, столовые, библиотеки. Был полный порядок в финансовом отношении. Наш арендный жилфонд мы постоянно увеличивали, добываясь от Горсовета передачи в арендное пользование

жильцам все новые и новые национализированные дома. Наши стройкоопы ежегодно строили все новые дома. Вся работа была поставлена на общественных началах, на самодеятельности жильцов. Был крепкий актив. Планы мобилизации средств всегда перевыполнялись — будь то реализация государственных займов среди неорганизованного населения, будь то сбор квартирных или паевых взносов.

Меня сначала встретили в Облжилсоюзе несколько скептически, недоверчиво: почему, мол, не приехал сам председатель. Одет я был очень неважно даже по тем временам, да и возраст мой — едва оперившийся. В общем, вид не директорский. Но после всех докладов меня включили в состав комиссии по разработке резолюции. Комиссию возглавлял член правления Облжилсоюза тов. Юфа. Комиссия просидела часа три и не составила ни одной строчки. Разговоры, споры по непринципиальным вопросам, а общей толковой резолюции не получалось. Меня разбирала злость. Я сказал т. Юфе:

— Так у нас ничего не выйдет. Проект резолюции должен написать один человек, а потом комиссия или добавит пункты, или вычеркнет неприемлемые. Мы будем и завтра целый день сидеть и ничего не напишем. Поручите мне. Сегодня в гостинице я напишу, а завтра утром мы соберемся и обсудим. Делать вечером мне нечего, и мы все не будем терять зря время.

Было уже часов 8 вечера. Юфа согласился, да и все остальные члены комиссии устали и с радостью приняли мое предложение.

После ужина я в гостинице сел и написал проект резолюции. А писать о вещах, которые я знал в совершенстве, было легко. Кроме того, я прошел большую школу, еще работая в Окрпарткоме, печатая резолюции по любым вопросам, и в Окркоме МОПРа, да и в Жилсоюзе под руководством Анисимова.

На следующий день вся комиссия приняла эту резолюцию, как и полагается сначала «за основу», а потом утвердила без единой поправки. И вот после конференции Юфа и другой член правления т. Пристюк предложили мне переехать в Киев для работы в Облжилсоюзе в качестве зав. оргсектором. «Мы вам предоставим жилплощадь, оклад намного больший, чем вы получаете в Черкас-

сах. Что? Вы хотите учиться? — предоставим и эту возможность. Не отпустит ваш Анисимов? А мы устроим перевод. Он должен будет подчиниться. Мы только обследуем сначала работу жилкооперации в Черкассах, а то уж очень у вас, судя по вашему докладу, все хорошо».

На этом и кончили. Я еще потерял в Киеве пару дней — был в ЦК Союза сахарников для организуемого в Черкассах при сахзаводе стройкооп, ходил в Облкоммунбанк по этому же вопросу, но с голыми руками, без наличия самого кооператива я, конечно, ничего не добился. Что касается материалов, то в Облжилсоюзе обещали помочь, но пока конкретно ничего не дали.

Прошло несколько месяцев. Обследователь из ОблЖС в апреле был в Черкассах, убедился, что все, что я на конференции говорил, сущая правда, а в конце мая пришло постановление правления ОблЖС о моем переводе в Киев. Анисимов, конечно, подчинился, и я в начале июня уехал.

Вопрос о женитьбе на Ане был еще не решен. Аня не давала согласия, но и не отказывала окончательно. Я ходил сам не свой, то ревел в одиночку, чтобы никто не видел, то отделялся шутками, когда меня совершенно чужие, но хорошие люди спрашивали, когда же мы поженимся. Например, заведующая столовой при Жилсоюзе, жена одного пайщика стройкооп, некто Тартаковская, очень милая симпатичная женщина, которая, видимо, читала на моем лице все мои переживания.

И вот 7-го июня, когда я уже должен был получить расчет и собираться в дорогу, я поставил перед Аней вопрос ребром. Или мы идем в загс, или я еду в Киев, и что будет дальше, не знаю. Аня поколебалась несколько минут, и мы пошли в загс. В загсе Аня вела себя странно, беспричинно смеялась. Я не придавал этому значения, так как понимал, что такой шаг делается раз в жизни, и перестроить психику сразу трудно. Вот была девушка, и сразу — замужняя женщина. Да и я был сильно возбужден. К вопросу женитьбы примешивались обрывки мыслей другого соображения. Что будет? Ведь средств у меня никаких нет. Имущества, домашнего скарба тоже. Одежды — тоже. Надо на остатки зарплаты

рассчитаться с долгами. Я должен заплатить в столовой за обеды за себя и за мать, которая приходила и брала на дом обеды, скорее не для себя, а для внука. Дело в том, что моя старшая сестра Ляля еще лет пять тому назад сошлась с одним женатым железнодорожником, родила от него сына (кстати, очень красивый, хороший, умный мальчик), но человек, с которым она сошлась и прожила два года, оказался нечестным. Он бросил ее, вернулся к первой жене и выехал из Черкасс. Ляля переменяла работу, но получала немного, а про мать и говорить нечего: ее ставка как сиделицы водопроводной будки была на уровне ставок уборщиц. Они жили, еле сводя концы с концами. Я уже не столько из-за родственных чувств к матери и сестре, а по-человечески, жалея малыша, предложил за свой счет покупать им один обед в нашей кооперативной столовой. Мать приходила, брала обед, а расплачивался я. И вот теперь, уезжая в Киев, я должен был расплатиться в столовой, оплатить квартиру, которую я нанимал частным образом, купить себе билеты на пароход, отправив вещи багажом, — это всё расходы. Кроме того, оставить себе несколько десятков рублей, чтобы прожить в Киеве до первой полочки. И я со страхом подсчитывал свои возможности и видел реально, что у меня на все не хватает. Ну, ничего, — думал я. Главное, скорее переехать, будет моею Анечка, и мы вместе выкарабкаемся.

Время было трудное. Цены на продукты питания росли с каждым днем. То, что вчера стоило 1 рубль, сегодня уже стоило 1 рубль 50 копеек, а завтра — 2 рубля. Столовские обеды стали и жиже, и меньше порции, и почти без жира. Хлеб в продаже почти исчез.

Но вернусь к женитьбе и к Ане. Последние 4 ночи я ночевал в квартире у Ани. Спали мы, понятно, вместе, но... женой она мне не стала. Она боялась нарушить свою девственность, а я... — я щадил ее и понимал, что это не место и не время. Кроме того, признаюсь, что я был совершенно неопытный и, несмотря на свои 27 лет, был честным парнем. Лежа ночью в постели, Аня рассказала о том военном человеке, который приходил когда-то осенью к ней. Он еще 10 лет назад был влюблен в нее, а она также увлекалась им, и если бы он не уехал из Черкасс еще в 1922 году или даже, если бы она не вы-

звала меня и этим не отвернула его от себя в 1931 году, то вышла бы за него замуж. Я посчитал себя обиженным, с другой стороны, мне захотелось показаться Ане не наивным мальчишкой, а взрослым мужчиной, и я вспомнил один эпизод, причем, преувеличил его.

В 1926 году я был в доме отдыха в Сосновке. Как-то вечером после ужина группа отдыхающих направилась в лес, расположилась на лужайке, пели песни, играли на гитаре, так просто болтали. Стемнело. Постепенно от группы стали отсеиваться парочки. Я остался один с какой-то женщиной из отдыхающих. Я хотел уже подняться и идти в дом отдыха, когда эта женщина обхватила меня за шею и прижалась грудью ко мне. Я испугался, оттолкнул ее, вырвался из ее объятий, вскочил и побежал в дом отдыха.

Так вот, этот эпизод я рассказал Ане, но не сказал, что я вырвался и убежал, а сказал, что это была первая и единственная женщина, которую я тогда познал как женщину. Кто она, не знаю, лица ее в темноте не видел, и на другой день в доме отдыха не мог ее опознать. Аня промолчала, а я почувствовал, что рассчитался с ней за такой неуместный рассказ о Володе (том военном человеке). На некоторое время больше не было воспоминаний ни о Володе, ни о той женщине. Они возникли много лет спустя, но об этом — потом.

А в те четыре дня мы вечерами сидели вместе. Мне пришлось за эти четыре дня пережить несколько неприятных часов. Стоило мне только после работы появиться в доме у Ани, как ее квартира наполнялась многочисленными соседями, соседками, старыми и молодыми. Я был предметом бесцеремонного разглядывания, нахального осматривания с ног до головы, вынужден был отвечать на назойливые вопросы, кто я, сколько получаю, что буду делать в Киеве и т. д. Я терпеливо и вежливо отвечал, стараясь не подавать вида, что это меня возмущает. Я понимал, что все это мещанское окружение, и любопытство в данном случае вполне естественно, и что еще день-два, и все закончится. Я уеду, устроюсь и заберу свою Анечку в Киев. Там уже нам никто мешать не будет. Начнем строить свою, новую жизнь.

Поезд отходил в 2 часа ночи. Часов в 9–10 вечера пришли некоторые друзья — некто Гриниха, сотрудница Жилсоюза, симпатичная

веселая энергичная женщина, жена председателя райпрофсовета, кажется, был и Борис Звенигородский. Принесли вино и кое-что из закуски. Мы сели за стол: поздравления, пожелания, все как полагается, а в начале первого ночи Аня договорилась с каким-то знакомым извозчиком, этот приехал, я распрощался и уехал на вокзал.

Когда я приехал, до отхода поезда оставался еще час. Извозчик «по знакомству» содрал с меня двойную плату, но я не спорил и не торговался, хотя каждая копейка была у меня на учете, и не будь этой заботы, я преспокойно дошел бы пешком на вокзал. В ожидании поезда (поезд проходящий, и стоял в Черкассах 4–5 минут) я слонялся по вокзалу. Меня разбирало выпитое вино, было душно, я вышел на перрон, поставил «на попа» свой желтый чемоданчик и сел на него. До прихода поезда оставалось минут 15–20. То ли поздняя ночь, то ли нервное напряжение последних дней, то ли выпитое вино подействовало, но сидя на чемоданчике и, подперев подбородок рукой, я заснул, а когда проснулся, увидел только хвост уходящего поезда.

Что делать? Возвратиться к Ане нельзя, стыдно и ее, и ее родных. Вернуться в свою комнату нельзя, я рассчитался с хозяином квартиры и, туда мне уже хода нет. Я решил дожидаться рассвета и утром пойти домой к матери, а затем — на пристань и уехать парохом (билет на пароход стоил дешевле, чем по железной дороге). Так или иначе, я завтра утром буду в Киеве, а в письме Ане напишу, как получилось, что я поехал на сутки позже и не поездом, а парохом. Но, так или иначе, я должен весь остаток денег израсходовать на проезд.

Так я и сделал. Побывал дома, попрощался еще раз с матерью и сестрой Лялей, и часов в 10 утра пошел на свой любимый Днепр. Пароход должен был быть в 3 часа дня, но как всегда опоздал на 3 часа, и я почти весь день пляжился. В Киев вместо 6 часов утра пароход прибыл только к часу дня, так как к трем часам опоздания в Черкассах прибавилось еще 4 часа непредвиденной стоянки перед самым Киевом. Шел такой проливной дождь, что ничего не было видно с кормы до носа парохода и, чтобы не сесть на мель, пароход остановился.

В Киеве этот ливень принес массу бедствий. Улицы, расположенные на склонах, стояли с развороченными мостовыми. Крещатик был завален киосками, снесенными потоками воды, они горами лежали на низких местах. Тротуары и сама мостовая были сантиметров на 20 занесены песком. Работали пожарные машины, выкачивающие воду из подвалов и даже первых этажей магазинов и домов. Я с трудом добрался до Облжилсоюза. Свое прибытие я оформил быстро, а вот насчет ночевки дело застопорилось. Мне заявили, что устраивайтесь, мол, пока у знакомых, а их у меня не было, или в гостинице, а то, что у меня в кармане каких-нибудь 5 рублей и я уже почти двое суток ничего не ел, это никого не касалось. Выручила меня Станченко. Эта проныра была переведена в Облжилсоюз приказом по Укржилсоюзу еще недели три тому назад, и сумела заполучить себе квартиру в кооперативном доме, правда, еще недостроенном (не было лестниц, а ходили по сходням, не было воды, не было балкона — только рельсы торчали, да и отделочные работы — покраска, побелка — только начинались). Но Станченко с мужем, который работал в аппарате Горкома партии, туда перебрались и, так как в их квартире было две комнаты и третья — кухня, Станченко мне предложила поселиться у нее, пока мне предоставят где-нибудь комнату. Это «пока» длилось несколько месяцев, и мне пришлось много помытарствовать и многое пережить.

[illegible]

КИЕВСКИЙ ПЕРИОД

(1932–1941 годы)

Итак, начиная рассказ о жизни в Киеве, расскажу о квартирных делах. Я пока у Станченко «в приймах». Моя жена Аня — в Черкассах. Перспектив быстро получить комнату нет, так как в городе началось уплотнение и изъятие комнат для Военведа. При Горсовете было создано так называемое жилбюро, которое формально подчинялось Облжилсоюзу, но фактически работало под руководством одного из заместителей председателя Горсовета. Это жилбюро набирало штат инспекторов, которые рыскали по всем жилкоопам, проверяли занимаемую гражданами жилплощадь, и при малейшей возможности изъять хотя бы какую-нибудь комнатушку, вручали жильцам предписание освободить в 24 часа, а на завтра уже выдавали ордер Военведу, и в эту комнату въезжал военнослужащий. Гражданским лицам вообще была прекращена выдача ордеров. Я не был большим ответственным работником, чтобы пользоваться чьими-то авторитетными телефонными звонками, да и сам по природе был очень скромен и для личного благополучия никогда не мог пользоваться «горлом». В середине сентября приехала на несколько дней Аня.

Кроме того, что она хотела воочию убедиться, что ехать в Киев ей было пока некуда, — ей надо было побывать еще у специалиста-онколога. У нее в груди появились затвердения, и ей черкаские врачи порекомендовали съездить в Киев в онкологический институт. К счастью, оказалось, что у нее обыкновенный мастит.

Но жилье! Как будем жить? Мне помог один инструктор Облжилсоюза, некто Буцель. Он киевлянин, давно работал в жилсистеме,

хорошо знал работников райжилсоюзов, многих управдомов, и в конце концов нашел на Левашовской улице (ул. Карла Либкнехта) в одном доме закрытую комнату, в которой проживала одна старуха, которая куда-то выехала еще в феврале месяце и не подавала о себе никаких вестей. В нарушение постановления Горсовета (жилплощадь только для Военведа), под нажимом парторганизации Облжилсоюза, жилбюро выдало мне ордер на эту комнату. Я явился в жилкоп, вручил председателю ордер, затем пригласили участкового инспектора милиции, вскрыли комнату, переписали мебель и вещи, что там было, затем предложили председателю все вынести (он расписался, что берет вещи на хранение). После того, когда все вещи были вынесены, председатель вручил мне ключи от комнаты, и я на крыльях полетел к своей Анечке. Комната маленькая, метров 10, но уютная, на первом этаже, в коммунальной квартире. На другой день мы перевезли наше сложное имущество — кровать, стол, пару стульев, этажерку. Ну, кажется, все. Аня побыла в Киеве еще дня два-три, и собралась в Черкассы — оформить свое увольнение и собираться переезжать в Киев.

Едва она уехала, возвратясь с работы, я застаю в своей комнате высокую старую женщину с забинтованной головой.

— Кто вы? Что вы делаете в моей комнате? — задаю вопрос.

— Я Розова. Комната не ваша, а моя, — ответила она. — Я временно выезжала в Москву и вот вернулась. Где мои вещи?

Сказав это, она протянула мне несколько бумажек, напечатанных на машинке, со штампами Наркомата обороны, Наркомата путей сообщения, Верховного прокурора СССР. Бумажки были адресованы Киевскому горсовету, Киевскому облпрокурору. Во всех бумажках было написано, что гражданка Розова является матерью преподавателя Военной академии, что она мать какого-то ответственного сотрудника метро, что она приезжала в Москву проводить своих детей, но заболела, у нее была сложная операция — трепанация черепа, что поэтому она задержалась дольше, но что с ней поступили незаконно, забрав без предупреждения ее комнату и что нарком обороны (подписал сам [К. Е.] Ворошилов) и нарком путей

сообщения (подписал [Л. М.] Каганович) и Верховный прокурор просят немедленно комнату освободить и возвратить Розовой.

Прочитав эти бумажки, я понял одно. Завтра она их сдаст по назначению, и послезавтра придут с милицией и меня выбросят на улицу.

Я принял решение: не спорить с ней, не доказывать, что я тут не при чем. Мне дали ордер, и я понятия не имел, кто жил до этого здесь, я занял комнату вполне законно. Вещи ее описаны по всем правилам и находятся где-то у председателя жилкоопа. Акт с распиской председателя и подписями понятых и милиции хранится у председателя. Комнату я освобожу. Я работаю в Облжилсоюзе, которому подчинено жилбюро, и мне через несколько дней предоставят другую комнату, а пока не могу же я ночевать на улице. Придется, с ее разрешения, эти несколько дней пожить нам вместе. Жене я дам телеграмму пока задержаться с приездом. Вещей у меня почти нет. Она может забрать и внести свои вещи. А грозные письма эти пока пусть подержит у себя.

Все это я изложил спокойно, уверенным тоном. Посочувствовал ей, поинтересовался ее здоровьем, возмущился бюрократизмом и формалистикой в действиях жилбюро, в общем, я постарался ее расположить к себе. Я понимал, что с Ворошиловым, Кагановичем и Верховным прокурором мне силами не мериться. Да и сам был уверен, что 1-го октября кончится военведовская компания и я действительно, если не через несколько дней, то через какую-нибудь неделю мне дадут другую комнату.

Не знал я тогда, что вместо молодой жены (Аня в сентябре стала моей женой и по существу, а не только по загсовскому свидетельству) мне придется полтора месяца прожить с Розовой, с этой больной старушенцией, успокаивать ее каждый день, уверять и обещать, что вот-вот, и я выеду.

Но вот 3-го ноября мне выдали ордер на комнату по Чеховскому переулку, правда, предупредили, что комната опечатана милицией, так как жилец еще летом умер. Комната смежная с проходной, в которой жила семья (муж, жена и ребенок), и чтобы попасть в мою, я должен был проходить через их комнату. Я на крыльях полетел на

Чеховский переулок, нашел управдома. Тот заявил, что без милиции он печать не сорвет и в комнату не впустит. Это понятно. Я пошел в райотдел милиции. Там назначили, что представитель милиции будет завтра, то есть 4-го ноября, в 12 часов дня. Я опять — к управдому и предупредил, чтобы и он был в это время. Назавтра милиционер пришел, а управдом не явился. Милиционер отказался без управдома вскрыть комнату, и заявил, что он придет второй раз в 6 часов вечера. В 6 часов вечера был управдом, но милиционер не пришел. Управдом без милиционера также не решился срывать печать. Пришлось отложить эту процедуру на 5-е число. Но и 5-го, и 6-го все повторялось, как и 4-го. То приходил милиционер, но не было управдома, то был управдом, но не было милиционера. Я с ордером мотался то в райотдел милиции, то в жилкоп, и все без толку. Попасть в комнату, предоставленную мне по ордеру, не мог. 7-е ноября — праздник Великой Октябрьской революции — я провел со старухой Розовой.

8-го ноября я пошел к начальнику райотдела милиции и рассказал ему все свои мытарства. Он возмущился, оделся, взял с собой одного милиционера, и мы втроем пошли на Чеховский переулок. Управдома, как и в те дни, не застали. Поднялись на 5-й этаж, позвонили. На вопрос «кто там?» начальник ответил: «милиция». Но дверей нам не открыли. Минут 10 мы звонили, стучали, но дверей никто не открывал. Начальник приказал: ломайте дверь. Милиционер, здоровый парень, нажал плечом, и после нескольких ударов дверь раскрылась, но не совсем. Накладной замок слетел, но дверь застряла на цепочке. Даже и после этого жильцы попрятались по своим комнатам и отказались открыть цепочку. Милиционер спустился вниз в котельную, взял у кочегаров ножовку и стал распиливать цепочку. Лишь тогда появилась женщина, и сняла эту цепочку. Мы зашли в проходную комнату. Начальник милиции осмотрел печать на дверях, ведущих в мою будущую комнату. Я подумал: наконец-то. Но был еще не конец. Начальник милиции, обращаясь к милиционеру, сказал:

— За сопротивление милиции составьте протокол на оштрафование всех жильцов, находящихся сейчас здесь, по 25 рублей. Затем найдите управдома, и вместе с ним вскройте комнату, опишите ве-

щи, сдайте их на хранение или гражданину Худякову, или жилкоопу, и вселите Худякова в комнату.

Сказал и ушел. Милиционер сел писать протокол о штрафе. Управдома, конечно, он не нашел, а вечером в 6 часов не пришел сам. И я остался опять у разбитого корыта, только чувствовал, что за штраф я приобрел себе врагов в этой коммунальной квартире.

На другой день, 9-го ноября, я, захватив какую-то напечатанную на машинке бумажку, после работы пошел опять на Чеховский переулок. К моему удивлению, замок был уже починен, а на мой звонок мне сразу открыли дверь. Я зашел в комнату, через которую мне предстояло в будущем проходить. Дома была жена моего соседа (он, оказывается, был в командировке) — некто Паша Моисеевна Зурахимская. Я эту служебную бумажку, не имеющую ничего общего с занятием мною комнаты, поднес к ее лицу. Она с перепугу ничего не разобрала, на что я и рассчитывал, при этом я сказал:

— Вот разрешение милиции мне самому сорвать печать и занимать комнату.

С этими словами я подошел, сорвал печать, но комната оказалась запертой на ключ, а где ключ, я не знал.

— Где ключ от комнаты? — задал я вопрос.

Паша Моисеевна, путаясь и сбиваясь, сказала:

— Здесь жил студент сахарного института, некто Непомнящий. Летом он уехал на практику на какой-то сахарный завод. Перед отъездом он женился. Ключ, наверно, у его жены. Будучи на практике, студент там умер, а жена его здесь не жила, а живет со своими родителями.

Узнав у нее адрес родителей этой бедной молодой вдовы студента Непомнящего, я отправился за ключом к ним. Мне открыла дверь пожилая женщина. Когда она узнала, зачем я пришел, на мою голову и голову Непомнящего посыпались тысячи проклятий.

— Знать ничего не знаю, будьте вы все прокляты, никаких ключей у нас и дочки нет, он, чтоб ему на том свете житья не было, он, мерзавец, испортил мою дочку и умер, подлец. Ключи? Какие ключи, она там даже не жила, и я знать ничего не хочу, чтоб вы все провалились сквозь землю, и т. д., и т. д.

Я понял горе матери, принесенное ей неудачным замужеством дочери и, конечно, нисколько не обиделся на нее. Но понял я и другое: ключи у Зарухимских. Они живут в проходной комнате, у них семья уже три человека и, естественно, они после смерти Непомнящего добивались себе второй комнаты, но в связи с компанией Военведа им этой комнаты не дали, а для предупреждения самовольного занятия комната была опечатана милицией. Военвед комнаты не взял, так как она связана с неудобством проходить через других жильцов. И они ждали лучших времен. А тут я с ордером. Вот почему и сопротивление милиции. Но у меня другого выхода не было. Я уже дал Ане телеграмму, чтобы увольнялась и собиралась ехать в Киев. Я уже, мол, ордер получил на другую комнату.

Я вернулся на Чеховский переулок. Был поздний вечер. Мне открыли беспрепятственно. Обращаясь к Паше Моисеевне, я самым уверенным тоном сказал:

— Ключи не у жены Непомнящего, а у вас. Вам, видно, мало одного штрафа. Смотрите, чтоб не было хуже. Будьте любезны, дайте ключ от комнаты.

Паша Моисеевна начала разыгрывать комедию. Она подходила то к комоду, то к буфету, то к пианино, поднимала скатерки и простелочки, приговаривая:

— Не знаю, может, муж куда-то положил... Может, здесь, а может, здесь...

Конечно, под простелочкой ключей быть не могло, а могли они лежать в каком-нибудь ящике: в буфете или комод. Я наугад подошел к комоду и выдвинул верхний ящик, и увидел сразу связку ключей. Я взял связку и сразу определил, какой ключ от комнаты Непомнящего.

— Вот, — говорю, — этот ключ, что же вы играете со мной?

С этими словами я открыл дверь в свою будущую комнату и ахнул: в комнате стояла узкая железная кровать, одинарный одежный шкаф, прекрасный большой двухтумбовый письменный стол, крытый красным сукном, кресло, пара стульев, клеенчатый диван, этажерка со множеством книг, на стене оленьи рога, при входе деревянная вешалка. Но не это меня удивило. Кроме мебели, в комнате

стояло 3 пятипудовых мешка муки и еще пару мешков с какими-то другими продуктами.

Я сел за стол, достал из портфеля пару листов чистой бумаги, попросил у Паши Моисеевны ручку и чернила. Она задала вопрос:

– Что вы будете делать?

– Перепишу все, что здесь находится. Вы своей подписью заверите. Вот и все. Запру комнату, а завтра все вывезем по назначению.

Она стала уверять меня, что здесь Непомнящему принадлежит только кровать, одинарный шкаф и вешалка. Остальное все принадлежит им, Зурахимским. Я задал ей два вопроса: есть ли у умершего Непомнящего в Киеве родственники и от чего он умер. Она ответила, что у него никого нет, откуда он, она не знает, комната раньше принадлежала им, но года три тому назад их уплотнили, и он занял эту комнату, умер он от скоротечной чахотки. Я поверил ей частично. Книги, во всяком случае, принадлежали ему, а не Зурахимским. Но это облегчало мою задачу: шикарную по тем временам мебель, а тем более запасы продуктов студент вряд ли приобрел. И я тоном, не допускающим возражений, сказал:

– Хорошо! Я запишу все, что принадлежало Непомнящему. Вы подпишетесь как свидетель. Его вещи пусть остаются в комнате, а все остальное — стол, диван, книги, рога и, конечно, продукты завтра до 4-х часов дня чтобы вы убрали отсюда, а я после 4-х часов привожу свои вещи и вселяюсь. Ключ от комнаты я оставляю вам. Ясно?

Она молчала. Я присел за стол, написал коротенький акт о том, что застали мы в комнате, о вещах Зурахимских ничего не упомянул, дал ей подписать и ушел.

В квартире, где я жил с Розовой, была одна соседка — санврач Ленинского района, и я зашел посоветоваться с ней — опасно ли переезжать в комнату, где жил до этого чахоточный. Она мне выписала рецепт на сулему и посоветовала крепким раствором сулемы промыть окна, двери, обои, полы, мебель, хорошо проветрить комнату, и что после этого можно спокойно въезжать.

На эту работу у меня ушло еще два или три вечера, и вот числа 12-го или 13-го ноября я перевез свое барахло и занял комнату. Упавдом отказался забрать все остатки вещей Непомнящего, вынес

только складную железную кровать, а на шкаф и вешалку я на акте расписался, что беру на свое сохранение. Остальные вещи и книги Паша Моисеевна, как и было договорено, все заблаговременно вынесла, и о них управдом ничего не знал.

И вот я уже в своей комнате. Дал телеграмму Ане, а числа 18-го или 19-го ноября поехал за ней. Все соседи оказались приличными людьми, и у нас установились очень хорошие дружеские взаимоотношения. Правда, было большое неудобство ходить через комнату Зурахимских, но мы не злоупотребляли этим, целый день нас не было дома, а утром или вечером старались пройти только раз или два. Сам Зурахимский был хорошим коммерсантом, каким-то торговым агентом, вечно разъезжал по командировкам — то в Москву, то в Ленинград, высылал жене продовольственные посылки, а его жена — Паша Моисеевна — беспечная молодая женщина, нигде не работала, распевала целыми днями песни, вроде: «Париж, Париж я помню буду, Париж, Париж я не забуду», хотя никогда в Париже не была и, пожалуй, на карте не указала бы, где он находится. По вечерам принимала гостей, друзей дома, как она говорила. Приходящая работница смотрела за ребенком, варила, стирала, в общем, делала все, а муженёк-спекулянт работал, работал и удовлетворял все прихоти своей кошечки. Пианино, что у них было, это был просто вклад капитала в ценное имущество, так как сама Паша Моисеевна играть не умела. Но несмотря, повторяю, на полное социальное и материальное наше различие, мы никогда и ни по какому поводу с Зурахимскими не спорили.

С весны 1934 года Аня стала ожидать ребенка, и появление нового члена семьи, конечно, осложнило бы наши условия. Это понимали и мы, и Зурахимские. К тому времени в Киев была переведена из Харькова столица Украины и, естественно, переехали и Совнарком, и ЦК партии, все наркоматы и центральные республиканские учреждения. И хотя из Киева в Харьков были передислоцированы некоторые институты и научные учреждения, но приехавших работников было гораздо больше, и с жильем сделалось еще труднее.

Особенно город испытывал недостаток в двухкомнатных квартирах, хотя бы и коммунальных, то есть где бы в остальных трех-

тырех комнатах жили другие жильцы, но чтобы хоть две комнаты были смежными и свободными.

Мы тогда договорились с Зурахимскими через жилбюро обменять наши две комнаты вместе на две отдельные. Этот обмен мне устроили. Несколько предложенных вариантов были неподходящими, но, в конце концов, дали два адреса, на которые мы согласились. Зурахимские получили комнату на третьем этаже на Большой Житомирской, а я на третьем этаже на Рейтерской. У Зурахимских южная сторона, а у меня северная, так же, как было и на Чеховском переулке. У Зурахимских немного меньше, чем было, а у меня метров на 5 больше, чем на Чеховском, ближе к центру, третий этаж, есть лифт.

1-го марта 1934 года я перевез все вещи, предварительно прибрава, помыв и проветрив комнату. Не помню, где была Аня, почему-то переезд я осуществлял сам. Кажется, Аня была тогда на сессии ВЗИМПО (заочный Комуниверситет), в котором она училась. Но 18-го марта она ночевать пришла уже в новую комнату. В ней у нас 15-го августа 1934-го года родился Юрочка. А прожили мы в этой комнате до самой войны.

Хорошо помню, как будто это было вчера, рождение Юрочки. Врачи Ане предсказывали время рождения на конец августа или даже на начало сентября месяца, но ночью с 14-го на 15-е августа Аня почувствовала незнакомые тревожные сигналы, разбудила соседку по квартире, некую Августу Григорьевну Дмитрук, и стала с ней советоваться. Та категорически заявила:

– Это оно! Надо поспешить в роддом!

Мы оделись и потихоньку вдвоем пошли пешком с Рейтерской улицы на Воздухофлотское шоссе. Через час мы были в роддоме. Аню сразу же приняли и оставили ждать в приемном вестибюле, но сказали, что утром осмотрит еще раз врач и, возможно, примут. Часов в 5 утра мы сидели и наблюдали, как привозят в больницу стонущих женщин и сразу же уводят куда-то вглубь здания. Значит у Ани это еще «не оно», если она смогла сама пешком добраться до роддома, и сейчас никаких особых явлений не чувствует. Стало светать, а мы все сидели и ждали. Вот и солнышко встало, договорились:

Аня будет ждать, а я съезжу домой, по дороге на Сенном базаре куплю молока и еще чего-нибудь, заскочу на работу, предупрежу и — опять в больницу. Если не примут Аню, мы вернемся домой, если примут, — буду ждать результатов.

Я так и сделал, — купил молока, дома вскипятил, налил в бутылку, съездил на работу, и часов в 10 утра пришел опять в больницу. Все входные двери закрыты, никого не пускают, на стук не отвечают. Во дворе много народу, родственники рожениц стоят с передачами, бегают от окна к окну. Я тоже стал бегать и заглядывать в окна, но окна закрыты и занавешены. Никого и ничего не видно, а на стуки никто не откликается. Наконец, часов в 12 дня открылась одна дверь, и санитар или фельдшер стал принимать передачи, в середину никого не впуская. Я с тревогой стал его спрашивать:

— Что с Сапожниковой, приняли ли ее или она по-прежнему сидит в вестибюле?

Он обещал узнать. Минут через 15 вышла медсестра и сообщила:

— Кто Сапожников? Поздравляю с сыном. Родился в 10 часов утра. Все благополучно. Вес 3,5 килограмма, рост 53 сантиметра.

Я наскоро написал Ане записку, и попытался дать медсестре бутылку с молоком. Молока сестра не приняла. Говорит, не надо, в первые дни после родов роженицам молоко вредно, а дня через два можно принести фрукты, компот, и больше ничего. Я наскоро написал Ане записку: «Поздравляю, очень рад, что все обошлось благополучно, целую тысячу раз, люблю тебя и люблю сына, спасибо, дорогая. Поправляйся, дам маме в Черкассы телеграмму. Твой Федя». Вот и всё. Мать Ани приехала на другой день, а еще через неделю я взял где-то машину, тогда такси почти не было, а на извозчике не хотел. Трясет. Пришлось взять какого-то левака, и мы привезли домой и Аню и Юрочку. Потом долго выбирали, какое дать ему имя. Аня хотела назвать Толей. Я склонялся назвать Юрой. Я убеждал, что Толя будет сопливый увалень, толстяк, а Юра будет умным мальчиком, да и Юрий Фёдорович звучит лучше, чем Анатолий Фёдорович. Соседская девочка, дочка Дмитруков тоже сразу заявила: «Назовите его Юрой». Когда я пошел в загс регистрировать, то на вопрос загсовской сотрудницы: «Как назовете сына?» я ответил:

«У нас разногласия с женой. Она хочет назвать Анатолием, а я Юрием. Как вы посоветуете?» Загсовская сотрудница категорически заявила: «Конечно, Юрий красивее». И я записал: Юрий. Итак, я уже папа. Милый дорогой Юрочка — мой сын. Не знал я тогда, сколько на его голову выпадет потом горя.

Время было тогда очень трудное. Грандиозные по тем временам планы индустриализации страны и сплошной коллективизации сельского хозяйства не могли не отразиться на материально-бытовых условиях простых тружеников. Мы голодали. Карточная система со скудными пайками, столовские обеды из сплошных рассоленьиков (в тарелке в мутной водичке два-три кусочка картошки и два-три ломтика соленого огурца) едва обеспечивали поддержание жизни. Особенно тяжело было Ане, как в период беременности, так и потом, когда она стала матерью и должна была кормить ребенка. Базарные цены на продукты подскочили в десятки раз. По улицам опять появились беспризорные дети, которые из рук хватали, если кто нес открыто что-нибудь съестное. То в одном, то в другом месте прямо на тротуаре можно было видеть мертвых или умирающих с голода людей. Я помню такой эпизод. Идя утром на работу (я работал на Крещатике), я увидел на углу Прорезной и Крещатика лежащего на тротуаре мужчину. Он был еще жив, но все лицо его было обсажено мухами. Мухи на губах, на глазах, а у него не было сил даже отогнать этих мух. После работы, часов в 5, я возвращался домой, а этот человек уже мертвый продолжал лежать на том же месте. Лежал он и на другое утро. Никто его не убрал, никому не было дела до него. Прохожие проходили мимо, искоса поглядывая, не останавливались. И только днем на вторые сутки труп убрали. И это в центре города.

Осенью 1933 года ввели в продажу коммерческий хлеб. Кило в руки, 5 рублей цена. У хлебных магазинов стали выстраиваться очереди длиной в 1–2 квартала. В магазин впускали по десять человек. Пришлось занимать очередь сначала за час, потом за два, три, четыре часа перед открытием. Бывало, займешь очередь в 4 утра, и до работы взять не успел, а после работы оказывается, что очередь прошла. Завтра снова встаешь в 3–4 часа ночи и идешь занимать очередь.

Других продуктов ни по карточкам, ни в свободной продаже не было. Потом, уже в 1934 году, появились масло и сахар. Но масла в одни руки отпускали только по 200 грамм, сахару — полкило, и также надо было занять очередь с ночи, так как после открытия магазина уже через полчаса объявляли: масла больше нет, сахара больше нет. С маслом и сахаром такое положение было до самой войны, то есть до 1941 года. Хорошо еще, если угадаешь, будет ли вообще масло или сахар сегодня в этом магазине, а то сплошь и рядом стоишь в очереди с 3-х часов ночи, а в 8 утра, когда магазин открывается, объявляют: сегодня в продаже масла и сахара нет. Вот люди и мечутся, занимают очереди в разных магазинах, где улыбнется «счастье».

А сколько было случаев в хлебных магазинах, когда человек, наконец, достоялся до своего килограмма хлеба, вышел из магазина и тут же с жадностью стал его поедать. Хлеб свежий, ржаной, иногда сырой, мокрый. Человек глотает куски, почти не разжевывая, и тут же падает со стоном. Заворот кишок и смерть.

В конце 1934-го года карточки на хлеб были отменены, и стало легче. Твердая цена. Брать можно было без ограничения. Правда, ассортимент был ограниченный, а с такими продуктами как масло, мясо, сахар было трудно до самой войны. Что касается промтоваров, то страна до самой войны испытывала колоссальные трудности. Мануфактурные магазины в центре города исчезли совсем. На весь Киев где-то на Куренёвке был один мануфактурный магазин, но там устанавливались тысячные очереди, и люди стояли несколько суток, чтобы хоть что-нибудь достать, да и то потом этот магазин перевели в Дарницу. Ни обуви, ни галош, ничего из одежды, равно как и какую-нибудь посуду, будь то кастрюля, тарелка, чайник или ведро, купить было нельзя. Остатки этих товаров разобрали в течение нескольких месяцев, а новых не поступало.

Зато процветала толкучка. Там можно было купить все. Помню, я искал галоши. Мне нужен был № 13. В городе несколько магазинов. Самый большой универмаг — на улице Энгельса. Записываюсь в очередь с 12 часов ночи. Затем в 2, 4 и 6 часов утра хожу на отметку. С 6 часов уже никуда не ухожу. В 8 часов утра в магазине вывешивают табличку: «Сегодня в продаже 10 пар галош № 9, 10

пар № 10, 10 пар женских № 3». И все. А мне нужен № 13, и стоять больше незачем. Иду на работу. На другой день занимаю очередь уже в Резиносбыте на Красноармейской. Та же процедура — в 12 запись, в 2, 4 и в 6 утра отметка, а в 8 часов утра — разочарование. Моих галош нет. А без галош ходить тогда было невозможно — снег почти не убирался, при таянии целые моря, обувь ветхая, слабая, дырявая. Пришлось ехать на толкучку, и вместо 10 рублей госцены платить 30 рублей. Также на толкучке втридорога купил простое виговое одеяло, так как в магазинах охота ни к чему не привела.

Несмотря на это, мы все работали с большим энтузиазмом. Я, как и все честные советские люди, отлично понимал и сложную обстановку в мире, и необходимость затрат у государства на скорейшую индустриализацию, на оборонные мероприятия. Работали и не роптали, а, как говорят, потуже затягивали пояса и работали с удвоенной энергией. Период 2-й пятилетки, как и прошедшая первая пятилетка, нас радовали каждым новым сообщением о тоннах добытого угля, выплавленного чугуна или стали, о каждом новом заводе, пущенном в эксплуатацию. Личные недостатки уходили на задний план, жили надеждой и уверенностью в более светлом, радостном будущем. И не беда, что нашему Юрочке, когда ему было 4 года, мы в течение нескольких месяцев не могли достать мальчишкового пальто и купили пальто для девочек. Он, правда, услышал наш разговор, что это пальто для девочек, заартачился, не хотел надевать, но мы уговорили его, что пальто «мальчишковое».

— Вот смотри, патка на спине, как и у папы (то есть у меня) на пальто сзади патка. Вот, карманы накладные, так и у меня накладные. Вот два ряда пуговиц, как и у меня.

Он, бедненький, поверил. А что пальто застегивается не на правую, а на левую сторону, ему было невдомек, и он, наконец, согласился его надевать.

Но это было потом. А пока он был маленьким. Его возраст считался днями, потом месяцами, и делал он все, что полагается делать человеку в его возрасте. Высасывал у Ани последние соки, пачкал пеленки и плакал «уа», «уа», когда ему или хотелось есть, или где-то что-то заболело. Первые пару месяцев нам неоценимую помощь

оказывала Анина мама. Она купала Юрочку, пеленала, стирала пеленки и все наше белье. В общем, вела все хозяйство. Моя роль сводилась к доставке продуктов, стоянию в очередях, хождению до работы на базар, доставанию воды (кстати, в то время Киев питался только артезианскими скважинами, Днепровского водопровода еще не было, и водопровод работал поочередно в каждом районе и, если на данный месяц очередь нашей улицы была от 2-х до 3-х часов ночи и, если мы проспали это время, и не запаслись водой, — то днем надо было ходить за пару кварталов и приносить воду). Ну, понятно, рубка дров, топка печей — это тоже была мужская работа, и лежала на мне.

Аня около года не работала. Она была очень истощена и ослаблена. И если бы не мама, не знаю, как бы она справилась. Дома работы хватало — уборка, шитье, штопка, варка, — хотя я и брал обеды в жилкооповской столовой, эти скудные столовские обеды ни по вкусу, ни по питательности не могли сравниться с домашними. А для домашних обедов условий не было. Что можно сделать, имея один примус в тесной кухоньке, где четыре хозяйки. Ни развернуться, ни повернуться. Только копать и шипение примусов.

Но вот, побыв у нас месяца два, мама уехала в Черкассы. Мы ее задерживать больше не могли. В Черкассах остались без женского материнского опекуинства три хлопца — младшие братья Ани. И мама, естественно, не могла их надолго оставить без присмотра. Как они там? Кто им варит, кто стирает?..

Как только мама уехала, я обнаружил, что, несмотря на всю колоссальную помощь, какую она оказала нам, она не сделала главного. Она не научила Аню брать Юру голенького, купать его, пеленать. Кормила Юру только тогда, когда ей подносила его мама аккуратно спеленутого. Пришлось эту материнскую азбуку осваивать сначала мне. Когда мама выполняла эту работу, я со свойственной мне любознательностью внимательно присматривался, а теперь первые разы я купал Юру, пеленал, а потом готовенького в конвертике подносил Ане, которая торжественно восседала на стуле для кормления. Но днем я был на работе, так что Ане волей-неволей пришлось ускоренным порядком освоить и эти процедуры. Во всяком случае, она перестала бояться его вытирать, подмывать, пере-

ворачивать при пеленании и брать сама в руки для кормления. У меня к маме была еще одна претензия. Она приучила Юрочку засыпать, качая его без всякой надобности на руках. Но я считал, и, думаю, правильно считал, что если ребенок сыт, пеленки у него сухие и ему всего 3–4 месяца, он должен засыпать сам без всякого укачивания, а если он кричит, плачет — значит, нужно или пеленки сменить, или искать, не запеленали ли у него какой-нибудь посторонний предмет, который жмет или колет его. В течение недели или двух я, преодолевая протесты Ани, на руки его не брал, как бы он ни кричал, и в результате Юрочка научился засыпать без укачивания. По ночам, когда его кормили еще и ночью, он начинал плакать. Я вставал, проверял состояние пеленок и затем давал Ане в постель покормить. Он так привык, что ночью встаю к нему я, что позже, когда ему был год-два и больше, он будил не Аню, а меня. Стоило ему шепотом сказать «папа», я моментально просыпался, подходил к нему, усаживал на горшок, и он спокойно засыпал.

Зимой опять приехала Анина мама, побывала у нас до середины марта. Это дало возможность и мне и Ане немного отдохнуть, но она опять приучила Юру засыпать с укачиванием. Никакие мои доводы не действовали. Видно, таково существо женщин. Им кажется, что у них на руках, да еще с однообразным напевом «а-а, а-а, а-а», да если еще в такт песне ребенка качать, он скорее заснет. Потом мне приходилось опять долго отучать Юру от такого качания.

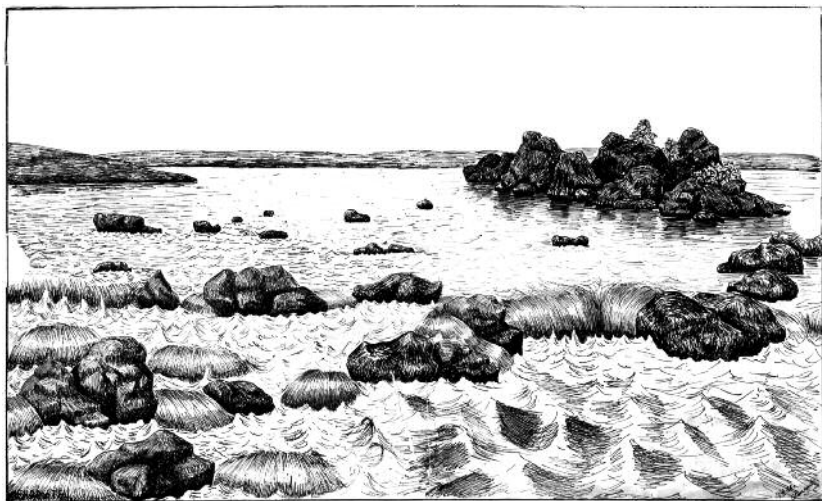
Бедный мой, дорогой Юрасик. Весной 1935 года на его долю выпало большое испытание. В марте месяце Анину маму опять потянуло в Черкассы. Это вполне естественно. Ведь кроме дочки Ани у нее была еще дочь Вера в Днепропетровске, а в Черкассах было три сына, хоть и взрослые парни, но парни, которые нуждались в материнском уходе. На этот раз мы порешили, что поедут с ней Аня с Юрочкой. И вот, после открытия навигации на Днепре, снарядив чем возможно, я проводил их к пароходу. Признаюсь честно, первые дни я почувствовал, что теперь я имею возможность и выспаться, и отдохнуть. Не надо приходить вечером с работы, браться за стирку пеленок или выручать Аню с купанием и пеленанием Юрочки. Не надо с ночи занимать очереди или бегать утром еще в темноте на базар за

молоком или другими продуктами. В общем, я отдыхал в полном смысле этого слова, но примерно через недели две я стал скучать и за Аней, и за своим Юрочкой. Он уже сидел самостоятельно, узнавал всех, он нам улыбался. В общем, делался совсем сознательным ребенком, совершенно не похожим на того красненького червячка, каким его привезли после рождения из больницы, и я уже не только для удовлетворения Ани, как писал ей в записке в роддом, а действительно полюбил его, полюбил страстно. Я уже ходил, работал и все время думал о нем, я уже не мог возвращаться один в свою пустую комнату. Меня тяготила тишина. Особенно мне тяжело было в средних числах апреля. Меня начали мучить всякие страшные сны. Я вскакивал, глядел в пустую Юрину кроватку и думал о нем. Мне все казалось, что с ним что-то произошло, какое-то несчастье. Анины письма были как всегда спокойными, мол, все благополучно, но я уже не верил этим письмам, и решил проехать сам в Черкасы.

На майские праздники, которые удачно совпали с воскресеньем, и было три дня свободных, я поехал в Черкасы. Предчувствия меня не обманули. С Юрасиком действительно в середине апреля случилась беда. На него опрокинули кастрюлю с кипятком.

Случилось это так. К матери Ани, как и всегда в том кругу, где она жила, пришло несколько соседок-кумушек, уселись возле стола, на котором стоял горящий примус с большой кастрюлей, в которой грелась вода. Кумушки поочередно брали Юру на руки. «А-та-та» да «а-та-та» — играли с ребенком, от толчков стол ерзал, и постепенно кастрюля сползала с примуса, пока не опрокинулась и не облила грудку и животик моего Юрасика. Ребенок даже кричать не мог, только открывал рот. Грудь и животик покрылись сплошным пузырем. Начались охи да вздохи, да всякие советы: «постным маслом мажьте, содой присыпьте» и т. д., пока кто-то не сообразил: «К врачу!» Пошли не то в больницу, не то в поликлинику, и дальше уже врачи занялись лечением Юриных ожогов.

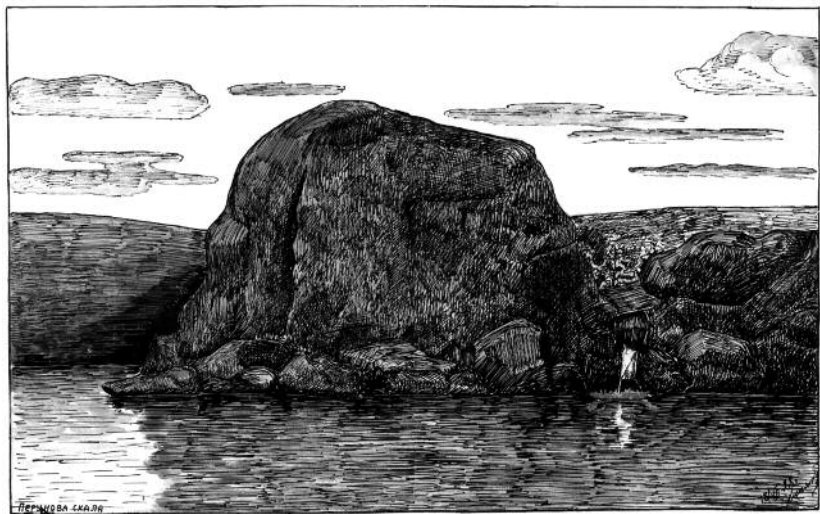
Когда я приехал, на Юрочке еще были повязки. Нечего и говорить, что я почувствовал тогда. Жгучая боль за Юрочку. Особенно, когда он увидел меня и протянул ко мне свои маленькие рученьки. После полуторамесячной разлуки при восьмимесячном возрасте он



Днепровские пороги. Порог «Ненасытец». Перо, тушь, акварель. 1928



Днепровские пороги. Скала «Кресло Екатерины». Перо, тушь, акварель. 1928



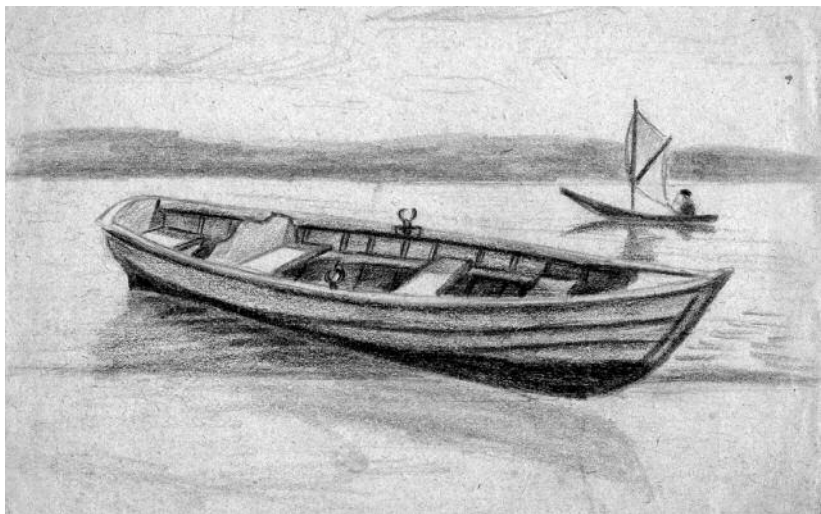
Днепровские пороги. «Перунова скала». Перо, тушь, акварель. 1928



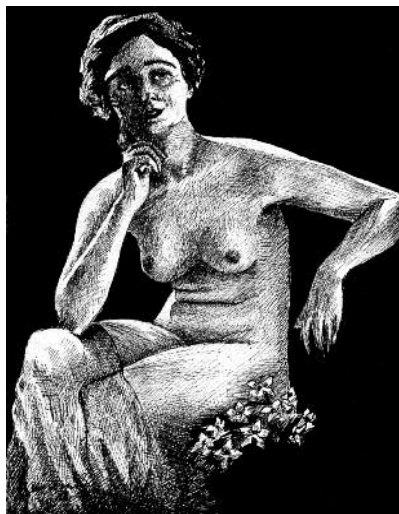
Днепровские пороги. Протока «Волчье горло». Карандаш. 1928



Работы на воде. Карандаш. 1928–1930



Лодка. Карандаш. 1928–1930

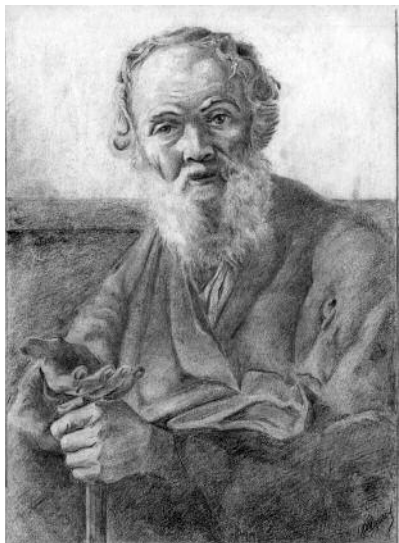


Графические работы. Тушь, перо. 1927–1930

Портрет пожилой женщины.
Карандаш. 1926



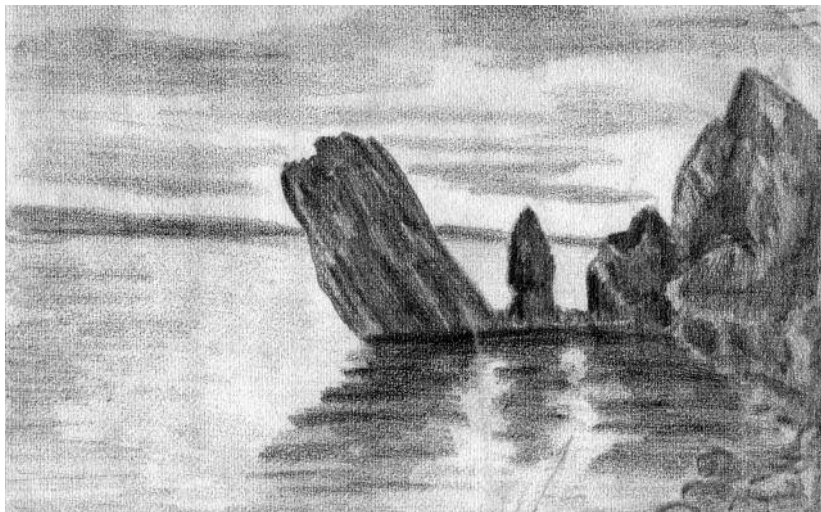
Портрет неизвестной.
Карандаш. 1920-е



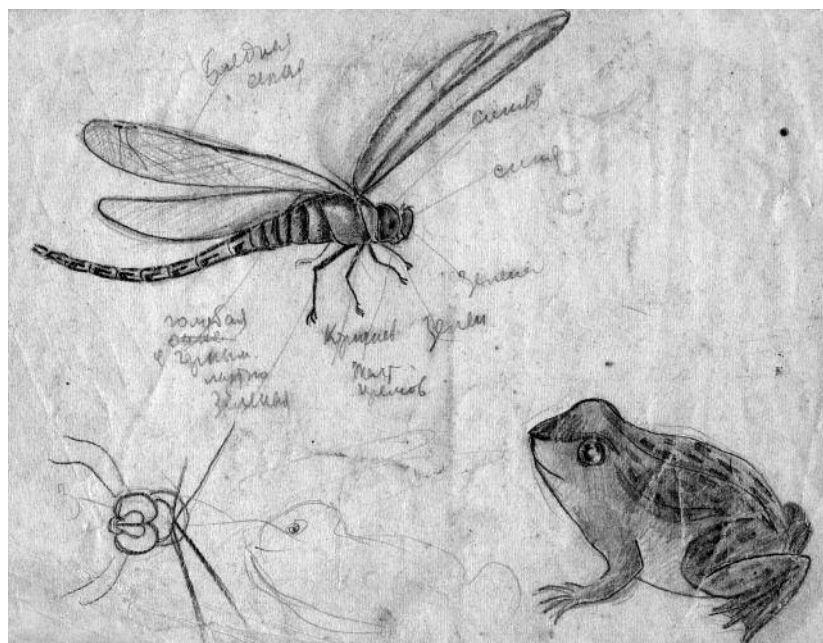
Копия картины В. А. Тропинина
«Нищий». Карандаш. 1920-е



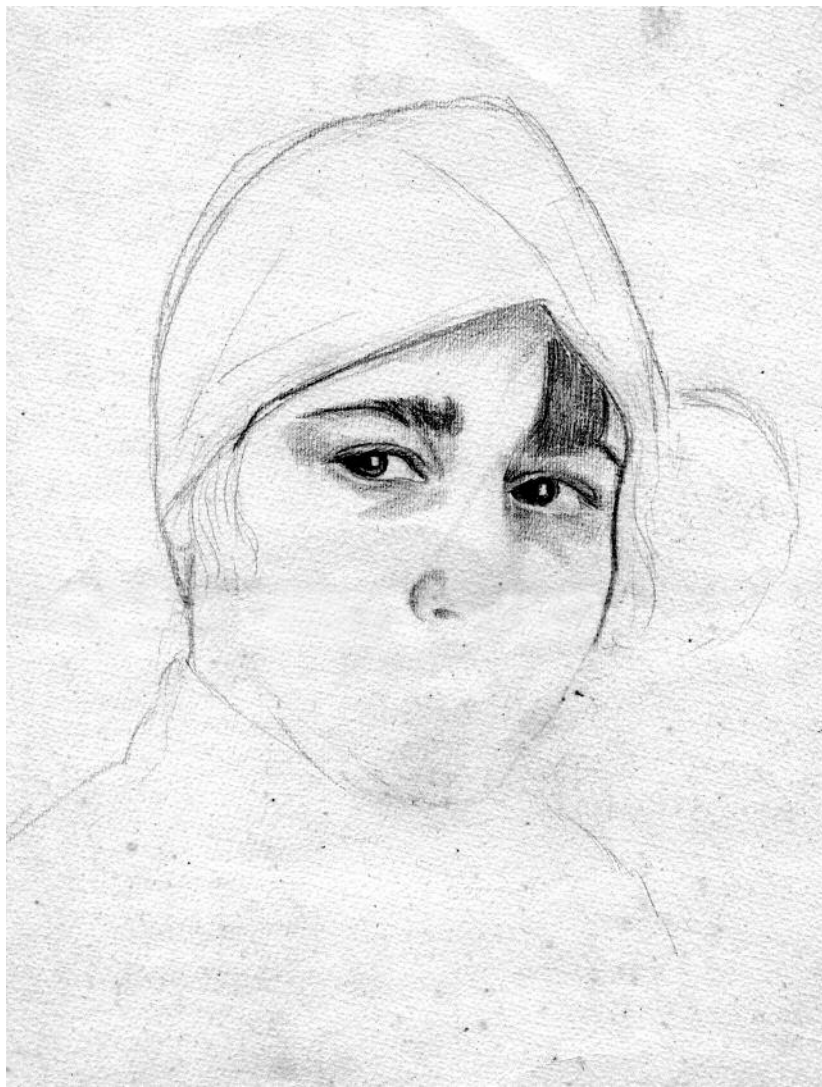
Девушка с распущенными волосами.
Карандаш. 1920-е



Карандашные рисунки конца 1920-х годов



Карандашные рисунки конца 1920-х годов



Портрет неизвестной. Карандаш. 1920-е



Женские портреты.
Конец 1920-х годов



Федя Худяков с сёстрами
Лялей (слева) и Верой.
Начало 1930-х годов



Аня Сапожникова.
1922



Аня Сапожникова и Федя Худяков.
1932



Илья Сапожников,
отец Ани Сапожниковой. 1910-е



Циля Сапожникова, мама Ани Сапожниковой,
с детьми Гришей, Верой, Аней (рядом с мамой) и Абрамом. 1910-е



Федор Худяков, Мария Прохоренко, Борис Звенигородский. 1928



Абрам Сапожников



Григорий Сапожников с супругой



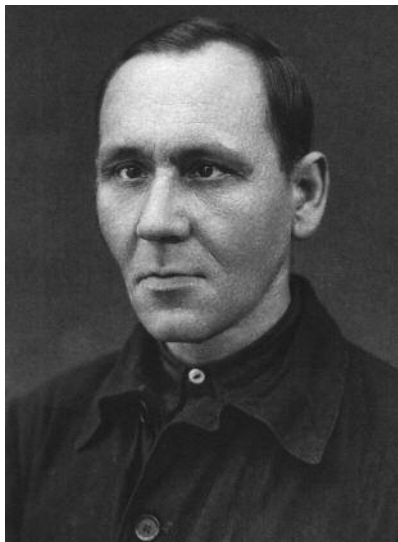
Юра Худяков.
1938



Ф. Ф. Худяков с сестрой Верой.
Середина 1970-х годов



Аня Сапожникова (в центре) с сестрой
Верой Сапожниковой (крайняя слева)
и подругами. Середина 1920-х годов



Фёдор Фёдорович Худяков.
Начало 1950-х годов

узнал меня. Он как бы хотел сказать: «Папка, смотри, что сделали со мной эти чужие тети. Мне было так больно, а тебя не было, не пускай их сюда». Что чувствовала Аня и ее мать, не знаю. Но я готов был всех разнести на куски. Я запретил собирать целый кагал соседок, запретил давать Юрасика кому угодно на руки и хотел, чтобы Аня вместе с Юрочкой ехала со мной в Киев. Но надо было закончить его лечение, и они остались в Черкассах еще на пару недель. Эту пару недель я прожил с большим волнением. Не случилось ли чего-нибудь еще, но, как говорят, слава Богу, все прошло благополучно. Юрасик вернулся здоровым. Только на грудке и животе еще долгое время были красные пятна после ожога.

В Киеве жизнь пошла обычным порядком. Целые дни с Юрочкой возилась Аня, но каждую свободную минуту после работы и в выходные дни смотрел за ним, играл с ним я. Он очень ко мне привязался, и от меня к Ане даже не хотел идти, разве только для кормления. Аня его приучила быть только на руках, и немудрено, что когда я возвращался с работы, она всегда встречала меня словами: «Ой, забери уже его, а то у меня руки отвалятся». Я брал Юрочку на руки, что-то говорил ему, усаживал на постель, продолжая разговаривать, и старался постепенно отучить от рук.

Помню такой эпизод, характеризующий степень его привязанности ко мне. Как-то летом в воскресенье мы втроем вышли погулять. Юрочку держал на руках я. Зашли по дороге в какой-то магазин что-то купить. У кассы очередь, у прилавка толкотня. Я передаю Юрасика Ане и иду к кассе платить деньги. Юрочка вырывается от Ани, протягивает мне ручонки и кричит на весь магазин: «Мама, мама!» Ему было 9 или 10 месяцев. Других слов он еще не говорил. Люди, стоящие в магазине, смеясь и шутя, спрашивают: «Кто же из вас мама?» Пропустили меня к кассе без очереди, я уплатил, отдал чек Ане и поспешил взять Юрочку, так как он продолжал тянуться ко мне с криком «Мама!»

А сколько потом мне пришлось просидеть ночей над его кроваткой, когда он болел. Он всегда успокаивался, когда я был с ним. Сколько прогулок мы совершили в воскресные дни с Юрочкой, когда он уже ходил, и в 3, и в 4, и в 5, и в 6 лет. Я любил его, любил его

замысловатые вопросы «а что это такое?», его бесконечные «почему?», старался как можно доступнее для его детского разума объяснить, «почему». В ясли, в которые мы его определили, когда ему исполнилось 2 года, в большинстве случаев водил и забирал я, так как ясли были вблизи моей работы. Один раз, когда ему было 3 с небольшим года, мы возвращались из яслей, ярко светила луна, он задал мне вопрос: «Папа! Почему по правде луна бывает то кругленькой, то тоненькой?»

Дело в том, что Аня всегда его кормила, развлекая песнями, сказками, то: «Вот видишь, жучек ползет, кушай скорее, а то приползет и съест твою кашу». Или: «Кушай, так будешь здоровенький, толстенький — видишь, какая луна большая, она кушает звездочки и делается полненькой, а когда не кушает, то худеет и делается тоненькая». Так он и усвоил, что луна кушает звездочки. Тут я понял, что его уже не удовлетворяет сказка о том, что луна кушает звездочки. Его пытливый ум требует более реального ответа.

— Дорогой Юрасик! Ты еще маленький, ты не поймешь, это трудно тебе объяснить, — сказал я ему.

— Пойму, папка, ты только скажи. Я вовсе не маленький, мне уже 3 года, я все пойму.

Я раздумывал, как бы ему объяснить, чтобы это было похоже на правду. Звездочки отпали, так что же? И мне пришла в голову мысль. От уличного фонаря от нас падала тень на каменную белую ограду возле музея Ленина на Владимирской улице. В руках у меня был портфель. Я подошел ближе к стене.

— Чья это тень? — показал я на свою тень.

— Твоя, папка.

— А это чья тень?

— Моя!

— А это чья тень? — я показал на тень от портфеля, который нарочно повернул плашмя к линии света от фонаря.

— Это тень портфеля, — отвечал Юрасик.

— Теперь смотри! — я повернул портфель ребром к линии света. Тень превратилась из прямоугольника в узкую полоску.

— Теперь чья это тень?

— Тоже портфеля, — ответил он, и с минуту подумав, добавил, — Вот я и понял, а ты говоришь не пойму, маленький..., — с обидой в голосе сказал Юрочка. — Значит, никакие не звездочки, а просто луна поворачивается к нам другим боком.

Это, конечно, неправильно. Луна к нам всегда обращена одной стороной, но это уже не бессмысленная сказка о том, что луна кушает звездочки. Это уже ближе к истине, а для трехлетнего ребенка, который самостоятельно по аналогии с тенью портфеля дошел до этой мысли, это — вполне удовлетворившее его объяснение.

Я ездил с Юрочкой на железнодорожный вокзал, показывал ему настоящий паровоз, живой, который дышит, гудит, пускает пар и тянет за собой вагоны. Ездили мы в Дарницу, тогда еще почти сельскую местность. Он впервые видел и пасущихся коз, и коров, и валяющихся в луже свиней, видел живых кур и петухов, слышал «ку-ка-ре-ку», видел гусей и уток. Это все его развлекало, расширяло его кругозор. Он знакомился с миром. Зимой я ходил с ним в Пушкинский парк, мы катались на лыжах. Он всегда был рад попутешествовать со мной, и наша привязанность друг к другу росла.

15-го августа 1935-го года у Аниной сестры Веры в Днепропетровске родился сын Люсенька. Хорошенький мальчик, беденький, погиб во время войны в эвакуации, погиб на войне на фронте и муж Веры. Она осталась одинокой до сего времени. Много пережила, тоскует и плачет, как только что-нибудь ей напоминает мужа и Люсеньку. Но тогда... Тогда мы все были полны радужных надежд на будущее. Естественно, мать Ани, сделавшись бабушкой двух внуков, уже летом, да и потом, ездить к нам не могла. И все заботы о Юрочке легли на Анины и мои плечи. Аню тяготило, что уже более года она нигде не работает, оторвана от коллектива, ее мучила совесть, как она, член партии, и находится вне партийной организации, да и материальные условия нас поджимали.

Я, хотя и работал, но одной зарплаты было недостаточно. Недостаточны были и мои подработки. Дело в том, что кроме основной работы я по вечерам читал лекции в жилищно-кооперативном техникуме для будущих управдомов. Мой вопрос был «Жилищное законодательство» и немного «Оргвопросы жилищной кооперации».

В конце лета 1935 года пришлось взять работницу, девушку лет 18–20. Но кандидатура первой работницы оказалась неудачной. Пробыв у нас с неделю, она заболела дизентерией, ее взяли в больницу, а после выздоровления она работать не захотела, и пришлось ее уволить. Мы по-прежнему остались с Аней вдвоем, и пойти работать она смогла лишь поздней осенью, когда мы нашли работницу, вернее, няню, более солидного возраста и более положительного человека. Она у нас работала до лета 1936 года, а Аня с октября или ноября 1935 года стала работать в Наркомздраве.

Осенью 1936 года с помощью Наркомздраву Ане удалось определить Юрочку в одни из лучших в городе детских яслей, и жизнь у нас пошла более нормально.

Я продолжал работать в жилищной системе. До 1935 года в Облжилсоюзе, а когда в конце года произошла реорганизация — Облжилсоюз и Укржилсоюз были ликвидированы, — в Киевском Горжилсоюзе, подчиненном непосредственно Горсовету. С октября 1937 года, когда жилкооперация была ликвидирована как таковая, а весь жилой фонд перешел в ведение районных советов, я перешел работать в Горжилуправление. В жилсоюзах я неизменно занимал должность заведующего оргсектором, а в Горжилуправлении был назначен старшим инспектором отдела эксплуатации жилфонда и заместителем начальника этого отдела.

На работе я все время рос, пользовался авторитетом и уважением не только коллектива Жилсоюза и Горжилуправления, а и всех подчиненных райжилсоюзов, жилкопов (поначалу), а потом райжилуправлений и домоуправлений. Но меня не только знали хорошо все работники жилищной системы. Меня хорошо знали, уважали и ценили абсолютно все организации города Киева, имеющие хоть какое-нибудь отношение к жилищному фонду, — гор. и рай. санинспекции, управления пожарной охраны, управления «Водоканал», трест Киевтопливо, районные, городское и республиканское управления милиции и, конечно, Горплан, Горсовет, Облисполком и Наркомхоз с Главным жилищным управлением. Знали меня хорошо и органы прокурорского надзора, в частности, горпрокурор тов. Лукьянченко. Часто бывали случаи, когда для решения

того или иного вопроса, касающегося бюджета домоуправлений или даже чисто правового, меня приглашал горпрокурор для совета. Бегали ко мне и различные юристы из консультаций посоветоваться, — брать ли им под защиту гражданские иски по жилищным делам или сразу отказаться как от безосновательных.

По роду своей деятельности мне приходилось ежедневно разбирать десятки жалоб граждан, иногда существенных, иногда просто бытовых или склочных. То управдом не принимает мер, то споры с соседями из-за мест общего пользования или раздела площади, устройства перегородок, то неправильное взимание платы за жилье, за коммунальные услуги, отопление, свет и т. д. Я всегда был принципиален во всех сложных ситуациях, всегда строго придерживался закона, всегда искал законное основание для своих решений. И тот, кто шел ко мне за помощью, знал, если я скажу «да», значит, его просьба будет удовлетворена. Если скажу «нет», то я тут же докажу, что человек не прав, а он, хоть и получит отрицательный ответ, но уйдет полностью удовлетворенный.

Ни одно решение или обязательное постановление Горсовета, ни одна принципиальная директива Главного жилищного управления при Наркомхозе не выносилась и не выходила в свет, прежде чем Горжилуправление не даст своей визы, а начальник ГЖУ накладывал свою визу лишь после того, как я просмотрю сам и не визирую. Проекты многих решений и директив я писал сам, и потом только, пройдя и завизировав их в Горплане, в юрчасти Горсовета или в Главном жилищном управлении, они поступали на рассмотрение Президиума Горсовета или на подпись народного комиссара коммунального хозяйства. Я почти всегда представлял жилищно-операцию на всех заседаниях Облисполкома, Горсовета и даже в контрольных партийных органах (КК РКИ), не говоря уже о рабочих совещаниях в Горплане, Горсанинспекции или санинспекции при Наркомздраве. Я делал доклады на жилищной или коммунальной секциях Горсовета. Не мудрено, что меня знал город хорошо. Меня хорошо знал, а я имел возможность по любому вопросу заходить в кабинет председателя Горсовета т. Шевцова или к его заместителю по ПВО — т. Сухореброву.

Когда я в 1932 году ехал в Киев, у меня была цель — учиться. Я не скрывал этой цели от руководства Облжилсоюза. И вот осенью 1932 года по рекомендации правления ОЖС меня приняли аспирантом в Научно-исследовательский институт жилкооперации. Я не имел высшего образования, но было вакантное место для одного практика. Я занимался всю зиму 1932–1933 годов. Изучал немецкий и английский языки, остальные вопросы, политобразование. Мне было очень трудно. Как пример, скажу, что немецкий язык мы начали с того, что, открыв какую-то книгу, нам предложили прочесть и перевести. Я прочесть-то прочел, но ни слова не понял, и перевести не смог. Но, так или иначе, я посещал все занятия. По политобразованию также дело было трудное — лекции, насыщенные философскими терминами, были не по моему уровню. С переездом столицы, вернее, осенью 1933 года, этот институт был переведен в Харьков, я, конечно, не поехал и бросил учебу. Зато я сам превратился в лектора, стал читать в техникуме, как я уже писал об этом, лекции по жилищному законодательству. Потом, когда ликвидировалась жилкооперация, а, следовательно, и техникум при жилсоюзе, — я читал по вечерам лекции для управдомов при райжилсоюзах. Немного подрабатывал, жизнь была очень трудной, особенно, когда у нас появился Юрочка, Аня больше года не работала, и мы еле сводили концы с концами.

1936–1938 годы были тяжелыми еще и в другом отношении. Это был период расцвета культа личности. Тогда мы этого слова не знали и вообще не понимали, что творится. Мы свято верили в то, что преподносила нам пресса, и все отрицательные факты, все снятия с постов, все аресты, какие ежедневно катились широкой волной, мы воспринимали как необходимые, вполне естественные процессы нашей жизни. Мы твердо знали, что Советский Союз — единственное в мире социалистическое государство, которое строит светлое будущее для народа, что это государство стоит поперек горла всему капиталистическому миру, и этот мир не гнушается никакими средствами, чтобы раздавить нас. Мы хорошо помнили как в свое время большие люди — всякие троцкие, бухарины, зиновьевы, радеки и прочие — оказались врагами, мы помнили и процесс пром-

партии, и шахтинское дело, где враги стремились подорвать нашу экономику, сорвать темпы индустриализации. Мы знали, что в стране бродит много раскулаченного элемента, который, будучи недоволен советской властью, стремился вредить где только мог. Поэтому, когда запестрели имена репрессированных, а мы узнавали только о некоторых из них, мы единодушно голосовали: «Позор предателям! Всеобщее презрение! Пусть постигнет их заслуженное возмездие! Слава верным чекистам, кристально чистым большевикам! Слава Ежову! Да здравствует наш вождь и учитель Сталин!»

Но размах репрессий принял ужасающий размер. Не было почти ни одной семьи, чтобы кто-нибудь из родни не оказался или арестованным, а потом высланным или расстрелянным как «враг народа». Врагами народа оказались такие прославленные полководцы как Тухачевский, Блюхер, Якир, такие видные партийные руководители, как, например, большевики еще с царского подполья Косиор, Постышев и другие. Лишь много лет спустя, после XX съезда партии, мы увидели действительную картину трагических событий того времени. А пока мы, как и все, кричали: «Смерть врагам народа!»

Как пришивались «дела» и вешался на человека ярлык «враг народа», приведу несколько примеров. В конце 1936 года была утверждена новая Конституция, и проходили первые выборы в Верховный Совет. Я был членом избирательной комиссии участка. Еще задолго до выборов участок получил много агитматериала — лозунгов, плакатов, портретов вождей. Весь этот агитационный материал мы расклеили по фасадам домов, в подъездах, на редких заборах. И вот за пять-шесть дней до выборов к нам явился представитель окружной избирательной комиссии в сопровождении представителя МВД (теперь это КГБ). Сталин в нашем округе и участке не баллотировался, и по положению его портрет висел над столом председателя участковой комиссии. Пребывшие представители, взглянув на портрет, спросили: «У вас много этих портретов?» Получив утвердительный ответ, добавили: «Сегодня же ночью, чтобы никто не видел, пойдите и снимайте эти портреты там, где вы их расклеили. На место этих портретов наклейте другой агитационный материал или другие портреты!»

Мы удивленно переглянулись, и председатель участка робко задал вопрос:

— Что, собственно произошло? Неужели?..

— Нет, что вы? Просто художник, который рисовал этот портрет, оказался врагом народа. Вот смотрите, — при этом он снял со стены портрет Сталина, перевернул его вверх ногами и показал на участок лица на портрете, где соединялись нос, усы, края губ и часть щеки Сталина. — Видите?

Я, да и все члены комиссии смотрели, но, конечно, ничего не видели. Тогда представитель МВД сказал:

— Вот, если этот ус немножко продолжить, а эту морщинку сделать немножко резче, получится в сочетании линий голова не то козы, не то оленя.

Я напряг всю свою фантазию, и мне действительно померещилась голова какого-то животного. Но для этого портрет надо было перевернуть вверх ногами и мысленно удлинить ус и резче очертить морщинку не то у края губы, не то на щеке.

— Так вот, художник — враг народа, нарочно намалевал эту позу, чтобы из нашего вождя сделать насмешку. Ясно? Враги ищут все лазейки, чтобы дискредитировать нашего дорогого Сталина.

Мы, конечно, в эту ночь ходили по кварталам и поснимали все эти портреты. Бедный художник прекрасно нарисовал портрет Сталина, этот портрет напечатан в типографии, наверно, миллионным тиражом, завезен во все уголки Советского Союза, а за несколько дней до выборов в Верховный Совет его сдирают со стен из-за дурацкой фантазии какого-то деятеля в верхах. А художник, может, всю душу вложил в этот портрет, совершенно не думая, что его будут рассматривать кверху ногами, а теперь, может быть, и жизнью поплатился за него. Вот и враг народа.

Второй случай. В киевской газете «Пролетарская правда» был напечатан снимок какого-то строительства в Дарнице. Не то мясокомбинат, не то шелкокомбинат. Частично возведенные стены корпусов, груды стройматериалов — кирпичи, доски, несколько автомашин и человеческих фигур — все это на переднем плане стройки, а вокруг и сзади на фоне неба — деревья, лес. Снимок как снимок.

Вдруг директива — газету изъять. Снимок сделан врагом народа. Дело в том, что, если этот снимок рассматривать опять-таки кверху ногами, то сплетение веточек деревьев дает при большой фантазии контур профиля человека, напоминающий профиль Троцкого. Бедный фотокорреспондент оказался тоже врагом народа и тоже, может быть, поплатился за снимок жизнью.

И, наконец, третий случай, участником которого был в какой-то мере я. Тут я наглядно увидел, как «шьются» дела «кристально чистыми» ежовыми и их прихлебателями. Это дело Гельмана. Кто такой Гельман? Рабочий-жестянщик, кровельщик. До революции в каком-то местечке кустарничал, имел жестяницкую мастерскую, паял кастрюли, делал ведра по заказам населения, имел одного ученика-мальчишку. Потом бросил кустарничать, пошел в город в бригаду кровельщиков, в 1920 году вступил в партию. Работал в разных городах и окончательно обосновался в Киеве, работая в какой-то строительной организации бригадиром кровельщиков. В 1931–1932 году, когда происходило «выдвижение» рабочих «от станка» на руководящую работу, он как хороший специалист и уже старый член партии был выдвинут на должность начальника ремонтного сектора Облжилсоюза (а потом и Горжилсоюза). Мне как зав. оргсектором всегда приходилось писать отчеты о деятельности жилсоюза, я собирал материалы от всех секторов — культмассового, сельскохозяйственного, ремонтного, финансового, отдела снабжения, — увязывал их, компоновал, снабжая пояснениями. Я всегда испытывал большие трудности, обрабатывая материалы ремонтного сектора. Дело в том, что сам Гельман, будучи прекрасным человеком, хорошим специалистом кровельщиком и, безусловно, честным и преданным коммунистом, — был очень малограмотным, на письме выразить свои мысли не умел совершенно, а на словах говорил очень нечисто по-русски, путал падежи, мужской род с женским. Фразы у него были очень корявыми, и я требовал у него для отчетов только цифры, а весь текстовый материал писал сам.

Так вот, этот Гельман оказался «врагом народа». Но сначала маленькое отступление. Летом 1936 года в Жилсоюз пришли два новых руководящих работника. На должность председателя некто

Ильяшевич, бывший ответственный работник обкома партии, в чем-то там проштрафившийся и смещенный «на хозяйственную работу», и на должность заместителя председателя Жилсоюза — некто Броневой, бывший работник НКВД, также чем-то не угодивший там и переведенный на работу в жилкооперацию. Первые дни они все присматривались к коллективу, правда, не без самодурства, вроде того, что Ильяшевич на работу являлся лишь в 5–6 часов вечера, а через секретаря назначал для каждого отдела и сектора время на 7, 8, 9, 10, 11, 12 часов ночи. В указанные часы он «принимал» начальников отделов, выслушивал их доклады, давал «ценные указания», подписывал бумаги. Мне же как зав. оргсектора надо было все время присутствовать, записывать все его «ЦУ» и назавтра контролировать их выполнение.

Так вот, эти два работника по договоренности с секретарем парторганизации решили летом 1937 года провести партсобрание, на котором поставили отчет зав. ремонтным сектором Гельмана о ходе ремонтов жилфонда города Киева. Об этом ему сообщили накануне собрания и, вполне понятно, он подготовиться не успел, тем более что я даже не успел ему как-то систематизировать материалы, снабдить их текстовой частью. Доклад сделал он довольно путанный, волновался, его то Ильяшевич, то Броневой беспрерывно перебивали едкими репликами. Особенно тяжело бедняге пришлось, когда речь зашла о развитии стахановского движения. Никакой механизации в ремонтном деле в то время не было. Стройматериалами жилсистема снабжалась из рук вон плохо. Фонды удовлетворяли на 3–5% потребности. Кровельного железа, натуральной олифы вообще не отпускалось. Крыши латались тряпками на сурике, разведенном в керосине. Сантехнических материалов тоже почти не было, водопроводная внутридомовая сеть протекала почти в каждом доме, а новых труб для замены почти не было. Шаровых клапанов для сливных бачков также не было вообще, и слесаря-изобретатели вместо медных шаров вставляли в бачки запаянные консервные банки, которые через месяц ржавели и приходили в негодность (пластмасса тогда еще не была изобретена). Слабо была обеспечена тогда жилсистема и подъемными механизмами, все стройматериала-

лы поднимались на этажи в основном вручную, «на горбу» рабочего. Капитальных ремонтов домов, как это делается сейчас, не производилось, а жилкопы, управдомы в большинстве не располагали даже рабочей силой нужной профессии и квалификации.

Говоря об этих трудностях, Гельман как-то неудачно выразился, что в таких условиях стахановское движение развивается слабо и проходит, в основном, за счет физического перенапряжения самих рабочих.

Ильяшевич и Броневой ухватились за эти слова и заявили, что Гельман проводит антисоветскую политику, что он отрицает возможность внедрения стахановских методов в работу по ремонту жилфонда.

После этого собрания последовала статья в газете «Пролетарская правда» о том, что в жилкооперации под руководством Гельмана процветает антисоветская практика, отрицание стахановского движения как могучего рычага подъема производительности труда и т. д., и т. д.

Гельмана исключили из партии и сняли с работы. Где был потом Гельман, я не знаю. В октябре 1937 года жилкооперация была ликвидирована, я перешел на работу в Горжилуправление. И вот, ровно через год, в октябре 1938 года меня вызвала в спецчасть зав. спецчастью Горжилуправления некто Юдкевич. По комнате прохаживался человек в форме НКВД. Юдкевич представила меня ему и сказала: «А этот товарищ — следователь НКВД». Я молча поклонился и стал смотреть ему в глаза, ожидая вопросов. Он некоторое время молча смотрел на меня, изучая мое лицо, как бы стараясь прочесть, какое он произвел на меня впечатление, а потом задал вопрос:

– Вы Гельмана знаете?

– Да, знал, когда работал в Жилсоюзе

– А вы знаете, что он арестован как враг народа?

– Понятия об этом не имею, так как после жилсоюза его ни разу не видел, где он был, не знаю и что он делал, тоже не знаю.

– Ну, а что вы скажете по поводу его ареста?

– Если он арестован органами НКВД как враг народа, полагаю, что у НКВД были для этого основания.

– А, так вы тоже считаете, что были основания его арестовать как врага народа? Прекрасно... Присядем за стол, я вам задам еще несколько вопросов.

Мы сели за стол друг против друга, и он начал задавать мне вопросы — за что исключили Гельмана из партии, как он руководил ремонтами жилых домов, как проходили ремонты, выполнялся ли план, что он говорил о стахановском движении, что я еще знаю об антисоветской деятельности Гельмана? И так далее, и так далее. Я отвечал то, что знал. За что его исключили из партии, я не знаю, так как я беспартийный и на закрытом партсобрании не был, с ремонтами дела неважные, так как жилсистема испытывала большие трудности с материалами, плохо снабжалась механизмами, есть трудности с рабочей силой, не хватает средств. Что касается стахановского движения, то я считаю, что оно есть, развивается и будет развиваться и, по-моему, Гельман просто не сумел правильно высказать свою мысль. Об антисоветской деятельности в жилищкооперации, а я Гельмана знаю с 1932 года, я ничего не знаю, и не подозревал.

– А то, что после работы в жилищсоюзе Гельман перешел работать кровельщиком, и при ремонте крыши ЦК КП(б)У крыша стала протекать? Вам это тоже неизвестно? Разве это не сознательное вредительство? — задал он вопрос.

– Я уже сказал, что где был Гельман после работы в Жилсоюзе, что он делал, — я не знал и не знаю, — ответил я.

Я ясно почувствовал, что Гельману «шьют дело». Тут надо держать ухо востро, не поддаваться на провокационные вопросы, взвешивать все свои слова и ответы, а то, чего доброго, и меня как сообщника Гельмана могут в одну прекрасную ночь арестовать. А с другой стороны, — черт его знает. Может, и действительно Гельман хорошо затаившийся враг народа? Но нет. Не похож он на врага. Во всяком случае, я буду говорить правду и только правду... Будь что будет. Все такие мысли пронеслись у меня в голове, но я спокойно сидел напротив следователя и смотрел, как он на бланке «Допрос свидетеля» писал и писал что-то, время от времени поглядывая на меня. Когда он кончил писать, он протянул мне лист бумаги со своей писаниной и сказал:

– Прочтите и подпишите.

Он исписал целую страницу, но все сводилось к следующему: «Я Гельмана знал с 1932 года. Все время его работы в Жилсоюзе он вел антисоветскую, вредительскую политику, довел жилфонд почти до полного разрушения, отрицал возможность развития стахановского движения, за что и был исключен из партии и снят с работы. Но даже и потом, когда он опять стал работать простым рабочим, старался вредить где только мог, работал недобросовестно и после проведенного им ремонта крыш, они продолжали течь, как, например, крыша над зданием ЦК КП(б)У».

Тут я возмутился и, забыв всякую осторожность, сказал следователю:

– Я ни с одной фразой здесь согласиться не могу. Если вы не можете правильно записать мои ответы, а сочиняете то, что вам хочется, дайте мне лист бумаги и я сам напишу то, что я вам говорил. С этими словами я ручкой крест накрест перечеркнул весь его «труд». Я видел, как вспыхнули глаза следователя, но он холодно сказал:

– Понятно... Как хотите... Возьмите бланк и напишите сами.

Я коротко написал то, что говорил о Гельмане. На этом кончился мой первый допрос.

Прошло две недели, в течение которых я каждую ночь ожидал, что за мной приедет черная машина. Но все было тихо. Ане, чтобы ее не волновать, я ничего не говорил. Накануне октябрьских праздников мы устраивали вечер после торжественного собрания с ужином, с танцами для молодежи. За несколько дней до вечера я писал лозунги, выпускал стенгазету (я был редактором и художественным оформителем газеты). Канун праздника — это еще рабочий день. Часа в 4 вдруг заходит какой-то посетитель. «Кто здесь Худяков? А, это вы! Вот вам жалоба от меня, и я требую, чтобы вы сегодня же зашли ко мне на квартиру и сами посмотрели, что делается. Это безобразия! Вот вам мое заявление!» — и он протянул лист бумаги. Я взял этот лист и читаю: «Записку никому не показывайте, уничтожьте, и никому не говорите о ней. Вам сегодня в 9 часов вечера надо быть в ОблНКВД, Розы Люксембург, 12 у следователя в комнате № ... (забыл), пропуск заказан в бюро пропусков. Явка обязательна».

– Да, у вас дело серьезное, но сегодня я не могу. У нас скоро начнется торжественное собрание, а потом вечер, может, потерпите до послепраздника..., — сказал я нерешительно.

Но он стал кричать, что на эту «жалобу» надо реагировать немедленно, так как после праздника будет уже поздно, что я не имею права так поступать с жалобщиками, что он будет жаловаться, и мне же будет хуже, и т. д. Так мы вдвоем в присутствии других сотрудников разыграли, не сговариваясь, будто он действительно жалобщик. Я понял, что сопротивление бесполезно и пообещал, что приду.

Только кончилась торжественная часть собрания, я ушел с самыми черными мыслями, а в 9 часов вечера был в ОблНКВД. Следователь сидел за столом. Перед ним лежали какие-то бумаги. Сбоку на столе лежала стопка папок-«дел». На бумагах перед следователем лежал «наган», он все время играл рукой этим наганом, то ставя его на дуло, то на рукоятку. Меня принял очень любезно, извинился, что потревожил в такое время, предложил закурить, но я отказался, сказав, что только что курил. Наконец, следователь сказал примерно следующее:

– Я пригласил вас, чтобы устроить очную ставку с Гельманом, но вы должны вести себя разумно, это в ваших интересах (наган в руках следователя встал на рукоятку). Не так, как в вашей спецчасти... Дело в том, что «дело» Гельмана у нас закончено (он рукой дотронулся до стопки папок). Здесь вся мерзкая картина всей антисоветской вредительской деятельности Гельмана, но для полноты всей картины не мешало бы иметь еще одно ваше показание о том, что Гельман не ремонтом жилфонда занимался, а сознательно приводил его в разрушение, что он был против стахановского движения и всячески его тормозил. Вам понятно, что вы должны говорить на очной ставке с Гельманом... (Наган опять встал на дуло.)

В это время раздался телефонный звонок. Следователь взял трубку: «Да, да, сейчас приеду... Меня срочно вызывает нарком... Я машиной, скоро приеду. Вам придется с полчаса обождать, извините...»

С этими словами следователь встал. Встал и я. Мы оба вышли в коридор. Напротив дверей стояла скамейка. Следователь предложил мне сесть на нее и обождать его. Было половина десятого вечера.

На этой скамейке я просидел до часу ночи. Сидел и думал, думал. Нет, я клеветать на Гельмана не буду ни за глаза, ни в глаза на очной ставке. Буду говорить только правду, то, что знаю. Если у тебя дело о Гельмане закончено, на черта ты меня втягиваешь. Значит, у тебя материалов не хватает, и тебе не «не мешало бы», а очень нужны мои липовые показания. Ты действуешь на психику, крутишь перед носом наган, но я не поддамся... Ты можешь меня арестовать, но я-то чист, честен и предан советской власти..., я выставлю сотню свидетелей, больших и малых людей, которые кроме хорошего про меня ничего не скажут...

Так у меня проносились разные мысли, а за эти три часа, что я сидел на скамейке, время от времени по коридору в комнаты других следователей сопровождали арестованных на допросы. Арестованные после допросов выходили сторбленные, шатаясь, и часовые, которые вели арестованных, молча подталкивали их прикладами.

Около 12 часов ночи в коридоре появился еще один бывший сотрудник Жилсоюза, некто Олин, я его плохо знал. Он был членом партии. Увидев меня, он слабо улыбнулся, сел на другой конец скамейки и спросил только: «И тебя вызвали?» Мы сидели молча с полчаса. Наконец появился следователь, любезно улыбнулся, извинился, что его «нарком задержал, но вы же понимаете, государственные дела...» и зашел к себе в кабинет. Минут через пять он вызвал Олина, а еще минут через десять привели Гельмана.

Я привык видеть Гельмана в костюме, белой рубашке с галстуком и хоть человека уже в годах, но бодрого, держащегося прямо, а тут шел старик, седой, в телогрейке, сторбленный, держа руки за спиной (не знаю, связаны они были или нет). Впечатление гнетущее. Что происходило в кабинете, не знаю, но Олин оттуда выскочил как ошпаренный, бледный и, не глядя на меня, быстро пошел по коридору к выходу. Следователь пригласил меня. У стола следователя стояло два стула. На одном сидел Гельман — сторбленный, с опущенной головой. Следователь предложил мне сесть на другой стул напротив Гельмана, и задал мне несколько трафаретных вопросов:

- Знаете ли вы этого человека? Кто он?
- Да, знаю, это Гельман.

- Как его имя и отчество?
- Не знаю, так как всегда обращался по работе к нему «товарищ Гельман», а вне работы мы близко знакомы не были.
- Давно ли Вы его знаете?
- С 1932 по 1937 год.

Такие же вопросы следователь задал Гельману, но на вопрос о моем имени и отчестве Гельман перепутал и сказал «Фёдор Петрович».

– Теперь, товарищ Худяков, расскажите все, что вы знаете о преступной, антисоветской и вредительской деятельности Гельмана, — обратился следователь ко мне, и наган, лежавший на столе, опять заиграл в его руке.

Я сказал, что ничего о преступной, антисоветской и вредительской деятельности Гельмана не знаю. Знаю, что жилой фонд города Киева, по настоящему не ремонтировавшийся еще с довоенных лет, находится в плохом состоянии, а при недостаточном снабжении, особенно дефицитных фондируемых стрйматериалов, этот участок работы очень труден и, может быть, другой человек вместо бывшего простого малограмотного рабочего сделал бы по руководству ремонтами больше, чем Гельман, но сознательного вредительства в действиях Гельмана я не усматриваю.

Следователь явно нервничал, так как наган стал плясать в его руках все быстрее и быстрее. Гельман со всем, что я говорил, согласился, а на последний вопрос следователя: «А со стахановским движением как? А за что его исключили из партии?» Я ответил, что стахановское движение — это движение, зародившееся в недрах рабочего класса, широко развернувшееся по всему Советскому Союзу, и хочет этого Гельман или не хочет, оно будет шириться и развиваться и в жилищной системе. Что касается исключения из партии, то я ни на закрытом партсобрании, ни на партбюро не был, так как я беспартийный.

Следователь несколько минут писал мои и Гельмана показания, а потом дал мне подписать. Я взял лист и опять увидел грубейшую фальсификацию. Все объективные данные были написаны правильно, а потом опять — ремонты шли недоброкачественно по вине Гельмана, Гельман, руководя ремонтами, сознательно направлял

материалы не на аварийные объекты, а на второстепенные, и по сути разбазаривал фонды материалов, проповедовал невозможность стахановского движения, за что и был исключен из партии и снят с работы, но и после увольнения, работая опять рабочим, везде занимался вредительством.

Я мысленно прощался с белым светом, но нашел мужество всю последнюю часть «своих показаний» вычеркнуть, заявив, что могу подписать только то, что говорил. Следователь бросил не отрывисто: «Как хотите! Подписывайте!» Я подписал. Затем следователь передвинул лист Гельману. Тот взял его, прочитал и тоже отказался подписывать. Тогда следователь раздраженно с повышением голоса почти до крика сказал:

— Ну, Гельман, ты-то мне подпишешь! Ведь твоя песенка спета! Ты-то это знаешь, и нечего прикидываться дурачком. Пусть Худяков не знает о твоих проделках, вон у него сейчас торжественный вечер в коллективе, а мы его потревожили из-за тебя, но я с тобой поговорю отдельно, и ты подпишешь! Понимаешь? Подпишешь!

Наган в руках следователя плясал уже не на столе, а перед лицом бедняги Гельмана. Затем следователь взял на столе мой пропуск, отметил время, когда меня отпустил, и отдал его мне:

— Вы свободны, тов. Худяков, можете идти!

Я, наверно, вышел тоже как ошпаренный, и полной грудью вздохнул только, когда был уже на улице. Дома я опять ничего не сказал Ане. Во-первых, меня предупреждал следователь — никому ни слова не говорить, а во-вторых, опять не хотел ее, такую шепетильную, беспокоить. Сказал, что был занят на вечере в жилуправлении.

Прошло два с половиной месяца. В середине января 1939 года мне телефонный звонок на работу. Звонят из ОблНКВД — требуют сейчас же прийти, важное дело, пропуск заказан. Никому не говорить, куда я иду. Я сказал сотрудникам, что иду в Горсовет, чему никто не удивился, так как я по роду службы очень часто отлучался и в Горсовет и в другие организации. Пошел, а на душе, уже успокоившейся, опять заскребли кошки. Приняли меня два человека. Один сидел за столом, другой с безразличным видом стоял спиной и смотрел на

стенку, на которой висела географическая карта. Сидящий за столом развернул толстое «дело» и показал мне мое «показание», которое я писал еще в спецчасти жилуправления, и листок «очной ставки», где я вычеркнул конец того, что писал следователь, а расписался не внизу, а сбоку на полях против того, о чем не возражал.

– Почему вы первые показания написали сами, своей рукой?

– Следователь неудачно сформулировал мои показания, и я решил написать сам.

– А почему вы вычеркнули часть показаний на очной ставке?

– Потому что это все неправда и никаких таких показаний я не давал.

– А что, к вам применялись какие-нибудь меры воздействия? Физические или другие, чтобы вы подписали то, что было написано следователем?

– Нет, не применялись, наоборот, следователь был со мной очень вежлив, если не считать психологического нажима вроде того, что следователь беспрерывно крутил перед носом наган.

– Мы сейчас пересматриваем все незаконченные дела, и процедуру очной ставки мы сейчас повторим, — сказал новый следователь.

Я понял. «Кристально чистого большевика» Ежова сняли, я это знал раньше. Сняли и ежовских «верных соратников» и прихлебателей. Дела пересматриваются, и мне особенно волноваться не следует. Процедура очной ставки повторилась с такими же вопросами и с такими же ответами моими и Гельмана. На этот раз все было записано правильно. И я, и Гельман протокол очной ставки подписали. Второй сотрудник НКВД все время рассматривал карту. Я даже лица его не видел. Мне подписали пропуск, и я с облегчением ушел опять на работу.

Прошло два месяца. В середине марта я получаю по почте в конверте на служебный адрес повестку Выездной сессии Верховного суда УССР. Явиться в суд в качестве свидетеля по делу Гельмана, обвиняемого по статьям... (далее перечень 4-х или 5 статей Уголовного кодекса УССР). Явиться к 10 часам утра в здание Присутственных мест, 3-й этаж, комната № ... Пошел. С «кошками» на сердце. Комната, куда я явился, оказалась комнатой свидетелей, кото-

рых там набралось человек двадцать; в том числе я увидел и Олина, и бывшего секретаря парторганизации Жилсоюза Зумбарева. Остальных я не знал. Все «свидетели» молчали, друг с другом не разговаривали, стояли насупившись. Каждый, вероятно, думал о себе и о Гельмане. Перед уходом в суд я заглянул к нашему юристконсульту с вопросом, что это за статьи Уголовного кодекса, так как Уголовного кодекса я не знал. Юристконсульт ответил: «Кажется, эти статьи Уголовного кодекса требует приговора — расстрел». Говорить мне было больше не о чем.

Подавленный таким ответом, я тоже ни с кем из свидетелей не говорил и размышлял — неужели я все-таки не прав, выгораживая Гельмана на допросах у следователей. Может, он действительно замаскированный враг, но нет, нет и нет. Не похож он на врага народа, просто ему, с его выдвижением в 1932 году на должность зав. ремонтным сектором, просто, как говорят, надели «шапку не по голове». Во всяком случае, ничего сочинять или стучать краски я не буду. Буду говорить только то, что знаю, что чувствую, и что говорил на предварительных допросах.

Техника ведения дела в Выездной сессии Верховного суда УССР была несколько отличной от обыкновенного суда. Свидетелей вызывали по одному, и после дачи показаний уже обратно в комнату для свидетелей не пускали, так что узнать ход рассмотрения дела было невозможно, а пока мы молчали и ни с кем не делились, что мы будем говорить. Меня вызвали примерно 14-м или 15-м по счету. Первое, что мне бросилось в глаза, что вся выездная сессия состояла из судьи, прокурора-обвинителя и защитника. Никаких народных заседателей не было. Гельман сидел черный, как земля, с опущенной головой, сгорбившийся. Только волосы и выросшая борода, которую он раньше всегда брил, была белая, как снег. За спиной стоял часовой с винтовкой.

Не буду описывать все вопросы, которые мне поочередно задавал то судья, то прокурор, то защитник. Скажу только, что на вопрос, что я знаю об антисоветской вредительской, шпионской деятельности Гельмана, я ответил, что ничего не знаю, а на вопрос о том, что жилфонд города Киева разрушается, я ответил так же, как

и на следствии и очной ставке, что действительно разрушается, но дело вовсе не в Гельмане, а в недостатке фондируемых материалов. Что касается стахановского движения, я сказал, что Гельман даже по-русски не может точно высказать свои мысли, и я допускаю, что его просто плохо поняли, а вообще, я сказал, что Гельману, я считаю, надели «шапку не по его голове». После этих слов прокурор обратился к Гельману с вопросом:

– Почему же, Гельман, вы все-таки подписали все предъявленные вам обвинения?

– Эх..., — ответил Гельман, — Были бы вы там, вы бы тоже подписали...

– Так что, вас заставляли..., били?

– Всякое было...

Олина вызывали до меня, а вот Зумбарева вызвали после меня, и я слышал его показания. Он, хоть путано, половинчато говорил и за, и против Гельмана, но на прямой вопрос судьи, считает ли он Гельмана виновным, он ответил: нет, не считаю.

– Почему же вы, будучи секретарем парторганизации, допустили, что его исключили из партии?

Зумбарев ответил, что он молодой член партии, а секретарем работал всего несколько месяцев и, что когда Гельмана исключали, он, Зумбарев, был под влиянием таких опытных, больших работников, как бывший инструктор Обкома партии Ильяшевич и бывший работник НКВД Броневой.

Остальные свидетели ничего существенного также не показали.

После окончания допроса суд, то есть судья, прокурор и защитник, удалились на совещание, а через час объявили приговор:

– Обвинение не подтвердилось. Гельмана оправдать и освободить от стражи.

Мы стояли, стоял и Гельман, слушая приговор. Никто не шелохнулся. Тогда судья, обращаясь к Гельману, сказал:

– Гельман! Вы слышали? Вы оправданы и можете быть свободны! А, обращаясь к конвоиру, добавил, — Стража! Можете идти!

И когда конвой повернулся, как положено, через левое плечо «кругом» и вышел из комнаты, Гельман не сел, а упал на стул и за-

трясая в беззвучных рыданиях. Судья, прокурор и защитник, собрав свои бумажки со стола, вышли через боковую дверь. Остались мы — свидетели и Гельман. Тогда свидетели окружили Гельмана, и со всех сторон посыпались слова:

— Гельман, на — закури, у меня хорошие папиросы!

— Гельман! Может, ты голоден, возьми, тут у меня хороший завтрак!

— Гельман! Твоя жена и родственники стоят на улице, ждут приговора, я сейчас сбегаю, позову их!

— Гельман! Поздравляю от всей души, что кончились твои муки!

А Гельман продолжал плакать.

Так закончилась трагедия Гельмана. Она и у меня на многое открыла глаза о том тяжелом времени, которое впоследствии получило нарицательное название «культ личности», «ежовщина». Позже, кажется, в 1945 или в 1946 году, я один раз как-то встретил на улице Гельмана. Мы поздоровались как друзья, но вспоминать это тяжелое время не хотелось ни мне, ни ему.

Несколько позже, после заседания Верховного суда, я рассказал все Ане. Она, как всегда, начала давать мне запоздалые советы: ты мог бы, тебе надо было бы и т. д. Сама Аня, будучи безусловно честной, преданной коммунисткой, не обладала способностью самостоятельно критически размышлять о событиях. Она всегда считала, что никто из высокопоставленных работников, которым партия доверила тот или иной пост, не могут быть людьми нечестными и непреданными, и если органы госбезопасности арестовывали как врага народа, значит, это действительно враги народа. Да и мы все, простые люди, разобраться в таких делах не пытались даже, и не могли. Мы все, как стадо баранов, поднимали руки за звонкие «Смерть врагам народа!», «Да здравствует наш вождь и учитель, отец всех трудящихся Иосиф Виссарионович Сталин!», «Да здравствуют его верные соратники Ежов, Берия» и прочие. А время показало, что и Сталин ошибался, и Ежов был первейшим прохвостом, и Берия оказался действительно врагом народа. А честные преданные, действительные коммунисты сложили свои головы ни за что. Так погибли лучшие полководцы Блюхер, Тухачевский, Якир и многие, многие

другие. Так погибли лучшие кадры партийных работников и руководителей — Постышев, Косиор и тысячи других. В период Отечественной войны кое-кто, кого не успели расстрелять, были освобождены от ссылки и направлены в действующую армию «искупать грехи». Но это были единицы. Имена их мы не знаем и сейчас, но под вымышленными именами мы встречали их в произведениях художественной литературы, например в «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» Симонова и других. После 1956 года, когда на XX съезде КПСС был развенчан культ личности, был убран изменник Берия, — дела всех репрессированных пересматривались, и тысячи, тысячи людей были реабилитированы живыми или посмертно, и семьи их возвращены с мест высылки в те города, где они проживали в те тяжелые годы ежовщины и бериевщины. Я уверен, что пройдут годы, и появятся новые книги, основанные на исторических фактах, и люди воспримут с еще большей гордостью все величие подвига и победы, которой добился в Великой Отечественной войне наш свободолюбивый народ, несмотря на травмы, нанесенные культом личности и ежовщиной. А действительные имена этих жертв станут достоянием общественности. Мы должны знать нашу историю не только по военным и экономическим, научным и культурным достижениям, но и по нашим тяжелым, черным дням.

Расскажу еще об одной жертве культа личности, с которой мне довелось встретиться в жизни до войны и после войны. Речь идет о жене бывшего прокурора Киевского Особого военного округа — Наде Коляде. Ее муж — военный прокурор — был репрессирован вместе с командующим округом [И. Э.] Якиром, и о нем после ареста она так ничего и не знала. По всей вероятности, он был расстрелян. Но вот через полгода после его ареста Надя Коляда тоже была арестована. До своего ареста она жила с тремя детьми и с матерью в хорошей трехкомнатной квартире. Старший ее сын, мальчик лет четырнадцати, учился в военной школе. Этот мальчик был от первого мужа, погибшего в гражданскую войну, и она получала на него персональную пенсию. Другие двое детей были от второго мужа — репрессированного военного прокурора. Когда арестовали Надю, квартиру занял следователь, который вел ее дело. Детей и старуху

мать выселили в какую-то трущобу на Подол, в темную, сырую проходную — не то переднюю, не то комнату с дверьми в уборную, кухню и коридор, ведущий в другие жилые комнаты. Надя просидела в тюрьме 13 месяцев. Все шло «следствие». В середине 1938 года ее освободили. Больше того, ее восстановили в партии, и Горпартком ее направил на работу к нам, в Горжилуправление, а в ГЖУ ее назначили инструктором эксплуатационного отдела и дали мне в подчинение. Начальник ГЖУ предупредил меня:

— Будьте к ней чутким, постепенно обучайте и помогайте ей, не перегружайте, она несчастная женщина, много пережила.

Надя Коляда — невысокого роста, еще очень молодая, светловолосая, с голубыми глазами, очень приветливая, первое время держалась замкнуто, ничего о себе не говорила, всегда грустная, часто сидела, глядя неподвижно в одну точку, не слыша, что ей говорят. Я не знал ни о том, кто она, ни о том, как она живет сейчас. Иногда, придя раньше на работу, я замечал, как она в умывальнике перед уборной умывалась, вытираясь какой-то тряпочкой, а потом из своей сумочки доставала кусочек хлеба и, стараясь чтобы никто не увидел, жадно его поедала. Я, да и все остальные сотрудники отдела ее очень жалели, окружили ее вниманием и, чтобы не оскорбить ее самолюбия, как бы невзначай угощали то яблочком, то сдобной булочкой. Она как-то расположила всех к себе. Ее стали просто называть — Надя, почти все обращались к ней на «ты». Постепенно она оттаяла, и в конце концов поделилась со мной своим горем. Она — голая, дети — голые, босые, живут в нечеловеческих условиях, следовательно, занявший ее квартиру, не дал им даже носильных вещей, дети спят покатом все на полу. Она, якобы, «оправданная», даже на зиму не имеет хоть какого-нибудь пальтишка, детей не может выпустить на воздух и накормить. Куда она ни обращалась, никто помочь не хочет или не может. Все ответы сводились к тому, что «делами репрессированных» мы не занимаемся, — обращайтесь в НКВД, а органы НКВД писали отписки: «Мы жилплощадью не распоряжаемся — обращайтесь в Горсовет. Мы одеждой не снабжаем, а если кто у вас забрал, — обращайтесь в суд. Материальной помощи мы не оказываем, — обращайтесь в Собес или Горсовет» и т. д.

Она писала в местные городские учреждения, Горсовет, прокуратуру, штаб округа, Горпартком, — ответы одни и те же: «Мы делами репрессированных не занимаемся, обращайтесь в органы НКВД». Она писала в НКВД СССР, в Верховный Совет, в Совнарком, персонально Молотову, Ворошилову, Берия, Сталину и еще кому-то. Ее жалобы при трафаретной препроводилровке пересылались обратно в Киев — то в Горсовет, то в Горпрокуратуру, то в Украинское, а потом в ОблНКВД, а от них опять те же ничего не говорящие ответы: «не занимаемся», и опять нелепые советы: «Обратитесь туда-то». Круг замыкался. Было от чего прийти в отчаяние.

И вот как-то Надя попросила меня задержаться после работы. Когда мы остались вдвоем, она дает мне письмо, написанное ею на имя Сталина. На конверте крупными буквами и подчеркнуто «лично». Она объяснила, что, наверно, ее прежние письма лично к адресатам не попадали, а в разных секретариатах попадали аппарату, поэтому, мол, не было ожидаемого реагирования.

— Прочтите, — сказала она.

Я начал читать, и у меня волосы стали дыбом. Обращение к Сталину было не то, как мы привыкли видеть. Никакой не «дорогой», не «любимый», никакой не «вождь», ни «отец» или «учитель». Письмо начиналось так: «Т. Сталин! Вождь Вы народа или тряпка половая? Вы руководите государством, или шайка негодяев руководит и Вами, и государством?» Дальше шло описание всех ее мытарств и мучений.

— Надя! Что ты делаешь!? Не смей посылать это письмо! Неужели ты не понимаешь, что через три-четыре дня после того, как пошлешь, тебя днем или ночью заберут, и тогда тебе уже ничто не поможет, ты уже не увидишь своих детей, и они тебя тоже не увидят. Слышишь, Надя, не посылай. Потерпи еще немного. Все выправится... Тебе дадут хорошую комнату, тебе помогут...

Надя Коляда слушала меня молча, глядя в одну точку. Потом вложила письмо в конверт, заклеила и быстрым движением сунула его за пазуху через воротничок на шее.

— Надя, слышишь? Не посылай...

Она упавшим голосом ответила:

— Мне уже все равно. Я так и так жить не буду... Идем!

Мы вышли на улицу. Возле входа висел почтовый ящик. Я не успел сообразить, она быстро вынула письмо и бросила в почтовый ящик. Итак, это страшное письмо женщины, столько пережившей, пришедшей в крайнее отчаяние, пошло по назначению. Я не находил слов и смотрел на Надю, как смотрят обыкновенно на умирающего человека, которому уже ничем помочь нельзя...

Прошло недели две. Я ежедневно со страхом смотрел, придет ли Надя сегодня на работу или нет, и каждый раз с облегчением видел, что Надя на работу пришла. Значит, ночь прошла благополучно. Но вот раздался телефонный звонок...

– Говорят из ЦК КП(б)У. Попросите к телефону Коляду.

Я позвал к телефону Надю. «Да, хорошо, сейчас приду...», — слышал я ее ответы. Надю вызывали в ЦК партии... Зачем? Это, наверно, в связи с ее письмом на имя Сталина. Почему в ЦК? Что ее там ждет? А может, под видом ЦК ее там ожидает крытая машина НКГБ? По рассказам — так бывало. Вызывают какого-нибудь работника в ЦК ВКП(б) в Москву, а там с поезда снимают, сажают в машину и везут в тюрьму, и... прощай, белый свет. Но вот часа через два появляется Надя, подходит со слезами на глазах, но вся сияющая ко мне, открывает сумку и кладет на стол ордер на две комнаты по Пушкинской улице № 29 и ключи от квартиры.

– Когда я пришла в ЦК, мне дали пропуск в какую-то комнату, не знаю, кто там работает, но там был и Геркин (зав. спецчастью Горсовета). Проверив мои документы, мне Геркин дал этот ордер и ключи, а работник ЦК заявил:

– Перебирайтесь, а вещи вам привезут дня через два-три. Вот и все. А вы, Фёдор Фёдорович, говорили: не посылайте. Помогите мне найти управдома и занять мою новую квартиру.

Мне самому хотелось посмотреть, что это за комнаты, на которые в такой необыкновенной обстановке вручили Наде ордер, и я пошел с Надей искать управдома, тем более, что это было на расстоянии не более квартала от Жилуправления. К счастью, управдома мы нашли сразу. Он очень удивился. Комнаты пустовали уже около двух месяцев. НКГБ производило в них большой ремонт. Когда мы вошли, там все блестело. Прекрасные линкрустовые обои,

свежие покрашенные окна и двери, побеленные потолки. Даже дверные ручки и оконные приборы стояли начищенные до блеска, отражали, как в зеркале, все предметы. Две прекрасные солнечные комнаты площадью до 40 кв. метров, правда в коммунальной квартире (но тогда отдельных квартир не было), на которые мог претендовать любой человек, достались Наде как справедливая оплата за все ее мытарства и мучения. Позже Надя говорила, что ей привезли две машины мебели — кровати, диван, стулья, столы, шкафчики, буфет, даже пианино и несколько ковров и подушек, а также несколько мешков с одеждой, постельным бельем, одеялами. Правда, из ее вещей были только некоторые, а такие как пианино, ковры и кое-что из мебели, ей раньше не принадлежали, да и одежда была наполовину ее, а наполовину с других плеч.

Не знаю, попало ли письмо Нади в собственные руки Сталина или, поскольку оно касалось органов НКГБ, ее отчаянный крик был передан Берия, а тот, недавно всплывший на самую вершину органов госбезопасности, решил для поддержания своего авторитета проявить «справедливость», — но факт остается фактом.

Потом мне пришлось несколько раз быть у Нади. Аня получила путевку в санаторий Ворзель. Детсадик, куда я водил Юру, закрылся на карантин, так как там среди детей было какое-то инфекционное заболевание. Аня в санатории, мне девать Юру некуда, и я брал его с собой на работу, обкладывал его журналами с картинками, бумагой, карандашами, и он весь день нудился в нашей рабочей комнате. Тогда Надя мне предложила приводить Юру к ним. Там у нее мать и двое детей возраста примерно Юрино. Я так и делал, пока Аня не вернулась из санатория. Сделал когда-то человеку добро, — добром она мне и отплатила.

После освобождения Киева и правобережной Украины от фашистов в 1944 году Надя вернулась из эвакуации, работала в Горжилуправлении зав. спецчастью. Я узнал, что дети на начало войны были с матерью в деревне где-то под Уманью, застряли на оккупированной территории, но остались живы: старший сын, который учился в военном училище, был уже произведен в офицеры, воевал и, будучи проездом через Киев, летом 1944 года повидался с мате-

рю. Дом, в котором они тогда получили квартиру, со всем имуществом был разрушен бомбежкой и сгорел дотла. Больше я Надю не встречал.

Период ежовщины коснулся в какой-то степени и меня. Моя сестра Ляля, жившая в Черкассах и работавшая на железной дороге, была арестована и выслана куда-то в Казахстан, в лагерь. Она жила одна с восьми-девятилетним сыном Женей. Ее выслали одну, а ребенка определили в детский дом. В чем она обвинялась, я так и не знаю по сегодняшний день. По своему складу ума и политическому кругозору она никак «врагом народа» быть не могла. Возможно, кто-то за материальную подачку выманил у нее какие-то сведения, которые не следовало бы разглашать, не знаю. Я от нее с места ссылки получил одно письмо. Писала, что она на хорошем счету в лагере, на работе в лагере числится стахановкой, и что твердо рассчитывает, что ей снизят срок отбытия наказания, просила узнать о судьбе Жени.

Аня очень испугалась этого письма, никаких справок о ребенке наводить не разрешила, а письмо с адресом Ляли уничтожила, а я даже не успел записать ее адрес. Так я Ляле ничего и не ответил. Аня очень боялась, что хоть какое-нибудь упоминание о том, что среди ее даже далеких родственников окажется «враг народа», это положит пятно на ее безупречную биографию. Вообще она, как и все в то время, ходила под гнетом безосновательного страха. Она, в порядке предосторожности, уничтожила несколько моих групповых фотоснимков коллектива Черкассского Окрпарткома. А вдруг кто-то из бывших работников окрпарткома — секретарь, инструктор или зав. отделом времен 1925–1930 годов — оказался впоследствии троцкистом или вообще «врагом народа». Был у меня один французский журнал «Иллюстрасион», богато иллюстрированный цветными и черно-белыми снимками. В основном, это были рекламные снимки ювелирных украшений, драгоценных камней, театральных костюмов к разным операм, был там и раздел автомашин всевозможных марок, которые любил рассматривать Юрочка с его неизменным вопросом: «А это какая машина?» Мне этот журнал принесла в Окрпартком в 1927 году работавшая там машинисткой

некто Таня Саблина, жена командира дивизии, стоявшей тогда в Черкассах. Французский журнал — прямое доказательство связи с границей. И хотя журнал был дан мне исключительно с целью срисовать ряд художественных иллюстраций, а сама Таня до замужества работала в Москве личным секретарем у [М. И.] Калинина, это в расчет Аня не брала. А, может, муж ее, комдив [Ю. В.] Саблин, как и [И. Э.] Якир, оказался «врагом народа»? Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Журнал, как и групповые снимки коллектива Окрпарткома или письмо из ссылки моей сестры Ляли, пошел в огонь. Этого требовали «бдительность и осторожность». Я с Аней не спорил, хотя и не был согласен. Я всегда и во всем старался дорожить Аниным спокойствием.

1939 год

1939 год начался тяжело для нашей страны. В январе месяце вспыхнула война с Финляндией и, хотя была она сравнительно короткой, всего около трех месяцев, но показала и нашу неподготовленность, и слепую уверенность — «шапками закидаем». Нам надо было отодвинуть границу от Ленинграда, переговоры ни к чему не привели, и мы силою решили это проделать. Но финны свои границы укрепили, не без помощи фашистской Германии, и нам пришлось много пролить крови, чтобы осуществить свою цель.

Не легче было и летом — освободительная война с Румынией. Гитлер в своих захватнических целях решил придвинуть свои границы вплотную к Советскому Союзу, а для этого захватить Польшу. Мы этого допустить не могли, и через Литву, входившую тогда в состав Польши, двинули свою армию навстречу Гитлеру. Где-то посредине Польши войска встретились, но война с гитлеровской Германией тогда еще не началась. Удалось договориться о временной границе, так называемой «демаркационной линии». Территория Западной Украины оказалась на нашей стороне, как вся Литва и часть Польши. Попутно мы ввели свои войска в Латвию и Эстонию. Правительства этих стран бежали за границу, и были созданы временные, более демократические правительства.

Впоследствии, в 1940 году, под давлением народных масс там была установлена советская власть и, как и Литва, эти государства приняли решение войти в состав Союза Советских Социалистических Республик.

Все это дало некоторую передышку Советскому Союзу. С Германией был заключен договор о ненападении, и это дало нам возможность приступить к укреплению новых границ, отстоящих на несколько сотен километров от старых. Гитлер между тем занимался «освоением» других европейских стран — вел войну с Англией, захватил Данию, Бельгию, Голландию, часть Франции, Норвегию, захватил, кроме Австрии и Чехословакии, почти весь Балканский полуостров. Начал войну в Северной Африке. Но мы все, не только Советское правительство, но и весь народ, понимали, что главная цель Гитлера — это уничтожить коммунизм, то есть Советский Союз. И Советский Союз срочно выполнял пункты договора с Германией, расплачивался за передышку эшелонами пшеницы, сахара, тушами мяса и, находясь в тяжелых продовольственных условиях, строил укрепления на границах, модернизировал вооружение. Но времени было мало...

Я продолжал работать в Горжилуправлении. Нам назначили нового начальника, некоего Левенштейна, бывшего зав. Облкомхозом, и нового зав. эксплуатационным отделом — Титова. Титов пришел из армии, — был комиссаром одной из пограничных частей и, вероятно, в период «чистки» в воинских частях уволен в запас. Так как он со времен гражданской войны был только военным человеком, то в наших жилищных делах на гражданке, конечно, ничего не смыслил.

Я же после временного исполнения обязанностей зав. эксплуатационным отделом вернулся к исполнению своих прямых обязанностей старшего инспектора, но по сути Титов ни одного вопроса без меня не решал. Я — и на заседаниях в Горплане, я — на совещаниях Президиума Горсовета, я и в милиции, я и в сан-эпиде, в «Київпаливі», в Водоканале, в тресте саночистки, и на заседаниях жилищной и коммунальной секций. Я — и организатор городских снеготаялок, я — и распределитель автомашин среди домоуправлений, я — и

докладчик на различных совещаниях райжилуправлений по вопросам эксплуатации жилфонда, я — и решающее лицо в вопросе рассмотрения жалоб населения или в вопросе утверждения бюджета домоуправлений.

Работы было много, даже очень много. Кроме всего, я продолжал по вечерам читать лекции управдомам по жилищному законодательству, конечно, за плату, хоть и небольшую, но имел от лекций приработок порядка 60–80 рублей в месяц, что при моей ставке 500 рублей (а с вычетами чистых около 400) было существенным подспорьем в нашем бюджете. Наркомат Коммунального хозяйства приглашал меня читать лекции по жилищному законодательству для начальников райкомхозов Украины, собираемых на месячные семинары по повышению квалификации. Но, несмотря на заманчивую оплату (по 7,50 [рублей] за академчас) я из-за перегрузки отказался (письмо с приглашением у меня сохранилось).

Особенно меня заедали жалобы населения. Каждая жалоба требовала выхода на место и знакомства с обстоятельствами непосредственно. Тогда лишь я мог принять правильное решение. Были жалобы пустяковые, где я ограничивался только дачей распоряжения управдому, но были и серьезные. Например, по жалобе жильцов Горжилуправление отобрало у некоторых ведомств жилые многоэтажные дома, а вопрос изъятия домов решался в Совнаркоме. Таким образом, был отобран за бесхозяйственность дом на Пироговской улице от Госплана УССР, дом в тылу Владимирского собора от УИТЛК (Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД УССР) и другие.

Жалобы населения меня буквально мучили, тем более что в 1939 году я лишился двух моих самых лучших крепких работников — инспекторов Кесельмана и Кожанова. Первый был призван в Красную Армию и назначен офицером в пограничные части, а второй был призван в период финской войны и застрел в армии, участвуя в войне с Румынией, а потом в освобождении Литвы и прибалтийских стран. Оставался инструктор Харченко, но он по горло был занят нежилым фондом (торгово-складской фонд), а также частновладельческим фондом, и два инструктора — Коляда и еще одна женщина.

К числу пустяковых жалоб хочу отнести жалобу председателя Горсовета Шевцова, который жаловался, что у него в квартире температура зимой не поднималась выше 12–13 градусов. Он занимал трехкомнатную квартиру в новом доме. Он позвонил мне, попросил никому не говорить, а самому проверить, в чем дело, да и, проверяя, не делать ударения на его квартиру, а, якобы, по дому в целом проверить подряд несколько квартир, этажом выше и ниже, а также напротив через площадку. Все-таки неудобно, председатель Горсовета, и вдруг — жалобщик. Оказалось, что во всех квартирах, да и в двух комнатах квартиры Шевцова, как и во всем доме, температура была 19 градусов, а в одной, несмотря на то, что радиаторы были горячие, температура была действительно 13 градусов. Я пытался найти разгадку, и вдруг обнаружил, что балконная дверь на палец не примыкала к порогу, да и в окнах были большие щели, переплеты не заклеены и не заткнуты ватой. Мне, пришедшему с мороза, сразу это не бросилось в глаза. Дома была жена Шевцова. Я спросил ее:

— А там, где вы раньше жили, вы окна заклеивали? Щелей на балкон у вас таких не было?

— Мы раньше жили в доме без балкона, а окна на зиму, конечно, заклеивали.

— Так вот, — заклейте и здесь, а щель между порогом и балконной дверью заткните тряпкой. Раз строители подкачали и допустили такой брак, то до весны потерпите, и заделайте все щели, а я дам указание управдому весной вам сделать новую дверь, а пока потерпите.

Шевцов потом смеялся над своей жалобой, а к весне он получил другую квартиру в лучшем доме.

Был в числе жалобщиков у меня и зам. председателя Горсовета т. Сухоребрый. Он считал, что его домоуправление обсчитывает, беря плату за центральное отопление круглый год, хотя летом и не топились. Я проверил и доказал, что все правильно.

Но вот попалась ко мне жалоба еще одного «важного» человека, вызвавшая мое глубокое возмущение. Я уже говорил, что еще в 1921–1922 годах работал в Черкассах в ЧЕПО (Рабкооп) сторожем, уборщиком, конюхом. Со мной работали два брата по фамилии

Жила. Митя — старший и Миша Жила-младший. Старший, то есть Митя, после ЧЕПО пошел в гору семимильными шагами — был рабочим сахзавода, потом пред. завкома, потом директором завода, потом наркомом пищевой промышленности, и к 1939 году сделался заместителем председателя Совнаркома Украины. Где был его брат Миша и что он делал, не знаю, но, видимо, Митя его тянул за собой и пристраивал на теплые местечки. Вот однажды звонит мне Шевцов:

— Тов. Худяков, пройдите на Ленина, 10, квартира такая-то, там живет брат зампредсовнаркома Жила Михаил. У него в квартире какое-то безобразие. Разберитесь и помогите ему. Учтите, что это брат зампредсовнаркома...

Прихожу. На звонок дверь открывает «сам» Мишка. В ярком пестром махровом халате до пяток. На ногах какие-то пестрые с загнутыми носками тапочки, вроде персидских, как в сказках Шехерезады.

— Здравствуйте, я по поручению председателя Горсовета, от Горжилуправления. У вас тут творится какое-то безобразие. Пришлел проверить и устранить.

Он молча смотрел мне в лицо. Вижу по глазам, что меня узнал, но не признается. Приглашает в комнату. Квартира, как я определил, тоже трехкомнатная. Подходит к наружной стене. Там у радиатора, где краник двойной регулировки, в стене выдолблена ямка величиной с двухкопеечную монету, а на полу, так, с четверть чайной ложки, сухой штукатурки.

— Видите, уже больше недели как у меня исправляли краник перед радиатором, расковыряли стенку, насорили, и никто не приходит убрать. Безобразие... — говорит он, а сам глаза отводит в сторону, боится прямо глянуть в лицо.

— Ну что ж, действительно безобразие..., придется составить акт, доложить Шевцову и, если не снять с работы управдома, то устроить ему хороший нагоняй и заставить убрать эту щепотку мусора, а ямку на стене замазать алебастром, — ответил я ему, и с этими словами сел за стол, расстегнул портфель, вытащил бумагу, попросил чернила (ручка у меня была, но не самописка, таких тогда не

было). Мишка поставил чернильницу. Я на листе бумаги сверху крупными буквами написал “ПРОТОКОЛ”, глянул ему в лицо и спросил:

– Мишка! У тебя жена есть?

Он как-то съежился и ответил:

– Есть. Федька, это ты? Я сразу узнал тебя..., но боялся, что ошибся.

– Так вот, скажи жене, чтобы принесла веник и подобрала этот мусор, а затем опустись к управдому, попроси ложку алебаstra и замажь ямку на стене. Ты уже такой большой барин, забыл, как мы чистили конюшню? Неужели ты думаешь, что у председателя Горсовета нет больше дел? Если не хочешь тревожить жену, — проделай все сам. Если не хочешь и сам, — живи так, пока в «Крокодил» не напишу о твоей жалобе. Думаю, что ни тебе, ни твоему брату это не понравится...

– Что ты, Федя. Зачем так сразу, и «Крокодил»? Это все жена меня подговаривала... Она у меня принципиальный человек. Давай лучше посидим и вспомним наше прошлое. Ну, а как ты? Женат?

С этими словами он встал, подошел к буфету, достал два бокала и стал доставать бутылку с вином.

Я встал тоже:

– Нет, Миша. Я на работе. Спасибо. Вот пригласишь меня как-нибудь вечером или зайдешь ко мне, мы и посидим, а сейчас не могу. Жалобу твою можно считать исчерпанной, и безобразия ликвидированными. Так? Так я и доложу Шевцову, а пока — будь здоров!

Вот что значит «положение портит человека». Мне тогда пришла в голову поговорка: «Не так паны, как пидпанки». Впрочем, высокое положение испортило и Митьку: зам. председателя Совнаркома Украины. В этом я убедился несколько лет спустя, когда город был освобожден от фашистов, да и не только его, а и многих других, о чем я расскажу, когда буду описывать свою жизнь в период войны.

Да, много грязи у нас было.

Война

не сходило ни с ^{жестокости} светом, ни с
рабников, ни в наших разврат
дружески славим — пророческо
проводя поощрять "железные"
и средства к укреплению
там похоронены все. Это похоронены
уничтожены приволами. Со скоростью
сараи, военными жандармами
второго Енисейского воеводы
новые туши сжигались все более
интересно. Вскоре с французами
и привели свои границы в пла
тунгов японцы захватили Корею,
и в Берлин, Рим, Мекку
и в Мекку и Соединенные
соединенные Штаты, не по от
ношению к Персии, не по от
ношению к Персии, не по от

ВОЙНА

Слово «война» не сходило ни с газетных столбцов, ни из речей вождей и руководящих работников, ни из наших разговоров. Это слово сопровождалось другими словами: «обороноспособность», «бдительность», «повышение производительности труда», «экономия и еще раз экономия во всем», «все силы и средства на укрепление обороноспособности нашей страны». Это было понятно всем.

Это подкреплялось чуть ли не ежемесячными воздушными тревогами со светомаскировкой, с пронзительным завыванием сирен, военными занятиями и походами в противогазах. Это, повторяю, было понятно всем, поскольку в международной обстановке тучи сгущались все более и более.

С одной стороны, фашистская Германия в союзе с фашистской Италией захватила почти всю Европу и придвинула свои границы к Советскому Союзу. С другой стороны, Япония захватила Корею, Манчжурию, вошла в так называемую ось «Берлин — Рим — Токио», и не скрывала своих намерений вторгнуться в Монголию и Советский Союз на Дальнем Востоке. Англия, хотя и «воевала» с Германией, но по отношению к Советскому Союзу вела двойственную политику, не скрывая, впрочем, своего враждебного отношения. Хотя мы все понимали неизбежность войны, гадали только, с кем начнем воевать: с Германией, Англией или Японией, но война разразилась для нас, простых непосвященных людей, все-таки неожиданно. Как показали последующие события не только для нас,

простых смертных, но даже для такого «великого стратега» как Сталин война обрушилась, как снег на голову.

Утро 22 июня, воскресенье. Мы с Аней в 4 часа утра заняли в продовольственном магазине очередь за сахаром (в руки давали по полкило). Магазин должен был открыться в 7 часов утра. Заняв очередь, мы поочередно бегали домой проведать, не встал ли Юрочка. По плану после покупки сахара я должен был еще сходить на базар, купить молоко и какую-то зелень. Не помню, удалось ли нам купить сахар, так как около 7 часов, перед самым открытием магазина раздался вой сирены, и по правилам люди из очереди стали разбегаться по домам, ругаясь, что не вовремя началась «учебная тревога». Аня, зная, что Юра может испугаться, побежала домой, а я побежал на базар. Выйдя на базарную площадь, я удивился — милиция разгоняла базар, не стесняясь в методах, прикладами винтовок била бутли с молоком, глечики со сметаной и ряженкой, ногами разбрасывая разложенные на земле овощи. На линии трамвая остановилось несколько поездов. Пассажиры ехали в основном на вокзал к пригородным поездом, думая выходной день провести в дачных местах — в Буче, Ворзеле, Боярке и других. Сидели и тоже возмущались, что опаздывают к поездом. А сирены были не переставая.

Вдруг раздались выстрелы зениток, и я увидел в чистом голубом небе облачка разрывов снарядов. Молоко я все-таки купил. В какой-то подворотне одна крестьянка налила мне литр молока, но выйти на улицу и пройти пару кварталов я не мог. Дворники, эти верные помощники милиции, на улицу не выпускали. А сирены были и были. Одна из селянок, загнанная в подъезд, обращаясь то к одному, то к другому человеку, спрашивает: «Що це таке, ой лихо моє?» Я сам ничего не зная, ответил ей:

— Не волнуйтесь, учебная тревога, сейчас скоро кончится.

Тогда другая селянка отозвалась:

— Та ніяка це не учебна, це — війна. Ось ми їхали поїздом через Пост-Волинський, так там з самольотів бомби кидали. Я сама бачила, як вони вибухали, а потім на ношах поранених чи вбитих носили.

Что я мог ответить? Нерешительно я все-таки сказал:

– Це, бабусю, нарочно так підстроїли, щоб учбова тривога була схожа на справжню..., а на ночі клали зовсім здорових людей, начебо вони поранені.

Наконец, перестала выть сирена, а через пять минут провыла «отбой», и дворник, заперший нас в подворотне, соблаговолил открыть железные ворота. Люди стали расходиться, и я побежал домой.

Пару часов мы были в неведении, а часов в 10 утра Аню вызвали в Наркомздрав (она работала в отделе учета кадров). Пришла Аня часа через два-три.

За это время выступил Молотов по радио, и все стало ясно. Война началась. Не ясно было для меня одно. Почему столько говорили об укреплении обороноспособности, а когда немцы, преодолев чуть ли не тысячекилометровое расстояние до Киева, сумели бомбить город и безнаказанно улететь обратно, у нас не сработали ни пункты наблюдения, ни наша авиация, ни даже противовоздушная артиллерия. И лишь потом в пустое небо дали несколько выстрелов, мол, «знай наших».

Да не только Киев, — немцы бомбили Минск, другие города, аэродромы, железнодорожные узлы. Мы удивлялись и не знали, что впереди предстоит еще многому удивляться и платить за свою неподготовленность многими сотнями тысяч, миллионами человеческих жизней, не говоря уже о разрушенных, сожженных городах.

Я не стал ожидать вызова на работу, а как только пришла Аня, пошел сам — это было часа 3 дня, а вернулся я домой только в понедельник после обеда. Конец дня в воскресенье, ночь на понедельник и в понедельник с утра я, в числе других сотрудников, был занят получением на военных складах оборудования для бомбо- и газоубежищ — белья, одеял, медикаментов.

Во многих крупных домах бомбоубежища были построены заблаговременно, во многих были еще в процессе стройки. Инженерно-технический персонал получал вентиляторы, и с помощью управдомов и рабочих, каких удалось найти, устанавливали их. Езда ночью на машине в абсолютно темном городе, по пустынным

улицам, где ни одного пешехода, ни одного проблеска света не было, производила жуткое гнетущее впечатление.

Утром 23 июня была дана команда через Райжилуправления: всем домоуправлениям побелить мелом все бортовые камни у тротуаров и стволы деревьев на бровках для того, чтобы ночью в темноте хоть кое-как можно было отличить шоферам проезжую часть дороги.

Я был приписан к одному из вещевых складов на Печерске. В приписном листке к военному билету было сказано: явиться на второй день войны. И пользуясь машиной, которая мне была дана для развозки имущества по бомбоубежищам, я заскочил утром в понедельник в свой склад.

В сумятице, толкотне военных и гражданских лиц мне какое-то начальствующее лицо в канцелярии заявило:

– Идите домой, и явитесь по повестке военкомата.

По повестке — так по повестке. Но на всякий случай, чтобы не попасть в число дезертиров, я зашел в военкомат. Там была еще большая толкотня и сумятица, и я едва добился ответа: «ждите повестку». И я вернулся в Жилуправление, а после обеда — домой.

Дома меня ждали новости. Но сначала о соседях по коммунальной квартире. Дмитрук — какой-то торговый агент московского Главгастронома. Не знаю, где было его рабочее место, он уходил в неопределенное время, приходил днем, вел обширную переписку, в основном телеграммами вроде: «Фабрика Карла Маркса сорвала поставку кондизделий марте примите меры», «Житомирский завод недодал апреле по договору вагон водки» и т. д. Его жена — Августа Григорьевна — дочь переяславского священника, довольно миловидная и покладистая женщина. Это она перед рождением Юрочки сказала Ане, что «да, это оно, надо идти в больницу». И их дочь Зина, лет тринадцати-четырнадцати.

Николай Иванович Волков — таинственное лицо. Нигде не работал. По его выправке чувствовался старый кадровый военный — офицер царского времени. Замкнутый, неразговорчивый, утром: «здравствуйте», и все. Его жена — Ольга Оскаровна — немка, работала плановиком в Управлении Юго-Западной железной дороги.

Оба пожилые, холеные. Она ежегодно в августе–сентябре ездила в Крым или на Кавказ к Черному морю. Готовила обед в резиновых перчатках. В ванной комнате две полки были уставлены разными баночками, флакончиками, тюбиками с кремами и помадой. По вечерам ежедневно играла на рояле. Дверь из передней в их комнату была с двух сторон обита железом, и вставлен секретный замок. Имея ключи и не зная «секрета», открыть ее было невозможно.

Ольга Оскаровна была до смешного щепетильна в деньгах. Для примера, если с меня при раскладке платы за свет причиталось за данный месяц 1 р. 49 к., и ее очередь платить, — я давал 1 р. 50 к., так на другой день возле примуса в кухне я находил копейку сдачи, но если с нее причиталось 1 р. 49 к., а она давала 1 р. 50 к., и у меня не находилось копейки, она на второй день напоминала: «А с вас следует мне 1 копейка». В 1941 году перед 1 Мая мы решили побелить кухню. Наняли женщину, договорились о плате, купили кое-что — синьку, зеленый камень (мел дал управдом). Когда дошла очередь расчета, Волков отказался платить, заявив, что он безработный, денег у него нет, и вообще кухню как место общего пользования должен белить управдом. С Волковых причиталось что-то 5 рублей. Я не стал с ним спорить, сказал только:

— Ничего, Николай Иванович. Я заплачу за вас, коли вы такой бедняк.

Через два дня я нашел деньги за побелку, копейка в копейку, у себя на столе возле примуса. И все это молча. Скупость и немецкая пунктуальность, а слова «коли вы такой бедняк» задела, видно, самолюбие.

Третья соседка, некто Кляпштейн, — немка из немецких колонистов, жившая в Ирпене, жена скорпостижно умершего младшего брата Волкова и через год вышедшая замуж за работника киевского водочного завода. Молодая, нахальная баба. Как только появилась в квартире, не довольствуясь отведенным по общему согласованию местом в кухне, стала двигать столы, захватывая «чужую» территорию, не считаясь ни с чем, а особенно с нами.

Вот наше окружение и люди, с которыми мы жили накануне войны.

Когда я вернулся в понедельник домой, Аня мне рассказывает, что ночью у Волкова был обыск, и его арестовали. Звали Аню быть понятой, но она, боясь оставить одного Юрочку, отказалась. Пошел Дмитрук, а утром он рассказал, что у Волкова нашли много золота и серебра царской чеканки, например, в люстре под потолком по ободу для абажура сшитую колбаску из полотна, начиненную 30 золотыми десятками, где-то вмурованные в стену коробочки с золотыми браслетами, цепочками, медальонами, брошками, штук десять или двенадцать обручальных колец, что-то около сотни серебряных царской чеканки рублей. Кроме того, нашли две сберегательные книжки — киевскую и фастовскую — на общую сумму 13 тысяч рублей. Вот тебе и «бедняк», и «безработный» — за побелку кухни уплатить не хотел.

Дверь в комнату Волковых была заперта, и Ольга Оскаровна не выходила еще дня два. Во всяком случае, днем ее никто не видел. Кляпштейниха тоже отсутствовала.

В среду утром на город был налет немецких самолетов, они бомбили завод «Большевик», 43-й авиазавод и еще ряд объектов. Самолеты летели очень низко — метров триста; их было много — штук пятнадцать. Отчетливо были видны зловещие кресты на корпусе. Летели они над бульваром Шевченко и дальше — к «Большевику» и 43-му заводу. По ним стреляли зенитки, но попаданий не было. С балкона комнаты Дмитруков их было хорошо видно. Прекрасно были видны и облачка разрывов снарядов наших зениток, но все разрывы как-то в стороне, выше и ниже, сзади и сбоку, и ни одного попадания.

Брала досада, закипала злость, а самолеты немцев, как бы смеясь, медленно — тройка за тройкой — пронеслись мимо невредимыми, и гром разрывов бомб все нарастал. Разрывы бомб были настолько громкие, что, казалось, они разрываются в соседнем дворе, а расстояние было не меньше двух километров.

Тут выглянула, наконец, и Ольга Оскаровна. Попросила стакан кипятку. Не помню, кто ей налил кипяток, — я или Августа Григорьевна, — но ей кипяток дали, и она опять спряталась в свою комнату.

Время было очень тяжелое, напряженное и тревожное. Город стал забиваться машинами с беженцами. Никто ничего толком рассказать не мог. Газетные сообщения были глухими, ничего не говорящими. О захваченных немцами городах ничего не говорилось, назывались только «направления» — сначала Перемышльское, потом Львовское, Ровенское, Кишиневское, Минское, наконец, — Новоград-Волыньское, указывалось, что наши войска ведут ожесточенные бои, нанося большие потери превосходящим силам противника. Еще несколько дней работал детский садик, и Юру Аня отводила туда, но уже через четыре-пять дней садик закрылся, и Юрочку Аня стала брать с собой на работу.

В городе росла паника. Появились машины с ранеными и вообще различные военные машины, вплоть до танков. Что же это такое? Что будет дальше? Когда же мы услышим заветные слова: «наши войска отбросили немцев от нашей границы и перешли в наступление на территорию Германии»? Так это нам внушали все предвоенные годы, что если вспыхнет война, — воевать мы будем на территории противника. Только много лет спустя мы узнали, что даже когда война началась, сам Сталин не верил, а думал, что это провокация местного значения, а, поверив, — на неделю выпал из строя и сидел, запершись в своей квартире.

А газеты, радио твердили о повышении бдительности, о немецких шпионах, диверсантах, сброшенных с самолетов, призывали население к спокойствию. Во дворах домов стали рыть щели, а за городом — противотанковые рвы. На улицах появились противотанковые рогатки. Все это вносило еще большую тревогу и панику.

С продуктами сделалось еще больше перебоев. Были дни, когда невозможно было достать даже хлеба, не говоря о мясе, сахаре, масле. Поползли разные слухи вроде того, что там-то, говорят, поймали немецкого шпиона, он во время очередного налета на Киев карманным фонариком с крыши нашего дома подавал сигналы. Люди сделались сразу серьезными, ходили все мрачные, насупившиеся, с подозрением глядели друг на друга. Особое рвение, по-детски искренняя и в то же время наивная стала проявляться «бдительность»

у детей школьного возраста. Я был свидетелем, как в Центральном гастрономе на Крещатике один гражданин спросил у продавца: «Почем эта колбаса?», попросил взвесить себе полкилограмма и пошел платить в кассу. Там он вытащил сторублевую бумажку, уплатил, взял сдачу и направился к прилавку за колбасой. В это время его окружило человек восемь школьников, уцепились за рукава, полы пиджака и стали что-то говорить. Подошел милиционер: «В чем дело?»

– Да вот шпион, мы его поймали.

Милиционер потребовал документы, и пока гражданин доставал документы, милиционер спрашивает ребят: «Почему вы решили, что это шпион?»

– А как же, все знают, сколько стоит колбаса, а он спросил «почем колбаса», а потом, если он берет только полкило, почему дает сто рублей. Ему, видно, надо поменять деньги.

Логика в детских суждениях была, но, проверив документы, милиционер отпустил гражданина и успокоил детей, что это никакой не шпион.

Или вот уже случай со мной. Я говорил, что всем управдомам было дано распоряжение побелить мелом бордюрные камни у тротуаров. Нам сообщили, что на многих улицах у многих домов это распоряжение не выполнено. Я распределил улицы между своими инспекторами, и взял себе улицу Саксаганского. С блокнотом и карандашом в руках пошел вдоль улицы и, если видел непобеленную бровку, — искал на доме фонарь и записывал номер дома, чтобы, как говорят, «накрутить хвост» управдому. Вдруг меня кто-то взял за руку. Оглянулся — мальчик лет десяти-двенадцати через секунду с другой стороны меня взял кто-то сзади за пиджак, глянул — опять школьник, а еще через пару секунд я стоял уже в окружении десятка ребят, и все старались ухватить меня. К детям присоединились проходящие взрослые, получилась уже целая толпа, в центре которой стоял я. Слышу голоса ребят:

– Это мы поймали шпиона, он тут стоял, смотрел на дом и что-то записывал, мы его наблюдаем уже целый квартал, он и там стоял и тоже записывал.

И голоса взрослых:

– Мы его покараулим, чтоб не удрал, а кто-нибудь из вас, ребята, сбегайте за милицией, тут на углу всегда стоит милиционер.

Но прежде чем подошел милиционер, я увидел через головы окруживших меня людей управдома этого дома и услышал его голос:

– Здравствуйте, тов. Худяков, что здесь происходит?

И когда я рассказал, как из-за неисполнительности его и других управдомов попал в число «шпионов», толпа людей стала расходиться, в том числе и ребята, видимо, огорченные ошибкой. Подошел и милиционер, узнав, в чем дело, откозырял, похлопал мальчика по плечу и ушел.

Дни шли за днями. Я ждал повестки из военкомата, а пока что в Горжилуправлении жгли архивы. И не только в отделах, но и архивы спецчасти. И не только в Горжилуправлении, а и во всех учреждениях. По Крещатику летали тучи сгоревшей бумаги и пепла, у нас все печи были завалены золой и стояли накаленные. Многие сотрудники уволились, эвакуировались, многих уже военкоматы вызвали и направили в воинские части. Наконец, и я получил повестку: явиться 3-го июля к 8 часам утра. Продержав пару часов, меня отпустили, сказав ждать следующей повестки.

Неопределенность с делами на фронте усугублялась неопределенностью моего положения. Ждать и еще раз ждать, чего же ждать, ведь возьмут же все равно, хотя я и числюсь ограниченно годным к нестроевой службе в военное время. А что будет с Аней, Юрасиком? По ее словам, весь Наркомздрав или уволил своих сотрудников, или эвакуировался, а Аня застряла. Еле вымолила, чтобы ее поместили на какой-то пароход, идущий вниз по Днепру, даже дали карету скорой помощи отвезти на пристань, и мы ночью с 3-го на 4-е июля ездили, но ни на пристани, ни у грузовых причалов никакого парохода не нашли, и вернулись ни с чем.

Будучи еще 3-го июля в военкомате, я слышал по радио речь Сталина: «Братья и сестры... вероломный и коварный враг... война будет жестокой..., но наше дело правое, мы победим...»

Да, мы победим, — я в этом не сомневался. Победим потому что, в конце концов, возьмемся и наведем у нас порядок, перестанем

заниматься болтовней, победим, потому, что многовековая история России показала, что русский народ никогда не может быть покоренным, особенно теперь, когда ушли в прошлое все тяготы царского режима, когда все народы Советского Союза свободны и, конечно, свою свободу потерять не захотят.

А пока что в сводках фигурирует «Житомирское направление». Гроза приблизилась вплотную к Киеву. В городе стали появляться красноармейцы с перекошенными от ужаса лицами, без винтовок, а одного на Евбазе (сейчас площадь Победы) я увидел даже босиком с ботинками, связанными шнурками и перекинутыми через плечо. Их отлавливали патрули, куда-то уводили.

Гражданские люди, в основном женщины, сидели группами на тротуарах. Никто в разговоры не вступал. Мы делали свое дело: белили стволы деревьев и бортовые камни на тротуарах, жгли в печах архивы, дежурили по ночам, проверяя светомаскировку, рыли во дворах щели. Дома с Аней мы сшили мешки с лямками — Ане и Юрочке. Отобрали самое необходимое, чтобы в случае оказии ей быть готовой куда-то эвакуироваться. Бедный Юрасик, он не плакал, не смеялся, не хотел есть, только широко раскрытыми глазами заглядывал нам в лица, как бы спрашивая, что же это такое творится. Да и мы, взрослые, забыли про еду, и только по вечерам перекидывались редкими словами — что нового слышно, чем занимались днем, какие перспективы, старались друг друга подбодрить.

4-го июля вечером я получил повестку — явиться в военкомат 5-го июля к 5 часам утра. Написал на имя Ани доверенность, чтобы она получила у меня на работе расчет и записку на имя начальника, чтобы он посодействовал ее поскорее отпустить. Аня последние две или три ночи не выходила из Наркомздрава, ожидая, что ей все-таки помогут выбраться. В полнятого утра мы на улице перед зданием Наркомздрава распрощались.

Прощались молча. Прижал я Анечку к себе, поцеловал несколько раз, потом поднял Юрасика на руки:

— Крепись, Юрасик, все пройдет, держись мамы, никуда от нее не отлучайся.

Потом посмотрел на свои карманные часы. Я их с большим трудом достал года два тому назад. Часы тогда были редкостью. Подумал — зачем мне часы. Я иду на фронт. Может, завтра, в первом бою, меня убьют, а Ане и Юрасику останется память. А может, будет трудно, — пусть Аня их продаст. Сказал это, и отдал ей часы. Аня замотала в платочек, положила за пазуху и хранила всю войну. Отдала мне их по возвращении из эвакуации в декабре 1945 года. Говорить было трудно, да и что говорить. Мысли прыгали, а слов нужных — теплых, подбадривающих — не находилось. Еще раз молча обнял Анечку, Юрасика, поцеловал, и с комком слез в горле и на глазах пошел скорее в военкомат, чтобы не осталось у них на прощанье моего заплаканного вида.

В военкомате долго не задерживали. Отобрали повестку, паспорт, и уже в половине шестого утра, включив в команду из человек пятидесяти-шестидесяти таких же, мобилизованных, выстроили во дворе. Какой-то лейтенант сделал перекличку и, построив в колонну по четыре, еще через 15 минут повел нас по бульвару Шевченко, через Евбаз, и дальше — по направлению к Святошину. Перед переездом вошли в обширный двор, где были расположены корпуса военных казарм. Некоторые из них, примыкающие к 43-му заводу, были разрушены бомбежкой, но большинство зданий были целыми. Лейтенант повел нас к зданию в глубине двора, приказав:

— Заходите, располагайтесь, и никуда ни шагу.

Мы зашли внутрь. Первое, что бросилось в глаза, — установленные шеренгами двухэтажные железные кровати с дощатыми настилами, без каких-либо признаков матрацев или просто соломы, не говоря уже о постельном белье или подушках.

В течение дня приводили еще группы мобилизованных, человек по тридцать-пятьдесят, пока нас не набралось около трехсот человек. Там мы провели три дня. Эти три дня нас трижды в день выстраивали во дворе, водили в столовую, давая завтрак, обед и ужин, состоящие из одного и того же блюда: завтрак — суп из горохового концентрата, обед — суп из пшеничного концентрата, ужин — суп из горохового концентрата. Утром еще на весь день грамм 600–700 хлеба. Я скучал за чаем, но давали только кипяток без заварки и без

сахара. Кроме того, у меня не было ложки, и я ожидал, когда кто-нибудь поест и «одадживал» ложку у соседа.

Так мы просидели три дня. Времени для раздумий было много. Меня охватила тоска. Перед глазами стояли Аня и Юрочка. Аня с растерянным, испуганным лицом, Юрасик в капитаночке, молчаливый, с грустными глазами, вопросительно смотрящий на меня, не осознающий всего, что происходит. Да и все взрослые, в том числе и я, и Аня, не осознавали происходящее, и уж конечно не думали, что скоро, скоро и Киев, и вся Украина будут захвачены немцами, что эти гады будут у Волги и на Кавказе, и под самой Москвой.

Никто не знал последних новостей, радио не было, газет — тоже. Что делалось на фронте, погнали ли наши, наконец, фашистов, сменилось ли обратно «Житомирское» направление, если не на «Львовское» то хотя бы на «Новоград-Волыньское», — никто не знал. Бомбежек пока не было. Все было неопределенно. Друг с другом мы тоже об обстановке на фронте не говорили. Да и что мы могли сказать один другому. Все были в одинаковом положении. Моя доля предрешена волей событий. Я в Армии. Куда, на какой фронт меня забросит судьба — дело уже не мое, а моих командиров, а вот Аня с Юрочкой, как они? Образ Ани и Юры у меня все время стоял перед глазами.

Наконец, 8-го числа нас повели в баню — возле Лукьяновской железнодорожной станции. Всю нашу одежду подвергли жесткой дезинфекции. Свернутую в узел, перевязанную поясным ремнем сунули в жаровую камеру, после чего ботинки и пояс настолько «пережарились», что поломались на куски и крошки, едва до них дотронулся. А в бане выдали военное обмундирование — ботинки, шинель, темно-синее полугалифе из диагонали, гимнастерку, белье, портянки, полотенце, а также пилотку и по два пояса — для брюк узенький, и пошире — для гимнастерки, вещевой мешок.

Не обошлось и без недоразумений. Штаны мне попались 1-го роста, хотя у меня был 4-й, а ботинки размера 42, а я носил 43. Штаны удалось там же в бане обменять с каким-то малорослым солдатиком, а вот ботинки так и остались у меня 42 размера, и я мучился все время, хоть сразу выбросил кожаные запасные стельки, а пор-

тянку обматывал еле-еле в один слой. Да и шинель мне попалась тоже 1-го роста. Уже потом, месяца через полтора, мне удалось уговорить тоже одного малорослого солдатика, прибившегося к нашей части, у которого шинель волочилась по земле, — обменять свою куцую, и то не бесплатно, а доплатив 25 рублей. Он, бедняга, берег свою шинель для отца. Говорит, закончится война, — привезу батю гостинец. Через неделю его убили. Не увидел батя ни сыночка, ни шинели. А пока я мучился в тесных ботинках, шинель в скатке была не нужна. Ведь стояло жаркое лето.

На другой день, то есть 9-го числа, нам выдали стальные каски, противогазы, винтовки, патронташи с патронами и, как мы их прозвали, «смертные пакеты» — черненькие пластмассовые кругленькие, как авторучки, длиной 5–6 сантиметров, с привинчивающейся крышечкой. Внутри свернута анкетка, которую надо было заполнить — фамилия, имя, отчество, домашний адрес, каким военкоматом призван, фамилия, имя и отчество ближайших родственников, их адреса. Футлярчик с анкетой надо было спрятать в брюки, в карманчик для часов. Это, если убьют, — чтобы воинская часть могла сообщить родным. Неприятная процедура — заполнять и прятать на себе свой «смертный пакет».

Когда мы надели одинаковое обмундирование, надели каски, вооружились винтовками и другим снаряжением, — все немного приободрились, подтянулись, стали похожи на настоящую красноармейскую часть. Даже слышались шутки и смех. Только не узнавали друг друга — стали как бы все на одно лицо.

Приободрились мы — это понятие, конечно, условное. Просто измучило нас трехдневное ничегонеделание, сидение в казарме на голых досках, без права выйти даже во двор, видеть зелень, небо, если не считать трехразовые маршировки строем в столовую и обратно. Измучило и то, что ничего не знали о ходе войны, измучило полное неведение, куда нас отправят, где мы будем воевать и, конечно же, у каждого была семья — жены, дети, — что с ними, какова обстановка в городе? Эти последние вопросы мне особенно не давали покоя.

О себе я не думал. Я уже свыкся с мыслью, что идет война, я мобилизован, и себе уже не принадлежу, а вот Аня с Юрочкой, как они

будут жить? Средств нет. Домашнее окружение очень неприятное, даже враждебное. Аня нигде не работает, Наркомздрав разбежался, уехать никуда пока не удалось. Хорошо было бы, если бы она попала в Днепропетровск — там сестра Вера, у нее сын Люсенька на год младше Юры, там мама. А я даже при прощании не смог этого подсказать. Нет, надо обязательно ее повидать, но как? Телефона нет ни в казарме, ни дома. Я бы мог среди корпусов казарм найти штаб и, пользуясь тем, что я уже в красноармейской форме зайти туда и упросить какого-нибудь начальника разрешить позвонить в Наркомздрав, но кому? Уже накануне моего ухода в военкомат там никого не было, все комнаты были заперты, да и кто что мог мне сказать об Ане хоть что-либо, все были в панике и думали только о себе. Я отбросил эту мысль, и решил сходить в город.

Обдумав все, я утром 10-го июля часов в 6 утра, как только появился старшина, который водил нас на завтрак и который предупредил, что он первый помощник командира роты, и мы должны его слушать как самого командира и уж, конечно, без его ведома никуда ни шагу, — попросил у него разрешения отлучиться на 2 часа в город, якобы отнести свой узел с гражданской одеждой домой. Он, к моему удивлению, разрешил пойти после завтрака (завтрак в 8 утра) до 10 часов утра, но добавил:

– Ровно в 10 чтобы был здесь как штык!

Прошла утренняя перекличка, я не стал ждать завтрака, и в полном боевом одеянии, с винтовкой и узлом своих вещей вышел на улицу, дождался трамвая, шедшего из Святошина, и поехал в город, на Евбаз, там пересел на другой трамвай, идущий с вокзала на Сенной базар, а оттуда пешком, почти бегом — домой на Рейтерскую.

В квартире застал только одну Ольгу Оскаровну. Моя комната была закрыта на внутренний дверной замок и еще на висячий. Комната Дмитруков тоже была занята. Ольга Оскаровна мне заявила, что ни Аню, ни Юру она уже три дня не видела, наверно, куда-то уехали. Дмитрука взяли в армию, а где Августа и ее дочь Зина, не знает — утром куда-то ушли. Каких-нибудь ключей, чтобы подобрать к моей комнате, у нее нет. Пришлось положить узелок перед своей дверью в коридорчике. Затем я пошел в кухню, хотел найти ложку.

Ложки не нашел, а вот кружку эмалированную для воды взял и сунул в мешок. Тут Ольга Оскаровна, видя, что я что-то ищу и узнав что какую-нибудь ложку, — вынесла мне из комнаты и дала серебряную столовую ложку. Я очень удивился, зная ее скарედность, но мне долго раздумывать было нельзя, я поблагодарил, сунул ложку также в мешок и ушел.

Решил пойти все-таки в Наркомздрав. Не может быть, чтобы там никого не было. Хоть одну живую душу найду, хоть что-нибудь узнаю об Ане...

В Наркомздраве на втором этаже — пусто. Все двери из коридора в рабочие комнаты закрыты. Нигде ни души. На третьем этаже открыт из приемной кабинет зам. наркома [В. П.] Комисаренко. В приемной человек десять-двенадцать ждут очереди на прием. Я, пользуясь своим военным костюмом и оружием, никого ничего не спрашивая, — вошел в кабинет, спросив только уже при открытой двери: «Разрешите?» Получив утвердительный кивок головы, подошел к столу и, перебивая разговор с посетителем, сказал:

— Я муж вашей сотрудницы из отдела кадров Сапожниковой. Получил разрешение отлучиться из части только на час. Дома застал замок. Не знаю, что с ней и ребенком. Удалось ли ей уехать и куда? Не можете ли вы мне что-либо сказать. Я очень волнуюсь.

Комисаренко мне ответил:

— Сапожникову мы усадили на катер, отправлявшийся в Днепропетровск с детьми, снятыми с плавучего детского санатория. Не волнуйтесь, все в порядке. А Днепропетровск, кажется, — это и была ее цель, там у нее как будто родственники, да и от фронта это подальше, чем Киев. Так что волноваться вам не следует. Все в порядке.

У меня гора свалилась с плеч. Я поблагодарил и ушел. Значит, Аня уехала. Молодец, что будет дальше, — увидим, но пока что она месяц-другой побудет со своими, а там немцев разобьют, погонят и, если я останусь жив, мы опять заживем нормальной мирной жизнью. Я не повидал Аню и моего Юрасика, но из авторитетных уст услышал самое главное, для чего ехал в город, и у меня слезы катились из глаз. Я рисовал в мыслях картину, как Аня с Юрасиком

путешествуют на катере по Днепру, как это успокаивающе действует на них, какая будет радость, когда она встретится с мамой, Верой, Ароном (муж Веры), Люсенькой...

Не знал я тогда, что Днепропетровск будет захвачен немцами на месяц раньше Киева, что Арон погибнет на войне, что Люсенька умрет в эвакуации, а сама эвакуация растянется на многие тысячи километров. Пятигорск, Махачкала и, наконец, Бухара. Не знал я, что поездка на катере в Днепропетровск — это не увеселительная прогулка для успокоения нервов, а отчаянный риск, каждую минуту угрожающий жизни под непрерывными бомбежками. И уж никак не предполагал, что мне предстоит после почти трехмесячных боев под Киевом отступать, не отступать, а «драпать» с полумиллионной армией, попавшей благодаря «мудрому» руководству Сталина в знаменитый «Киевский котел», и после неудавшегося стремления пробиться с боями из котла, — попасть в плен и испытать все «прелести» немецких лагерей для военнопленных. Да, ничего этого я тогда не знал, и знать не мог. Успокоенный на время словами Комисаренко, я спешил в свою часть, так как время приближалось к 10.

Когда я вернулся, правда, с опозданием минут на 15, я нашу казарму застал пустой. У каких-то военных командиров, которых встретил во дворе, узнал, что наша часть минут 20 тому назад ушла в сторону Святошина, а оттуда на Пуще-Водицкое шоссе, и дальше к Гостомелю.

— Догоняй! Они далеко не ушли, — сказал мне на прощание командир. И я стал догонять, проклиная в душе старшину за тесные ботинки, которые мне нестерпимо жали.

Когда в Святошине я свернул направо, на Пуща-Водицкое шоссе, и вышел уже на поле, я увидел вдали движущуюся колонну. По синему цвету брюк я сразу узнал своих, и вскоре догнал их. Разыскал в голове колонны старшину и доложил что я, мол, на месте. Получил несколько крепких словечек, но ничего, — обошлось.

— Пристраивайся к первому взводу! — сказал старшина.

В это время над нами появились три немецких самолета, сделали круг над колонной.

— Воздух! Все в поле! Ложись! — раздались команды. Колонна моментально рассыпалась по обе стороны шоссе и, отбежав несколько десятков шагов, залегла в еще не скошенной пшенице. Самолеты прошли низко еще раз над нами открыв пулеметную стрельбу, но никто не пострадал. Бомб немцы не сбрасывали. То ли у них была задача лететь на Киев, то ли они уже отбомбились где-то раньше. Так или иначе, но мы отделались только испугом. Вскоре нас подняли, мы выстроились и продолжали свой путь.

Пройдя какое-то село при развилке дороги — одна вела на Пуща-Водицу, другая на Гостомель, — мы свернули в сторону Гостомеля. По обеим сторонам шоссе красивый старый сосновый лес, с толстенными стволами сосен, ветви которых почти сходились над головами. Шум ветра в ветвях деревьев, тишина, если не считать пенья птиц, приятная прохлада после солнцепека в поле располагали к отдыху и уж никак не напоминали, что рядом идет война, что мы воинская часть и что сами только что подверглись обстрелу из немецких самолетов.

Мы шли уже более трех часов. Командир это учел и распорядился войти в лес, и под его прикрытием устроить часовой привал. Подавали нам и обед — суп из горохового концентрата. Пригодилась и ложка, которую дала О[льга] О[скарвна]. У меня особенно устали ноги. От ходьбы со скорченными пальцами (из-за тесных ботинок) я чувствовал себя как на чугунных тумбах.

Тут я познал одну истину. Чтобы ноги скорее отдохнули, надо разуться, лечь под ствол дерева на спину, а ноги задрать вверх и опереть на ствол пятками. Через 10 минут усталость проходит полностью, что я и сделал по совету одного бывалого красноармейца. Хотелось пить, но фляга моя была пуста. Я не успел ее заполнить в казарме. Меня выручил опять-таки этот красноармеец. Разрешил из своей фляги выпить пару глотков, а затем дал мне щепотку соли и говорит:

— Соль съешь. Потом одним глотком прополощи рот и выплюнь. Ты пить будешь еще хотеть, но не будешь потеть и жажда тебя мучить так не будет. Учти это правило для походов. Пить в дороге поменьше. Легче идти и не испытываешь мучений. Соль — это первое средство против жажды.

Так я начал постигать солдатскую мудрость, и эти два совета запомнил на всю жизнь. Но что мы за часть и какие задачи ставит перед нами командование, — никто не знал. На заданный кем-то вопрос старшине, он ответил: «В свое время узнаете». Накануне выхода из казарм в Нивках нас выстроили, и командир — лейтенант — в сопровождении старшины сделал «сортировку» по профессиям:

- Саперы!
- Химики!
- Пулеметчики!
- Минометчики!
- Связисты!

Люди выходили из общего строя и собирались группами по десять-двадцать человек. Там их переписывали по фамилиям. Все, кто не попал в группы «специалистов», оставались на месте: это были просто красноармейцы — бойцы. В их числе оказался и я. Нас разбили на три взвода. Я попал в 1-й взвод. Уже в походе я впервые увидел своего командира взвода — молодой лейтенант, почти мальчик лет девятнадцати-двадцати, не более, видно, прямо из военного училища, по фамилии Середнин. Командир роты — такой же молодой лейтенант по фамилии Кошмак. Командиров по званию старше лейтенанта не было. Из этого я заключил, что наша часть это всего лишь подразделение какой-то большей воинской части, а мы лишь — одна рота, хотя, вспоминая штатные расписания в 73-м полку (1923–1924 гг.), я видел, что численность нашей роты намного большая, так, человек более 240–250. В общем, мы представляли солидную воинскую часть и вполне организованную. Каждый знал свое место. И когда после обеда в лесу и приличного отдыха раздалась команда: «Становись!», мы быстро построились в колонну на шоссе. Как и полагалось по уставу, прежде чем двинуться дальше, командир выслал вперед разведчиков и сторожевое охранение, которое углубилось в лес по обе стороны шоссе, и поодиночке с интервалами 40–50 метров, вышли вперед. Наконец, двинулась и основная колонна. К вечеру мы подошли к месту ночевки.

Гостомель находится на левом берегу реки Ирпень. Мы подошли с правой стороны. Не доходя с полкилометра до моста через

реку, мы свернули вправо, и через несколько минут попали в военный городок, вероятно, это зимние лагеря, — похоже на дачный поселок, огражденный забором. Там среди домиков были островки нетронутого молодого соснового леса в виде небольших рощ; нас привели в одну такую рощицу.

— Располагайтесь, здесь будем ночевать, а сейчас подъедет кухня, получите ужин, — сказал командир роты Кошмак.

Еще через час мы, поужинав все тем же гороховым концентратом, стали укладываться на траву спать, завернувшись в шинели.

Я заснуть не мог. Одолели комары, и как я ни заворачивал голову в свою куцую шинель, чувствовал, что мое лицо уже все искусают. Но не только комары мне мешали заснуть. Я весь был поглощен мыслями о событиях сегодняшнего дня — отлучка в город, визит в Наркомздрав и разговор с Комисаренко об Ане и Юре: как они там? Где они уже сейчас, может, уже доплыли до Днепропетровска? Потом опять казарма, почти бег в погоне за своей частью. Налет немецких самолетов и пулеметный обстрел, советы красноармейца — ноги пятками на ствол дерева... ешь соль, жажда не будет мучить... и опять комары, проклятые комары.

Часов в 12 ночи я встал, надел шинель и обвешался всем своим снаряжением, с винтовкой в руках выбрался из кучи тел остальных красноармейцев и отошел в сторону. Надо было отлучиться по естественным надобностям — шагах в 10 от места, где мы расположились спать, меня останавливает какой-то командир:

— Боец! Ко мне!

Я подошел.

— Вот что, я вижу, ты не спишь. Иди со мной. Там задержали одного шпиона. Надо его покараулить пару часов, а я через 2 часа приведу тебе замену.

Приводит он меня на полянку. На земле лежит какой-то человек, и не то спит, не то притворяется. В трех шагах от него — красноармеец с винтовкой на изготовке в руках.

Командир, обращаясь ко мне, говорит:

— Стой не ближе и не дальше — в трех шагах. Винтовка заряжена? Хорошо! Спусти предохранитель и держи все время на изготов-

ке. Если попробует подниматься — командуй: «Лежать!» Не послушает — стреляй. Глаз с него не спускай ни на секунду. Затем, обращаясь к часовому, сказал:

— Иди, отдыхай.

Командир и часовой ушли. Я остался сам-на-сам со шпионом. Тот продолжал спать, не двигаясь. При свете луны я разобрал, что голова его прикрыта полкой телогрейки. Я держал винтовку «наперевес», не спускал с него глаз. Скоро стоять в одной позе я утомился, и немного стал прохаживаться — два шага влево — два шага вправо, причем, голову держал все время лицом к шпиону, чтобы заметить любое его движение. Но тот не двигался. Так прошло два часа, и я уже нет-нет бросал взгляды в ту сторону, куда ушел командир, но никого не было, и никакой смены мне никто не приволил.

По небу все время ползали лучи прожекторов, то скрещаясь, то расходясь. Видно, первые дни войны и первые бомбежки заставили все-таки воздушную оборону Киева быть наготове. Где-то в небе загудел мотор самолета. Этот один самолет очень быстро попал в лучи прожектора и, пытаясь выйти из освещенного пространства, стал резко сворачивать в сторону. Но через несколько секунд его поймали другие прожекторы, и он оказался в центре перекрещивающихся лучей. Самолет, сделав небольшой круг, повернул назад, на запад, и вскоре ушел. Если бы это не война и не вражеский самолет, — зрелище было довольно красивым, но я любоваться им не мог. Я был часовым, сторожившим шпиона или диверсанта, сброшенного на парашюте вот с такого же одинокого немецкого самолета, и я продолжал ходить — два шага влево, два шага вправо, — продолжал, держа винтовку наперевес, смотреть на своего «подопечного». А смена не приходила. Я устал, но спать мне не хотелось. Нервное напряжение, чувство ответственности отгоняли сон. Начало светать, затем поднялось солнышко. Я видел вдаль меж сосенками, как задымила походная кухня, как потом повставали красноармейцы нашей роты, вот они уже завтракают. Слышны даже их голоса и перестук котелков. А я все караулю своего шпиона. Обо мне все забыли. Меня разбирала злость.

Но вот вижу, наша рота вышла из рощи, выстроилась в колонну и движется по дороге к выходу с территории лагеря. А что мне делать? Отойти я не могу. Кого-нибудь позвать — так вблизи не видно людей. Надо стоять и терпеть. То ли еще будет впереди. Примерно еще через час я увидел вдали фигуру какого-то командира. Я окликнул его, и когда тот подошел, я увидел по петличкам, что это старший лейтенант (три кубика). Я сказал, что меня неизвестный мне командир еще в 12 ночи поставил караулить шпиона, обещал через два часа прислать смену, и вот я стою до сих пор. Моя часть выпалась, позавтракала и куда-то ушла. А что мне делать? Старший лейтенант сказал:

— Веди его за мной!

Я подошел к шпиону, тронул его прикладом в бок:

— Вставай, пошли!

Тот открыл лицо, потянулся и неспеша поднялся. Лицо загорелое, обыкновенное, лицо селянина, давно не бритое, грубые бумажные штаны, серая грязная телогрейка, стоптанные ботинки военного образца, кепка. В общем, встретив такого человека днем на дороге, — никто не обратил бы на него внимания, но его задержали ночью в расположении воинской части, далеко в стороне от обычных дорог, связывающих окрестные села между собой или с городом Киевом, а это вселяло подозрение.

Лейтенант привел нас к домику, как я потом узнал, в котором размещалась комендатура лагеря и, обращаясь к дежурному, сказал:

— Примите задержанного, и до допроса посадите под охрану.

А затем, обращаясь ко мне, добавил:

— А вы догоняйте свою часть. За ворота направо, через село Горенку и дальше в лес — к селу Мощун. Думаю, на привале вы их догоните, а нет — спросите у местных жителей.

И вот второй раз я должен «догонять». А ноги ныли от усталости. Теперь бы только лечь, растянуться на траве и, пожалуй, заснуть хоть бы на часик. Но больше всего я боялся остаться один и, преодолевая боль в ногах и усталость, я пошел к выходу.

До Горенки я дошел быстро, и растянувшееся вдоль дороги село также прошел быстро, а за селом начинался старый сосновый

лес. Из Горенки в лес вели три грунтовые дороги. По какой мне идти, чтобы добраться до села Мощун, спросить было не у кого. И на несколько минут я сделался следопытом. Все дороги грунтовые, колеи узкие от телег, но на одной были видны свежие следы от автомашин. Я знал, что за нашей колонной шли несколько автомашин с грузом, с походной кухней. Значит, по ней и прошла колонна. Я еще раз осмотрел все три дороги, и на той, где были следы автомашин, увидел несколько окурков от папирос, некоторые докуренные только до половины. Я подумал — наверно, входя в лес, во избежание лесного пожара, командир отдал приказ бросить курить.

Догнал я свою часть только перед самым селом Мощун, но привал командир сделал только после того, как мы прошли это село, примерно в километре от него. Кругом густой лес. Привал продолжался часа два. За это время нам выдали обед, на сей раз уже не гороховый суп из концентрата, а гречневая каша-размазня тоже из концентрата и кусок вареного мяса. Была у меня и вода во фляге. Я поел, попил и, задрав ноги на ствол сосны, с удовольствием растянулся и даже, кажется, немного вздремнул. К старшине я уже не являлся, а командиру взвода лейтенанту Середнину доложил о причинах, почему я не вышел со всеми. Он только сказал:

— Догнали, вот и хорошо.

Видно, моего отсутствия утром никто и не заметил, а Середнин вообще не знал, сколько у него во взводе людей, а тем более не запомнил их в лицо.

К вечеру мы подошли к опушке леса на правом берегу реки Ирпень, но выходить за пределы леса нам запретили, и речку мы видели только сквозь стволы сосен. Чуть ниже по течению Ирпень был перегорожен плотиной, и в этом месте ширина его достигала метров полтора-два. Я привык видеть Ирпень из окон поезда на Ворзель, такой себе ручеек шириной не более чем средняя улица в Киеве, а тут я увидел большую реку, и даже принял ее за Днепр.

— Вот тут и располагайтесь. Здесь будем стоять, — сказал командир роты Кошмак. — Обо всем поговорим завтра утром.

Утром нас выстроили повзводно. Кроме трех взводов, человек по сорок в каждом, у нас были еще команды — саперная, разведчи-

ков, истребительная, химкоманда, хозкоманда, санитарная, минометная. К утру на автомашинах нам подвезли ящиков 100 бутылок с противотанковой жидкостью [«коктейль Молотова»], ящики с патронами, штуки четыре ротных миномета, десятка три станковых пулеметов «Максим», имущество санчасти, имущество политрука, продовольствие: ящики с концентратами, мешки с крупой, сахаром, солью, туши мяса. Я про себя с большим недоумением и огорчением отметил — мин к минометам не было, пулеметных лент тоже. Да и командиры все носили пустые кобуры без револьверов.

Кошмак объяснил нам:

— Мы первая рота 2-го отдельного пулеметного батальона (2-й ОПБ). 2-я и 3-я роты расположены в Святошине и под Гостомелем. Между расположением наших рот построена цепь ДЗОТов (Деревянно-земляных огневых точек). Наше назначение — быть полевым заполнением между этими ДЗОТами, если фашисты попытаются форсировать реку Ирпень не по мостам Святошинскому, Гостомельскому или Демидовскому, возле которого остановились мы, а между ними. Кроме того, поскольку фашисты практикуют выброску десантов на парашютах, в нашу задачу входит выявлять такие десанты, окружать и уничтожать. Штаб батальона расположен в лагерьном поселке под Гостомелем, откуда мы пришли сюда.

Сейчас мы займемся очисткой сектора обстрела — это значит повалить сосновый лес на 40–50 метров от берега реки, — строим блиндажи для санчасти, КП, а также линию окопов. Кухня и вся хозяйсть, как мы называем «тыл», будет находиться метров на 100 глубже в лесу. Появляться на открытых местах — на берегу реки, на шоссе, которое проходит рядом, на полянах в лесу, — запрещено. Быть всем в пределах территории, отведенной для каждого подразделения, — взводы, отделения, команды. Это необходимо, чтобы не демаскировать расположение части. Немецкие самолеты летают ежедневно.

Ни одного гражданского лица на территорию нашего расположения не допускать, в случае появления — задерживать и приводить ко мне.

Если хотите писать письма домой и получать из дома, не указывать ни название нашей части, а только номер полевой почты (он

назвал № нашей полевой почты, который мы все поспешно записали в свои блокноты), и дальше — подразделение Кошмака. Где мы стоим, возле каких населенных пунктов, также запрещено писать. Все равно цензура не пропустит. Связь у нас работает нормально, и ежедневно батальон связан с городом, так что не волнуйтесь, задержек не будет.

Затем выступил политрук Климак. Он сначала представился, потом сказал немного о бдительности, о нашем долге охранять столицу Украины Киев от фашистских варваров, повторил слова командира роты о соблюдении правил маскировки, добавив, что в ночное время не чиркать спичками, не курить. С оружием не расставаться ни днем, ни ночью, чтобы быть всегда готовым отразить врага.

После этого Кошмак скомандовал:

— Командирам взводов и других подразделений — развести бойцов на отведенные участки и приступить к выполнению работ, назначенных на сегодняшний день.

В этот первый день на мою долю выпала работа по разгрузке автомашин. Я и еще несколько бойцов 1-го взвода снимали ящики с патронами, гранатами и бутылками с горючей жидкостью. Все это складывали штабелем под соснами. Потом это вооружение было распределено между нами. Каждый получил по четыре гранаты и сотню патронов. Бутылки с «горючкой», как мы их называли, стояли нетронутыми под охраной часового.

Я все время думал об Ане и Юрасике, но только к вечеру выбрал время написать ей первое письмо, которое отдал дежурному по отделению связи. Когда оно пошло, — не знаю, и что я мог писать ей в этом письме: только, что я успокоился немного после разговора с Комисаренко, что я в воинской части, чтобы она обо мне не беспокоилась, так как я далеко от фронта (о том, что фронт был под носом, немцы на левом берегу реки Ирпень, мы еще и сами не знали). Большая часть письма состояла из вопросов — как там у них, как доехали до Днепропетровска, есть ли что кушать, как Арон, Вера и Люсенька, успокоился ли Юрасик, как вообще в городе, что Аня делает, пока погонят немцев и она сможет вернуться в Киев.

Спали мы прямо на земле, где кто лег. На следующий день из слов командира Кошмака мы поняли, что в этом месте мы будем держать оборону, каждому взводу отвели участок вдоль берега реки Ирпень. Общая протяженность всего участка роты — 8 километров, потом дадут, якобы, пополнение.

Несколько дней мы строили блиндажи, ходы сообщения — в общем, все, что полагается для длительной обороны. Мы узнали, что кроме линии обороны, которую мы должны были держать, в нашу обязанность входило наблюдение за лесом и — если обнаружатся парашютисты, — прочесывать лес, выявлять десант, окружать и уничтожать.

Кошмак продемонстрировал, как пользоваться бутылками с зажигательной жидкостью. Надо вырыть яму глубиной по грудь, размером 1×1 метр, и, если будут двигаться немецкие танки, — сесть, согнувшись, в яму, закрыть себя ветками и ждать. Когда танк пройдет над головой, — выпрямиться и бросить в него бутылку. Бутылка разобьется, жидкость разольется и вспыхнет, температура около 2000 градусов, танк загорится, и выйдет из строя. Просто и красиво.

А если танк пройдет гусеницей по яме, да разворотит края и тебя раздавит, — об этом Кошмак ничего не говорил, предоставил каждому думать, что хочет. Впереди окопов мы вырыли несколько сот таких ям, но ими воспользоваться не пришлось. Немцы Ирпень не форсировали, а прошли по мосту прямо на шоссе.

Потренировались мы и в бросании гранат, изучали материальную часть пулеметов, хотя и не было к ним лент, заряженных патронами. Но в основном первую неделю мы занимались рытьем окопов, блиндажей и ходов сообщения. Я, кроме всего прочего, вызвался помочь политруку выпускать боевые листки — стенгазеты. Он очень обрадовался, так как сам рисовать не умел, а я рисовал карикатуры на пьяных немецких солдат, на Гитлера. Он же писал статьи. Кроме того, и он, и я собирали во взводах и отделениях материал, долженствующий показывать высокое политико-моральное состояние наших бойцов.

Немцы были по ту сторону Ирпеня, но пока не наступали, хотя ежедневно в наше расположение пролетающие самолеты наугад сбрасывали несколько бомб или же немцы обстреливали нас из

минометов, по 5–8 мин каждое утро. Мы пока ответить ничем не могли, а только ограничивались подсчетом, сколько машин за день проехали по шоссе на той стороне Ирпеня. Немецкие бомбы и мины рвались за полосой наших окопов, и было видно, что они нас не обнаружили, только щупали. Так что, если я и писал Ане, что мне ничто не угрожает, — я не врал.

Мост через Ирпень на село Демидово был в наших руках, да и само село Демидово — тоже. Возможно, немцы не имели в этом районе достаточно сил, подозревали, что в селе Демидово стоит наша воинская часть, и не рисковали захватывать село малыми силами. Это дало возможность многим беженцам переправиться на нашу сторону и двигаться дальше на Киев. Беженцы шли в одиночку и группами, пешком и в запряженных лошадьми повозках. Среди беженцев проходили и красноармейцы разбитых где-то раньше частей. Наши патрули и охрана этих красноармейцев задерживали и включали в состав нашей роты.

Колхозники угоняли скот, свиней. Помню, в одном стаде мы, по решению командира, отобрали с десятка коров. Некоторые из них были молочные, соорудили загородку, яловых коров и бычков пустили на мясо, а к молочным приставили под начальство девушки-санинструктора «доярок»-красноармейцев, и у нас появилось молоко — по кружке в день на бойца. Изъяли мы и из свиного стада десятка свиней. Бедные животные, тучные, еле двигались. В дороге ни накормить, ни напоить их нельзя, и по словам колхозников, что их вели, — стадо состояло голов из пятисот, а в дороге половина уже пала. Колхозники плакали, и рады были нам отдать хоть всех оставшихся. Но мы посоветовали гнать их до Киева.

В эти дни со мной приключилась неприятность. Во время рывка хода сообщения от окопа к КП я потерял сознание, вероятно, солнечный удар. Меня на носилках отнесли вглубь леса — в «санчасть». Там фельдшер быстро привел нашатырным спиртом в себя и предложил сутки полежать. Блиндажа для санчасти еще не было. Расположились прямо под соснами. В санчасти кроме меня находилось еще два красноармейца. Один инженер-химик, другой — просто рабочий какого-то завода. Оба — лет под 40. Разговорились.

Оказывается, у инженера-химика в апреле была операция по поводу язвы желудка. Он почти два месяца лежал в больнице, и только в середине июня выписался. Он должен был быть на строгой диете, а тут ему — черный хлеб, гороховый концентрат. Изредка ему привозили, по особой просьбе, «французскую» (городскую) булочку, вот и вся диета. В военкомате не обратили внимания, а в батальоне никаких врачей, кроме фельдшера, пока не было. У него начался рецидив, и он, бедняга, ничего не мог есть и лежал, корчился от болей в животе.

Рабочий был в феврале где-то на лесоразработках. Упавшей сошной ему переломило обе голени. Он более двух месяцев лежал в гипсе. В мае гипс сняли, и только в июне он начал ходить на костылях. Костыли оставил, когда началась война, в конце июня, а в июле его призвали. Ноги не окрепли, и пара больших переходов, а потом земляные работы привели к вторичному перелому еще не сросшихся и неокрепших голеней.

Фельдшер успокаивал, что завтра или послезавтра будет врач и даст направление отвезти их в военный госпиталь в Киев.

Вообще, большая часть состава нашей роты состояла или из вообще по каким-то причинам освобожденных раньше от военной службы, или отслуживших еще в 20-е годы, или ограниченно годных, то есть годных только к нестроевой службе в военное время. На другой день из батальона в роту приехала врач, молодая женщина. Подошла к нам — больным. Со всеми ласково поговорила, послушала и заявила, что завтра приедет главный врач батальона, и он решит, что с кем делать. Так мы пролежали еще сутки под опекой фельдшера.

Главный врач батальона явился к нам в сопровождении комроты и политрука. Выслушал наши объяснения, осмотрел всех и, обращаясь к Кошмаку и фельдшеру, сказал:

— Этого, — он указал на красноармейца с поломанными ногами, — я напишу направление, и сегодня же отправить в Киев в госпиталь. Этому ежедневно вместе с хлебом привозить из города по три-четыре «французских» булки, мясо давать только вареное, отдельно варить гречневый концентрат, гороха не давать. Пусть поле-

жит с недельку, а потом видно будет... Этому (мне) можно завтра вернуться в строй, но никакой физической нагрузки, — декомпенсированный порок сердца, никаких тяжестей не поднимать, никаких земляных работ не производить.

Кошмак вспылил:

— У меня и так все нестроевики и полроты инвалидов. Воинская часть это или санаторий? Отдельно варить, булочки доставать, а этот (он указал на меня) хотя бы винтовку держать может? Стрелять может?

— Успокойтесь, — сказал врач, в госпиталь направлять я не имею права, нет таких показаний, за весь ваш состав я не отвечаю... да и военкомат, вероятно, других возможностей не имел. Поймите: война, и не где-то, а под Киевом, а беречь здоровье бойцов мы должны при всех обстоятельствах, а у вас пока обстоятельства благоприятные. Так что слушайтесь, тов. лейтенант, и выполняйте.

Кошмак был на два ранга ниже по званию главного врача, и ему оставалось только сказать: «слушаюсь». На этом они удалились.

А мы, ничего не знавшие, что делается на фронте, уловили только слова:

— Война под Киевом, обстоятельства пока благоприятные.

Пока. Это слово мы жевали на все лады. Мы не знали, что бои идут в самом Киеве — на Демиевке, в Голосеевском лесу, даже на Байковом кладбище и в Жулянах. Немцы наступали со стороны Василькова. Белая Церковь, Фастов, Васильков уже несколько дней были заняты ими. Да, мы тогда еще многого не знали.

После обеда я упросил фельдшера разрешения вернуться в строй в свой взвод. Я чувствовал себя нормально, и не мог отлежаться под сосной. По дороге я увидел между соснами Кошмака, хотел обминуть его, и свернул чуть в сторону. Когда Кошмак крикнул:

— Боец! Ко мне!

Я подошел. Кошмак дал команду:

— Кру...гом!

Я повернулся кругом.

— Ша...гом марш! — Я стал отходить. Отошел шагов на десять. Новая команда:

– Стой! Кругом! Боец, ко мне!

Я опять подошел к Кошмаку. Снова:

– Кругом, шагом марш, стой, кругом, боец ко мне!

И опять, и опять одно и то же. Так повторилось раза четыре. При четвертом подходе к Кошмаку я не выдержал, и спросил:

– Что вы гоняете меня взад-вперед?

– А гоняю потому, что разве так подходят, если вызывает командир. Надо не подойти, а подбежать и доложить:

– Боец такого-то взвода, назвать свою фамилию и должность, — прибыл по вашему приказанию.

– Куда ж бежать, тут же несколько шагов...

– Молчать! Не рассуждать! Выполнять! — заорал Кошмак, явно выходя из себя и снова повторил свои команды.

На сей раз он остановил меня в трех шагах и подал команду: «Боец ко мне!» Эти три шага я сделал бегом, нарочито высоко поднимая ноги, на расстоянии трех шагов я умудрился сделать шагов пять-шесть и доложил:

– Боец 1-го взвода Худяков прибыл по вашему приказанию!

– Вот так... Куда идете? — уже спокойно спросил Кошмак.

– В расположение своего взвода, я чувствую себя хорошо, и с разрешения фельдшера иду в строй.

– Так, так... идите... Ох, уж мне эти нестроевики... — Я повернулся через левое плечо, и пошел в свой взвод.

Потом, примерно через месяц, Кошмака убило миной, попавшей в нижнюю часть живота и разорвавшейся на нем, выворотив все содержимое брюшной полости. Бедный Кошмак, почти мальчик, выпущенный ускоренным порядком из военного училища в первые дни войны, еще не повоевавший как следует, еще насыщенный уставными правилами, не знающий реальных фронтовых условий. Я на него тогда не сердился, когда он учил меня подбегать на зов командира, я понимал что и дисциплина нужна, а после того как он отдал свою молодую жизнь за Родину, я искренне жалел его. Но вернусь к тем дням.

На следующий день меня утром вызвал политрук Климак. Он сказал, что с разрешения командира роты я буду находиться при

нем, — надо боевые листки выпускать не в одном экземпляре, а по числу подразделений — взводов, команд — и разносить их по окопам, собирая одновременно материал.

Утром, после завтрака я разносил боевые листки, разговаривал с бойцами, делал заметки в блокноте, ловя характерные высказывания. Настроение было у всех бодрое, даже веселое. И было от чего. Жили как на даче, ели вволю, «фриц» особенно не беспокоил. К утренним минам, редким артобстрелам или бомбежкам с самолетов привыкли и не обращали внимания. Все снаряды, бомбы и мины рвались далеко — метров за 100–200 от расположения наших подразделений, и нам вреда не приносили. Немец нас не обнаружил и не нащупал. После обеда я садился в блиндаже политрука и печатными буквами переписывал в специальные бланки «Боевых листов» статьи и заметки, оставляя место для заголовков и карикатур. Потом брался за карандаш и акварельные краски и разрисовывал эти стенгазеты, готовя их, чтобы завтра разнести по окопам. Климак, да и Кошмак были очень довольны. Все боевые листки после ознакомления с ними бойцов роты политрук отправлял в штаб батальона. Говорил, что многие из них отвозили в другие роты, а наиболее удачные — в Киев, в штаб КиУРа (Киевский укрепрайон), где они фигурировали на выставке. Я же делал свое скромное дело, и все ждал и ждал от Ани ответа на мое письмо.

Я считал дни, и все гадал, сколько времени потребовалось, чтобы мое письмо дошло до Днепропетровска, сколько времени надо, чтобы пришел ответ. Я, да и все рядовые бойцы, не знали тогда, что творится в Киеве, да и вообще не знали, что делается на других фронтах.

Туманные сводки Совинформбюро, где указывались только «направления», зачастую устаревшие на пять-шесть дней, да названия оставленных нами городов, говорили о тяжелом состоянии, но то, что Сталин взял в свои руки верховное главнокомандование, а в Сталина мы все верили безгранично и безоговорочно, то, что командующим Юго-Западного фронта (или участка фронта под Киевом) был назначен испытанный полководец гражданской войны Буденный, пользующийся у всех любовью и заслуженным автори-

тетом, — вселяло в нас уверенность, что тут-то немцы и получат решительный разгром, и в этом разгроме и нам предстоит сыграть свою роль. Во всяком случае, мы твердо заявляли: здесь, на нашем участке немец к Киеву не пройдет, а найдет свою могилу.

Но вот в конце июля к нам в роту приехало начальство — командир батальона майор Метелев, комиссар (не помню фамилии), а в званиях политработников я тогда не разбирался, и начальник штаба майор по фамилии, как будто, Колибаба.

Осмотрели линию нашей обороны, окопы, побеседовали с бойцами и зашли в землянку политрука Климака. Там на столе я разложил несколько «боевых листков» и начинал выводить тексты заметок, собранных в этот день утром.

— Так вот кто мастер этих боевых листков... — сказал комиссар, обращаясь не то к Климаку, не то ко мне. Подошел и начальник штаба, и молча стал наблюдать, как я пишу получертежным, полупечатным шрифтом. Я не выдержал и говорю:

— Если бы была печатная машинка — все подвигалось бы скорее, я бы сразу печатал несколько экземпляров.

— А ты умеешь печатать?

— Я научился печатать в армии, еще в 1922–1924 годах, а потом четыре года работал в Окрпарткоме в должности машинистки-стеклографиста. Да и потом, когда в машбюро была загрузка, я зачастую не забывал машинку и печатал свою работу.

— Прекрасно, — сказал начштаба, — Климак здесь подберет себе помощника другого, а ты собирайся, поедem с нами, мы тебя заберем в штаб батальона, у нас машинка есть и работы много, а печатать никто не умеет. Через десять минут чтобы был готов.

Я вопросительно глянул на Кошмака, моего командира роты, который только что подошел, и нерешительно сказал:

— Как прикажет командир роты...

— А кто старше, я или командир роты? Моего приказа он отменить не может... Так что собирайся, мы сейчас едем... — и начштаба рассмеялся.

Для того, чтобы мне собраться, было достаточно нескольких минут. Шинель, скрученная в скатку, висела на гвоздике, винтовка,

противогаз и гранаты, вещевой мешок были рядом, патронташ с патронами были на мне. Я мигом снаряжился и доложил, что готов.

И вот я снова в Мостицах, в качестве писаря штаба батальона. Была и пишущая машинка, маленькая, одинарная, с поломанными буквами. Но через несколько дней мне из Киева привезли прекрасный, новый, на полный разворот «Ундервуд». Перед отъездом из роты я успел попросить Климака, если будут письма на мое имя, а я уже жду три недели, переслать мне. Климак обещал, но дни проходили за днями, а писем не было.

Я пребывал в полном неведении, что с Аней и Юрасиком. Мысли о них мучили меня все время. Я не спал ночами, снились всякие кошмары. Да и у нас обстановка усложнялась каждый день. Я печатал оперативные донесения, разведсводки, и видел, что наша первая рота уже вплотную столкнулась с немцами, отразила несколько атак немцев, стремившихся форсировать реку Ирпень по Демидовскому мосту. С нашей стороны уже были убиты и ранены многие десятки бойцов. Подошли немцы к реке Ирпень и возле Мостища, но мост из Мостища на Гостомель был в наших руках. Там стояла вторая рота. Правда, в Гостомеле мы, уходя, подорвали бензохранилище. Было невозможно вывезти все запасы бензина. наших самолетов не было видно совсем, и заправлять горючим было некого. Зато немецкие самолеты ежедневно по 5–10 штук летали над расположением штаба батальона и сбрасывали бомбы. Откуда-то издалека, с противоположной стороны Ирпеня, нас ежедневно обстреливала и артиллерия. Знал я также, что под Киевом, с юга, со стороны Василькова, идут ожесточенные бои (не знал я тогда, что бои идут и в самом Киеве). Еще до рассвета и рано утром слышна была сплошная артиллерийская канонада, говорящая сама за себя.

Но машины наши в город ходили ежедневно, привозили свежий хлеб, другие продукты, привозили газеты и другую почту, в том числе и письма. И вот, наконец, числа 18 августа я получил сразу два письма от Ани. В первом письме она писала, как ей удалось выбраться из Киева, как они целую неделю добирались до Днепропетровска, и теперь она со своими — мамой, сестрой Верой, ее мужем Ароном и Люсенькой. Теперь она немного пришла в себя, писала, чтобы я не

беспокоился за них, у них все спокойно. Во втором письме, датированном еще июлем месяцем, Аня писала, что устроилась на работу в какой-то военный госпиталь, получает паек, что, в общем, жизнь вошла в какое-то русло, и опять успокаивала меня, чтобы не волновался. Не знал я, что именно тогда, когда я почти с месячным опозданием читал и читал эти письма, город Днепропетровск переживал самые страшные дни, что Ане с Верой, мамой и двумя малышами Юрочкой и Люсиком — выпала доля, бросив все, с узелками на плечах, без средств, без вещей, без еды «эвакуироваться» вглубь страны, ехать в эшелоне, что их эшелон по дороге бомбили немцы и они чудом остались живы, что, наконец, сам город Днепропетровск уже 20-го августа взят немцами, что перед этим немцы его жестоко бомбили и он был почти полностью разрушен. А в сводке Информбюро еще фигурировал Юго-Западный фронт, Одесское направление...

Числа 15-го августа в расположение батальона прибыл отряд партизан, человек шестьсот-семьсот, скомплектованный Центральным Комитетом партии. Это были мужчины и женщины от юношеского возраста до седых стариков. Все, конечно, в штатской одежде. По заданию ЦК КП(б)У и штаба КиУРа их прикрепили на питание к нашему батальону. В остальном, они батальону не подчинялись. Расположились рядом в лесу. Только их командир приходил к нам на совещания к нашему командиру и комиссару для координации действий.

Через несколько дней командир батальона майор Метелев заболел, его отправили в Киев в госпиталь, а командование батальоном перешло к начштаба Колибабе. Военкому пришлось в голову сделать вылазку в Гостомель и дальше в сторону Ворзеля, Клавдиева. Был сформирован отряд, человек двести из бойцов 1-й и 2-й рот и частично из группы партизан (человек сорок), под командованием командира 1-й роты Климака.

В один прекрасный день, а вернее, ночь этот отряд перешел Ирпень по Гостомельскому мосту и двинулся вглубь территории, занятой немцами. Где-то они встретились с немцами, и завязался бой, в результате которого было убито наших человек пятнадцать, в том числе и лейтенант Кошмак, и ранено человек до сорока. Какие

потери понесли немцы, сказать никто не мог. Известно было только, что этот отряд ни из одного населенного пункта немцев не выбил, ни одной, как говорят, «высоты» не взял, и вообще вся эта авантюра с «вылазкой» была неудачной.

И. о. командира батальона так и писал в своем донесении. Комиссар, по чьей инициативе высылался отряд, писал полнейшую противоположность. Наши доблестные войска, хоть и понесли незначительные потери, но выбили немцев из таких-то и таких деревень, население встречало освободителей радостно. Немцы понесли потери до двухсот человек ранеными и убитыми, и т. д., и т. д.

При штабе батальона находился взвод связи, была телефонная связь со всеми ротами. Ежедневно из Киева на легковушке «эмке» приезжал офицер связи, привозивший приказы КиУРа, ежедневно из «тыла» (Киева) приезжала машина с хлебом и другим продовольствием. В связи с ежедневной бомбежкой лагерного городка в Мостище штаб батальона рассредоточился: строевая и оперативная часть в одном домике, «тыл» (хозчасть) в другом, резиденция командира и комиссара в третьем. Все эти домики были расположены в разных местах. Многие бойцы из «тыла» или связисты-киевляне просились в увольнения, поехать с хлебной машиной в город — проведать родственников. Увольнительные записки выдавал помначштаба Верховский.

Один раз у него попросил поехать в Киев один красноармеец-нестроевик из «тыла». Было 12 часов дня. Верховский разрешил выписать ему увольнительную до 18 часов. Машина должна была идти в город где-то около 2-х часов дня. Увольнительную писал я, и когда проставлял время возвращения, подумал: машина до города будет идти часа полтора, да назад еще полтора, да этому красноармейцу еще в городе добираться домой и назад, какое же это увольнение, и проставил в увольнительной срок возвращения — 18 часов завтрашнего числа. Верховский ничего не сказал, подписал, приложил печать, и красноармеец, поблагодарив, ушел. Я об этом пишу, так как месяца два спустя я встречался с этим красноармейцем при других обстоятельствах, и он вспомнил этот случай и выручил меня из одной беды.

20-го августа я решил попросить разрешения самому съездить в Киев. Меня интересовало, как у нас в Жилуправлении, кто остался, хотел заехать домой — в сохранности ли все, посмотреть, какая в городе обстановка. Мы уже знали, что наступление немцев со стороны Василькова отбито, и в городе как будто стало тише, да и здесь, на Ирпене, немцы кроме артобстрелов и бомбежек серьезных попыток прорваться к Киеву пока не делали.

Машина ехала за хлебом в 10 часов утра, и должна была вернуться к 4 часам дня. Хлеб должна была брать на хлебзаводе на Воздухофлотском шоссе против роддома, где родился Юрочка. Увольнительную мне Верховский дал, и я в полном снаряжении с винтовкой, к которой я уже так привык, что не выпускал ее из рук, поехал в город.

Когда мы подъехали к хлебзаводу, было около 12 часов дня. Там оказалась большая очередь машин. По расчетам водителя ему предстояло получить хлеб часам к четырем. Я договорился, что буду к 3-м часам. Он обещал ждать меня до 4-х часов.

Я удивился спокойствию в городе. Все магазины были открыты, ходили трамваи, а на Крещатике даже красились фасады домов. Было много военных, но паники, сутолоки, скопления танков или другой военной техники не было. О войне напоминали только противотанковые заграждения на главных магистралях — крестовины из рельс. На работе в Жилуправлении я застал начальника ЖУ т. Левенштейна, нач. эксплуатационного отдела т. Титова и одну бухгалтершу, (забыл фамилию). Меня расспрашивали, где я нахожусь, что делается на фронте, каково настроение. Я был уверен, что Киева мы немцам никогда не сдадим, говорил с воодушевлением об этом, в свою очередь расспрашивал, как дела здесь, в городе. Титов сказал, что сейчас более или менее спокойно, но было очень туго, немцы были на Сталинке, в Голосеевском лесу, что сейчас их отогнали до Василькова. В заключение сказал:

— Ох, как бы мне хотелось сейчас быть не здесь, в Жилуправлении, а на фронте — с армией.

Они остались в Киеве до конца, и в первый же день прихода немцев попали в их лапы и были расстреляны. Это я узнал много

времени спустя, а пока, пока Левенштейн выдал мне мою трудовую книжку, бухгалтер выдал причитающуюся зарплату за несколько дней июля, а Титов снабдил меня десятком пачек папирос, и мы распрощались. Я торопился домой на Рейтерскую.

Дома Августа Григорьевна Дмитрук дала мне связку ключей, и я быстро подобрал ключи к замку нашей комнаты. Было все в относительном порядке, хотя и заметны следы поспешного отъезда Ани с Юрочкой. Аня, всегда такая аккуратная, конечно, не могла все прибрать перед отъездом. Меня с новой силой охватила тоска, и непроизвольно подкатил комок к горлу, а на глазах появились слезы. Я подошел к тумбочке, где в ящике лежали фотокарточки. Отобрал несколько Аниных и Юриных фото, бережно завернул в бумагу и спрятал в бумажник. Открыл дверцу шкафа, где в боковом отделении хранились продукты. Увидел пачку сахара-рафинада. Вспомнил, что мне в армии не хватало сахара, нам выдавали с утра по одной столовой ложке на весь день, и по вечерам я пил чай почти без сахара. Взять эту пачку или нет, а вдруг Аня скоро вернется, но пачек было три. Поколебавшись, я взял одну пачку. Тут же стояли банки с вареньем. Я взял еще банку своего любимого вишневого варенья, решил угостить штабных работников. Анечка, дорогая, прости меня за это, — думал я, но я оставляю тебе еще с десяток банок и клубничное, и прошлогоднее вишневое и черно-смородиновое, и абрикосовое, а я только одну самую маленькую банку вишневого варенья взял... Нагрузившись, я запер комнату, отдал ключи Августе и поспешил к хлебзаводу.

У хлебзавода я нашей машины не застал, хотя было только четверть четвертого. Я прождал до 4-х часов. Машины не было. Я решил, что это не временная отлучка, а машина ушла в Мостище. Это километров двадцать. Как добираться? Пешком я за два часа не дойду, а опаздывать не имею права. Я вспомнил, что до Пуща-Водицы ходит трамвай, а там с последней остановки через лес до Мостища километров 2 или 3. И я решил ехать на Подол и дальше трамваем до Пуща-Водицы. Я так и сделал, хотя на все путешествие потратил все равно около 4-х часов и прибыл в штаб к 8 часам вечера. Но все обошлось благополучно, и Верховский только покачал головой, но ничего не сказал.

На следующий день немцы из-за Ирпеня особенно сильно бомбили, а на рассвете артогнем обстреливали Мостищенский городок. Два снаряда попали и в штаб батальона, но, к счастью, человеческих жертв не было. Мы через офицера связи получили приказ КиУРа перебраться километров на восемь в сторону, в лес за деревню Мощун. Вторую половину дня мы паковали в ящики штабное имущество, имущество хозчасти («тыла»), санчасти, и с наступлением темноты, обогнув село Горенку, потом хутор Яблоньки и село Мощун, прибыли на участок густого леса за селом Мощун, где и расположились, а на другой день начали рыть блиндажи для штаба, и в нескольких десятках метров — для комбата и комиссара.

«Тыл» со своими подразделениями ОВС (обозно-вещевое снабжение), ПФС (продовольственно-фуражное снабжение), снабжение вооружением и боеприпасами — расположились в километре в сторону Пуща-Водицы в глубине леса, не доходя хутора Яблоньки, а в полукilометре от нас на берегу реки Ирпень стояла 2-я рота. Справа от нее — минометная команда и еще дальше — 1-я рота. Слева линию передовых позиций занял истребительный отряд, а затем 3-я рота.

Между всеми этими подразделениями были абсолютно пустые участки передовой линии, без всяких укреплений или заграждений и без единого бойца, протяженностью один-два километра. Оборона вдоль реки Ирпень, таким образом, от Демидовского моста до Гостомельского, общей протяженностью до 16 километров, была явно недостаточна, о чем Колибаба писал в КиУР в своих донесениях, прося подкреплений. Тем более что в нашей минометной команде было до трех десятков минометов полкового калибра, но не было мин. Не было мин и для маленьких ротных минометов, не было еще также и пулеметных лент. Все наше действующее вооружение состояло из винтовок, гранат и бутылок с противотанковой жидкостью.

В село Мостище на охрану Гостомельского моста пришел 28-й горнострелковый полк. Таким образом, наш левый фланг имел уже «соседа». Справа же от нас, если не считать одного ДЗОТа у Демидовского моста, до самого впадения реки Ирпень в Днепр

никого не было. И никто обороны в этом месте не держал. О слабости нашей обороны в районе реки Ирпень немцы, конечно, ничего не знали, иначе не преминули бы этим воспользоваться. А пока, заняв всю территорию левого берега Ирпеня, они продолжали ежедневно прощупывать лес беспорядочным артобстрелом и ежедневной бомбежкой с самолетов, но так как нам нечем было ответить, мы молчали, не выдавая себя, соблюдая все правила маскировки, а все снаряды, бомбы и мины рвались в лесу, не принося нам ущерба.

Единственное, что могло выдать нас, — это группа партизан. Эта группа, человек более полутысячи, среди которых добрая половина были женщины, расположилась рядом в лесу. Люди устроили шалаши, неглубокие землянки, а на день, естественно, выходили прямо в лес, и так как одежда их была самая штатская, разноцветная, зачастую белая, а не защитно-зеленого цвета, как у красноармейцев, — скопление их в одном месте немцы могли легко обнаружить с самолетов. Через их расположение протекал какой-то ручей, и они занимались стиркой белья и развешивали на сосенках свое белье. Колибаба нервничал, ругался с командиром отряда, но партизаны нам не подчинялись. Колибаба писал в КиУР, ЦК КП(б)У, но положение оставалось прежним.

Между тем, настал период дождей, похолодало, у нас были хоть шинели, а партизаны одеты были по-летнему. Колибаба настоятельно требовал в КиУРе и ЦК партии выделить для партизан гражданскую мужскую и женскую теплую одежду, и в первых числах сентября наш «тыл», наконец, привез из города несколько грузовиков с серыми и черными телогрейками, ватными штанами, кирзовыми сапогами, штатскими мужскими и женскими пальто, куртками. Для партизан это было настоящим праздником. Они потом дня три примеряли и делили это имущество между собой. Настроение у всех поднялось.

У нас жизнь вошла в какую-то колею. Каждый день одно и то же. Утром с рассветом безрезультатный артобстрел, потом, часов в 8 утра, три-четыре немецких самолета сбросят в лес свои бомбы, и до завтрашнего утра — тихо. Затем пом. начштаба по оперативной

части лейтенант Гончар в блиндаже связистов собирает донесения командиров рот и других подразделений, составляет оперативную сводку, а к 2 часам дня приезжает из КиУРа на «эмке» офицер связи, привозит очередные распоряжения из Киева, забирает наши донесения, и едет в Киев. Ежедневно вечером Гончар вторично обзванивает роты и берет сводки за день. Поздно вечером, часов в 10–11, снаряжается два-три разведчика, которые должны в полночь вброд отправиться на другую сторону Ирпеня, в расположение немцев, разведать, какие там стоят силы, какое вооружение, и к рассвету вернуться в штаб батальона. Разведчики иногда приносили кое-какое трофейное имущество, и даже оружие — автомат, противогаз, личные документы и вещи. Это говорило о том, что иногда разведчикам приходилось вступать в соприкосновение с немцами. Когда разведчик приносил документы — мы приглашали переводчика от партизан. К сожалению, в штабе батальона не было человека, знающего немецкий язык.

Переводчиком штаб партизан всегда направлял к нам молодую девушку, попавшую в группу партизан по путевке Сталинского (Донецкого) горкома комсомола. Из этого я заключил, что этот отряд партизан сформирован не из киевлян, а в областях, расположенных далеко в тылу. В этом была видна роль компартии в деле организации борьбы с фашистскими захватчиками не только силами регулярной армии, а и силами подполья и партизан. Я почему-то вспомнил банку вишневого варенья, которую я привез из Киева, пожалел, что вместе с писарями и другими работниками штаба батальона съели эту банку в течении трех-четырёх дней. Вот, подумал я, поберег бы, и угостил бы эту девушку...

5-го сентября верховный главнокомандующий Сталин издал приказ о введении в армии ежедневной выдачи каждому бойцу частей, расположенных не далее 15 километров от линии фронта, по 100 граммов водки. Стали перед обедом и нам привозить водку. В приказе было сказано, что кто не хочет пить, может отказаться, но нельзя водку передавать другому.

Я этим приказом был возмущен. Вся пропаганда в армии велась, что немцы пьянствуют, перед боем их напивают, и они оголтело

лезут вперед, проявляют зверство, что мы должны противопоставить фашистам не отуманенный алкоголем разум, а здравый рассудок, и т. д. И вдруг нашим солдатам ежедневно — водка. Я не пил никогда, к водке меня не тянуло, и я легко отказался принимать свою порцию. Так продолжалось несколько дней, но вдруг меня вызывает в свой блиндаж комиссар.

Должен сказать, что комиссар был отрицательный тип, о нем ходили разные слухи, что он спутался с одной врачихой, уединялся с ней вглубь леса, что их вместе видели пьяными и т. д. Я не обращал на это внимания и считал, что это просто слухи, и мы его просто невзлюбили за ту неудачную вылазку. Я явился к комиссару и сразу увидел, что он пьян вдребезги. Когда я представился по форме, дескать, писарь Худяков прибыл по Вашему приказанию, он заплетающимся языком спросил меня:

- Ты приказ Сталина о «ста граммах» читал?
- Я не читал, но нам его прочли, и я знаю этот приказ.
- П-почему же ты отказываешься, и не б-б-берешь свои сто грамм?
- В приказе, товарищ комиссар, сказано, что кто не может пить, имеет право отказаться, — ответил я.

Комиссар, между тем, открыл тумбочку своего стола и достал полный стакан водки.

- Н-на, п-пей, в-весь!

Я вижу, что комиссар пьяный. В голове мелькнула мысль, — от-кажусь, еще застрелит, скажет потом, что я хотел документы у него выкрасть, или напал на него. Пошел он к черту, связываться с ним. Лучше не раздражать его. Я молча взял стакан:

- За ваше здоровье, — сказал, зажмурил глаза, и залпом, не отрываясь, выпил целый стакан. Комиссар, между тем, из той же тумбочки достал ломтик хлеба величиной со спичечную коробку и кусок жирной селедки — астраханский залом.
- Закусывай! И чтобы больше не отказывался, а пил, как все. Понял?
- Благодарю вас, товарищ комиссар. Понял, — ответил я.
- Можешь идти.

Я повернулся и вышел. Пока я дошел до блиндажа штаба, почувствовал, что водка меня стала разбирать. Ребята спрашивают — зачем вызывал комиссар.

— Налил мне полный стакан водки и заставил выпить.

Раздались голоса:

— А он всех будет вызывать? Вот была бы лафа!

Но я уже говорить не мог. Присел на нары и заснул. Работать уже не мог. Оставшиеся дни, что мы пробыли там, в лесу, я от своих «ста граммов» не отказывался.

Где-то в эти дни немцы решили овладеть Демидовским мостом, пустили по мосту своих мотоциклистов, те на ходу сбили небольшую охрану, выставленную нашей 1-й ротой, и десятка два мотоциклистов рванулись по шоссе в сторону Киева.

Крайние окопы, где стоял 1-й взвод этой роты, подходили к самому шоссе, но утренней бомбежкой и артобстрелом они уже были разрушены, и в живых осталось всего несколько человек, в том числе один красноармеец по фамилии Нилва, бывший парикмахер, никогда не служивший в армии и не умевший обращаться ни с каким оружием. Еще когда я был в 1-й роте, он старательно изучал винтовку, пулемет, гранаты. По другую сторону шоссе был выстроен ДЗОТ, прислуга которого нам не подчинялась, а входила в состав какой-то другой части. Бойницы ДЗОТа были направлены на мост и на шоссе. Там были и пулеметы. Этими пулеметами можно было полностью закрыть проезд через мост, но при появлении мотоциклистов прислуга ДЗОТа разбежалась, и единственное существенное прикрытие моста пустовало. Тогда из развалин наших окопов выскочил Нилва, под носом у мотоциклистов и под их автоматным огнем перебежал шоссе, заскочил в ДЗОТ, и там внутри, перебегая от бойницы к бойнице, открыл стрельбу из пулеметов по мчащимся по мосту немецким мотоциклистам. Сбив нескольких, он создал пробку, так как на сбитые машины налетело с разгону еще несколько. Короче говоря, Нилва один отбил атаку. Те же, что проскочили в сторону Киева, надо полагать, были уничтожены где-то на второй линии обороны, впрочем, не знаю.

Нилва был у нас героем дня. Его представили к награде, кажется, ордену Красной Звезды. Но события вскоре пошли так быстро,

что я, да и никто не знает, дошло ли представление в верхние инстанции, да и жив ли сам Нилва.

Немцы стали более активно обстреливать артогнем расположение не только первой роты, а второй и третьей. Каждое утро артподготовка продолжалась не менее часа, а с рассветом вылетали стаи самолетов, пролетавших низко над лесом и сбрасывавших бомбы. Но наши войска были так рассредоточены, что жертв почти не было. За все время с 10-го по 18-е сентября было убито что-то человек пять и человек десять-двенадцать ранено. В расположении же штаба жертв не было.

Немцы кроме осколочных снарядов, мин и бомб стали забрасывать к нам и мины, начиненные агитлистками, призывающими сдаваться в плен. Мне запомнилась одна листовка, на которой был портрет молодого советского лейтенанта, а внизу этот же лейтенант в кругу немецких офицеров сидел за столом, накрытым белой скатертью. Стол был уставлен бутылками с вином, шампанским и всякими закусками и фруктами. В тексте листовки было написано, что этот русский лейтенант — сын Сталина. Он был недоволен политикой отца, и не захотел воевать против «великой немецкой нации, несущей действительную свободу и новый порядок в Европу и добровольно перешел на сторону немцев». Дальше в листовке говорилось, что всех, кто перейдет на сторону немцев, ждет такая же судьба, то есть сытая жизнь, хорошая работа и все другие человеческие блага. Сволочи, гады фашистские. Мы еще тогда не знали всех тех зверств, какие творили немцы на нашей земле, ни в какой «новый порядок» не верили, смеялись над их примитивной, неграмотно написанной агиткой, и ненависть к фашистам у нас только росла, и уж никак никто не помышлял о сдаче в плен. Не знали мы еще, что судьба нам уготовила это самое страшное испытание.

Сейчас, слушая по телевизору рассказы ветеранов войны, читая газеты и художественную литературу, просматривая кинофильмы, посвященные войне, видишь ясно, какой беспримерный в истории человечества подвиг совершил наш народ, разгромив фашистскую Германию. Но почти нигде, ни в литературе, ни в кино, ни в рассказах не фигурируют первые месяцы войны. Все отделяются общи-

ми фразами — «неожиданное нападение», «отступление», мы познали горечь поражения, и тут же говорят или пишут или показывают отдельные эпизоды героизма. Да, они были. Мы сейчас знаем и Брестскую крепость, и несломленный Ленинград, и героическую защиту Одессы, Севастополя, и поражение немцев под Москвой, и много других фактов, говорящих о действительном героизме советского народа. Но о фактах головотяпства, полной беспечности в приграничных военных округах, ошибках и неумении руководить большими операциями среди высшего военного командования, — об этом не пишут, не рассказывают и этого не показывают. Все грехи сейчас перекрываются конечным результатом — полной победой, водружением знамени в Берлине на здании Рейхстага...

Я, конечно, не вправе обобщать все, что произошло в первые месяцы, да и в 1942 году, когда немцы подошли к Сталинграду, когда начали занимать Кубань, Северный Кавказ, но как-то сама по себе проступает горечь за те первые месяцы войны, за те сотни тысяч наших красноармейцев и младших командиров, попавших в плен в Киевском окружении.

Находясь на берегу реки Ирпень, мы узнали, что командующим Юго-Западным фронтом назначен маршал [С. М.] Будённый. Мы все любили и уважали Будённого, но понимали, что этот полководец, воевавший в гражданскую войну в кавалерии, верхом на лошади, для такой войны, где участвуют тысячи танков и самолетов, уже устарел. Много времени спустя мы увидели, что советский народ выдвинул новые имена полководцев — [Г. К.] Жукова, [И. С.] Конева, [К. К.] Рокоссовского, [Н. Ф.] Ватутина и многих, многих других, восполнивших и жертвы, нанесенные периодом культа личности, и просчеты самоуверенного, самонадеянного, самовлюбленного и недоверчивого Сталина. Но это все потом, а в то время мы были слепы, и нам оставалось только недоумевать, удивляться и беспрекословно подчиняться, хотя бы ценой своей безвременной гибели.

Но вернусь к самым тяжелым воспоминаниям.

Наступило 18-е сентября. Еще ночью немцы на всем протяжении нашей линии обороны открыли ураганный огонь из орудий, но так как у нас были участки по 100–200 метров совершенно без единого

бойца, этот артобстрел, как и всегда, вреда нам не приносил. Исключение составило то, что с первой ротой прервалась телефонная связь. Послали ночью двух связистов в первую роту, если удастся, восстановить связь, хотя ночью найти место, где порван провод, почти невозможно. Часов в 6 утра послали еще двух связистов, но вот уже 7, 8 часов утра, но ни первые два связиста, ни вторые не возвратились, и мы ничего не знаем, что там делается, хотя артобстрел с той стороны не прекращается. Связались по телефону с 28-м горнострелковым полком. Ответ: «К вам послан связной, все передаст на словах...»

Через полчаса прискакал связной из штаба 28-го полка. Не слезая с лошади, доложил нашему начштаба (и. о. командира батальона):

– Полк получил из Киева приказ сняться с позиций, оставить Гостомельский мост и, не вступая в боевые действия с немцами, отступить через Киев на левый берег Днепра.

Колибаба сказал:

– Давайте донесение.

Связной ответил:

– Приказано передать устно.

Сказал это, повернул лошадь и ускакал. Мы ждали офицера связи из Киева, который приезжал на «эмке» всегда часам к 10 утра, но офицера связи не было. По телефону штаб КиУРа не отвечал. Чувствовалось, что-то случилось грозное. Колибаба пока что дал распоряжение тылу и санчасти погрузить на машины боеприпасы, продовольствие, выслать несколько машин к штабу батальона, а ротам продолжать держать оборону, подготовиться к тому, чтобы за 10–15 минут быть готовым отойти.

В час дня приехал офицер связи и привез приказ КиУРа. Коротко приказ гласил: 18 сентября в 3 часа утра сняться с позиций, не входить в боевые действия с немцами, двигаться через хутор Яблоньки на село Великие Петrivцы, а оттуда по шоссе в Киев. В Киеве через Куреневку, Подол, по Набережной к мосту [им.] Евгении Бош (Цепному), перейти мост, и вправо от моста — в Кухмистерскую слободку. Там ожидать, пока пройдут все воинские части, и в хвосте, в виде прикрытия двигаться в сторону Дарницы. Дальнейшие указания будут даны в Дарнице.

Все ясно, как и полагается в военном приказе. Не ясно только, почему мы получили приказ в час дня. В это время мы в составе всего батальона были бы уже в Кухмистерской слободке, а в 3 часа утра мы были только разбужены в своих землянках и блиндажах сильным обстрелом со стороны немцев, делали отчаянные попытки связаться с первой ротой, и приняли только самые осторожные меры к отходу лишь после приезда вестового из 28-го полка.

Как выяснилось позже, наша первая рота была вся уже полностью разгромлена, и на ее территории уже хозяйничали немцы. Спаслись считанные люди, в частности, повар с походной кухней, который по приказу командира роты, когда началась рукопашная, — отъехал на своей машине вглубь леса на какой-то километр, а позже, когда увидел, что от роты ничего не осталось, выехал на шоссе с десятком бойцов и застрял где-то между селом Великие Петrivцы и Вышгородом. Там мы его и обнаружили.

Мы же, погрузив на машины имущество штаба батальона, узла связи, имущество политчасти, санчасти, обождали с часок, пока подтянулись отступающие 2-я и 3-я роты, истребительный батальон и другие подразделения (разведрота, саперная часть, химкоманда) и, пропустив их вперед, сами двинулись в хвосте колонны.

У нас было около двадцати машин. Командир батальона Колибаба с комиссаром ехали впереди пеших колонн, как и полагается, соблюдая все правила предосторожности, то есть, высылая вперед дозоры. Дозоры из бойцов шли по бокам нашей вереницы на расстоянии примерно 100 метров. Проезжая через участок леса, где был наш «тыл», мы обнаружили, что тыл уже снялся и, не связанный с пешими бойцами, уже покинул свою стоянку. Связь с командиром батальона поддерживал помначштаба по строевой части Верховский, который где-то раздобыл верховую лошадь, и все время ездил от нас к Колибабе и назад.

Нашу группу машин возглавлял второй помначштаба по оперативной части лейтенант Гончар. Он сидел рядом с шофером в кабине, а мы — писаря — в кузове полуторки. Кроме семи-восьми человек писарей к нам в грузовик была погружена несоргаемая касса комиссара, два или три несоргаемых сундука с делами

штаба, моя пишущая машинка и с десятков ящиков с патронами и гранатами.

Подъезжая к опушке леса перед селом Великие Петrivцы, прискакавший от комбата Верховский объявил, что в Великих Петrivцах немцы, и нам необходимо свернуть в сторону Пуща-Водицы, пробираться лесом, и уже потом выехать на Дымерское шоссе. Строй нарушился. Пешие подразделения пошли одной дорогой. Мы же по бездорожью в лесу тоже разблелись, и каждый шофер как мог стал выбираться в сторону Пуща-Водицы, понемногу прижимаясь все ближе и ближе к шоссе. Когда мы подъехали к шоссе, наших машин было уже не двадцать, а что-то половина. Выехали мы на шоссе где-то возле Вышгорода. Шоссе было запружено какими-то другими машинами, артиллерией, повозками других воинских частей, видно, второй линии обороны. Там же мы увидели и походную кухню первой роты, и от повара и сопровождавших его бойцов узнали о судьбе первой роты. Мы были голодны, но кухня оказалась пустой. Бедный повар в этот день не смог даже приготовить завтрак, не говоря уже об обеде. Пожевав всухую хлеб, выданный нам с утра, мы этим и ограничились.

Вклиниться нам всем вместе в вереницу отступающих не удалось, и наши машины 2-го ОПБ проскальзывали вразброд, а наша штабная машина уже ехала, окруженная машинами других частей.

Так мы доехали до Куреневки, до железнодорожной насыпи. В этом месте создалась невообразимая пробка, причем характерно, что стояли машины самого различного назначения, — пожарные, скорой помощи, грузовые, легковые, артиллерия, санитарные, — все самых различных частей. Двигаться было невозможно, ни на один шаг, а предстояло в этой каше проехать всю Куреневку, весь Подол, Набережную. Где наша пехота, где наш «тыл», где остальные машины, ехавшие со штабом, а главное — где командир ОПБ с комиссаром, — никто не знал. В довершение всего мы узнали, что мост [им.] Евгении Бош взорван, и мы отправимся по железнодорожному Подольскому мосту, а сейчас делается въезд на насыпь, и по мосту укладываются доски. Надо ждать, и мы ждали до 10 часов вечера.

А пока пробка росла. К этому пункту прибывали новые и новые машины и техника, едущие со стороны Дымерского шоссе. Со стороны города пробка была уже не только у насыпи, но на несколько кварталов, а может, и километров, и растянулась по обе стороны от насыпи. Вперемешку с машинами и техникой слонялись тысячи пехотинцев, но все попытки Гончара найти кого-нибудь из 2-го ОПБ не увенчивались успехом. Все были из самых различных частей, но не из нашего батальона.

Стемнело. Над городом полыхало в различных местах зарево от пожаров. Что горит? Где? Может, уже и наш дом горит или сгорел? Невыносимая боль сжимала сердце. А мы клялись не сдавать Киев. Сколько здесь оружия, боеприпасов, сколько войск. Впрочем, на войско мы не похожи. Мы здесь похожи на растерянное стадо баранов. Бежим из Киева, а могли бы сражаться. Что будет дальше? Гончар успокаивает нас. Ничего, в Дарнице разберемся.

По насыпи прошел санитарный поезд, держа курс на Дарницу. С интервалом 100 метров прошел второй. Поезда шли медленно, без привычного шума, даже паровозы не пыхтели и не дымили. Шли, как бы крадучись: а вдруг налет немецкой авиации. Но налета не было. Над мостом в воздухе кружились три наших истребителя. Охраняли переправу. Это вселяло в нас какую-то бодрость.

Наконец, наша машина осторожно взбирается на насыпь, медленно в потоке других машин въезжает на железнодорожный мост. Фары потушены. Надо ехать осторожно, чтобы колеса не свернули с проложенных по шпалам досок.

Мы все сидим молча, погруженные в свои мысли. О чем мы думаем? Каждый — о своем. Я чувствую, что у меня по щекам катятся слезы. Говорить я не могу совсем. Киев, дорогой моему сердцу Киев. Здесь я прожил лучшие годы своей жизни. Здесь родился Юрочка. Мой родной Юрасик, моя Анечка, где они сейчас? Что с ними? И опять Киев... Еще недавно мы ходили по его зеленым улицам, а сейчас только кроваво-красное зарево в десятках мест над городом. А что в городе? Может, уже немцы? Впрочем, они на ночь не решатся вступать в город. Но почему мы все-таки бежим? Не отступаем, а в буквальном смысле слова — бежим. Что же все-таки произошло?

Последние газеты нам привезли в лес за 17-е сентября. Газета — орган ЦК КП(б)У — «Комуніст». Адрес редакции указан: Киев, ул. Воровского, 24, хотя связист, привезший газеты, сказал, что редакция и экспедиция находятся в Броварах. Газета сообщает, что в Киеве на 17-е число назначено в Оперном театре собрание партийного, профсоюзного, комсомольского и хозяйственного активов. Помещены статьи о том, что Киев хорошо укреплен, что имеется много всякого оружия, боеприпасов, а продовольствия в городе имеется на два года, и что Киев никогда не будет сдан немцам. На последней странице напечатаны различные объявления — продолжается прием в различные вузы и техникумы... А штабы уже размножили приказы об оставлении Киева в ночь с 17 на 18 сентября.

И вот мы «отступаем». Но мы рядовые, маленькие люди. Нам не положено знать ни больших стратегических, ни тактических планов. Нам положено выполнять приказ старшего командования. Но мы люди. Живые люди, и хотим все знать. Единственный наш начальник — лейтенант Гончар, хотя и помощник начштаба ОПБ по оперативной части, знает не больше нашего и, хотя он отлучался от машины и разговаривал с другими командирами отступающих частей, но, видимо, и им ничего не было известно, так как нового ничего он нам сказать не мог. А мысли гнетущие, разрывающие сердце, продолжают терзать душу. Почему? Как так, наш родной Киев завтра будут топтать железные сапоги фашистов. И опять — Анечка, Юрасик... Ведь твое последнее письмо, датированное еще июлем месяцем, я получил в конце августа... Где вы теперь, что с вами? Слезы текут и текут по щекам. Смотрю на сосредоточенные, угрюмые лица солдат, освещенные багровым заревом, вижу и у них на глазах и щеках блестят слезы. Вижу примкнутые к винтовкам штывы, тоже красные от зари.

Мост проехали. Проехали еще с пару километров. На шоссе пробка. Машины стали. Стоим долго. Пропускаем понтоны, едущие навстречу к Днепру. Было около полуночи.

— Значит, будут взрывать и этот последний железнодорожный мост, — говорит Гончар, и как бы в подтверждение его слов слышим взрывы. Порвалась последняя нитка, связывающая нас с Киевом.

Впрочем, — не последняя. Повезли понтоны, их много, штук тридцать. Значит, на той стороне еще много наших, которым надо дать возможность уйти из Киева. Ну, ничего, сволочи фашисты. Вы еще поплатитесь. Да, у нас бестолковщина, может, даже паника, но все образуется. Мы скоро вернемся, и вы за все оплатите, вы все восстановите.

Мы повылезали из машины и стали прохаживаться вдоль колонны — размять ноги. Я отошел подальше. Вдруг слышу голос:

— Худяков! Это ты? Где ваша машина? Кого видел из нашего ОПБ?

Смотрю — писарь из нашего «тыла» со странной фамилией Отц. Сам он студент какого-то Харьковского института. Мобилизован, направлен в Киев и попал в наш ОПБ. Я его почти не знал. Видел всего раза три и запомнил фамилию только потому, что она очень странная. Меня же он запомнил, потому что я в штабе ОПБ занимал все-таки выдающееся место: печатал на машинке. У него я узнал, что «тыл» выехал на часок раньше, и поэтому все машины там, где-то впереди и что он с группой работников «тыла» также одиноки со своей машиной. Видя, что я говорю с трудом, глотая слезы, он протянул мне флагу:

— Выпей, только половину оставь мне. Это поможет тебе немного успокоиться.

Фляга — 0,7 литра. Во фляге — водка. Я заколебался. Стоит ли? Найду ли я после свою машину? Но все-таки решил выпить. Может, не так остро буду воспринимать это отступление. Приложился к фляге и залпом выпил грамм двести (это стакан). Ничего не почувствовал, кроме того, что по телу разлилась приятная теплота. Поговорил немного с Отцем и вернулся к своей машине. Никакого опьянения не почувствовал. Рассказал Гончару, что я обнаружил одну нашу машину «тыла», забрался в кузов на свое место и уже не вылезал до рассвета.

Ехали мы до Дарницы почти до утра. Смешно сказать — каких-нибудь 10 километров ехать на машине почти 5 часов. Впереди то и дело возникали пробки, и машины останавливались, сбивались в кучи, стояли по полчаса.

В Дарнице мы остановились возле шоссе, ведущего в Борисполь. С одной стороны — густой сосновый лес, вперемежку молодняк со старыми соснами, с другой — заборы частновладельческих усадеб и домиков. Этот лесок был хорошим средством укрытия. Там начал собираться наш ОПБ. Расположились пехотинцы — бойцы 2-й и 3-й рот и других наших подразделений, собралось человек триста. Пришли машины санчасти, саперного взвода, связистов, «тыла» — всего с десятков машин, а также несколько машин с полковыми минометами. Появилась и машина командира ОПБ Колибабы и другая — комиссара, а также машина с походной кухней. Но она не дымила, значит, ничего не варилось. А мы все были голодные — вчера, то есть 18-го, просуществовали на дневной порции хлеба, и уже хотелось есть, пить. Ну, воду мы нашли быстро — напротив, в первой же хате, попросили у хозяйки набрать из колодца. Напились и наполнили себе фляги, а в отношении еды, нам обещали, что в походной кухне скоро сварят.

Нам подвезли и погрузили на машину спаренный зенитный крупнокалиберный пулемет и несколько ящиков с лентами для него. Это, если будет налет. В машине сделалось очень тесно. Писарь комиссара, некто Глазман, сказал:

— Ребята, вот если бы мы убрали несгораемую кассу комиссара, — мы могли бы разместиться, да и веса было бы меньше. Ведь это полуторка, а одна касса весит полтонны, а машина уже и так осела, кузов трется о колеса, и рессоры могут не выдержать.

— Да, но в кассе, как сказал комиссар, партийные документы, — возразил кто-то.

— Ничего подобного, — заявил Глазман. — Я то знаю лучше, что там. Партдокументы у него в сундуке, в легковушке, а здесь исключительно консервы — рыбные и мясные и банки со сгущенным молоком. Какого черта нам везти эти припасы для комиссара. Пока не было пулемета, куда ни шло, а сейчас так ехать нельзя. Кто пойдет к комиссару и спросит разрешения скинуть кассу? — Храбрых не нашлось. Все молча смотрели друг на друга и почему-то на меня. Тогда Глазман и говорит:

— Тебя комиссар поил водкой, ты пользуешься у него уважением, печатаешь его политдонесения. Иди и скажи, так, мол, и так, ма-

шина перегружена, а касса может послужить причиной аварии. Разрешите, мол, ее сбросить.

И я пошел. Застал комиссара, который учил в это время свою врачиху стрелять из ракетницы. Это в то время, когда мы место стоянки ОПБ маскировали в лесу.

Я на гражданской работе, еще в Жилсоюзе, в Жилуправлении привык, — если я прав, мне нечего бояться ни больших начальников, ни больших чинов, — я всегда отстаивал правду, и эту правду всегда бросал прямо в глаза. Ни председатель Горсовета, ни начальник Обл КК РКИ, ни прокурор своим положением меня не смущали. Я выложил комиссару нашу просьбу в отношении кассы. Тут же я увидел, что комиссар вдребезги пьян. Что же я получил в ответ?

— Ты кто? Машинист? Ну, так иди и печатай на своей машинке, и в мои дела не вмешивайся.

Мне оставалось только уйти. С пьяным спорить бесполезно, и я пошел к командиру Колибабе. Колибаба обещал сам поговорить с комиссаром, а пока посоветовал потесниться, потерпеть и одновременно распорядился снять с нашей машины лишний бочонок с бензином, несколько ящиков с патронами, распределив это по другим машинам, что значительно облегчило нагрузку.

А по шоссе в сторону Борисполя все двигались и двигались отступающие части. Шли пехотинцы, шли машины, — специальные, грузовые, легковые, — шла милиция, моряки Днепровской флотилии, шли гражданские лица — мужчины, женщины, дети. Я смотрел на них, и думал об Ане, Вере с Ильюшей и с пожилой больной матерью. Неужели и им так пришлось уходить из Днепропетровска или это только здесь в Киеве...

Часа в 2 дня задымила походная кухня. Значит, что-то варится, а в 4 часа дня выстроилась очередь. Повар первой роты выдавал каждому по куску вареной баранины и черпаку юшки. Оказывается, в лесу бродили чьи-то овцы. По распоряжению командира подстрелили одного барана, порубили на куски и вот дали нам поесть. Когда мы с котелками вернулись к своей машине, зав. канцелярии штаба, некто Рабинович, носящий 2 кубика, открыл свой чемоданчик, вытащил бутылку вина и налил каждому в кружку грамм по

50. Мы выпили и закусили бараниной, жирной и еще сыроватой, но так как все были голодны, — никто на это не обратил внимания. Наливая нам вино, Рабинович сказал:

— Берег я эту бутылку для другого более приятного случая, но теперь вижу, что впереди нас приятные случаи не ждут. Пока мы живы и все вместе — давайте, ребята, выпьем.

В его голосе звучало столько обреченности, столько печали, что никто больше никаких слов не произносил, и мы перекусили молча.

Появился Гончар. Наскоро показал нам, как обращаться со спаренным зенитным пулеметом, сказал, что если в пути налетят немецкие самолеты, то мы должны их обстреливать из этого пулемета, и что скоро мы двинемся.

Действительно, часов в 5 вечера наши пешие бойцы выстроились вдоль шоссе и, улучив момент, когда среди отступающих образовался интервал, вышли на шоссе и двинулись в Борисполь.

Впереди поехали легковушки Колибабы и комиссара. Наши же грузовые машины, хоть и выстроились гуськом, но въехать на шоссе и вклиниться в колонну отступающих все вместе не могли, а вклинились вразброд, так что мы, собрав в Дарнице едва четвертую часть нашего ОПБ, опять оказались в одиночестве. Было пасмурно, накрапывал дождь. Рано стемнело. Фар не зажигали и двигались очень медленно. Через каждые десять-пятнадцать минут — остановка. Впереди пробка. И так всю ночь.

К Борисполю подъехали только на рассвете, часов в 8 утра. Дождь перестал, и даже стало проясняться. Скоро и солнышко выглянуло. Но картина, какая предстала перед нашими глазами, была удручающая. Не только участок шоссе протяженностью с полкилометра до первых построек и усадеб Борисполя был в несколько рядов загружен транспортом, но и по обочинам в поле с обеих сторон стояли самые разнообразные машины, тягачи с орудиями, минометами, походные кухни, грузовики... Справа от нас тянулся забор военного аэродрома. Он был пуст, только вдали были видны груды обломков наших самолетов, разбитых бомбежкой прежде, чем они успели взлететь, да справа развалины четырехэтажных кирпичных

домиков, в которых жил летный состав. Мысль о том, что на всю эту отступающую кашу могут налететь немецкие самолеты, приводила нас в ужас, и как бы в подтверждение этой мысли мы услышали где-то впереди и справа грохот разрывов бомб. И хотя эти разрывы были довольно далеко, километра за три, там, за аэродромом, но мы ясно представили, что будет здесь.

В это время над нами появилась «рама» — немецкий разведывательный самолет. Значит, через 10–15 минут жди налета. Машины задвигались, одни стали пробиваться в Борисполь, но узенькая улочка, по которой проходило шоссе на Березань, имела очень малую пропускную способность, зато вправо шла грунтовая дорога на город Переяслав. Оттуда и слышна была бомбежка. Многие же машины начали просто разъезжаться и рассредоточиваться по полю. В это время забор, отделяющий аэродром, в нескольких местах был сломан, и часть машин ринулась на поле аэродрома. Нашей машины также удалось въехать на аэродром, который мы пересекли, и въехали в Борисполь сбоку, в какую-то узенькую улочку, по ней пересекли Борисполь и выехали в поле. Ни впереди, ни сзади машин не было. Вообще никого не было.

Отъехав километра два, Гончар решил дать нам возможность перекусить. Справа от нас — поле, засаженное картошкой, слева — скошенная и сложенная в копны пшеница, сбоку, вдоль дороги, протекает какой-то ручей или просто канава, наполненная водой. Накопали картошки и развели костер. У шофера нашлось ведро, правда, пахнущее бензином. Но, голод — не тетка. Обложили ведро необмолоченной пшеничной соломой и стали варить.

Тут подъехало из Борисполя еще несколько машин. Они также остановились, и по нашему примеру стали варить себе картошку. Вода в ведре еще не закипела, как вдруг где-то неподалеку раздались орудийные выстрелы, и в распоряжение наших трех-четырех машин стали падать снаряды. Один из них разметал костер одной из машин. Видимо, дым от горящей соломы, поднимающийся высоко к небу, послужил для немцев ориентиром для артобстрела. Но откуда здесь немцы? Киев мы оставили. Там они уже хозяйничают. Но здесь, за 40 с лишним километров, откуда они могли взяться? А

снаряды продолжали падать на этот небольшой участок, где мы варили себе картошку. Конечно, мы варку прекратили, быстро сели в свои машины и поспешно отъехали от участка обстрела. Но все-таки, — откуда немцы так точно взяли прицел даже на наши три или четыре машины? Как будто где-то сидит наблюдатель и корректирует огонь.

Когда мы еще только разжигали костер, со стороны Борисполя слышны были разрывы от бомбежки. Видно было, что немецкие самолеты не пропустили случая воспользоваться безнаказанно этой ситуацией, и громили наши отступающие части, но чтобы охотиться за единичными машинами, да еще не с самолетов, а наземной артиллерией, — это не укладывалось в голове.

Так или иначе, хотя поесть нам не удалось, но все остались живы и невредимы, и то хорошо. Гончар нам сказал:

— Не унывайте, ребята. Мы что-нибудь еще придумаем. Хорошо, что мы вырвались из Борисполя. Слышали, что там происходит?

Да, мы все слышали и все видели. Но, все-таки, откуда здесь немцы?

Подъехали к поезду через железную дорогу. На полотне стоит санитарный поезд, идущий из Киева. Почему стоит? Или путь впереди разрушен, или паровоз поврежден. Через окна видно, что поезд пустой. Вот бы пересечь и двинуть на Гребенку, а оттуда на Полтаву и Харьков или на Бахмач и Конотоп, в общем, на восток. Не может же быть, что такая неразбериха, паника и там. Мы по дороге видели столько войска всех родов оружия, а вот бежим, никакого сопротивления, а у нашего бедного Гончара даже карты местности нет, да и вообще у кого он ни спрашивал, — карт не было. Впереди дорога, а куда она? Ориентируемся по солнцу. А если пасмурно? Бежим на восток, а на востоке, надеясь попасть к своим, попадем к немцам... Да и вообще, откуда тут быть немцам?

На переезде к нам в машину пересело еще два раненых. У одного рука на перевязи, другой с забинтованной ногой на одном костыле. Говорят, что они последние из поезда, что немцы разрушили впереди полотно, что все раненые разбрелись куда-то. Более тяже-

ло раненых удалось разместить на ранее прошедшие машины. Еще несколько человек приняли машины, что с нами варили картошку. Мы переехали железную дорогу и выбрались на шоссе, что ведет в село Барышевку, как раз в тот момент, когда по этому шоссе подъехали со стороны Борисполя еще с десятков машин. Немцы начали обстрел артогнем уже это шоссе. Нам удалось проскочить благополучно, и километров через пять мы въехали в малую деревушку, не знаю, как она называется. В этой деревушке опять пробка, правда, небольшая, но — остановка. Дело в том, что при выезде из деревушки — маленький деревянный мост через речушку, а по мостику машины шли осторожно, с интервалом. За мостиком — луг с дамбой, по которой проложено булыжное шоссе. По левой стороне дамбы, метров на 100 — болото, за ним лиственный лес, по правой стороне тоже болото с копнами скошенного сена и в полукилометре тоже какой-то лесок. Из этого леска, а может быть из-за копен сена, шоссе на дамбе обстреливается немцами из пулеметов, поэтому машины едут с большими интервалами. Наконец, подошла очередь и нашей машине.

Едва мы проехали мостик и выехали на дамбу, по нашей машине немцы открыли пулеметный огонь. Машина резко повернула вбок и стала. По кузову стали бить пули. Все через левый борт прыгивали на дамбу, а оттуда вниз — в трясину.

Спрыгнул и я. Огляделся. Немцы стреляли трассирующими пулями, и видно было, как эти пули, в виде светящихся шариков, перелетали дамбу и падали где-то в начале леса или в болоте. Все, кто выпрыгнул из машины, поползли в чавкающей траве. Я ползти не захотел. Я решил, что эти 100 метров перебегу во много раз скорее, чем проберусь ползком. Кроме того, когда наша машина стала поперек шоссе, движение на нем остановилось, и немцы на какие-то минуты перестали стрелять, а если начнут опять стрельбу, то не по мне, одиноко бегущему солдату, а по машинам, которые ехали за нашей, и должны были помочь нашему шоферу выровнять свою машину, чтобы дать проезд другим. Позже я узнал, что одна из пуль, пробив боковое стекло в кабине, угодила шоферу в нос, срезав кончик носа. Будучи ранен, он непроизвольно крутил руль вправо, потом

резко влево, но успел затормозить, что дало нам возможность выпрыгнуть через левый борт, а машина стала поперек. Где был Гончар, сидевший рядом с шофером, и что он делал, я не знал.

Так как немцы перенесли огонь немного назад, на подъезжавшую следующую машину, я, опережая ползущих по болоту своих товарищей, добежал до леса.

Скажу, что делал Гончар. Он не пополз по трясине и не побежал. Он вернулся с шофером в эту деревушку, там сделал ему перевязку, затем набрал с десяток человек охотников и пошел в обход места, где засели немецкие пулеметчики. По его расчетам, там был всего один пулемет. Прячась за кусты и деревья, они подобрались к немецкому пулеметчику, возле которого был мотоцикл с коляской, а сам пулеметчик со своим подручным, спрятавшись за крайней к лесу копной сена, находясь в каких-нибудь 200–250 метрах от дамбы, преспокойно обстреливал наши машины. Стрелял он трассирующими пулями, и ему очень легко было брать прицел.

Окружив этих двух фашистов, наши бойцы их уничтожили и, взяв трофей — мотоцикл и пулемет, вернулись в село, освободив, таким образом, шоссе на дамбе.

Шофер, хоть и был ранен, но сел опять за руль. Увидев, что стрельба прекратилась, и что Гончар с шофером вернулись к машине, а по дамбе беспрепятственно едут другие машины, ребята, что ползли, также вернулись, и все благополучно поехали, кроме раненых. Они остались в селе.

Я же, вбежав в лес, обнаружил дикую грушу. Кругом валялось много падалок, и хотя мои карманы были набиты патронами, решил, что хоть грушами надо подкрепиться, съел с десяток этих коричневых пригвивших грушек, а затем, сколько смог, набил ими карманы и двинулся лесом вдоль луга.

Вместе со мной лесом шли такие же одиночки, так же, как и я, останавливались под грушами, чтобы хоть чего-нибудь поесть. Мне очень повезло. Пройдя километра полтора, я вышел в поле, и увидел, как по дороге движутся машины, едущие со стороны дамбы. Я подошел к шоссе и увидел нашу машину с Гончаром, перевязанным шофером и всеми ребятами из штаба ОПБ. Мы все обрадовались.

Но радость была еще большей, когда я опорожнил карманы, вытряхнув все груши. Все были голодны, и с удовольствием набросились на груши. Хоть что-нибудь попало в рот.

Подъехали к селу Барышевка. На поле с двух сторон шоссе были видны следы недавнего жаркого боя. Валялись трупы убитых немцев, стояло несколько перекинутых мотоциклов и даже одна подбитая легкая пушка. Тел наших бойцов не было. Видимо, часа 2 или 3 тому назад здесь столкнулись наши головные машины, отступающие в сторону Барышевки с передовой частью немцев, разбили их и освободили дорогу в село.

Наша машина, двигаясь в колонне других машин, наконец, въехала в Барышевку, но улочка была забита. Многие машины, ломая плетеные заборы усадеб, двигались по дворам и приусадебным огородам, но минут через 15–20 уже и там продвигаться вперед сделалось невозможным, и мы остановились. Гончар приказал нам никуда не расходиться, пошел через огороды, вышел на улицу и, пробираясь через скопления машин, скрылся из глаз. Он хотел разузнать обстановку впереди и разведать возможную дорогу. Дело в том, что сразу за селом, вернее, впритык к селу, проходила речка с болотистыми обеими берегами. Через болото и шла небольшая насыпь, метра два-три высотой, а через речку — мост, который был разрушен. Так как другого выезда из села не было, все отступающие части стали скапливаться на подъезде к этой насыпи и мосту. Пока что какая-то отступающая саперная часть орудовала над восстановлением моста. Гончар вернулся, рассказал нам все это, сказав, что стоять придется часа два, добавив:

— Лишь бы на эту кашу не налетели немецкие самолеты...

В это время над нами появилась зловеющая «рама», а что это такое, мы уже знали по Борисполю. Значит, жди бомбардировщиков. По «раме» раздалось несколько десятков одиночных выстрелов из винтовок, но она, как бы насмехаясь над нами, сделала круг и улетела.

А через минут пять на горизонте появилось девять пикирующих самолетов. Немцы летели довольно высоко, метров 600–700, сделали круг над нами, а затем, выстроившись по 3 в шеренгу, пошли в заход

на бомбежку. Первая тройка спикировала на переправу. Вторая и третья тройки пикировали прямо на село, на улочки, дворы и огороды, где стояло скопление машин.

Гром [от] разрывов бомб стоял невообразимый. Люди стали разбегаться. Пovyпрыгивали и мы, и стали рассредоточиваться по огородам. Некоторые стали под стенки селянских хат, как будто деревенская мазанка может спасти от бомбы. Я увидел одного бойца. Обезумевшее лицо, бледный как полотно, рот раскрыт, глаза выпучены, стоит, прижавшись к стенке хаты. Нет! Так я стоять не мог, и я выбежал на середину двора. Смотрю на небо. Все девять самолетов пошли на второй заход. Вот они уже развернулись, и опять по три рядом идут на нас. Первая тройка, заглушив моторы, резко пикирует вниз, стреляя одновременно из пулеметов. Я ясно вижу спины самолетов. Соображаю: значит, пули от пулеметов лягут где-то впереди, да и бомбы по инерции упадут там же. Ясно вижу, как на высоте 150–200 метров отделились от самолетов бомбы, как, ускоряя падение, они сделались невидимыми. Одновременно слышу резкий, завывающий, леденящий душу звук падающих бомб и одновременно свистящий звук включенных моторов взмывающих ввысь самолетов. И тут же, за просветами деревьев, вижу столбы черного дыма то ли от разорвавшихся бомб, то ли от горящих хат. В этом пронзительном вое и свисте нельзя даже разобрать, сколько бомб разорвалось. Гром разрывов слился воедино.

Но вот вторая тройка самолетов идет прямо на нас, но я вижу уже не спины самолетов, а брюха. Пикировать они начали прямо над головами. Значит, пулеметный обстрел и бомбы будут поражать цель за нами метров за 150–200. Но когда появилась третья тройка, то у центрального самолета я не видел ни спины, ни брюха, смотрел прямо на винт и видел только ребра крыльев и маленький кружок корпуса с торца. Мне даже показалось, что над кружочком высунулась голова летчика. Ах ты, сволочь! Думаешь, если не пулей, то бомбой собьешь меня. Я вскинул винтовку, быстро прицелился и выстрелил, прежде чем от самолета отделились бомбы, которые я видел несколько мгновений, а сам самолет, взвив, метнулся вверх. Для второго выстрела уже не было времени. Затаив дыха-

ние, я слушал вой падающих бомб. Мысль отчетливо быстро работала: «Не попал..., а бомбы, какая моя..., неужели уже конец...»

В это время раздалось несколько разрывов, слившихся в один, разрывов от бомб, сброшенных со среднего самолета и с двух крайних, летевших и пикировавших слева и справа. Я уже не мог по слуху различить, где и какие бомбы рвутся. Тем более что сбоку от меня, в метрах 10–15 встала черная стена дыма, а через несколько секунд откуда-то с неба из этой стены вывалился телеграфный столб с обрывками проводов. Белые изоляторы на этом столбе, когда он упал, были хорошо видны на фоне еще не развеявшегося черного дыма. Столб с проводами застрял в ветках большого дерева. А по земле вокруг меня забарабанили комья земли. Я глянул на небо. Все девять самолетов, выстроившиеся по три, уходили куда-то за горизонт. Значит, бомбежка окончилась.

Когда мы были еще под Киевом в Мостицах, нас немецкие самолеты тоже бомбили. Но летал тогда над нами всего один самолет, и сбрасывал только по одной бомбе и то маленькой, которая после разрывов не оставляла ни большой воронки, ни больших разрушений, да и жертв не было, так как цели, то есть мы, были хорошо замаскированы в лесу, и немец сбрасывал бомбы наугад, просто действовал на психику.

А здесь — это уже была настоящая бомбежка, причем самая варварская, по громадному скоплению людей и всевозможных машин, бомбежка в населенном пункте, где жили, может, тысячи мирных граждан. Что и говорить, — фашисты, они себя впоследствии еще и не так показали.

Наша машина не пострадала, и часам к 5 вечера мы почти все собрались. Ехать еще было нельзя. Не пришел только писарь штаба ОПБ Берковский. Гончар приказал обойти кругом возле той хаты, где мы стояли, осмотреть сад, огороды этой и соседних усадеб — может, лежит где-нибудь раненый или убитый, но нигде Берковского не нашли. Вдруг я увидел идущего вдали среди других машин Берковского. Он шел, стараясь опознать нашу машину, потому что оглядывал и кузова и кабинки шоферов. Я прыгнул с машины и побежал навстречу Берковскому.

– Берковский! Где ты пропадаешь? Мать твою так и так! (я в первый раз в жизни выругался от всего сердца по-матушке). Мы те-бя уже целый час ищем...

– А я сидел в погребке, а вот сейчас затихло все, я и вылез, — как ни в чем не бывало ответил он.

Двинулись мы, когда начало темнеть. Оказывается, немцы разбили и остаток моста, и ту часть, которую восстанавливали саперы. Рядом через болото и речку саперы соорудили другую переправу. Из тонких стволов, толщиной не более 8–10 сантиметров связали нечто вроде штор на окнах, полотнище длиной метров 200 протянулось от берега к берегу, и по этому полотнищу с интервалом метров 30–40 пропускали по одной машине. Полотнище тонulo под колесами и всплывало после проезда машины. Так, когда подошла очередь, почти до кузова в воде, наша машина медленно перебралась на другой берег.

Вся картина бомбежки в Барышевке и переправа произвела жуткое неизгладимое до сего дня впечатление. Еще при подъезде к переправе по узким, забитым машинами улочкам села, нам дорогу преграждали воронки от разорвавшихся бомб. Это были не воронки, а целые котлованы глубиной по 2–3 метра и в диаметре до 4–5 метров. По краям этих воронок стояли перекинутые машины или вообще кучи обломков машин. Многие из них горели. Горели ящики со снарядами или патронами. Снаряды рвались сравнительно негромко, а патроны просто трещали, как будто кто-то ломал пучки сухих сосновых лучин. Горело по бокам улицы и несколько хат. Эти воронки и груды горящих машин мы объезжали прямо через прилегающие усадьбы крестьян. Когда подъехали к переправе, то на фоне горящего деревянного моста, на насыпи через болото увидели ту же картину. Опрокинутые, горящие машины и еще несколько лежащих лошадей. Некоторые лошади были живы. Они были ранены, лежали запутанные в упряжи, в обломках повозок, беспомощно поднимая головы, вытягивали шеи и призывно жалобно ржали, как бы прося человека помочь им. А вокруг них бушевало пламя. Их вытянутые шеи и головы отчетливо были видны на фоне оранжево-красного огня. Эти черные силуэты лошадиных голов особенно

ярко врезались мне в память. Они звали человека помочь им, спасти их, но напрасно. Рядом с ними также рвались снарядные ящики, и человек к ним не подходил, не мог подойти, чтобы хотя бы одним выстрелом из винтовки прекратить их мучения.

А что было с людьми, которые ехали на этих машинах и повозках? Сколько наших бойцов осталось там лежать, мы могли только догадываться. Не было у нас ни единого командования, ни единого плана отступления. Каждая машина была предоставлена сама себе. Каждый человек, идущий пешком, был сам по себе. Видимо, раненых все-таки кое-как распределяли по машинам, хоть у нас нигде было повернуться, поднесли на носилках одного человека. Странно почему-то было, что он в одном белье. Белье в области груди и живота было залито кровью. Гончар, было, запротестовал, мол, у нас нет ни одного лица из медперсонала, нет перевязочных средств и т. д. Но какой-то командир в чине капитана властным голосом заявил:

– Товарищ лейтенант! Я старший по званию и приказываю меня слушаться! Взять раненого! И не рассуждать!

Мы приняли раненого вместе с носилками. Установили носилки на ящики с патронами, а раненого накрыли брезентом. Кто он? Мы так и не узнали. Он молчал, а через полчаса, когда мы уже перебрались на другой берег, перестал дышать. Пульс не бился. Сердце не прослушивалось. Кровь на белье засохла, свернулась, а часа в 3–4 ночи он вообще заостенел. В это время в одной из очередных пробок наша машина остановилась впритык к какой-то санитарной машине. Гончар узнал, что там есть врач, попросил врача осмотреть раненого. Тот посветил фонариком, осмотрел и заявил:

– Это уже не раненый. Он часов пять тому назад умер.

Тогда Гончар распорядился снять убитого с машины, отнести в сторону от дороги и похоронить. Могилу мы выкопали наспех — так, ямку глубиной не больше 30–40 сантиметров, положили убитого в нее, предварительно завернув в брезент, закопали и сделали небольшой холмик. Кто он был? Так не знаю и сейчас. Почему он был в одном белье? Может, это был и не наш боец, а пленный немец?

Пробка в темноте стала рассасываться, и мы опять двинулись. Впереди опять болото с узенькой насыпью, где машины могли двигаться только гуськом. Едем в темноте, фар никто не зажигает. На горизонте в разных местах зарево от пожаров. Таких очагов пожара я насчитал около десятка. В это время нашему шоферу пришлось в голову обогнать остановившуюся шедшую впереди машину. Наш шофер крутнул руль, съехал с насыпи, и машина перевернулась, стала на ребро прямо в болото. Мы все и весь груз машины — бочки с бензином, пулемет, нестораемая касса комиссара, ящики с патронами вывалились из машины и плюхнулись в болото, к счастью неглубокое, примерно до колена. Я свой вещевой мешок по оплошности снял с плеч и держал в руках только винтовку. Когда плюхнулся в абсолютной темноте в болото, мой вещевой мешок отлетел в сторону, но винтовку из рук я не выпустил. Я моментально встал на ноги, повставали и остальные ребята.

Вижу, вылез из кабины Гончар, а за ним шофер. Мы сделали попытку поднять машину, но нам это не удалось. Она вгрузла в болото своими левыми передними и задними колесами и частью кузова. Тогда Гончар сказал:

— Дальше пойдем пешком.

И мы пошли. Примерно через час начало светать. В стороне от дороги мы увидели большой стог не то сена, не то скошенного и заскирдованного хлеба. Сошли в сторону, сели под стог. Стали переобуваться. У кого с собой были вещевые мешки — поменяли портянки на сухие. У меня таких не было, и хотя весь этот час вода хлюпала в ботинках, я выкрутил портянки и стал их просушивать на ветру.

По дороге нескончаемым потоком шли машины с бесконечными остановками, а по полю вразброд, одиночками или по два-три человека шли пехотинцы. Впереди на горизонте виднелось село.

Это было местечко Березань — районный центр. Со стороны Березани доносилась пулеметная и ружейная стрельба. Гончар сказал:

— Товарищи, поторапливайтесь! Пойдем. Там наши бьются с немцами. Надо помочь!

С этими словами он поднялся. За ним поднялось два человека — телефонисты из штабного узла связи, — и все трое двинулись прямо через поле в сторону Березани. Остальные сидели. Я замешкался со своими мокрыми портянками и обмотками, тоже сразу не встал, но поспешил поскорее обуться. Но я опоздал. Какие-нибудь 2–3 минуты я задержался, но этого было достаточно, чтобы я потерял из виду группу Гончара. То ли местность была неровная, то ли они уже далеко отошли, но я среди двигавшихся по полю фигурок бойцов искал глазами и не находил фуражку с красным околышком, а видел вдалеке только каски, а шинели у всех были одинаковыми. И я среди двигавшихся фигур Гончара не видел. Но все равно, я поднялся и решил их догонять, надеясь где-то впереди найти. Остальные сидели, не двигаясь. Шофер — на правах раненого. Поперек его лица бинтовая повязка. Остальные — это Рабинович, Глазман и Берковский — штабные работники.

— Идем же! Что вы сидите? — сказал я.

Кто-то из них ответил:

— Обойдется там без нас.

Сволочи вы, гады, подумал я, чужими руками хотите пробиваться, а пока, мол, пересидим. Плюнул и пошел догонять Гончара. Я его не видел, и пошел в направлении села Березань туда, где слышалась стрельба. Я даже не шел, а почти бежал, глядя вперед и по сторонам, ища глазами фигуру Гончара с красным околышком на фуражке. Но его видно не было. Местность полого спускалась вниз, и поле вскоре перешло в луг. Я споткнулся и упал. Не успел я подняться, как надо мной наклонилась фигура какого-то бойца:

— Тебе помочь? Ты наверно голоден. На, возьми! — и он протянул мне один пряник. — Больше у меня нет ничего, — сказал он.

Я с благодарностью взглянул на него и, хотя при виде пряника, вспомнил, что уже третий день почти ничего не ел, а за вчерашний день съел только с десяток маленьких круглых грушек-дичек-гнилушек, и три ночи, по сути, не спал, — от пряника отказался, и мы пошли вместе.

Справа от нас шла железнодорожная насыпь, а впереди виднелся однопролетный железнодорожный мост. За мостом метрах в 300

начинались постройки железнодорожной станции и самого местечка Березань. Все двигавшиеся по полю и луку фигурки бойцов сгивались к этому мосту. Немцы были в Березани, и со стороны станции держали под пулеметным огнем мост и побережье речушки. Пули перелетали речку и стали свистеть мимо ушей. Я отметил про себя, что если слышен протяженный свист, даже не свист, а как бы напев: ю-ю-ю-ю, значит, пуля летит относительно далеко. Если же раздастся короткое чиу-у, вроде воробей чирикнул, — значит, пуля пролетела рядом, возле самого уха. Но это я отметил как-то бессознательно. Так, на секунду, только мелькнула такая мысль, а все внимание было сосредоточено на том, чтобы найти Гончара.

Мы, между тем, спустились к речке. Речка узенькая, метров 6–8 всего шириной и неглубокая, так, по грудь, и многие бойцы переправлялись вброд. Пошел и мой напарник, что предлагал мне прыжок. А я задумался — пойти вброд, это значит — намочнуть совсем, хотя от пуль это совершенно безопасно, так как они перелетали речку высоко над головой, а вот перебежать мост, — было бы хорошо.

Я огляделся. На мосту лежало несколько тел убитых раньше наших бойцов. Но я заметил, что немцы стреляют по мосту траассирующими пулями. Их видно, когда они летят. И стреляют не беспрерывно, а когда на мосту появляются наши бойцы. Я подумал — намочну в речке, — не смогу двигаться вообще, шинель отяжелеет, а по мосту хоть и рискованней, но буду сухой, более подвижный, а значит и более боеспособный. Надо только улучшить момент.

Я подошел к самой насыпи. Мост небольшой. Одна ферма. Я подождал несколько минут, выпил из речки пригоршнями несколько глотков воды и, видя, что стрельба по мосту прекратилась, быстро стал взбираться на насыпь. Одновременно на насыпь стали взбираться еще несколько человек. Впереди меня оказалось три бойца, которые первыми побежали на мост, за ними я, а за мной еще человек четыре. Но бежать по железнодорожному мосту оказалось нелегко, так как сплошной настил узенький, да поперек него лежали тела убитых, а по шпалам надо было прыгать, слишком часто они расположены. Едва мы вбежали на мост, немцы начали обстрел. Два человека из трех, бежавших впереди, сразу упали. Мне разду-

мывать было некогда, я перепрыгнул одного, потом второго, еще пару шагов, и мост кончился. Я уже на насыпи по ту сторону реки. Еще на пару секунд я задержался на насыпи, глянув направо и налево в последнем желании увидеть Гончара, но, конечно, не увидел, и так как мимо меня прыгали огоньки трассирующих пуль, я почти кубарем скатился вниз направо.

Там залегла наша пехота, постепенно подползая к станционным постройкам, а немцы «поливали» ее пулеметным огнем. Я стал подползать поближе вперед, то и дело поднимая голову и оглядывая ложбину, — не увижу ли я Гончара или хоть кого-нибудь из нашего ОПБ. Но лица все были незнакомые. Наконец, я увидел, что оказался впереди всех. Ну, думаю, дальше ползти одному незачем. Надо уже и воевать. Я залег за каким-то бурьяном и стал смотреть, — куда же стрелять? Со стороны немцев летят беспрерывно трассирующие пули, но откуда они вылетают, — не видно. Видно только, как они прыгают, ударяясь о землю. И вроде это не пули, а светящиеся шарики. Вдруг мне показалось, что из окна второго этажа какой-то станционной постройки виден дымок, каждый раз появляющийся перед очередью летящих пуль. Значит, там, в окне, пулемет. Надо стрелять в это окно. Я постарался определить расстояние. Наверно, метров 200. Взял прицел на 200 и выпустил по окну несколько обойм.

В это время рядом со мной, так метрах в двух, два бойца ползком вытянули пулемет «Максим», один из них сел за гашетку, а второй стал вправлять ленту с патронами, но они выстрелить не успели. Пулеметная очередь со стороны немцев поразила обоих. Тот, что вправлял ленту, — повалился на бок, а тот, что сел за гашетку, свалился на пулемет. Я услышал голос сзади:

— Стреляй же! Чего ты засел рядом!

Я с пулеметом обращаться не умел, и в эту минуту не мог себе простить, что, будучи еще в роте у Демидовского моста, не попросил комвзвода или кого-нибудь из старых солдат обучить, хотя бы ознакомить, как заряжать, как брать прицел и стрелять. Правда, у нас не было пулеметных лент, но все же хоть поверхностно... С краской на лице и горечью в голосе я ответил:

– Я не умею стрелять из пулемета...

– Тогда тащи пулемет нам.

Я, прижимаясь к земле (где я только научился по-пластунски ползти?), подполз к пулемету, стянул на землю тело убитого пулеметчика, взялся за дужку ручки и также ползком протянул пулемет назад метров на пять, туда, где залегли остальные бойцы. Вручив им пулемет, я вернулся к своему бурьяну, и продолжал стрелять в сторону станции, хотя немцев не видел. Вскоре «затакал» и мой пулемет.

В это время по насыпи медленно подъехал бронепоезд. Впереди платформа, затем паровоз, за ним несколько товарных вагонов или площадок. Все окованы в броню. Этот поезд показался очень солидным. Я лежал у самого основания насыпи, и мне пришла дикая мысль — вскарабкаться на насыпь и под прикрытием бронепоезда перебраться на другую сторону. Здесь Гончара я не нашел, значит, он там. Я полез, благополучно добрался до рельс и, боясь, что не успею, под колесами бронепоезда перекатился на другую сторону железнодорожного полотна. Сбежал вниз, и стал глазами искать среди сотни фигурок в серых шинелях плащ-палатку и красный околышек фуражки Гончара. Вдруг раздался крик:

– Куда тебя черт несет, мать твою так, под самое дуло пушки!

Я оглянулся. Действительно, я стоял под дулом низенькой противотанковой пушки. Я отпрыгнул в сторону вовремя. Пушка выстрелила, но я был в безопасности, и продолжал искать Гончара, медленно, согнувшись продвигаясь вперед. Тут я увидел картину, глубоко потрясшую меня.

Я увидел девушку санинструктора. Она лежала ничком, уткнувшись лицом в песок. Густые каштановые волосы рассыпались из-под пилотки по плечам. Сбоку сумка с красным крестом. Юбка подвернулась до колен, и были видны кусочки икр между юбкой и сапогами. Руки раскинуты в стороны.

До этого я видел убитых. Я прыгал через них на мосту, я видел в ложбине, где мы залегли, наконец, я стаскивал тело убитого с пулемета, но там были солдаты, мужчины, все похожие в своих шинелях друг на друга, а тут женщина, девушка, наверно, молодая, кра-

сивая, да конечно, должна быть красивой судя по волосам, прядями спадавшими на плечи. Она, видно, торопилась оказать помощь раненому, и фашистская пуля сразила ее насмерть. Как это жестоко, несправедливо. Кто она? Кто в этой каше установит это, сообщит ее родным. Ведь никакой организованной нашей части нет... Каждый действует, как может, как умеет. Мы все, как безумные стремимся на «восток», к нашим...

Но Гончар, где же все-таки он? И хотя немцы продолжали поливать эту ложбину из пулеметов, — было хорошо видно, как летели трассирующие пули, было слышно по звуку «ю-у-у-у» или «чи-у», к которому я уже как-то привык, но я все-таки, встав во весь рост, огляделся кругом. Нет, Гончара и здесь не видно.

Сбоку слева, метрах в пятидесяти, начинался какой-то кустарник, здесь же кругом залегли красноармейцы, стрелявшие из винтовок, да стояла та низенькая противотанковая пушечка.

Вдруг я увидел человека в плащ-палатке. То пригибаясь, то совсем припадая к земле, — ползком я стал пробираться к этому человеку. Напрасно. Это был не Гончар, а кто-то другой. Я увидел сквозь кусты, что там тоже много наших бойцов. Я заглянул туда. Это был орешник. Почти под каждым кустом сидели раненые, и делали сами себе или друг другу перевязки индивидуальными пакетами. Миновав несколько кустов, я неожиданно натолкнулся на нашего главного врача из 2-го ОПБ. Не помню его фамилии. Старичок с седенькой бородкой. Очень симпатичный человек. Я очень обрадовался. Хоть одно знакомое лицо. Вокруг него сидело на траве более десятка забинтованных людей: у кого голова, у кого скинута на один рукав шинель и перевязано плечо, у кого приспущены брюки и перевязаны ноги. Разговор с врачом был короткий. Нет, Гончара он не видел. Знает, что командир ОПБ Колибаба где-то здесь, тяжело ранен, из нашего ОПБ он больше никого не видел. Сейчас на подходе с той стороны речки идет еще один бронепоезд, а за ним — санитарный состав. Он, как врач, постарается определить раненых в этот поезд, и сам останется с ними, а пока у него «госпиталь» здесь, в орешнике. Я тепло с ним попрощался, пожелал успеха и сказал, что мое место там, где наступают наши, хоть и неорганизованно, но

все же наступают, несут потери, но ползут все ближе и ближе к железнодорожной станции.

И я пошел опять в то обстреливаемое пекло, добрался до насыпи и решил перебраться опять на правую сторону тем же путем. Бронепоезд продвинулся на несколько метров вперед, и мне уже не пришлось лезть под колеса. Я ползком перелез через рельсы сзади бронепоезда, заметил, что за мостом приближается второй бронепоезд, и скатился вниз уже намного вперед того места, где я «выручал» пулемет. Я опять выбрал себе какой-то бурьянчик, залег за ним, и начал бесцельную стрельбу по станции, откуда нас беспрерывно обстреливали немцы. Рядом со мной залег еще один боец, и также начал стрелять. Вдруг он как-то неестественно закричал. Я только услышал:

– И-и-и-и!

Я спросил его:

– Чего кричишь?

– Уби-и-и-и-ли!

– Кого убили?

– Меня уби-и-и-ли!

Несмотря на всю трагедию обстановки, я не удержался и грубо спросил:

– Так чего же ты пищишь?

– Спина-а! Спин-а-а! — прокричал он.

Я придвинулся к нему:

– Расстегни шинель, пояс и протяни мне левую руку!

Затем я лежа взял рукой его за рукав и сказал:

-- Вынимай руку из рукава. Только не поднимай высоко голову, а то видишь, пули летят низко над нами, а поднимаешься, схватишь пулю прямо в лоб, и крикнуть не успеешь, — добавил я, отполз на свое место, и разрядил еще одну обойму по невидимому врагу.

Когда он беспрекословно это выполнил, я одним махом вытянул из под него полу и борт шинели, и перекинул через него. Он остался лежать в гимнастерке и брюках. Затем я поднял гимнастерку, вытянул нижнюю сорочку и оголил спину. Внимательно осмотрел,

но ничего на спине не обнаружил, кроме небольшой ссадины, вроде как бывает у ребят, когда они голыми коленками упадут на камень. Одновременно я заметил, что рубашка на нем грязная, в песке, мокрая от пота. Я сообразил, что может пуля и попала в него, но скользнув по выступающей лопатке, только чуть содрала кожицу и вылетела внизу спины. Но мокрая с песком рубашка причиняла ему щемящую боль, и парень решил, что он уже убит.

— Ну, — сказал я, — ты будешь жить еще сто лет. У тебя даже раны нет, просто ссадинка, а рубаха грязная, с песком — вот и защемило. Пощупай сам.

Он нащупал рукой ссадинку, и тихо пробормотал:

— А я... думал...

Что он подумал, — это понятно.

Тут я заметил, что наши наступающие солдаты уже подползли еще метров на 30–40 вперед. Я уже оказался не впереди и даже не в первой шеренге, а где-то в середине, и я пополз вперед, выбирая себе место, где пристроиться лучше и безопаснее. Уже хорошо был виден перед самыми станционными постройками переезд через плотно железной дороги и пустой перрон перед зданием станции. В это время где-то справа раздалось:

— Ура-а-а-а!!!

И я увидел, как фигурки наших бойцов стали подниматься и бежать с криком «ура», часть справа — в село, а часть против станции — на станцию. Поднялся и я. Я понял, что это атака, ручная атака, стихийная атака, значит, будет рукопашная. Какие у меня мелькнули мысли в эту минуту, или даже не минуту, а мгновение.

Мысль первая: крепко ли сидит у меня штык на винтовке. Мысль деловая, здравая. Дело в том, что когда наша машина перевернулась, и я упал в болото, — винтовки из рук не выпустил, а вот штык слетел, и моя винтовка была без штыка. Здесь, подползая к станции, я у одного убитого не взял винтовки, я привык к своей, а снял только штык и надел на свою.

Мысль вторая: похожа ли вся картина, как бегут солдаты в атаку, на те, что я видел в кинокартинах. Да, вроде, похожа, люди с винтовками наперевес, чуть пригнув плечи и голову, — бегут вперед и

кричат «ура-а-а-а». Слышно только «а-а-а!» Кричу, конечно, и я, хотя своего голоса не слышу и, наверно, даже не сознаю, что кричу.

Мысль третья: какое, интересно, выражение лица у бегущих в атаку людей? Дело в том, что я вспомнил рассказ отца, что когда солдат бежит в атаку, в ожидании ручной схватки с врагом, у него лицо безумное, глаза выпучены, и я глянул в лицо бегущему рядом бойцу. Лицо серьезное, брови насулены, взгляд вполне трезвый, устремленный вперед, рот, безусловно, открыт, он же кричит, как и все, «ура». Ничего безумного в лице нет.

Немцы перестали стрелять. В это время я увидел на перроне два мотоцикла с колясками и автомашину — крытый черный фургон. Мотоциклы затахтели и моментально скрылись, видно, сразу за первым зданием свернули вбок, а в фургон, который тоже двинулся вперед, на ходу взбирались несколько фигурок немцев. Увидел я также, что некоторые из наших бойцов, прекратив бег, стали стрелять по фургону. Я понял, что бегом машину не догонишь, а пуля догонит. Да и цель большая. Я шлепнулся на землю и, пока еще виден был задок фургона, успел прицелиться и выстрелить. Расстояние не больше 150 метров. Цель большая. Не знаю, попали ли мы в машину, но она также свернула в сторону, за здание. Немцы удрали.

Мы вбежали на станцию, их и след простыл. Атаки, рукопашной не приняли. А мы, вроде, победители. Кто-то сказал: надо прочесать село. Я и другие вышли в узенькие улицы села и разбрелись по усадьбам. Тщетно. Немцы не дураки. По дворам прятаться не будут. Придерживаются дорог и рассчитывают на свою технику. Так или иначе, но мы Березань от немцев освободили. И у всех было радостное настроение и улыбки на лице. Но я обрадовался еще больше. Возле одной хаты я, наконец, увидел Гончара в окружении человек десяти красноармейцев, как оказалось, из нашего же ОПБ — из 2-й или 3-й роты. Я присоединился к ним. Откуда-то появилась пожилая женщина. Мы попросили у нее попить воды. Она вынесла из хаты ведро и кружку, а сама наклонилась над ямой и что-то крикнула туда. Из ямы, — это был погреб — кто-то подал полное ведро груш — хороших, сочных “бэр”. Она поставила нам и эти груши, ко-

торые мы расхватили вмиг. Мне удалось взять две штуки. И кроме жажды я утолил частично голод этими прекрасными грушами.

Убедившись, что в самой Березани немцев нет, мы пошли на станцию. Там стала собираться колонна, человек двести наших бойцов. На станцию подошли и два бронепоезда. Кто-то возглавил колонну, и уже не вразброд, а строем двинулись вдоль полотна железной дороги дальше на Яготин.

Вместе с нами двинулся и первый бронепоезд. Видимо, тот, кто вел колонну, решил под прикрытием этого бронепоезда вести и пехоту. Но едва мы отошли от станции Березань с километр, а шли мы не по дороге, а по полосе отчуждения, как немцы стали откуда-то обстреливать этот бронепоезд из орудий. Снаряды стали падать по обе стороны полотна, естественно, попадая и в полосу отчуждения. В этом месте эта полоса была засажена кукурузой. Колонна расстроилась. Одни потянулись назад, другие залегли и замаскировались в кукурузе. Я опять потерял из вида Гончара. Бронепоезд остановился. Назад идти я не хотел, а вперед никто не пошел. Я забрался в кукурузу в ожидании, когда кончится обстрел. Подошел вплотную и второй бронепоезд. В это время я услышал слова, обращенные ко мне:

— Браток, у тебя нет индивидуального пакета?

У меня был один пакет, но я подумал, как же я отдам последний пакет, а вдруг я буду ранен, и ответил:

— Нет.

— Жалко, а я ранен...

Мне сделалось стыдно. Как это я раненому отказал. И я сказал:

— Извини друг, у меня есть один пакет, но раз ты ранен — давай я тебе помогу. Я извлек из кармана пакетик, выдернул нитку и перешел в соседний ряд кукурузы к раненому. Он сидел, опираясь на одну руку. Другая была перебита осколком в локтевом суставе. Из рукава торчали белые обескровленные мертвые пальцы, в локте были клочья шинели, и беспрерывно лилась кровь. Я попробовал заголить руку, и увидел, что нижняя часть руки у локтя висит только на одной коже. Сверху от предплечья торчит голая кость, обрывки мяса, сухожилий, и собственно рука оторвана совершенно.

Первое, что я сделал, — это оторвал кусок бинта, и выше локтя туго стянул руку на два узла, чтобы остановить кровотечение. Затем марлевой подушечкой закрыл место разрыва руки, остатком бинта дважды обмотал и сделал виток на шею, чтобы поддержать, а ту часть руки, что была ниже локтя, — я подумал, надо отрезать совсем. Но я не врач, и какое я имею право это делать. Пока я перевязывал — он молча сидел, бледный, с помутневшим взором, с белыми губами. Откуда только у человека столько самообладания, силы воли. Он, видимо, ясно понимал, что потерял руку. Я ему сказал:

— Полежи, утихнет обстрел, за бронепоездами санитарный поезд, я помогу тебе добраться. Но он, видимо, меня уже не слышал. Он уже не опирался на здоровую руку, а повалился набок и молчал.

Я глянул на бронепоезда. На одном из них был разбит паровоз, на другом товарные вагоны за паровозом горели. В одном рвались ящики с патронами. А немцы продолжали артобстрел в наше кукурузное поле беспрерывно, один за другим, падали снаряды, и я только думал: если суждено, так пусть прямо снаряд в спину, а не так осколком руку или ногу оторвет или где-нибудь в груди осколок застрянет. Если умереть, то сразу.

После перевязки, после вида мертвой руки, голой кости, потока крови, я чувствовал, что меня тошнит, в глазах желтые круги, хотелось закурить, и я достал из кармана пачку папирос «Планер», стал вытаскивать папироску и... провалился в небытие. Я ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал. Я полностью потерял сознание.

Пришел в себя через часа полтора-два. Первое, что пришло мне в голову, — это, что я жив. Да. Жив, раз способен это сознавать. Но я чувствовал на себе какую-то тяжесть, а, открыв глаза, увидел сплошную темноту. Жив-то я жив, но, может, уже лежу с оторванными руками, ногами... Боли никакой не чувствовал. Пошевелиться тоже не мог, давила тяжесть сверху. На всякий случай пошевелил в ботинках пальцами ног. Шевелятся и боли нет. Значит, ноги целы. Пальцы рук тоже шевелятся, — значит, и руки целы. Начал с трудом поднимать голову и почувствовал на шее, как посыпался

песок за воротник. Значит, я просто засыпан землей, но кто ее насыпал на меня? Еще несколько движений плечами, и я чуть поднялся.

Увидел красное на горизонте заходящее солнце. А ведь оно было еще высоко. Из этого я определил, что лежал часа два. Глянул в ту сторону, где лежал раненый, которому я делал перевязку — на том месте, это примерно в одном метре от меня, воронка от разорвавшегося снаряда, вокруг воронки — валик земли. Значит, я оказался счастливчиком. Того раненого не было совсем. Его, видно, разорвало на куски, а я попал в так называемое мертвое пространство. Осколки снаряда разлетелись веером во все стороны, перелетев меня, а вот землей — присыпало. Но странно. Я не слышал ни свиста снаряда, летевшего прямо на меня, ни самого разрыва.

Оглянулся кругом — кукурузного поля как ни бывало. Вся земля была как бы перепажана, только кое-где лежали куски человеческих тел, обрывки одежды, противогазы да отдельные стебли уже пожелтевшей кукурузы. Рядом насыпь, на ней один за другим стоят два бронепоезда. Оба были разбиты, вагоны горели, на первом сбита труба и разбит корпус, второй, правда, еще дымил. Делать мне на кукурузном поле было нечего, и я потянулся к людям. Дело в том, что из горящего вагона какие-то красноармейцы выбрасывали ящики, которые скатывались вниз с насыпи.

Но только я поднялся и стал во весь рост, — услышал в ушах «чум! чум! чум!», в глазах потемнело, и я упал, вторично потеряв сознание. На этот раз ненадолго, может всего минут на пять. Очнувшись, силой воли заставил себя подняться и, опираясь на винтовку, которую я не выпускал из рук, шатаясь пошел к тому месту, где скатывались ящики из горящего вагона.

Я увидел, что это были ящики с пачками махорки. Я вспомнил, что хотел закурить, но папирос в кармане не обнаружил, — взял одну пачку махорки, нашел в кармане кусок бумаги, скрутил скрутку и затянулся. Дурак, ящики, падая один на другой, разбивались, и я мог свободно набить себе карманы махоркой. Как она мне потом пригодилась бы, но я тогда об этом не думал.

Голова кружилась, в ушах шум. Я чувствовал как в такт этого шума, под звуки «чум, чум, чум» у меня на шее вздувались жилы, бился пульс. Я оглянулся еще раз на кукурузную полосу. Никого нет. Я почувствовал себя одиноким. Передо мной на полотне стоят два бронепоезда — у одного разбит паровоз, другой как будто целый, но горят вагоны с патронами и снарядами. Почти бессознательно я отметил, что снаряды взрываются не громко, не так, как при стрельбе из орудия, а может, и не взрываются, а это только рвется порох в медных стаканах, а патроны рвутся со звуком, похожим на то, как ломают сухие лучины. Несколько красноармейцев продолжали сбрасывать ящики с махоркой. Мне здесь делать было нечего.

Я искал глазами людей, но по-прежнему по эту сторону насыпи никого не было, а солнце зашло и уже темнело. Я решил перебраться на другую сторону насыпи, с трудом это сделал, и увидел вдали, впереди бронепоездов группу наших солдат — человек тридцать-сорок. Медленно передвигая ноги, я пошел к ним. Какой-то командир что-то кричал, командовал: «Становись по четыре». Солдаты выстраивались в колонну.

Я подошел к голове колонны, чтобы быть поближе к командиру, и стал в ряд.

Наконец, мы двинулись, постепенно удаляясь и от бронепоездов и от Березани. Примерно шагов через триста командир приказал остановиться, а сам прошел еще шагов двадцать вперед и наклонился над каким-то штатским, лежащим на дороге. Затем вернулся к нам. Мой сосед по строю был в плащ-палатке. Командир вызвал его и меня и сказал:

– Там лежит один тяжело раненый ответственный работник из Киева. Возьмите, уложите его на плащ-палатку и возвращайтесь в Березань. За бронепоездами стоит санитарный поезд. Отнесите раненого, сдайте на этот поезд, и догоняйте.

Приказ есть приказ. Красноармеец снял плащ-палатку, мы подошли к раненому, уложили его, взялись за концы, подняли и понесли. Нести было очень трудно, так как тело раненого провешивалось таким образом, что ноги и верхняя часть туловища задирались

вверх, а средняя часть почти волочилась по земле. Так мы прошли мимо двух горящих бронепоездов, но до станции Березань оказалось еще три бронепоезда.

Сбоку горели какие-то постройки, и пламя освещало и местность, и эти бронепоезда. К одному из них было прицеплено два пассажирских вагона. Мы подумали, что это и есть санитарные вагоны. Подошли. На подножке одного из вагонов стоял наш писарь из ОПБ Глазман. Я обрадовался, увидев знакомое лицо.

— Это санитарные вагоны? Примите раненого, — сказал я

— Нет! Тут битком набито. Мы едва пристроились здесь, а санитарный поезд за нами, стоит на станции, — ответил он.

За ним в тамбуре стояли еще какие-то фигуры, и все начали кричать, подкрепляя свои слова матерной руганью:

— Никого не брать! Идите дальше! Там санитарный поезд, туда и сдавайте раненого!

Делать нечего. Мы понесли раненого дальше, а я подумал: сволочи! Мы, говорит, здесь пристроились. Кто это мы? Это те, что еще перед атакой на станции утром решили отсидеться под стогом и не пошли за Гончаром, а потом решили отступать под прикрытием бронепоездов в пассажирском вагоне.

Но вот мы дошли до станции. Там действительно стоял состав — вагонов шесть или семь. На всех в белом кружке красный крест. Мы продвигались от одного вагона к другому, но ни в один вагон у нас раненого не принимали. Везде до отказа полно людей, то ли раненых, то ли здоровых.

На перроне было несколько сот бойцов, желающих втиснуться в эти вагоны. Многие были ранены, сидели с завязанными руками, головами, ногами. Санитарный поезд был до отказа набит, и никого не брал. Так мы прошли до конца поезда. Хвост его стоял уже за пределами станции, возле переезда, где несколько часов назад я с другими бойцами, с криком «ура» шел в атаку выбивать немцев.

Но переезд был не пустой. Сотни машин, запряженных, чем-то груженных повозок запрудили и переезд, и обочины с обеих сторон. Поездов больше не было. Оставалось погрузить раненого

на какую-нибудь машину. Но все машины были до отказа нагружены людьми, и мы толкались тщетно среди машин и повозок. Никто не хотел поступиться местом. Наконец, мы увидели повозку, запряженную парой лошадей и как будто не сильно нагруженную. Возница, сидя впереди, дремал. Я пощупал груз — мягкий, может обмундирование какое-то накрытое брезентом. Мы решили положить раненого наверх. Так и сделали. С трудом подняли раненого и в плащ-палатке положили наверх. Моему напарнику захотелось забрать свою плащ-палатку, и он стал ее вытягивать из-под раненого. Я запротестовал, и свободными крыльями палатки прикрыл раненого. Все-таки будет теплее, а он, бедняга, в одном костюме. Затем, пока возница не проснулся, мы отошли в сторону, и вскоре я его потерял из вида.

Я опять среди тысяч людей, среди сотен машин и подвод — я один. Догонять отряд нет смысла. За это время, что мы шли назад, мыкались от поезда к поезду, от вагона к вагону, тот сколоченный отряд уже на километра три-четыре ушел вперед, и я его не догону. Надо здесь искать что-нибудь похожее на организованную группу. И я почти без цели стал бродить среди машин, раздумывая, как мне быть.

Огляделся кругом. На горизонте, в расстоянии не более полукилометра со всех сторон через равные промежутки времени в небо взлетали ракеты. Взлетит одна, через несколько секунд — правее по горизонту — вторая, еще через несколько секунд — еще правее — третья, и так далее, пока круг не сомкнется. Затем опять — первая... вторая... третья... десятая. Это перекликаются немцы, взявшие нас в кольцо. Эти ракеты казались страшнее, чем пулеметный обстрел, чем рвущиеся снаряды, но самое страшное было — эта наша неорганизованность, слепое паническое бегство, полная беспомощность, хотя тут, на переезде, как и там, в Барышевке, Борисполе, Киеве среди сотен грузовых машин были и тягачи с прицепленными орудиями, минометами, зарядными ящиками. Значит, вооружение, техника были, были и люди. Не было твердого единого командования, а было полное незнание обстановки, паника, каждый сам по себе.

Я бесцельно бродил между машинами, толкался среди бойцов, никто никуда не спешил. Люди устали до предела, ждали утра, а пока что пристраивались кучками ночевать прямо на земле. Немцы нас не обстреливали, но ракеты, эти проклятые ракеты, говорили, что в какую бы мы сторону не пошли, мы натолкнемся на немцев. Устал и я, голова кружилась, в ушах не прекращался шум.

После всего пережитого в этот день и накануне, начиная с 18-го сентября, после трех бессонных ночей и при пустом желудке, если не считать нескольких груш-дичек перед Барышевкой и здесь, после взятия Березани, пары груш «бэра», которыми нас угостила сердобольная селянка, — во рту ничего не было. Я чувствовал беспредельную усталость и еле стоял на ногах. Наконец, я увидел грузовую полуторку, на которой, как мне показалось, сидело не так уж много красноармейцев. Я сообразил, что если они потеснятся, помещусь и я.

Я подошел к кабине, где рядом с шофером кто-то сидел. Я, не зная зачем, спросил, придав своему голосу начальствующий тон:

— Чья это машина?

К моему удивлению и радости, человек, сидящий рядом с шофером, открыл дверцу и выскочил из машины.

— Машина 2-го ОПБ, а это ты, Худяков? Вот хорошо. Я тебя сейчас устрою. У нас есть бочка бензина, мы сможем до самого Харькова доехать.

Я этого человека ни по голосу, ни по внешнему виду не узнавал. Но он назвал меня по фамилии, значит, знал. Был он в каске и в солдатской шинели, а в таком одеянии, да еще ночью — все похожи друг на друга.

— Кто ты? — спросил я.

— Значит, не узнал? А помнишь, когда мы были еще в Киеве, стояли в Мостищах, ты писал мне увольнительную? Верховский разрешил до 18 часов, а ты поставил завтрашнее число, и я смог побывать дома не пару часов, а целые сутки. Я тебе был очень благодарен, и вот сейчас я хоть чем-нибудь тебе отплачу.

С этими словами он подошел к борту машины, и так же тоном, не допускающим возражения, потребовал:

— А ну, подвиньтесь, здесь сядет еще один человек! Что? Раненые? Так он тоже ранен, вы видите — он еле стоит на ногах! Это машина нашей части. Будете возражать — всех посажу.

После этого люди потеснились, я взобрался на машину, мне любезно предложили не садиться на доску, перекинутую от борта к борту вроде скамейки, а лечь в кузове на солому (я же был как раненый), где уже лежало три человека. Я улегся на солому, прислонившись спиной к бочонку с бензином. Несколько минут у меня проносились еще мысли о всем пережитом в эти дни, мысли об Ане, Юрочке. То мне казалось, что я Юрочку несу на руках и стараюсь усадить в какую-то машину, то Аня одна с полной сумкой с красным крестом делает кому-то перевязку, а Юрасика нет с нами, и я смотрю, ища глазами его синенькую капитаночку, а кругом темно, только ракеты, зловещие немецкие ракеты...

Наконец я заснул. Спал крепко, без снов, а проснулся от тычка. Было светло, машина тронулась, и бочонок с бензином стал кататься, ударяя меня в спину. Мы проехали Березань в колонне других машин, но едва отъехали километра три, — остановка и пробка машин. Всех здоровых красноармейцев сажают и выстраивают на обочине по сотне человек. Под крик какого-то командира пососкакивали и все сидящие в нашей машине, в том числе и я. Я встал в одну сотню, но вдруг увидел, что соседнюю сотню возглавляет командир в плащ-палатке и фуражке с красным околышком. Гончар, — пронеслось в голове. Я перебежал в ту сотню. Это был действительно Гончар, а рядом с ним второй командир с красной звездой на рукаве. Я понял — это политрук, а присмотревшись, узнал нашего политрука роты связи тов. Серебрякова, москвича, застрывшего в начале войны в Киеве и военкоматом направленного для службы во 2-й ОПБ.

Я очень обрадовался, представился им обоим и остался в их сотне. Оказалось, что среди отступающих был какой-то генерал, который пытался внести хоть что-то наподобие порядка и возглавить организованное отступление, а если и нужно, то и бои при выходе из окружения. Во всяком случае, сотне Гончара было дано задание перейти полотно железной дороги, пересечь поле и где-то километ-

рах в двух, где по гуще деревьев было видно, что там находится какое-то селение, выбить немцев из этого селения.

Задача ясная. Мы колонной перешли полотно железной дороги и колонной по грунтовой дороге пошли в направлении этого селения. Вдруг оттуда раздались подряд четыре выстрела. Это немцы, увидев нашу колонну (мы шли по открытому полю), выпустили четыре мины. Но мины разорвались сзади нас. Когда мы услышали выстрелы, Гончар скомандовал: «Ложись!», а после разрывов — вторая команда: «Рассыпаться в цепь, и бегом вперед!» Команда была своевременной. Едва мы поднялись, стали растягиваться в цепь и пробежали шагов сорок-пятьдесят, раздались опять четыре выстрела, но мины опять легли сзади нас. Немцы, видно, хоть и меняли прицел, но мы успевали раньше забегать вперед, на бегу растягиваясь все больше и больше.

Так перебежками, то — ложась, то — поднимаясь, и бегом вперед — мы пробежали километра полтора. Немцы с десятков раз дали по четыре выстрела, но у нас пострадавших не было. И хотя я, как и все мы, подвергались смертельной опасности, я, лежа, оглянулся назад. Одна из мин разорвалась не более как в двух метрах от моих ног.

Я отметил про себя, что мина рвется не как артснаряды. Те делают глубокую воронку, вздымают вверх кучу земли, на месте взрыва возникает туча черного дыма, осколки летят во все стороны, а при взрыве мины — дыма почти нет. Земли тоже нет, мина на поверхности земли почти не оставляет следа. Так, небольшой кружок обожженной земли, а осколки от разорвавшейся мины летят веером по направлению ее полета. Так что мина опасна только тогда, когда она разорвется впереди, а, разорвавшись сзади, как правило, опасности не представляет. Да и рвется она, как будто, не на земле, а в воздухе, не долетая сантиметров 70–80 до земли. Я все это мотал, как говорят, на ус, считая, что мне в будущем это пригодится.

Но вот, когда до селения, из которого нам предстояло выбивать немцев, осталось метров 400–500, немцы прекратили обстрел из минометов, но открыли отчаянный обстрел нашей цепи

из пулеметов. Опять уже знакомые мне свисты пуль, опять “чиу-чиу”. Но мы бежим вперед, бежим молча, пригнувшись, с винтовками наперевес. Не добегая метров 300 до первых усадеб селения, — поперек идет дорога, за дорогой — ров (канавы). Мы сбегает в эту канаву. Я придерживаюсь Гончара и Серебрякова, и прыгаю в канаву недалеко от них. Наша цепь растянулась метров на триста. За канавой — участок поля, засаженный еще не скошенной гречкой. За гречкой — усадьбы селения с крестьянскими хатами. Откуда-то оттуда стреляли минометы. Оттуда же с нескольких точек били по нам пулеметы.

Но в канаве безопасно. Пули пролетают над головой. Гончар дает приказание — с передачей по цепи: “Пересчитать людей”. Пересчитали — нас, рядовых бойцов 96 человек, а было сто. Значит, все-таки четверо остались лежать в поле, не добегав до канавы. Тут я заметил, что возле Гончара и Серебрякова сидит женщина в черной жакетке. Подполз ближе — женщина молоденькая, лет 18–20, не более, девушка, у нее в руках не то чемоданчик, не то портфель. Она говорит Гончару:

— Я сама из Харькова, училась в Киеве, студентка, сейчас иду пешком, хочу домой в Харьков... Мне страшно самой, разрешите, я с вами буду.

Гончар ей старается внушить, что с нами нельзя.

— Вот мы через несколько минут идем в бой, выбивать немцев, и кто знает, что с нами будет, зачем вам рисковать. Вы женщина. И, может, они вас не тронут. Постарайтесь от села к селу пробираться сами, а там, когда мы пробьемся к своим, — вам помогут, и т. д., и т. д.

Она стала плакать. Я никогда не забуду ни ее лица, ни этой ее просьбы, обращенной к советскому офицеру, возглавляющему группу солдат, идущих в бой, а не бегущих, как испуганное стадо. Да, видимо, она насмотрелась за эти дни, и впервые увидела что-то организованное. Но что мог Гончар сделать для нее, кроме утешительных слов. Искорка надежды в ее глазах, когда она обращалась к Гончару, погасла, и она, понуриив голову и плача, отошла в сторону и села рядом с бойцами.

Гончар дал нам всем отдохнуть. Всего с полчаса. Затем передал по цепи команду: “Приготовиться к атаке”. Сигналом должен был быть он сам, первым выскочив из рва, и с криком “Вперед, за Родину, за Сталина!” начнет пересекать поле, засаженное гречкой. Затем он обратился ко мне:

– Боец! Дай мне пилотку, а то... — он многозначительно повертел в руке свою фуражку, у которой на солнце ярко горел красный околышек, — эта фуражка будет выдавать меня как командира и послужит хорошим ориентиром для пристрелки.

Я снял каску, под которой находилась пилотка, но пилотки не снимал. Я подумал: “Чья жизнь дороже — моя, простого рядового бойца, или командира? Конечно, — командира”. И я решительно протянул Гончару каску:

– Возьмите каску... Будет безопаснее...

Каски он брать не захотел:

– Я, говорит, — командир, и приказываю слушать меня. Дайте пилотку!

Пришлось подчиниться и отдать свою пилотку. Гончар выкинул свою фуражку, которая как диск, брошенный рукой спортсмена, завертелась в воздухе и полетела вперед куда-то в гречку. Надел пилотку, и с криком “Вперед, за Родину” первым выскочил из рва. За ним Серебряков, я, поднялась и вся цепь.

Мы вбежали в гречку. Бежать было очень трудно. Гречка высокая, выше колен. Полы шинели путались в ногах. Бежали молча, пригнувшись. Немцы, увидев нашу наступающую цепь, открыли сумасшедший пулеметный огонь из нескольких точек. Я бежал и думал — скорей бы кончилась эта проклятая гречка, выбежать бы на чистую землю. Глянул по сторонам. Увидел, что из бегущих красноармейцев то один, то другой падают. Цепь поредела почти наполовину. Но Гончар и Серебряков бегут вперед. Бегу и я, уже не прислушиваясь к свисту пуль. Скорей бы конец гречке. Около меня упал еще один боец. Я смотрю на Гончара. Вдруг он, остановившись на долю секунды и глянув направо и налево — тоже упал в гречку, за ним упал Серебряков. Я глянул по сторонам и увидел, что бежит не более трех десятков человек. Значит, остальные убиты,

командира и комиссара нет, что же мы — эти несколько человек, — будем там делать? А до конца гречки еще полпути.

Тут я заметил, что стебли гречки колышутся так, как будто внизу, прижавшись к земле, кто-то отползает назад. Значит, не все убиты, а просто не выдержали психологически этого шквального огня. Увидел я, как в том месте, где упал Гончар, гречка тоже колышется, вроде Гончар отползает назад. Бросился на землю тогда и я, пополз назад в ров. Гончар и Серебряков уже были во рву. Постепенно сползли в этот спасительный ров и остальные бойцы.

Гончар дал приказание пересчитать людей. До начала атаки нас было 96 человек. В ров вернулось 80 — значит, 16 человек все-таки остались лежать в гречке. Из этих 80 человек — человек 15 были ранены. Значит, действующих бойцов было только 65. Это все же сила.

Гончар посоветовался с Серебряковым, и решил возобновить атаку. Правда, ни он и никто из нас не знал, какие силы у немцев. Серебряков пошел по канаве вдоль всей цепи, видимо, уговаривая бойцов не падать духом и только преодолеть гречку, а там, мол, немцы рукопашной боятся, и мы их заставим отступить. Прошел час, и мы возобновили атаку.

На этот раз опять неудачно. Опять один за другим падали наши бойцы и опять сползали в ров. Но на этот раз в ров сползло только человек 50, и то из них с десяток человек были ранены.

Сорок — это уже не 96 и не 65. Это силы уже слабые. Гончар решил просить подкрепления, он отобрал двух бойцов, и каждому дал задание вернуться к нашей исходной точке — это километра два назад, к переезду, найти там генерала и передать ему, в каком мы положении. Этим бойцам Гончар отправил к генералу с интервалом в 15 минут.

Немцы, видя, что наши две атаки захлебнулись, почти прекратили стрельбу. Прошел час, еще полчаса. Посланцы не возвращались, и помощи нам никто не высылал, иначе мы по открытому полю видели бы.

Тогда Гончар решил все-таки пойти третий раз в атаку. Глупо это было. Опять — вперед, «за Родину, за Сталина». Но и третья

атака захлебнулась. В ров сползло назад человек 30, из них почти половина раненых.

Начинало смеркаться. Гончар решил отступать, но уже не идти к тому поезду, а левее. Ближе к нам, у полотна железной дороги, был, видимо, какой-то полустанок с десятком хат. Собрали всех оставшихся бойцов, из них только 16 человек были абсолютно здоровы и еще с десятка два раненых, которые могли двигаться самостоятельно. Идти предстояло не более километра. Пока мы дошли до этого селения, стемнело почти окончательно. На околице стояла наша минометная батарея. Гончар отлучился на несколько минут поговорить с командиром батареи, видимо, стремясь указать точки, откуда немцы обстреливали нас своими минометами и пулеметами, но, по всей вероятности, безрезультатно, так как наши минометы молчали. Все селение было забито нашими машинами и пехотинцами. Разбрелись по хатам и мы.

Я думал поживиться чем-нибудь и поесть, но хата, куда мы зашли, была набита битком красноармейцами, и поесть не удалось. Единственно — мы попили холодной колодезной воды. Затем Гончар с Серебряковым вышли во двор. Я, конечно, — за ними. Мы прошли в огород и стали шарить в темноте по остаткам, надеясь найти хотя бы морковку или буряк, лишь бы что-нибудь пожевать. Наконец, я нашел ошупью огурец, оставленный на семена. Толстый, пузатый, наверно бурый. Но я с жадностью начал его есть. Огурец кислый, с твердыми семечками, но мокрый, сочный. Я с жадностью его съел и почувствовал, что вроде насытился. Не знаю, что нашли Гончар и Серебряков, может, тоже такие огурцы, но Гончар, обращаясь ко мне и Серебрякову, сказал:

— Здесь оставаться нельзя. Слишком большое скопление людей, и немецкая артиллерия найдет для себя богатую жатву. Идем в поле. Я видел там копны скошенного хлеба. Где-нибудь под копной переночуем, а днем будет видно...

И мы вышли за пределы селения. Метрах в ста в поле стояли копны скошенного хлеба, а левее проходила железная дорога. За железной дорогой слышался гул двигающихся автомашин. Мы выбрали одну копну, сели под ней и по предложению Серебрякова

начали подкрепляться, отрывая колосья, растирали их в руках и жевали очищенные зерна.

Затем установили порядок — двое спят, третий дежурит. Было 10 часов вечера (у Серебрякова были часы со светящимся циферблатом). Первым дежурить взялся Серебряков, а Гончару и мне предстояло зарыться в солому и спать. В 12 часов ночи Серебряков должен был разбудить меня для дежурства до 2-х часов, а в 2 часа ночи я должен был разбудить Гончара, которому предстояло дежурить до 4-х часов. Я забрался в солому, а Гончар задержался еще на несколько минут. Лишь только я зарылся в солому, почти моментально заснул и не слышал, как Гончар ложился.

Как и было договорено, Серебряков разбудил меня в 12 часов, дал мне свои часы, а сам полез спать в солому. Темно, я поглядываю на циферблат часов. Тишина, если не считать несмолкаемого гула автомашин за насыпью. Время ползет медленно, чересчур медленно. Серебряков и Гончар спят.

Примерно в половине второго, за полчаса до конца моей смены, Серебряков встал, хотя ему предстояло спать до 4-х часов. Гончар спал. Немцы вдруг начали артобстрел и селенья, из которого мы вышли, и полотна железной дороги, и местности вокруг. Правда, в поле среди копен разорвалось всего несколько снарядов. Зато на полотне железной дороги и по ту сторону насыпи, где двигались машины, снаряды рвались непрерывно. Гончар продолжал спать. Его не потревожили звуки разрывов. Так как мы находились в относительной безопасности, Серебряков не хотел будить Гончара. Но в это время на железной дороге раздались два мощных взрыва. При свете вспыхнувшего пламени мы увидели стоящие один за другим два бронепоезда. Эти бронепоезда были подорваны самой прислужкой поездов, то есть нашими же войсками. Видимо, впереди был разрушен путь, двигаться они уже не могли. Бронепоезда подорвали мы сами, чтобы они не достались немцам.

В это время усилился и артобстрел. Трудно было даже установить, с какой стороны стреляют, так как звуки выстрелов раздавались и справа, и слева, впереди и сзади, а снаряды рвались не только у полотна железной дороги, но и в поле, среди копен скошенно-

го хлеба. Усилился и шум моторов машин. По участку поля, на котором мы нашли приют, в разных направлениях машины начали рассредоточиваться, спасаясь от обстреливаемого участка. Одна из машин налетела на нашу копну. Я и Серебряков едва отскочили в сторону, а Гончар еще сидел под копной, и вскочить не успел. Машина налетела на него и переехала ноги. Он только застонал, а машина умчалась дальше. Поле было освещено и пламенем горящих бронепоездов, и загоревшихся от разрывов снарядов нескольких копен. Гончар еле поднялся, встал на ноги, и хромя сделал несколько шагов...

– Кости как будто целы... Надо отсюда уходить... Идемте, товарищи...

Мы с Серебряковым взяли его с двух сторон под руки и медленно вышли из участка поля, на котором почти непрерывно рвались снаряды. Дошли до полотна железной дороги. Там был переезд. На дороге к переезду и по ту сторону стояли сотни машин и подвод. Мы пошли вперед, подальше от этого скопления транспорта и людей, миновали полустанок и селение и вышли на относительно спокойное место. Так мы двигались втроем вдоль полотна железной дороги около часа. К нам постепенно приставали одиночки, неизвестно откуда бредущих бойцов. Постепенно набралось человек тридцать.

Немцы откуда-то издалека постреливали одиночными ружейными выстрелами, и мы видели как из-за насыпи железной дороги то и дело перелетали трассирующие пули. Стали видны и эти проклятые ракеты, то по ту сторону насыпи слева от нас, то впереди, то справа от нас, то сзади. Но вот трассирующие пули стали лететь и с правой стороны. Наконец, мы услышали звуки минометных выстрелов, и где-то впереди нас, метрах в 80–100, разорвались несколько мин. То ли у немцев разведка была поставлена хорошо, и они заметили нашу группу и решили обстрелять, то ли просто на всякий случай держали путь вдоль железной дороги под прицелом, и время от времени его обстреливали. Наша группа стала взбираться на насыпь и перевалила на левую сторону железной дороги. Там хоть летели пули, но только от одиноких выстрелов из

винтовок. По левой стороне мы прошли шагов двести, когда стрельба усилилась, заговорили пулеметы. Среди приставших к нам бойцов оказалось два командира (не знаю их звания) из личного состава взорванных бронепоездов.

Я и Серебряков шли рядом с Гончаром, поддерживая его под руки. Он еле передвигал ноги и, видимо, сильно страдал. Я услышал рассказ одного из командиров бронепоездов:

— Путь впереди разрушен, в нескольких местах рельсы и шпалы выворочены, первый бронепоезд самостоятельно вообще не мог бы двигаться, так как поврежден паровоз. Наш бронепоезд, который толкал его вперед, хотя и был цел, но из-за пути мы также не могли двигаться. Где немцы, где их огневые точки, мы не знаем. Стрелять впустую по нашим же селениям — этого сделать мы не можем, да и бесполезно. Связи ни с кем нет. Мы выполнили приказ — бронепоезда немцам не сдавать, а взорвать, вот и разбредились кто куда...

Спасаясь от пулеметного огня, мы все чаще и чаще прижимались к земле, то есть, попросту, ложились. Наконец, мы наткнулись на впадинку, вроде большой тарелки, так метров пятьдесят-шестьдесят в диаметре, заросшей большими лопухами, и залегли в ней, прикрывшись листьями лопухов. Наши командиры совещались. Я лежал рядом и слышал все, что они говорили, а разговор был о том, куда идти и когда идти. Один говорил — податься вправо, другой — влево, там, мол, и ракет как будто не было, третий говорил — прямо на восток, там — ближе к нашим. Все сходились на том, что здесь вблизи нет леса. В лесу можно было бы пробираться незаметно. Тут же кругом чистое поле, перемежающееся болотами и трясинами. А когда идти? Опять мнения расходились. Одни говорили — лучше сейчас, пока ночь, и под покровом ночи можно прорваться, другие — лучше подождать дня, перележать здесь в лопухах день, хорошо осмотреться, сориентироваться, и в следующую ночь двинуться. Говорили и о том, как двинуться — всей группой, это человек 30–35, или по два-три человека, — легче спрятаться.

Помню, что Гончар говорил:

— Надо всем вместе, все-таки это боевая единица.

Командиры с бронепоездов настаивали разбиться по несколько человек, мол, все эти люди, крайне уставшие, полностью деморализованные, из разных частей никакой боевой единицы не представляют, и при первом столкновении с немцами сдадутся в плен.

Я лежал и думал об Ане и Юрочке, вспоминал дни, когда мы были вместе, вспоминал, как водил Юрасика в ясли, как мы ездили проводить его в Ворзеле и в Святошине, вспоминал, как устраивали елку. Мысли были отрывочные. В сознании всплывал то один эпизод, то другой. Где все это? Где они? Что с ними? Ведь у меня было только два письма из Днепропетровска, а что было дальше, — я не знал ничего. И это незнание мучило меня. Что будет со мной — я не думал. Последние четыре дня у меня были насыщены столькими переживаниями, были до предела наполнены всякими событиями, но они вселили какую-то уверенность, что со мной ничего случиться не может. Я слепо верил в Гончара, и решил никуда от него не отставать.

попал 22 сентября
1941г. Огнем немцев в
то что произошло пер
свидетели каких событий
нашлось у нас до сего
нашлось от самой моей сме
ны, а вообщу увиди что пр
сбы, увиди ^{их} опостосебь. Не ду
и пребывания в плену, а опиши
ов, которые дадут полную х
уловия в которых мы на
и сейчас — слыш нас шине
налась жила. У кого был са
можное обмундиров
обмун

ПЛЕН

Между тем начинало светать. Восточная часть неба побелела, затем порозовела. День обещал быть солнечным. Замолчали и командиры. Кругом тишина. Немцы перестали стрелять. Наша впадина одним боком прижималась к насыпи железной дороги. Вдруг очень близко послышалось тарахтение мотоциклов. Еще несколько минут, и я увидел по бровке окружности нашего котлована десятка два немцев с автоматами, направленными на лопухи, под которыми мы лежали. Раздались крики:

– Рус! Сдавайся!

Одновременно несколько немцев дали очереди из автоматов поверх наших голов, в насыпь. Я приподнял голову и увидел страшную картину. Наши бойцы поднимались один за другим с поднятыми руками. В это время я услышал голос Серебрякова:

– Ну, Гончар, всё... Давай!

Гончар выхватил пистолет и в упор выстрелил Серебрякову в лицо, затем вторым выстрелом — себе в голову. Оба упали. Я понял — сдаваться в плен немцам они не хотели, а, видя безвыходное положение, решили покончить с собой. У Серебрякова оружия не было, был, правда, автомат с круглым барабанчиком, но без единого патрона. У Гончара же был пистолет. Видимо, когда мы собрались ночевать под стогом, и я по распределению лег спать первым, — они договорились. Я успел заметить, что командиры с бронепоездов поднялись, как и все бойцы, с поднятыми руками.

Что делать мне? Сдаваться я тоже не хотел, а застрелиться из винтовки — не мог. Слишком длинная, да еще со штыком, я не достал бы пальцем до курка. И я продолжал лежать, держа в правой руке винтовку. Но это продолжалось секунду-две, не более. Я почувствовал сильный удар в руку выше локтя и выпустил винтовку. Быстро оглянулся и увидел немца, который прикладом автомата ударил меня по руке. Кто-то, не то Гончар, не то Серебряков хрипел. Над ними склонились еще два немца, но хрип прекратился, и один из немцев сказал: «Капут!»

Я поднялся уже без оружия, рука висела как плеть. Глянул в лицо немцу. Заметил — молодой, лет 25, не более. На лице во весь рот нахальная улыбка. Он начинает обшаривать мои карманы, вытаскивая патроны, и срывать с пояса патронташи. Я здоровой рукой отстегнул пояс, он выхватил его, сдвинул и скинул на землю все четыре патронташа и сумку с гранатами. Затем, повертев в руках пояс (а он был у меня очень хорошим — новый желтенький, широкий ремень), сунул себе в карман, показывая мне, чтобы я вывернул карманы. Превозмогая боль в руке, я вытряхнул из карманов шинели все патроны, а из брюк, где лежал бумажник, я его не выбросил. Там же карточки Ани и Юры, но вытащил перочинный ножик. Ножик у меня был очень хороший, с красивой каменной ручкой, с многими лезвиями и всякими шилами, штопором, отвертками. Немец, увидев ножик, выхватил его из рук и также сунул его себе в карман. Затем подтолкнул меня, и мы стали выбираться из котлована.

Я глянул по сторонам. Возле каждого из наших бойцов стояли один-два немца, которые также потрошили карманы и обезоруживали.

Затем нас всех построили и повели в какое-то селение. Там нас загнали во двор, видимо, колхозной фермы. По дороге я увидел десятка три мотоциклов, а перед входом в селение — замаскированные ветками орудия и минометы. Кругом ходили в разных направлениях отряды немцев человек по двадцать-тридцать. Видимо, здесь их было много, какая-то крупная часть, и я подумал, что нашей группой мы, конечно, ничего бы не сделали. Погибли бы все, а толку никакого, да и в открытом поле мы не представляли никакой силы.

Итак, я в плену. Что будет дальше, не знаю, но знаю, что из плена надо будет вырваться чего бы это ни стоило, даже жизни. Смогли же Гончар и Серебряков покончить с собой. Этим сволочам, проклятым немцам, мы еще отплатим за все. За Киев, за наши другие города и сожженные села, за Аню и Юрочку, за ту девушку-студентку, за ту убитую, что перед Березанью лежала, уткнувшись лицом в песок, за всех убитых наших красноармейцев. Еще рассчитаемся, и не будете так нахально улыбаться, как тот немец, что едва не перебил мне руки, будете и вы, гады, драпать. Посмотрим, будет ли тогда вам до смеха.

Так я сидел в группе пленных, и мысли летели одна за другой. В ушах по-прежнему стоял шум: чум! чум! чум! Болела рука...

Между тем, число пленных все увеличивалось. Немцы то и дело приводили группы по десять-тридцать человек. Все уставшие, замученные, едва передвигали ноги. Часам к 11 утра набралось человек триста. Принесли на носилках какого-то раненого. Кто он — не знаю, видно старший командир. Иначе с рядовыми немцы бы не церемонились, а просто пристрелили бы. Он лежал накрытый с головой шинелью. Кисть одной руки свешивалась с носилок и была вся в запекшейся крови. Несли его наши же бойцы — шесть человек, по три с каждой стороны. Сопровождали его два немца с автоматами. Затем появился, видимо, врач, откинул шинель, осмотрел раненого и что-то сказал конвоирам.

Нас стали поднимать и выстраивать в колонну по шесть человек в ряд. Затем переднему ряду приказали взять носилки с раненым, и вывели из селения на дорогу, ведущую куда-то на юго-восток. Я обратил внимание, что вдоль дороги лежали на земле протянутые синие и красные провода. Подумал: телефонная связь. Не успели прийти, а уже наладили связь своих частей. Но еще больше я удивился, когда на перекрестках дороги, или если от дороги, по которой мы шли, в сторону уходила ветка другой дороги, был вкопан столбик с прибитой дощечкой в виде стрелы, на которой была надпись — куда идет дорога — название села, хутора или колхоза и указано расстояние: 5 километров, 18 километров, 7 километров и т. д. Надписи на немецком языке.

Наши конвоиры — немцы с автоматами — через каждые полкилометра останавливали колонну, меняли пленных, несущих носилки с раненым. Первые шесть человек шли в хвост колонны, а следующий ряд принимал носилки на свои плечи. Так мы двигались часа два.

Наконец, наш путь пересекла широкая грунтовая дорога. На перекрестке на стрелке, показывающей путь влево, я прочитал «*Jagotin — 12 km*». У дороги в зелени стоял домик, крытый железом, и видны были в глубине двора разные хозяйственные постройки. Возле дома стояло несколько мотоциклов и одна легковая машина.

Против домика на обочине сделали привал. Кроме мотоциклов с колясками и машины я заметил несколько человек в оригинальном одеянии, не похожим на то, в которое были обмундированы остальные немцы. На них были темного сине-зеленого цвета длинные плащи с капюшонами. Поверх плащей на шее на большой цепи висела на груди какая-то бляха. Эта цепь и бляха напомнили мне бутафорские королевские цепи, какие в наших кинокомедиях и театральных постановках одевают «королям». Но капюшоны, заостренные кверху и длинные плащи, застегнутые до низу, и только перетянутые в талии поясом из того же сине-зеленого материала, напомнили мне ку-клукс-клановцев. Эти немцы важно прохаживались по дороге, казалось, никого и ничего не замечая. Кто-то из пленных сказал:

— Это полевая жандармерия.

Я же подумал, что это скорее простые регулировщики, так как мы их встречали на перекрестках дорог. Кто бы это ни был, но они отличались от всех немцев, и своим видом наводили страх.

Но вот к нам откуда-то подъехала на прицепе к автомашине походная кухня. Пленные зашевелились. Привезли еду. Но это была не еда, а черный кофе, конечно, без сахара и без молока. Выстроилась очередь, стали давать каждому в котелок по черпаку. У меня котелка не было, а была фляга. Когда до меня дошла очередь — я подставил флягу. Немец выругался, но все-таки, проливая кофе на землю, нацедил мне полфляги, а потом пустым черпаком, продолжая что-то лопотать, наверно ругаясь, ударил меня

по голове. Удар пришелся на каску, я его почти не ощутил, и поспешно отошел в сторону. Я не ел уже несколько дней, а не пил со вчерашнего вечера. Поэтому с жадностью выпил половину налитого мне кофе и почувствовал, что это меня подкрепило. Надо беречь силы, подумал я, и сел на землю, разглядывая окружающих меня пленных.

Вблизи от меня сидел молодой врач, совсем молоденький, видно, выпуска 1941-го года, с лейтенантскими знаками различия и значком «чаша со змеей» в петлицах. Рядом с ним сидела молодая девушка. Может, медсестра, может, санинструктор. Голова ее не была ничем покрыта. Черные густые волосы, чуть подстриженные и вьющиеся, густой шапкой покрывали голову. Вокруг нас через каждые 8–10 шагов стояли немецкие автоматчики. Вдруг один из них, вытащив из кармана машинку для стрижки волос, подошел к этой девушке, запустил пятерню в ее волосы, а другой рукой, держа в ней машинку, стал цокать этой машинкой у нее над головой, вроде стрижет волосы.

Девушка побледнела, сжалась и прислонилась к этому молодому врачу, как бы ища защиты. Врач тоже побледнел и, подняв голову к немцу, крикнул:

– Как вы смеете! Она же врач!

Тогда немец ударил его в лицо машинкой для стрижки волос. У меня закипела вся кровь, и я вскочил, сделав шаг в сторону немца. В эту минуту я ничего еще не решил, что буду делать, и что будет дальше, тоже не думал, я видел эту нахальную сволочь, которая издевалась над нашими советскими людьми, забыл, что я пленный, и любое мое сопротивление кончится для меня очередью из автомата.

Но в этот момент к нашей группе подошел немецкий офицер, которого ни немец, ни молодые врачи, ни я не заметили раньше, наблюдая за сценкой с машинкой для стрижки. Он, по-видимому, видел все, потому что, еще не доходя до нас шагов пять, строго что-то крикнул, а затем быстро-быстро заговорил по-немецки повышенным тоном. Я, конечно, ничего не понял, уловил только слова: «Ду бист дойче зольдат!»

Немецкий солдат, держа в руке машинку для стрижки, цокнул каблуками и выпрямился в стойке «смирно». Видимо, офицер ругал его за хулиганство, стараясь внедрить в его башку, что, мол, немецкие солдаты так не поступают. При виде этой сценки поднялись и другие пленные, сидящие вокруг нас.

Тогда офицер, перестав ругать немецкого солдата, обратился к пленным на чистейшем, без всякого акцента, русском языке. Я заметил, что этот офицер был уже пожилой человек, с седыми висками и с седыми усами, бороды не было, сбрита. Он, наверно, находился в домике через дорогу, и незаметно для нас вышел, направившись к пленным. Он задавал им трафаретные вопросы, какие задают пленникам:

– Из какой части? Какой армии? Кто командир части? Где стояла часть до отступления? и т. д.

Пленные называли свои части — такой-то полк, такой-то арtdивизион. Правда, ответы были скупые — вроде «пехотный полк», «пулеметная команда», «обоз», «какая армия — не знаем», «фамилии командира не знаем, какой-то генерал» и т. д.

– Ну, генералов среди пленных мы еще не видели, надо полагать, что они сбежали раньше вас. Самый старший по званию из тех, кто попал в плен, — майор, остальные — младший комсостав.

Передо мной встала картина гибели Гончара и Серебрякова. Не сбежали генералы, а может, так как и они, предпочли смерть плену?

В это время немецкий офицер задал вопрос:

– Куда же вы все-таки шли?

Я почувствовал раздражение и ответил:

– Как куда? Шли на восток, к своим. Есть же у нас по ту сторону окружения наша армия, не разбитая, не деморализованная... Шли в сторону Прилук, Лубен, наконец, Полтавы... Харькова.

Немец как-то серьезно, многозначительно глянул мне в лицо. Ему, конечно, не понравились мои слова о нашей армии по ту сторону окружения, но он спокойно ответил:

– Вам, чтобы добраться, как вы говорите, «к своим», надо суметь пройти не менее двухсот километров, занятых нами. И не просто пройти, а про-би-ваться. Вы говорите Прилуки, Лубны, Полта-

ва... Да знаете ли вы, что и Прилуки, и Лубны, и Полтава, и даже Харьков уже в наших руках... И нет за границей окружения никакой вашей недеморализованной армии... Мы вот на днях и Москву заберем...

Ну, подумал я, это уже загибаешь, но ничего не ответил и больше не вступал с ним в разговор, а отошел в сторону. Поговорив еще минут десять с пленными, немецкий офицер ушел обратно в домик, а нас стали поднимать и выстраивать в сторону Яготина. Раненый, которого мы несли на носилках, остался там, возле домика.

При входе в село Яготин я обратил внимание на небольшое кладбище, могил сорок-пятьдесят. На каждой могиле крест из березовых тонких стволов с прибитой дощечкой, а на бугорке земли — немецкая каска. Значит и вам, проклятые фашисты, досталось. Такие кладбища я видел потом много раз почти перед каждым селом, через которое мы проходили.

В плен я попал 22-го сентября, вырвался из плена 22-го октября 1941 года. Один месяц в плену.

Как будто немного, но то, что пришлось пережить за этот месяц, свидетелем каких событий пришлось быть, — не изгладилось из памяти до сегодняшнего дня и не изгладится до самой моей смерти. Только здесь, в плену, я воочию увидел, что представляют собой фашисты, увидел их жестокость. Не буду описывать день за днем пребывание в плену, я опишу лишь несколько эпизодов, которые дадут полную характеристику и немцам, и условиям, в которых мы находились.

Первое, что они сделали, — сняли с нас шинели. Это же суконо, а приближалась зима. У кого были сапоги — сняли сапоги. У кого было суконное обмундирование — брюки, куртки, рубашки — сняли это суконное обмундирование. Среди сотен пленных появились люди в одном белье, босые. Держали нас все время на открытом воздухе, прямо на земле. Правда, немцы проявили «милосердие». Среди пленных было много узбеков, казахов, евреев. Так вот, если в одном белье или без обуви оказался русский или украинец — переводчик в сопровождении немецкого автоматчика искал глазами нашего бойца — еврея или узбека, казаха, — и под

угрозой расстрела на месте заставлял того раздеться или разуться, и его хлопчатобумажную одежду вручал пленному русскому или украинцу.

Через три-четыре дня в одном белье оказались только пленные нерусской национальности. Естественно, они, измученные холодом и голодом, жались один к другому, согревая друг друга своими телами, и на территории лагеря держались особняком, отдельной группой.

А лагерь размещался в Яготине где-то в центре села на колхозном дворе, ограниченном с улицы забором из нескольких рядов колючей проволоки, по бокам — длинными постройками, вероятно, фермами для скота. Задняя часть двора была открыта, но оканчивалась отвесным обрывом, высотой метров 50–60, с болотом внизу, подходящем к самому обрыву. Она никем не охранялась — спуститься вниз практически было невозможно. Внизу, на краю болота, валялись сброшенные туда трупы лошадей, и из болота поднимался невыносимый смрад. На чердаках построек по бокам были проделаны отверстия и установлены пулеметы, направленные на территорию лагеря.

Есть ничего не давали. Вернее — не кормили. На улице стояла одна походная кухня, и что-то в ней варилось. Потом по десять-пятнадцать человек выпускали за колючую проволоку, и пленным давали по черпаку какой-то баланды. Но у меня не было даже котелка, и я решил использовать каску. Между прочим, один из немцев ударил меня по каске прикладом автомата, а стоявший рядом переводчик пояснил: каску носить нельзя. Пилотки у меня не было, и я остался с непокрытой головой. Я тогда вырвал в каске внутреннюю подкладку вместе с фетровым зубчатым околышком, водрузил на голову — получилось что-то вроде короны. Меня потом пленные называли «королем», но получить свой черпок баланды я уже не смог. Котел был исчерпан до дна, и больше его немцы не разжигали.

А пленных все приводили и приводили. Их уже набралось около тысячи человек. Процедура с раздеванием не прекращалась, и людей в белье стало прибавляться.

Примерно на третий или четвертый день на территории лагеря появился немецкий офицер, встал на кучу бревен, лежавших возле колючей проволоки. Рядом с ним переводчик в штатском. Немец что-то проговорил. Переводчик перевел:

– Господин немецкий офицер потерял на территории лагеря свою полевую сумку. Кто нашел — принесите сюда. Если через полчаса сумка не найдется, будут расстреляны сто человек.

Прошло полчаса. Сумка, конечно, не нашлась. Офицер дал команду, и с улицы через открытые ворота вбежало в лагерь человек тридцать немецких солдат с автоматами. Половина из них, направив автоматы на толпу пленных, выстроилась цепочкой, отрезав один из углов территории. В этом углу, сбившись в кучу, находились пленные в одном белье, то есть пленные евреи или красноармейцы среднеазиатских национальностей. Другая половина немецких автоматчиков с криками «Аб! Аб!», ударяя автоматами по стоящим и сидящим людям, стала выгонять их на улицу.

Было ли там 100 человек или 120, а может быть только 90 — не знаю. Я понял: их поведут на расстрел. Их куда-то повели, вероятно, за пределы села Яготина, и больше они не возвращались.

На другой день, как только встало солнце, подняли криком «Аб!» и всех остальных пленных, вывели на улицу и выстроили в колонну. Нас было около тысячи человек. Вдоль колонны, с обеих сторон, через каждые 8–10 шагов встали немецкие автоматчики, и повели нас через село Яготин по какой-то дороге.

По солнцу я определил, что нас ведут на восток, то есть в ту сторону, куда мы стремились при отступлении. Действительно, нас повели в сторону Пирятина, то есть [в сторону] Прилук. Через километров 15 подвели к селу.

На вывеске со стрелкой на немецком языке перед селом красовалась надпись: «*Sulimovka — 2 km*». Через село нас заставили двигаться бегом. Отощавшие, голодные, промерзшие люди после марша в 15 километров бежали, спотыкались, падали и вновь бежали. Если кто-то после падения и крика конвоира «Аб!» сразу не вскакивал, а продолжал лежать, немец в упор в затылок или в спину давал несколько выстрелов из автомата, после чего этот

пленный уже навек встать не мог, и оставался лежать на дороге. У меня были тесные ботинки, ноги горели, голова кружилась, в глазах желтые пятна, в ушах не прекращался звон. В такт этому звону на шее с обеих сторон вздувались жилы, и биение пульса я не только ощущал в этих жилах, но, казалось, слышал ушами. Только не упасть, не упасть. Это будет конец, и я, преодолевая всё, шел в ряду.

Мы пробежали село Сулимовку. На противоположной стороне, уже за селом, был лагерь для военнопленных, обнесенный двумя рядами колючей проволоки с выстроенными вышками для часовых. С этих вышек на лагерь смотрели дула пулеметов. В лагере уже находилось тысячи три пленных. Сбоку от лагеря, также отгороженная колючей проволокой, была небольшая территория, на которой стояло четыре походных кухни. Кухни дымились. Значит, варилась какая-то пища.

Эта территория была соединена с основным лагерем двумя коридорами из колючей проволоки. По одному из них немцы выпускали партию человек по пятьдесят пленных в загородку с кухнями. И когда из этих четырех кухонь им выдавали по черпаку варева, — их по другому коридору загоняли обратно в лагерь, и лишь потом выпускали следующую партию.

Конечно, голодные пленные толпились перед входным коридором, и мы, как вновь пришедшие, смогли стать лишь сзади толпы. Но котлы в походных кухнях иссякли, и подача пищи прекратилась. Три четверти пленных так ничего и не получили, в том числе и вся наша группа в какую-то тысячу человек. Но немцы опять что-то засыпали в котлы и начали варить вторую порцию, а время уже давно перевалило за полдень. Естественно, что тот, кто поздоровее, кто посильнее, проталкивался в толпе пленных вперед и стоял ближе к проходу в заветное отделение. Никакой очереди и никакого порядка не было. Люди постепенно превращались в скотину. Кто посильнее, тот может за день умудриться получить два раза, а большая часть пленных — ни разу.

К вечеру раздали вторую порцию варева. Мне не удалось получить и в этот раз. Естественно, возникала ругань и драки среди

пленных, но немцы «беспорядок» умиротворяли быстро. Три-четыре автоматчика открывали стрельбу из автоматов, пленные прекращали драку, разбегались в стороны, оставляя на земле с десятков трупов.

На следующий день с утра в лагере появился опять немецкий офицер в сопровождении двух автоматчиков и переводчика. Переводчик объявил:

— Господин немецкий офицер потерял на территории лагеря часы. Если через полчаса часы не найдутся, будет расстреляно пятьдесят человек.

Мы уже по яготинской полевой сумке знали, что это только предлог к расстрелу. Но какой способ выберут немцы на сей раз, чтобы отобрать пятьдесят человек, нам было неизвестно. Офицер стоял неподвижно и ждал. На земле у его ног была расстелена палатка.

Вдруг из толпы пленный вышел один красноармеец, держа в руках карманные часы.

— Вот, я нашел...

Офицер жестом показал положить часы на палатку. Пленный положил. Офицер стальной тростью, не нагибаясь, перевернул часы на палатке и сказал одно слово: «Найн».

Тогда пленный нагнулся, чтобы взять часы обратно. Но немец со всего размаха ударил его по спине своей стальной тростью. Рубашка и гимнастерка оказались рассеченными, со спины потекла кровь. Пленный, пригнувшись, бросился и замешался в толпе. Тогда появился второй пленный, также с часами.

— Вот, и я нашел.

Сцена повторилась, только этот второй пленный уже после слова «найн» брать обратно часы не решился. Так в течение 10–15 минут подходили пленные и клали на палатку часы, желая своими часами уплатить за жизнь неизвестных им советских людей. Наконец, офицер что-то сказал. Переводчик перевел:

— Среди сданных часов — часов, принадлежащих офицеру, нет. Но может быть, он сможет выбрать из этой кучи что-нибудь подходящее. Поэтому расстрел отменяется. Затем переводчик, сделав узел, забрал все часы, и вся сволочная кавалькада — офицер,

переводчик и два автоматчика, — вышли за пределы лагеря, направляясь в село.

Ночевали мы в Сулимовке, как и в Яготине, прямо на земле. Но тогда было сухо и сравнительно не холодно, особенно если прижаться вплотную друг к другу. Но в эти дни погода переменилась, пошли холодные осенние дожди с сильным северным ветром. Мы были в одних хлопчатобумажных гимнастерках, промокали до нитки и сильно мерзли.

Стали рыть руками, ложками, у кого был ножичек — ножиками, ямки глубиной 20–30 см по величине, чтобы могло лечь вплотную человек десять. От дождя эти ямки-корыта не спасали, но от ветра давали кое-какое укрытие. За несколько дней пребывания в Сулимовке мне только один раз удалось получить какую-то баланду — водичку, в которой плавало пару кусочков полусваренного сахарного буряка и несколько листиков ботвы от сахарной свеклы. Но есть даже как-то не хотелось. Хотелось пить, а воды в лагере не было.

Дождь, который причинял нам мучения, в то же время был и спасителем. Мы утоляли жажду тем, что беспрерывно сосали свои гимнастерки. Хотелось еще курить, а курить было нечего. Тут я с горечью подумал, что там, в Березани, когда из горящего вагона, прицепленного в хвосте бронепоезда кто-то выбрасывал ящики с махоркой, я мог взять не одну, а несколько пачек. Было бы сейчас, что покурить, и махорка в лагере служила дорогим обменным фондом.

Дело в том, что у некоторых пленных в вещмешках были какие-то продукты — сухари, печеная картошка, сырая морковка — в общем, что-то съедобное. Эти пленные своими запасами ни с кем не делились, но в обмен на одну скрутку табаку давали или морковку величиной с мизинец или корочку сухарика. По лагерю то и дело раздавались голоса:

- Даю за скрутку табака одну печеную картошку!
- Даю за щепотку соли одну морковку.
- Даю за три затяжки сигарки десять зерен кукурузы.

Так мы, голодные, раздетые, промерзшие до костей, измученные до предела, постепенно теряли облик людей, возвращаясь в первобытное общество, где царил натуральный обмен.

Но вот мне в один из дней пребывания в Сулимовке повезло. Утром, чуть рассвело, я без цели бродил среди толп пленных, а их уже в лагере было тысяч десять-двенадцать, почти бессознательно вглядываясь в лица, может быть кого-нибудь встречу из 2-го ОПБ. Но знакомых не было. Встретил, правда, одного телефониста, но он меня не узнал, и когда я подошел к нему, — он как-то отстранился и поспешно смешался в толпе пленных. Увидел я и нашего помощника командира батальона. Он был в солдатской гимнастерке, без знаков различия. Вспомнил, как еще под Киевом в Мостищах я, по распоряжению нач. штаба составлял сведения на весь комсостав — кто, откуда, каким военкоматом призван и т. д., и обратился к нему:

— Товарищ Порядин! Подойдите на минутку сюда, мне надо заполнить на вас сведения.

Он рассердился и заявил:

— Я тебе не товарищ Порядин! Я воентехник второго ранга! И обращаться ко мне надо по уставу, называя воинское звание! Понял?!

Я тогда понял, что это самовлюбленный самодур, но понял я, что и сам виноват, слишком привык к гражданке, и не знал, что к 1941 году наша армия это уже не та, когда я служил в 73-м полку в 1923–1924 годах, и называл своих начальников по имени и отчеству, а они меня просто «Федя».

Сейчас, видя на Порядине красноармейскую форму, я просто подошел к нему, увидел в нем «родное» лицо — своего однополчанина:

— Здравствуйте... Вы тоже попали в эту беду...

Но он меня перебил и сухо отрезал:

— Вот что. Ты ко мне не подходил. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь... Понял?

Я понял, что он не только самодур, но еще и трус, подлец. Ведь не в лагере он сменил свою форму воентехника 2-го ранга на красноармейскую гимнастерку и ботинки с обмотками, а, значит, раньше, чем попал в плен, раздел какого-то убитого, переоделся в красноармейца, заранее планируя сдаться в плен. Так, мол, безопаснее будет. Перед глазами опять встали образы Гончара и Серебрякова...

Я сплюнул, повернулся и отошел в сторону, ничего ему не ответил.

Я сказал, что в один день мне повезло. Бродя в это утро по лагерю, я подошел к колючей проволоке где-то совсем в стороне от входных ворот, и не заметил как в лагерь вбежало человек двадцать автоматчиков, которые цепочкой отрезали группу пленных около ста человек, стоявших сбоку у проволоки. В это число попал и я. Это на расстрел, — промелькнуло в голове, но удирать было уже поздно. Автоматчики открыли проход в проволоке, и всех нас вывели за пределы лагеря. Там выстроили в колонну. Тут же подъехало несколько пароконных подвод. Нашу колонну пристроили в хвост к подводам, и мы двинулись в глубину поля. Подводы остановились примерно в километре [от лагеря] на участке, засаженном сахарной свеклой. Криками и личным показом немцы дали нам понять, чтобы мы откапывали сахарные буряки и складывали в кучу. Копать было нечем. Когда брались за ботву, она отрывалась, и мы руками и пальцами выковыривали буряки из земли. Но нас было человек сто, и горка накопанных буряков росла. Вскоре мы заполнили все подводы. Я воспользовался случаем, и напихал себе буряков за пазуху рубашки и в штаны, поддерживаемые обмотками. Это же делали и другие пленные. Затем подводы поехали обратно в лагерь. Вернулись в лагерь и мы, разбогатев на еду.

В лагере за один бурячок я выменял железный складной ножик, и потом еще много дней, когда начинал мучить голод, я ножиком отрезал ломтик сахарного буряка и съедал его. Ел я малюсенькими скибочками, так как боялся, чтобы не напал понос, так как немцы тех пленных, у кого болели животы, и они часто «бегали», просто пристреливали, а других пленных заставляли их присыпать землей.

Привезенные на подводах буряки немцы сгрузили на площадке, где стояло четыре походных кухни и где варилась для нас банда.

На другой день, едва задымили эти кухни, пленные стали толпиться перед проходом в «заветное» отделение, чтобы первыми

получить пищу. Слово «толпиться» — это не то слово. Каких-нибудь двенадцать тысяч человек не толпились, а, заняв чуть ли не половину территории лагеря, все навалом, давя друг друга, устремились к одной точке. Люди озверели — кричали, ругались. В нескольких местах возникли драки. Ограда из колючей проволоки, натянутой в рост человека, зашаталась. Столбы, на которые была натянута эта проволока, повалились, и вся лавина ринулась в дворик, где стояли кухни. Еще несколько секунд, и кухни были бы опрокинуты, и никто вообще никакой пищи не получил бы.

Немцы беспорядка не любят, а «порядок» они навели быстро. Толпа пленных дрогнула, и начала откатываться назад, в противоположный участок лагеря, оставив на земле несколько убитых красноармейцев. Я не был в числе первых, рвущихся к котлам людей. Поэтому и избежал участи тех, кто остался лежать. Ужас охватил меня от такой молниеносной расправы, от такого бесцельного убийства. Пленные не сопротивлялись, не убегали. Они, измученные отступлением, голодом, ведь многие по пять-шесть суток во рту ничего не имели, постепенно теряли облик людей.

А немцы продолжали «наводить порядок». Из села к лагерю подошла команда гитлеровцев человек тридцать. Первое, что они сделали, это восстановили ограду из колючей проволоки. Затем заставили пленных же относить трупы в конец лагеря, где были выкопаны рвы с перекладами из досок для уборных. В этом отношении они были очень педантичны и, устраивая лагерь, сразу же позаботились, чтобы свои естественные надобности пленные не отправляли на территории лагеря. Так вот эти же рвы, заполненные человеческими испражнениями, превратились в братские могилы застреленных в это утро перед кухнями.

Затем гитлеровцы стали всех пленных выстраивать по пять-десять-шестьдесят человек в ряд, таким образом, чтобы мы стояли вплотную плечо к плечу и вплотную грудью к спине товарища, стоявшего впереди. Затем с помощью переводчика, дубинок, ударов автоматами по головам [они] заставили всех встать на колени. Я очутился где-то в середине колонны и примерно восьмым или десятым от края шеренги. Когда я встал на колени, то полу-

чилось, что у меня между ногами оказалась одна нога впереди стоящего товарища. Одновременно я почувствовал, что на мои ноги сзади сел человек из заднего ряда. Таким образом, я оказался скованным. Встать я не мог, пока товарищ позади меня не встанет, а он не мог встать, в свою очередь, пока не встанет позади него сидящий на его ногах товарищ. И так — каждый. Все мы оказались скованные друг с другом. Если же кто-то вырывался из таких пут — немцы, стоящие с автоматами по бокам сидевшей на коленках колонны пленных, — бежали прямо по плечам, а то и по головам, если кто не успел нагнуть голову, и били прикладами автоматов. Время от времени, чтобы пленные не поднимались, немцы давали поверх голов очереди из автоматов.

— Что они будут делать дальше? Может, еще заставят нас молиться? — услышал я голос соседа справа. Я глянул на него — грязный, обросший. Лицо — как лицо у всех, старше меня лет на пять. Единственно, что отличало его от меня, да и от тысяч других — на нем поверх гимнастерки была телогрейка. Я с завистью посмотрел на телогрейку. Он перехватил мой взгляд:

— Да, нам хоть успели выдать телогрейки. Теперь она меня спасает. А как все остальные, как вы? Мерзнете... и держат нас под открытым небом, под дождем... сволочи. Одно слово — фашисты... Для чего все-таки нас заставили стоять на коленях?

Но ответ пришел быстро. Немцы подняли первую шеренгу и под конвоем проводили в отделение с походными кухнями. Им дали по черпаку баланды, и немцы проводили их в конец колонны, заставив там стать на колени. После этого они подняли второй ряд, и так же после того, когда их котелки были наполнены баландой, сваренной из тех буряков, что мы накануне копали, — их также отвели в конец колонны. Тихо, без толкотни, без давки немцы поднимали ряд за рядом и выдавали пленным пищу. По-ря-док! Но четыре кухни по своей емкости могли выдать за одну варку тысячу, ну тысячу двести порций, а нас было около 12 тысяч. Значит, последний ряд получит, в лучшем случае, за десятой варкой. А так как они варили два раза в сутки, — значит, до последнего ряда очередь дойдет на пятый день, а до меня с соседом — не раньше завтрашнего вечера.

А ноги ныли от неподвижности. Колени сначала болели, а потом я их вообще перестал чувствовать. Если бы не ломтик бурячка, от слабости я потерял бы сознание. Так хотелось размяться, вытянуть ноги. Но пошевелиться я не мог. Угостил я и соседа ломтиком сахарного бурячка. Он с благодарностью взял и, в свою очередь, дал мне обсосать разорванный тюбик, в котором был когда-то плавленый сырок.

— Я по специальности радист. Служил в одной части связистом, и имел радиопередатчик и приемник. Сам из Умани, работал в радиомастерской. В лагере как-то появился офицер с переводчиком:

— Есть ли среди вас радисты? У господина офицера испортился приемник, кто может починить? — Я вышел. Приемник этому гаду я починил. Хотел поймать Москву, чтобы хоть что-то услышать, но в это время Москва, по-видимому, молчала. Офицер дал мне грамм 300 хлеба, я его давно уже съел, и вот этот тюбик сыру, который я растягиваю уже третий день. Не обижайся, что там уже почти ничего нет. Да, будем знакомы — моя фамилия Шидловский. Я из Умани.

Лицо его внушало доверие. Я назвал себя, рассказал, где служил, и как мы безалаберно отступали. Он назвал свою часть (теперь я ее не помню), был где-то под Житомиром, отступили к Киеву, последнее время был в районе Жулян. Часть рассыпалась после Дарницы. В общем, картина та же, знакомая мне.

Стоять на коленях было уже неважно, и люди, опершись на впереди стоящего и, положив головы им на плечи, дремали. На дворе начало смеркаться. Началась раздача пищи после второй варки. Мы с Шидловским договорились, что когда стемнеет — постараемся вырваться из этих коленных пут и пробраться в самый конец, и черт с ней с этой баландой, хотя очень хотелось хоть горячей водички хлебнуть. Будь что будет. Но когда стемнело, и кончилась раздача пищи от повторной варки, немцы подниматься не разрешили. Привезли откуда-то солому и разожгли по бокам от стоящих на коленях пленных костры. И при свете костров бегали по головам и колотили всех, кто пытался подняться.

Часов в 10 вечера нам все-таки удалось выбраться на край колонны. Я обнаружил, что стоять на ногах я не могу. Ноги чужие, мертвые. Это же ощутил и Шидловский. Мы ползком, действуя только руками, пробрались в конец стоящих на коленях людей и занялись массажем икр ног и примитивной гимнастикой — то сгибали, то разгибали ноги в коленях и ступнях, потом обнялись, прижались друг к другу и заснули, предварительно пожевав по ломтику сахарного бурая.

На утро, еще в темноте, при свете горящих костров из соломы, немцы начали нас поднимать, выгонять за пределы лагеря и выстраивать в колонну по десять человек в ряд. Это построение заняло около часа. Колонна растянулась не меньше чем на километр. По обеим сторонам колонны через каждые 20–30 метров стали конвоиры-автоматчики. Появилось и с десяток мотоциклистов, а также конвоиры верхом на лошадях. Значит, будут куда-то перегонять.

Действительно, когда стало всходить солнце и сделалось совсем светло, — колонна с поля вышла на дорогу и нас погнали обратно на Яготин. Но в Яготине остановки не сделали. Наоборот, через село заставили двигаться бегом.

Крестьянки, стоя у своих плетней, бросали пленным какую-то снесь — то варенную в мундирах картошку, то сухари, но мы, подгоняемые криками конвоиров, ударами палок и прикладами автоматов, не могли даже на секунду остановиться, чтобы поднять брошенную пищу. Я только теперь почувствовал, как я обессилен. Да и не только я. Все шли, как-то механически передвигая ноги. Куда нас ведут и когда сделают привал, никто не знал. Яготин мы пробежали, потом опять пошли шагом. Дорога не была ровной. То поднималась в гору, то опускалась вниз. И хотя подъем был очень пологий и невысокий, но браться его было очень тяжело.

Колонна поредела и растянулась еще больше, угрожая разорваться на части. Конвоиры, сменившиеся в Яготине, свирепствовали и били всех, кто чуть-чуть отставал. Я вспомнил, что спортсменам — бегунам на большие дистанции — дают на их пути подкрепиться несколькими глотками сахарного сиропа. У нас сиропа

ЧЕРКАСКОЕ ЧЕРКАССКОЕ
 (городское Товарищество) (потребительское общество)

№ 84 № 84
 4-го апреля 1922 4-го апреля

П о с в и д е н и я .

Худяков Федор Федорович
 лично работал в Черкасском Потребительском обществе
 по специальности *сторож* *хоз. вед.*
 что подпискою на прилагаемую печать подтверждается

Иванов
Корса
Бонд

ПРИМЕТКА: Не выдаваться другим лицам на черном, белом, желтом или другом бланке.

Членская карточка № 1986

Фамилия *Худяков*
 Имя *Федор*
 Отчество *Федорович*
 Возраст *16* Профессия *сторож*
 Специальность *художественная*
 Предприятие и учреждение

№	Наименование	№	Цех или отд.
<i>21</i>	<i>Читал</i>		

Входит в состав *Читальни*
 Выдан в *18-м*

Справка и членская карточка
 16-летнего Феда Худякова
 о работе в Черкасском
 потребительском обществе. 1922

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 58.

Предъявитель сего есть действительный тов Худяков

Федор Федорович

состоящий на службе при 42 Черкасских пехотных Курсах по подготовке командного состава Раб. Кр. Красной Армии в должности

сапожника

~~ИЗДАРИ~~ приказ по курсам

от 28 июня 1922 г. № 184

§ 6

Настоящее выдано на предмет удостоверения личности.



2. Черкассы

Удостоверение Ф. Ф. Худякова о службе при 42 Черкасских пехотных курсах в должности сапожника. 1922

ОТДЕЛ I. Общие сведения

Фамилия: *Кудряков*
Имя: *Редьяр*
Отчество: *Федорович*
Год рождения, месяц, число: *1908 30 мая*
Губерния: *Вильнюс*
Уезда (или города): *г. Вильнюс*
Волости:
Села или деревни:
Семейное положение: *холост*
Сколько детей: *2. Герман Кудряков*
Профессия по службе: *Француз*
На категорию и специальность по службе: *принимает*
Время поступления на службу и как: *Добровольно*
или по призыву: *добровольно 24.12.24*
Какие Кавалерские или военные дела или во-
енского частя при: *ка службе 18.01.1925*
ссылки на: *ка. Кол. Кавалерии*
М. П. *Специальный*
подпись: *Специальный*

Служебная книжка 16-летнего красноармейца Ф. Ф. Худякова. 1922

И О С В Е Д Ч Е Н И Я.

Лано це тов. ХУЛЯКОВУ Федору Федоровичу в тому, що він дійсно був на службі в Черкаському Оксфіввідділі на посаді друкарника-стеклографіста з 20-ї липня 1934 року по 16-е Лютого 1935 року, коли тов. ХУЛЯКОВ відражен у розпорядження Черкаського Оксфарккому, згідно відношення останнього від 16/II 61р. під ч. 1284 по 1 вб'єдниться.

Секретар

/МАРИЧ/
/КУРІЕННИЙ/

Свидетельство Ф. Ф. Худякова о его работе в Черкасском Окрисполкоме. 1925

Минск 22 ^{сентября} 4
3663
на. г. Рыжов

Возлеженному на т. Хуаносу работу он выполнял всегда аккуратно, точно, был исполнительным, примерным и трудолюбивым работником.

Под судом и следствием за время нахождения его на службе не состоял в дисциплинарных взысканиях не подвергался.

Изложенное подлинно и приложением печати удостоверяется.

НАЧАЛЬНИК — ЛІТАВА

Пом. Н-ка ИТ



Тогда в ДАКОВ во время его службы в 73-е фельдвикс имела
таб."Ч А П А В А" полку с Марте 1986 года по Марту месяц 1904 г.
автоматическая переписка по мачу Амстердама поля. Всегда
тогда ХУДТУВ был аккуратным, исполнительным и даже служил примерным
техническим работником для остальных товарищей по работе. Это-
решителем пользовался среди сотрудников. Во все время работы в полку,
в присутствии всех офицеров он выполнял свои обязанности. Удалось ли это?
(Хорошо)
/при политпроверке приключает на 28 группе./

12 июля 1924 года Дзержинск под Нептарец/
Секретарь Всесоюзного 73 полка-чинов партии 1921 г. 299134 парт-
билета: - *С. С. С.* /Хоминко/

Пом. Наркомфина *ниже подписаны:* *Васильев /Давро/*

Совѣтникомъ и подписанъ на распоряженіи т.б.

Неправильно: Церковь Христа, на Корго
Церковь.
Секретарь Времена 11. Жест...

Характеристики Ф. Ф. Худякова о службе в 73-м Стрелковом полку
23-й Стрелковой дивизии в должности переписчика. 1924

Комуністична партія
(більшовиків) УКРАЇНИ.

Шевченківський
Округовий Комітет.

Владислав *Владислав*
3/7 Дня 1927.
№ 1016
м. Черкаси.

П О С В І Д Ч Е Н Н Я . -

Дано це тов. *Худякову*..... в тім,
що він *2 вересня*..... закінчив Черкаську Шко-
лу політграмоти Нормального типу в 1926/27 навчаль-
ному році, що й свідчитьсся. -

Зав. Агітпропом С.Д.К.

Зав. Царк. освіти



М. Куліш
Борисенко

(Куліш)

(Борисенко)

Удостоверение Ф. Ф. Худякова об окончании
Черкаской школы политической грамоты. 1927

Міжнародна Організація Допомоги Бор-
цям за Револьюцію - МОПР.

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОНОВИЙ КОМІТЕТ.

№ 188..... "23" *Вересня* 1930р.

П О С В І Д Ч Е Н Н Я

Пред"ятник цього тов. *Худяков*.....
є дійсно член Черкаського Райкому МОПР
зібраний першою районною Конференцією
28-го Вересня 1930 року, що підписав та
прикладом печатки стверджується. -

Голова РК МОПР

/АНІ СІМОВА/

Відповід. Секретар

Сапожникова САПОЖНИКОВА/

Удостоверение Ф. Ф. Худякова, члена Черкаского райкома МОПР,
подписано секретарем А. И. Сапожниковой — будущей женой. 1930

Відомості про його особистість

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (Більшовиків) УКРАЇНИ
Шевченківський Округ

Рідна м. Червоно, вул. Урацького ч. 8
23 Вересня 1930, м. Червоно, Шевченківський округ

Д О В І Д К А

Дана ця М.К. ОПК тов. ХУДЯКОВУ Ф. в тім, що він під час його роботи при Шевченківському ОПК був Секретарем МТ - 8 років, членом М.К. - 1 рік, організатором та Головою т-ва ТСО-Авіокему - 1 рік 2 місяці, в редакції етикетки при ОПК - 1 рік 6 місяців, кооперативною колективною ОПК - 1 рік, уповноваженим худ. робіт. освіти при колективі ОПК - 1 рік, та в громадському житті колектива приймав активну участь.

Голова М.К. *[підпис]*
Секретар *[підпис]*

Бюджетна кв. аркушів. Числою відомості на б. р.

Справка об общественной работе
Ф. Ф. Худякова. 1930

1) розкриті усіх країн, єдиного!

СВІДОЦТВО ПРО ПОДРУЖЖА
№ 288

Громадянин *Худяков Федір Федорович*
громадянка *Сапожнікова Катерина Іванівна*
м. Червоно місяця 1932 року

Видатися вони своїм подружжям згідно з розпорядком подружжя погодились мати прізвище:
громадянин *Худяков*
громадянка *Сапожнікова*

про що записано в книзі подружжя за 1932 рік під № 168
Свідцтво видає *Червоно* місяця 1932 року *Червоно* району.

М. П. Голова ради *[підпис]* Секретар *[підпис]*
Зав. ЗАГС *[підпис]* Рєєстратор *[підпис]*

СхАТ ф. А, 210х148 15 друк.—3680—31

Свидетельство о браке Ф. Ф. Худякова и А. И. Сапожниковой. 1932

У.С.Р.Р. 2 Дієсно до "1" червня, ... 1939 року. -

Міжпосередня Управління
Київської Горської Ради

ПОСІДЧЕННЯ -

Пред'являю цього тов. ХУДЯКОВ Д.Ф. дієсно
процес в житловому управлінні Київської Горської
Ради на посаді Старшого інспектора по експлуатації жи-
лового фонду.

Тов. ХУДЯКОВ Д.Ф. має право перевіряти діяль-
ність Жилищного управління м. Києва, в тому ж відно-
шенні 9 9 постанови ЦВК і РНК СРСР від 17/IX-37р.
"Про збереження житлового фонду і поліпшення жи-
тлових умов трудящих в містах" - перевіряти пра-
вильність експлуатації всіх будинків, як тих, що
належать Київській Раді, так і тих, що належать
підприємствам, організаціям, установам та при-
ватним особам, або взяті в оренду таким."

ЖИЛИЩНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (ПУТАЧОВСЬКИЙ)
(МАНЬ)

Військо до 1-го червня, 1939 року.
Наг. м.ж.ч. Худяков Д.Ф.
Зав. сект. експ. ж.ф. С.С.С.С.С.

Військо до 15-го червня, 1939 року.
Наг. м.ж.ч. Худяков Д.Ф.
Зав. сект. експ. ж.ф. С.С.С.С.С.

Удостоверение Ф. Ф. Худякова о его работе в Жилищном управлении
Киевского Горсовета старшим инспектором по эксплуатации жилого фонда. 1939

УДОСТОВЕРЕНИЕ -

Пред'явитель сего Красноармеец.....
тов. Худяков Федор Федорович.....
состоит на действительной военной службе во 2-м
ОДВ. КиУРа в должности..... писаря.....
....., что и удостоверяется. -
Действительно по.!

Начальник Града 2-го ОП
Ст. Лопатин

31.7 1941 г.
35

Справка Ф. Ф. Худякова о службе во 2-м ОПБ КиУРа. по обороне Киева. 1941
Правый нижний угол с подписью и печатью оторван Ф. Ф. Худяковым
в целях сохранения «военной тайны»

УССР
Киевский Городской Совет
Депутатов Трудающих
Городское Жилищное Управление
"17" ноября 1943 г.
№ К/8.
г. Киев, ул. Ленина № 1.

ДОСТУПНО ДО 15. Декабря

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Предъявите это, тов. Худяков. Федор.
... Редович ...
действительно состоит в Киевском Городском Жилищном
Управлении Городского Совета в качестве Завед. от-
дела. Эксплуатации жилищного фонда
Начальник Киевского Городского
Жилищного Управления Городского
Еврович /Еврович/

Справка Ф. Ф. Худякова о его работе в Киевском горжилуправлении
в должности заведующего отделом эксплуатации жилищного фонда.

Выдана на одиннадцатый день после освобождения Киева. 1943

Действит. по пред'явл. удостов. личности

ПРОПУСК № 2230

Тов. Худяков Федор

разрешается хождение по городу Киеву
в ночное время

За передачу пропуска другому лицу
нарушители подлежат суду по законам
военного времени.

29 ноября 1943 г.

Воен. Командант г. Киева
Полковник (И. Гречкоский)

Пропуск Ф. Ф. Худякова
на право хождения по Киеву
в ночное время. 1943

Stadterverwaltung Управа м. Киева
 T ALWONNUNGSAMT ЖИТЛОВЕ УПРАВЛІННЯ
 Секція XI
 1941 21 9 1943
 № №

ВИДАНА ЦЯ П. Худякову Ф. Ф.
 в тому, що він /член/ членів... Секції XI Житло-
 вої Управи м. Києва з "12" 11 1941 р.
 по "21" 9 1943 р.

Секція XI
 Управа м. Києва

Справка, выданная Ф. Ф. Худяковым городской управой Киева
 о его работе в оккупированном Киеве в 1941–1943 годах

Действительно по пред"явлению паспорта
 или удостоверения личности

ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Пред"явитель сего тов. Худяков
Федор Федорович Год рождения 1906
~~Рос. паспорт~~ состоит на службе Торж.управление
Киевского Горсовета в должности Зав. орг. и эксп. отдел.
 предоставлена отсрочка по призыву в Красную Армию до 31 декабря
 1943 года.
 Настоящее выдано в замен удостоверения установленного
 образца НКО СССР.

Сталинский Райвоенком М. М. М. М.
 Начальник I-й части РКМ М. М. М. М.
 ст. м. м. м. м. М. М. М. М.

Временное удостоверение Ф. Ф. Худякова о предоставлении ему
 отсрочки от призыва до 31 декабря 1943 года

Исполком Киевского Городского Совета
Депутатов Тружеников
Городского Жилищного Управления
"3" Января 1944 г.
г. Киев, ул. Ленина 31.

Действительно до 11 Января 1944 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

... Предъявитель сего: Худяков Федор Федорович
... Действительно работает в Киевском Городском Жилищном Управлении, Городского Совета, в должности: Зав. Отделом Эксплуатации

Паче личная печать Городского Жилищного Управления

[Подпись] /Левченко/

Справка Ф. Ф. Худякова о его работе в Киевском горжилуправлении
в должности заведующего отделом эксплуатации жилищного фонда. 1944

15844

КИЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ.-

Исполком Киевского Городского Совета Депутатов
Тружеников просит Ваших указаний о зафиксировании
до 1-го Июля 1944 года Зав. Отделом Эксплуатации
Городского Жилищного Управления тов. ХУДЯКОВА Ф.Ф.
/р.ж.д. 1908 г., рядовой состав/.
Тов. ХУДЯКОВ Ф.Ф. является одним из старых
рабочников жилищной системы /стоит работы в Жилищном
Управлении 14 лет/, знаком хорошо с городом, за-
ведует в настоящее время отделом, на который по-
лучено размещение учреждений и организаций и
призыв его в Красную Армию, особенно сейчас в мо-
мент переезда центральных учреждений, стоит под
угрозой срыва данных участков работы.-
На военном учете т. Худяков состоит в Сталин-
ском районном комитете.-

Служащий: *[Подпись]*
отдел: *[Подпись]*
17.01.44. *[Подпись]*

Председатель Исполкома
Киевского Городского Совета

[Подпись] /Левченко/

Письмо Председателя Киевского горисполкома т. Лебеда с просьбой о
предоставлении Ф. Ф. Худякову отсрочки от призыва. Октябрь 1944 года

УРСР
БЮРО КОМУ
Київської міської ради
депутатів трудящих

ВСТАНОВЛЕННЯ
28/5 1944 г.
№ 22-12

Дана сия тов. ХУДЯКОВУ Федору Федоровичу
в том, что он действительно работал в Жилищ-
ном Управлении Киевского Горсовета на
должности Зав. Отделом эксплуатации жилищ
с 7 ноября 1943 года по 24 февраля 1944 года,
когда и был уволен в связи с мобилизацией в
Ряды Красной Армии. -

Начальник Горсовета *В. Ф. Худяков* /ПОЛИШУК/
Зав. Отделом *В. Ф. Худяков* /БОЛКОЗА/

Справка Ф. Ф. Худякова о работе в Жилищном управлении Киевского Горсовета
с 7 ноября 1943 года по 24 февраля 1944 года

УРСР
«ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ»
Государственный институт
по проектированию
гражданского строительства

Визирование
Визирование тов. Худякову Федору Федоровичу
в том, что он действительно работа-
ет в «Гипрогражданстрой» в должности
управляющего

Справка выдана для представления в
ОК милиции 2-го отд. гор. Киева

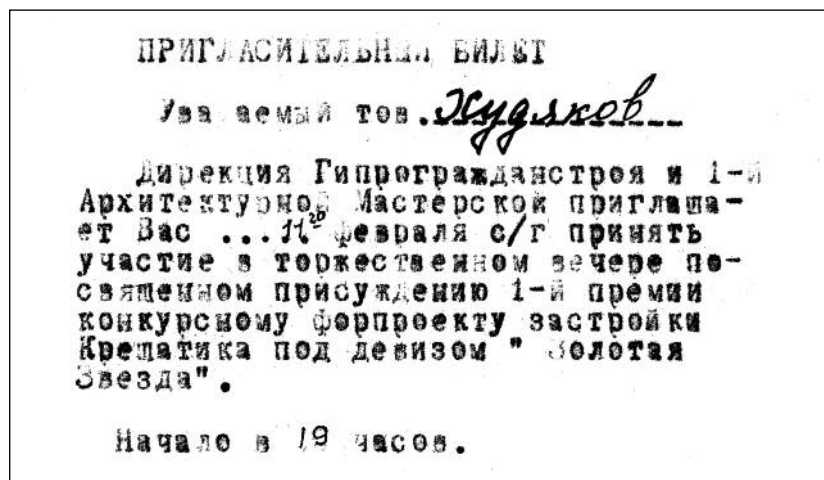
11 марта 1944 г.
№ 11/44

Директор «Гипрогражданстрой»
инженер-майор *С. В. Виноградов* /Кабанов/

Справка, выданная Ф. Ф. Худякову о его работе управляющим делами
Государственного института по проектированию гражданского строительства
«ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ». 11 марта 1944 года



Удостоверение Ф. Ф. Худякова — служащего Института
«ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ». Июль 1944 года



Приглашение на торжества в Институт «ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ» по случаю присуждения конкурсному проекту застройки Крещатика под девизом «Золотая звезда» первой премии

3м

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 629

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КП(б)У

5 июня 1944 года

г. Киев

"Об обеспечении помещениями научно-исследовательских, учебных, проектных и производственных организаций и жильем работников Наркоммилгражданстроя УССР".

Для обеспечения помещениями научно-исследовательских, учебных, проектных и производственных организаций и жильем работников Наркоммилгражданстроя УССР, ЦК УССР и ЦК КП(б)У ПОСТАНОВЛЯЮТ:

5. для обеспечения жильем инженерно-технических работников Государственного института по проектированию жилищного, гражданского и сельскохозяйственного строительства, передать Наркоммилгражданстрой УССР, для восстановления полуразрушенного жилого дома по ул. Щорса № 5.

Председатель Совета
Народных Комиссаров УССР

Секретарь Центрального
Комитета КП(б)У

/И. Урюкин/

/Д. Коротченко/

Выписка Верна Секретарь



[Handwritten signature]

/Головатова/

Выписка из Постановления Совнаркома УССР и ЦК КП(б)У
о передаче Институту «ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ»
для восстановления и обеспечения жильем сотрудников
жилого дома по ул. Щорса (ныне — ул. Московская), 5. Июнь 1944 года

не было, но у меня были сахарные бурячки, и в течение всего дня, что мы шли и бежали, я на ходу отрезал себе и Шидловскому ломтики. Это не сироп, но все-таки еда и сахар, хотя во рту от сырого нечищеного буряка стояла изжога, хотелось воды, но воды не было. Тошнило. Кружилась голова, в ушах по-прежнему стояли звон и шум. В глазах белые круги...

Прошли, вернее, пробежали, еще одну деревню. Здесь, как и в Яготине, крестьянки бросали нам еду. Кое-кто успевал поймать или нагнуться и поднять то, что им бросали, но мне не везло. Я ничем запастись не сумел. Если не считать нескольких колосков пшеницы, которые растирал в руке, и жевал зерна.

Вечером, часов в 9, когда уже стемнело, мы пробежали село Студенники, и за селом нас расположили на лугу. Впереди было не то болото, не то какая-то речка. Спустился туман. Сильно похолодало. Люди, как только поняли, что это долгожданный «привал» или место для ночлега — как стояли — падали и моментально засыпали.

Я не могу сказать, что меня мучило больше всего: голод, жажда, холод или смертельная усталость. Мы с Шидловским пристроились к группе пленных, прижались к ним и друг к другу, и не сон, а какое-то оцепенение напало на меня. Я уже двинуться с места не мог.

Перед мысленным взором проносились галлюцинации — то я опять на Рейтерской улице в Киеве укладываю Юрочку спать и все стараюсь его накрыть чем-нибудь потеплее, ведь холодно. То я прижимаюсь к Ане, и она почему-то храпит. Я соображаю, это не Аня, это кто-то другой жмется ко мне и не храпит, а хрипит и стонет. Да нет же, какая Рейтерская! Я же в плену у фашистов, нас куда-то пригнали и вот мы, после сорокакилометрового перехода здесь ночуем. Чувствую, что рубашка стала замерзать, превратилась в жесткую клеенку. Хорошо Шидловскому, у него телогрейка, а каково мне, а каково другим, которые остались босые и в одном белье.

Я повернул голову. Ко мне прижался один пленный в одном белье. Это он хрипел и стонал. Наверно, еврей или, как гитлеровцы называли, «юде».

– Ой, умираю, хоть бы чуточку тепла... — простонал он. Я поднялся, уступая ему место:

– Ложись здесь. Прижимайся к тому, что в телогрейке, а я с другой стороны прижмусь к тебе. До утра дотянем, а там солнце встанет, обогреет, — сказал я.

Отрезал скибочку буряка:

– На! Пожуй немного, все-таки сахар.

Бурячка он не взял, но лег между мной и Шидловским, но в это время около нас появилось еще два раздетых до белья красноармейцев. Они пристроились к этому, что стонал, а я уже лег с краю. Но вскоре вплотную ко мне легло еще несколько человек. Так мы, обогревая друг друга телами, провели ночь.

Утром нас опять подняли, выстроили в колонну и погнали — куда, мы не знали. Выходя с места ночевки, на краю села я увидел на дороге в смерзшейся грязи торчащую ручку (черенок) от тыквы. Я машинально пригнулся и поднял ее. На краю этого черенка величиной с грецкий орех был кусок тыквы. Он замерз и был похож на слизняк, перемешанный с грязью. Я не думая, сунул его в рот. Холодный, мокрый, сладкий — какая прелесть, подумал я. Никогда не знал, что замороженная тыква в сыром виде вкуснее любых котлет или тортов.

Нас пригнали в Переяслав, но там не сделали привала. Через городок нас провели «бегом». Когда выходили из Переяслава — дорога шла в гору. Шидловский оглянулся и говорит:

– Посмотри, как мы растянулись, наверно километра на два, если не больше.

Я с горы оглянулся назад, окинул взглядом колонну, на это потребовалось 2–3 секунды, но за эти секунды я отстал от своего ряда шага на три. А вот, чтобы нагнать свою шеренгу мне понадобилось, наверно, не менее получаса. Сразу за Переяславом была плантация сахарных буряков. Некоторые пленные выходили из строя, и в двух-трех метрах от дороги нагибались, чтобы вырвать себе сахарный бурячок. Тогда, шедший вблизи конвоир, отделялся и, не говоря ни слова, из автомата в затылок пристреливал такого пленного. Некоторые пленные падали и, если на окрик конвоира — «Аб! Аб!»

— не поднимались, то следующий в нескольких шагах конвоир стрелял в него из автомата в упор и убивал.

Так мы шли уже часов шесть. Прошли Переяслав, и двигались по дороге в сторону села Ерковцы. Усталость? Это не то слово. Я еле передвигал ноги, я чувствовал, что даже поворот головы вправо или влево доставлял невыразимые мучения, отбирал энергию. Одна мысль сверлила голову — только не упасть. Упаду — не встану, и конец всему.

Но вот поле с бурьянами кончилось. Началось открытое, все перепаханное поле, и нас свернули с дороги на него и дали понять, что это — «привал». Люди, как только свернули с дороги на это открытое поле, сразу падали. Упал и я. Какая благодать, лежа на земле вытянуться. Пригревало солнышко. Тут я заметил, что многие пленные пальцами разрывают землю. Оказывается, там росла картошка. Ее колхозники выкопали, но люди находили небольшие картофелины величиной с вишню или грецкий орех и запасались этой провизией. У меня не было сил встать и последовать их примеру. Так прошло с полчаса. Нас подняли опять, выстроили и вывели на дорогу в село Ерковцы. Как я поднялся, не верится и сейчас. Я уже потерял счет, когда последний разпил, когда ел, не говорю уже о том, что уже больше двух недель не умывался, не чувствовал тепла. На голой земле, под открытым небом, в дождь и мороз, в одной гимнастерке.

Сознание туманилось, шел механически, и только одна мысль сверлила голову: не упасть, не упасть. Это будет конец. И все-таки я упал. Услыхал над головой «Аб!», но подняться не смог. Значит, после следующего окрика «Аб!» меня пристрелят. Я напряг всю силу воли и чуть поднял корпус, опираясь на руки. Слышу рядом голос Шидловского — «Мотай обмотку!». Я понял. Если я буду мотать обмотку, — немцы подумают, что я не упал, а сел, чтобы исправить размотавшуюся обмотку на ногах. Я так и сделал. Следующий конвоир только крикнул «Аб!», но не выстрелил. Мимо проходил ряд за рядом несчастных пленных. Обмотку я уже перемотал, но подняться не мог. Уже начинало смеркаться. Тогда Шидловский с одной стороны и какой-то пленный с другой взяли меня под мышки

и помогли встать. Мы вклинились в колонну, и пошли. К счастью, примерно через час, когда уже стемнело окончательно, нас привели в лагерь возле села Ерквцы.

Этот лагерь был расположен на территории колхозного или совхозного свинарника. Низенькие, не больше метра высотой длинные постройки с корытами для кормушек, внутри загаженные свинными отходами, позади построек длинные рвы, куда стекала жижа от свиных фекалий. Где-то в середине, между постройками — колодец, но воды в колодце не было. Лагерь, как и полагается, обнесен двумя рядами колючей проволоки выше человеческого роста. В нескольких местах — вышки с пулеметами, направленными на лагерь.

Когда я зашел на территорию лагеря, упал уже окончательно. Ни пить, ни есть я бы ничего не смог, упал почти без сознания. Даже вши, которые одолели меня, как и всех пленных, уже не тревожили. Раньше бывало, как только появились вши, я их давил ногтями, потом просто расстегивал брюки, подымал рубашку и ладонями сметал с рубашки и кальсон, а теперь я их и не чувствовал.

Ночь я спал и не спал. Полузабытье какое-то. Кошмары. То я опять в Киеве, дома, то слышу зловещий крик «Аб!» То я стреляю в немцев, но звука выстрела не слышу, а он, гад, идет... идет на меня и наставляет автомат, вот-вот выстрелит. То передо мной Днепр, много-много воды, и я тянусь к воде, хочу набрать флягу, но ноги чугунные, я подхожу все ближе и ближе, а Днепр отступает все дальше и дальше... В общем, словами трудно передать все эти кошмары. Так я провел ночь.

Утром осмотрелся. Вижу, возле колючей проволоки толпятся пленные — с котелками, флягами. Оказывается, дети лет по восемь-двенадцать из села носят воду. Пленные протягивают через проволоку свои котелки, и дети им наливают воду. Некоторые же ребята берут котелки и фляги, идут в село, а потом приносят в них воду. У меня котелка не было, но фляга была. Фляга стеклянная в парусиновом чехле. На нем, чтобы не спутать, я химическим карандашом вывел большие буквы: «Ф. Х.» Это я сделал, еще когда стояли под Киевом у Демидовского моста. Подошел к проволоке, дал одному мальчику флягу.

Мальчик взял флягу, взял еще у кого-то пару котелков и ушел в село. Я стал ждать, как и все пленные, которые дали посуду для воды. По ту сторону прохаживался какой-то гитлеровец из охраны лагеря. Пять шагов в одну сторону, пять — обратно. Ждать пришлось долго. Наконец, появилась девочка лет двенадцати. Она неслла в обеих руках штук шесть фляг, висящих на тесемках. Подошла к проволоке и растерянно, испуганно посмотрела на нас, пленных. К ней протянулось сразу с десятков рук, и расхватили фляги. На чехле одной из них я увидел буквы «Ф. Х.», и тоже протянул руку и схватился за тесемки. В это время позади меня протянулась еще чья-то рука и схватилась за эту же флягу. Я крикнул:

— Это моя фляга, видишь буквы!

Пленный, что стоял за мной, — в ответ крикнул:

— Плевать я хотел на буквы, фляга моя!

Так мы, держа руки, протянутые через два ряда колючей проволоки, несколько секунд рвали флягу каждый себе. Часовые ходили не только по ту сторону колючей проволоки, но и внутри лагеря. А «беспорядков» немцы не любят. Видя наш спор, а это был уже «беспорядок» в лагере, немец, ходивший тут же, имел кроме автомата здоровенную палку, толщиной не меньше чем ножка от стола: он, не раздумывая размахнулся и ударил по голове того пленного, что хотел забрать мою флягу. Тот, как стоял, так и повис на проволоке. Рука застряла в колючей проволоке. Флягу он уже не держал. Я быстрым движением выдернул руку из проволоки вместе с флягой, но в это время второй удар пришелся по мне. Я сделал шаг в сторону от проволоки и упал, потеряв сознание.

Прошло ли несколько секунд или несколько минут, но когда я очнулся, лежа лицом в земле, я увидел, что моя фляга, которую я держал в руках, лежит опрокинутая, и воды в ней уже нет, так может несколько капель, вся вытекла. Я молча поднял флягу, проглотил эти несколько капель, и пошел к тому месту, где сидел Шидловский.

Увидев меня, он обрадовался:

— Принес? — Я рассказал, что произошло. Позже мы с Шидловским наблюдали еще одну сцену. К проволоке подошла старуш-

ка-селянка с кошелкой. Принесла пленным сухари, и стала раздавать. Пленные, озверевшие от голода, со всех сторон протягивали руки, навалились толпой на проволоку, повалился столб, и группа пленников человек двадцать навалилась на старушку. Опять «беспорядок». На сей раз более сложный. Повален столб, поддерживающий колючую проволоку. Тут, по мнению немцев, палка не поможет, и в ход пошел автомат. Несколько коротких очередей, и пленные отхлынули на территорию лагеря. Осталось лежать три или четыре убитых, а старушка цела-целехонька поднялась, перекрестилась, и со своей кошелкой засемила к селу.

Ограду из колючей проволоки немцы быстро восстановили, и в лагере наступил «порядок». Убитых немцы заставили пленников же отнести в конец лагеря и там засыпать землей. Но, ожидая воды или какой-нибудь другой поживы, пленные все время бродили вдоль проволоки. Здесь я был свидетелем еще одного эпизода.

Около самой проволоки стоял один пленный красноармеец. Он заворочено смотрел куда-то в одну точку. По ту сторону проволоки мимо него важно прохаживался дородный гитлеровец. Пять шагов в одну сторону, пять шагов обратно. Когда он проходил мимо стоящего пленного, тот вдруг молящим голосом проговорил:

– Па-а-а-н!

Он продолжал смотреть в одну точку на землю, по которой шагал немец. Тот не обратил никакого внимания на пленного. Еще раз два или три я услышал это «па-а-а-н», и заметил, что пленный на что-то, лежащее на земле, указывает пальцем. Я глянул в эту сторону и увидел лежащий на земле в грязи сухарик, величиной не больше спичечной коробки. Видел я, как гитлеровец несколько раз смотрел на этот сухарик, но продолжал ходить взад-вперед. Наконец, немец остановился около сухарика, носком сапога поддел его, и зафутболил в сторону пленного. Сухарик пролетел сквозь колючую проволоку и упал к ногам пленного. Тот схватил сухарик и, держа его обеими руками, сразу начал есть. Я перехватил его взгляд — взгляд ненормального человека, взгляд испуганный, он как бы боялся, что кто-то вырвет у него из рук этот сухарик, и держал его двумя ладонями, поспешно запихивая в рот.

А немец по-прежнему важно прохаживался взад-вперед. Я подумал — так вот как эти сволочи гитлеровцы любыми путями — массовым расстрелом, индивидуальными убийствами, раздеванием чуть ли не догола людей, пытками голодом и жаждой, холодом постепенно вытравливают из наших советских людей все человеческое, превращают их в безликую скотину. Найди я, даже в грязи, сухарик, я тоже, может быть, съел бы его, ел же я мерзлый, в грязи, слизняк от тыквы. Но если бы немец мне швырнул его сапогом, я бы, наверно, не выдержал и швырнул бы ему обратно этот сухарик в лицо, не думая о последствиях.

Я отошел от проволоки. Тем более, что после истории со старушкой и стрельбы — из села никто не появлялся.

А в лагере шла своя жизнь. Пленные менялись продуктами: то одну вареную картошку за сырую морковку, 20 зерен ржи (это половина чайной ложки) за две затяжки сигарки, то кусочек сахара величиной с грудочку сахара — за щепотку соли. Кое-кто развел костры. Топливо? Солома, собранная при перегонах в пути, разные палочки, щепочки. Были и такие пленные, которые собирали топливо, а теперь варили в котелках баланду. Пошла в ход и моя каска, освобожденная от внутреннихостей. Она мне служила котелком.

— Король! Одолжи каску сварить борщ! — обратилась ко мне одна группа пленных, — дадим три ложки юшки.

Борщ так борщ. Я каску дал. Три ложки юшки — это тоже чего-то стоило. Составные части борща — штуки три картофелины, кусочек сахарного буряка, пару ложек пшеничных и ржаных зерен, штук 20 зерен кукурузы, один огурец, оставленный на семена. Вот и все, что собрала компания в складчину. Варили минут 10–15, бережно обкладывая котелок (каску) веточками и соломинками. Топлива было мало. Всех брало нетерпение и, хотя ясно было, что все еще сырое, но решили, что «готово». Мне, как владельцу каски, дали первому три ложки юшки. И не только как владельцу каски, а просто легче было набрать, так как все продукты лежали на дне. Я проглотил три ложки мутной горячей водицы, без всякого вкуса, даже без соли, и чтобы не раздражать аппетит, отошел в сторону. У

меня за пазухой еще оставался один небольшой сахарный буряк, и я, экономя его, позволял себе не чаще двух раз в день отрезать ломтик и жевал.

Еще пару раз, давая на прокат свою каску, мне удавалось получить несколько ложек «юшки», а один раз даже с кусочком картошки. Немцы же вообще не считали необходимым нас кормить. Видя, что селянки и дети что-то подбрасывают нам, видя, что пленные что-то варят себе, гитлеровцы считали, что все нормально. То, что каждую ночь умирало не менее десятка людей, — это немцев не тревожило.

Пошли опять дожди. Люди сосали свои гимнастерки, собирали дождевую воду в котелки, пили из каждой лужицы. Это хоть было спасением. Но дожди размыли дороги. Глинистая почва превратилась в грязь, как густая сметана, слоем до 8–10 сантиметров. Немецкие машины — фургоны, которые то и дело ездили по дороге, стали буксовать, застревать, и немцы решили использовать пленных для очистки дороги.

Однажды, это было числа 10–12 октября, немцы стали выгонять нас из лагеря и выстраивать в колонну. Думая, что будут перегонять в другой лагерь, я и Шидловский постарались выйти в числе первых, чтобы оказаться в голове колонны, а не в хвосте. Там разговор короткий — отстанешь, идти не можешь — пуля в затылок, и всё. Но весь лагерь не выгнали. Когда набралось с тысячу человек, ворота закрыли, а нас повели на дорогу обратно на Переяслав.

Там нас ожидало несколько грузовиков, нагруженных лопатами. Каждого заставили взять по лопате и растянули вдоль дороги на добрый километр. Часть пленных заставили копать кюветы для стока воды по обеим обочинам дороги, а другую часть — лопатами с дороги снимать грязь до твердого глинистого основания и относить грязь в поле. Примерно на каждые пятьдесят-шестьдесят человек пленных поставили гитлеровца с автоматом, который выполнял и роль конвоя, и роль десятника-дорожника. Я носил грязь и, пользуясь случаем, подбирал в поле колоски и, если успевал, пока конвоир не видит, растирал в руках, отправляя часть зерен в рот, а

часть в карман, на запас. То же делали и другие пленные. Но настал час обеда. Наш конвоир провозгласил — «Митл-эссен».

Все сошли в сторону, и первым делом разожгли костер и сели сушиться и греться. Мокрая солома дымила и давала только дым, но и дым теплый. А часовой не спеша раскрыл сумку, вытащил кусок хлеба, жирно намазанный маслом, кусок мяса или колбасы, пару яиц, и так же не спеша на глазах голодных стал есть. Поев, он запил чем-то из фляги, потом подошел к пленным и я увидел, как он стал вытаскивать из кармана куски хлеба и незаметно стал совать этот хлеб в руки наиболее уставшим и истощенным. Сунул он и мне кусочек хлеба. Значит, и среди немцев есть люди.

Я глянул ему в лицо. Человек уже немолодой, лет 45–50. Наверно, рабочий. Это не тот молодчик, который ударил меня по руке автоматом, радуясь, что «взял в плен», не тот, который щелкал машинкой для стрижки, запустив свою пятерню в волосы женщины-врача, и не тот надменный гитлеровец, который сапогом швырнул пленному сухарь в лагерь. Я с благодарностью взглянул на него, и сказал «Данке». В это время подошел офицер. Наш часовой подтянулся, выпрямился, и стал что-то кричать на пленных, давая понять, что «обед» закончился и надо браться за лопаты. Вечером нас заставили почистить свои лопаты, чтобы ни одного комка грязи на них не осталось, сложить в кучу, и лишь после того выстроили опять колонну и повели в лагерь.

Там нас ждал сюрприз. Пленных в лагере не было. Их днем, когда мы чистили дорогу, угнали куда-то в противоположную сторону, надо полагать в Борисполь, так как вскоре и нас туда погнали. Но что больше всего нас обрадовало, это то, что в лагере стояли три походные кухни. В них уже был сварен картофельный суп. Вода и картошка. И сравнительно густой. И с солью. Нас было немного, с тысячу человек, и наметанным глазом мы поняли — хватит всем. Беспорядка не было. Все чинно выстроились в три очереди, и вскоре мы наслаждались картофельным супом. Правда, картошка была почищена плохо, плавало много лушпаек. Но никто не сетовал. Главное было то, что суп посоленный, а мы соли не видели, не пробовали уже больше двух недель. Особенно радовался

Шидловский. Он очень тосковал за супом. Всегда говорил: «Мне бы супчику солененького».

Так прошло несколько дней. Утром нас выгоняли чистить дорогу, копать кюветы, вытягивать застрявшие автомашины, вечером нам давали картофельный суп, но уже без соли. Спали мы по-прежнему на дворе, на земле, тесно прижавшись друг к другу, спасаясь от холода, который, особенно по ночам, нас сильно мучил. К утру наружная температура снижалась до 3–5 градусов мороза, и только днем пригревало солнце и делалось теплее. Эти морозы и ясная погода днем подсушили дороги, и мы гадали, что будут немцы делать с нами дальше. Бурячки мои кончились, и днем я подкреплялся только собранными на дороге и в поле возле дороги несколькими колосьями ржи или пшеницы, а вечером супом. Я удивлялся, какой все-таки выносливый человек и как окружающая обстановка действует на сопротивляемость организма.

Да, я страдал, я голодал, мерз. Я ежеминутно находился под страхом смерти, у меня болела голова, шум в ушах не прекращался, я ослаб и еле передвигал ноги, но я даже не простудился. В другое время одни сутки такой жизни свалили бы меня с воспалением легких, а тут даже насморка не было. Я только сильно ослаб. Постоянное головокружение, и что еще я заметил: у меня стали сильно дрожать руки, бывало, я лопату не мог удержать. Напала какая-то трясучка, стала дергаться голова, сводить судорогой щеки, рот.

Крепись, Федя, — думал я. Ты еще должен выбраться на свободу, и отомстить проклятым фашистам за все, за эти мучения и издевательства в плену, за мою Анечку и Юрасика (где они сейчас и живы ли вообще?), отомстить за бедных расстрелянных пленных, за те спаленные хаты, взятые у нас города и села, за мой дорогой Киев. И я крепился, старался не попадаться на глаза немцам, охранявшим лагерь или водившим нас на работы на дорогу. Думал я и о побеге, но условий подходящих не было. Будь на мне гражданская одежда — дело другое, а в красноармейской форме, хоть и с «короной» на голове, я никуда податься не смог бы. В селе полно немцев, лагерь надежно окружен колючей проволокой, дорога — в чистом поле,

сколько хватит глаз ни одного деревца, да и я еле двигаюсь. Надо подождать. Я искал среди пленных единомышленников, но кроме Шидловского, никого не находил.

Люди как-то замкнулись в себе, каждый со своей горестью, со своими думами. Да и примерно половина пленных были люди «нацмены» из Средней Азии — не то узбеки, не то туркмены или казахи. Они держались особняком от русских или украинцев, говоря на родном языке, и с нами не общались.

17-го октября нас чистить дорогу не повели, а выстроили и погнали в Борисполь. Это километров 40–45. По пути на одной из развилок дорог мы проходили через кладбище разбитых бомбежкой наших русских автомашин. Их было десятка три. Видно, еще при отступлении, тут образовалась пробка, и они стали жертвами пикирующих бомбардировщиков. Тел убитых красноармейцев не было. Видимо, немцы, боясь разложения и трупного яда, убрали их. А мертвые, искореженные, разбитые машины остались. Я заметил, как многие пленные бросились к машинам, и стали сдирать обшивку сидений. Я последовал их примеру, и скоро из-под одного сидения надергал себе ваты, запихивая ее вокруг груди между сорочкой и гимнастеркой, а также в штаны. Скоро я почувствовал, что вата стала согревать меня. Приятное тепло разлилось по всему телу. Теперь я действительно «король», — с горечью подумал я.

Вечером нас пригнали в Борисполь на обширное поле аэродрома, где почти месяц тому назад мы, полные надежд, проезжали при отступлении из Киева. Вспомнился опять бедный, но гордый и смелый лейтенант Гончар, вспомнился Серебряков...

Начал снова моросить дождь, и я, хоть и защищенный теперь слоем ваты, чувствовал, что насквозь промок. К ночи дождь сменился мокрым снегом, а к полуночи опять схватил мороз. Мокрая гимнастерка и вата уже не спасали. Тут мы с Шидловским обнаружили, что все поле аэродрома изрыто ямками — метра 2 длиной и шириной сантиметров 70–80, вроде могил. Пленные, спасаясь от бокового ледящего ветра, забирались в эти ямки-могилки и ложились по два-три человека один на другого. Забрались и мы с Шидловским в одну из ям. Он лег на дно, я, на него. Вскоре я почувствовал,

что на меня лег третий пленный. Его туловище находилось вровень с поверхностью земли, и согревался он от тепла, идущего снизу от наших тел. Мы договорились, что лежим по полчаса, затем меняемся местами. Верхний идет в середину, средний вниз, а нижний — наверх. Так мы и сделали через полчаса. Я был в середине — пошел вниз, Шидловский наверх, а третий — в середину. Еще через полчаса опять перемена мест. Шидловский в середину, я наверх, а третий — вниз. Эти полчаса, что я пролежал наверху, — я думал, что пропаду совсем. Лежа почти вровень с поверхностью, я ощущал боковой ветер, как если бы вообще не было никакого бокового укрытия. Что касается спины, то я уже не чувствовал ее совершенно. Мокрая сорочка, вата и гимнастерка смерзлись и представляли сплошной ледяной панцирь. Уже через 15–20 минут я толкал Шидловского, мол, полчаса прошло, больше не могу, а он твердил одно — еще немного потерпи, еще не прошло. Хорошо ему, думал я, лежит на теплом, сверху я его грею. Нижний наш компаньон молчал. Наконец, Шидловский сказал:

– Ну ладно, полезай в серединку, отогревайся.

Я вылез из ямы, за мной Шидловский, а нижний пленный не двигался и не подавал признаков жизни. Мы его теребили и так и сяк, но ничего не получалось. Умер, — пронеслось в голове. Мы вытащили его, вернее, уже его тело, на поверхность. Он не шевелился, я пощупал пульс — пульса не было. Шидловский приложил ухо к груди — сердце не билось. Мы оттянули его на шаг в сторону от бровки, но тут нас окружило человек пять пленных, прося принять в свою компанию третьим. Шидловский вдруг заявил:

– Место платное, что дадите? Условие — первые полчаса третий лежит сверху, потом меняемся.

После небольшой непродолжительной торговли мы приняли за одну небольшую морковку третьего компаньона. Эту морковку мы поделили с Шидловским пополам, и тут же сжевали. Затем улеглись каждый на свое место: Шидловский вниз, я на него, а на меня лег наш третий товарищ.

Сейчас это все кажется диким, непонятным. Как можно было одной морковкой оценивать жизнь человека, но тогда я об этом не

думал. Я лег на Шидловского, сверху меня пригревал наш новый третий человек, и я только думал, сможет ли за полчаса отойти спина, растает ли мой панцирь. Так мы провели ночь до утра. Менялись местами еще раза четыре и, конечно, не спали.

Утром, когда рассвело, немцы заставили с помощью ударов палками и автоматами снести всех умерших за эту ночь на край аэродрома, свалить тела в ямы, аналогичные нашей, и прикопать землей. Потом выстроили всех в колонну, выгнали на шоссе и погнали голодных, промерзших, не выспавшихся людей в Дарницу.

В Дарницу нас привели почти под вечер, разместили на территории не то шелкокомбината, не то мясокомбината, в каких-то бараках, где были устроены трехэтажные нары. Там было тепло, вероятно, от скопления людей. Не дул ветер и была крыша над головой. Условия царские по сравнению с тем, что пришлось пережить за почти весь этот месяц. Выдали нам и пищу. Пшеничный концентрат, сваренный в виде похлебки и даже присоленный.

До нас в этом лагере побывало уже много пленных, как, впрочем, и в Ерковцах, и в Борисполе. Их угнали куда-то на Запад, может, в Германию, может, на какие-то работы в пределах Украины, — не знаю. Знаю, что я тогда подумал, что это не последнее наше место, и что завтра-послезавтра нас тоже погонят. О побеге не могло идти и речи. Здесь, в Дарнице, немцев было еще больше. Кроме того, мы, измученные голодом и холодом, еле стояли на ногах и были пока довольны этой передышкой — спать в тепле, да и пшеничный концентрат вселял надежду, что можно будет хоть немного подкрепиться и набрать сил.

Гитлеровцы дали нам передохнуть еще один день и вторую ночь. В этот день нам также дали пшеничную похлебку из концентрата. Слоняясь без дела по лагерю, я заметил несколько групп пленных, стоящих возле каких-то бородатых людей в штатском. Возле каждого такого человека стоял немецкий офицер, переводчик и солдат с автоматом. Я подошел к одной группе. Бородатый заявил, что он староста из какого-то села на Житомирщине, и спрашивал, есть ли среди пленных человек из его села. Пленные молчали.

Но тут я заметил, что один из пленных вытащил из кармана часы и посмотрел, который час. При этом он заявил, что он из этого села. Староста тут же учинил ему допрос — фамилия, где стоит его хата, кого знает из соседей? Я видел, что пленный путается, говорит неуверенно, хата, мол, возле ставка, соседи его такие и такие, называя, видимо, вымышленные украинские фамилии, при этом еще раз глянул на часы. Староста заметил это движение, и начал в такт ответам кивать головой.

— Так. Так, — переводчик переводил немецкому офицеру вопросы и ответы.

Наконец, староста сказал:

— Так, це наш хлопець.

Хотя «наш хлопець» отвечал больше по-русски, чем по-украински. После этого офицер в блокноте написал что-то и вручил старосте записку. Староста, обращаясь к пленному, сказал:

— Підем у контору, там тобі випишуть перепустку.

Пленный побормотал:

— Придется отдать часы, и этим купить себе свободу, сволочь.

Но староста не услышал или сделал вид, что не услышал, и они пошли в край лагеря, где была «контора».

Был ли староста нашим советским человеком или просто негодем, соблазнившимся так легко приобретенными часами, — не знаю. Знаю только, что пленный был действительно советским человеком, рискнувшим таким образом вырваться из плена. Ведь, раскройся обман — его тут же пристрелили бы. И как бы в подтверждение этой мысли, в группе пленных, стоящих у другого «старосты», раздалось два пистолетных выстрела, и на земле остался лежать один из наших патриотов-пленных.

На другой день, выдав нам кондер с утра, немцы выстроили нас и погнали в Киев.

Мой дорогой Киев. Не в таком облике мне месяц назад рисовалось возвращение в Киев, когда мы 18 сентября переправлялись по Подольскому железнодорожному мосту, освещенные багровым светом горящих в городе зданий. Не победителями мы сейчас шли, а вконец измученными пленниками фашистов, и не мы гнали про-

клятых гитлеровцев, а они гнали нас, подгоняя криками, ударами палок и автоматами. Невыносимая боль сжимала сердце, слезы стекали по щекам, а в горле стоял сухой комок. И все-таки, думал я, не мы, не я, так другие русские люди, другие войска, наша дорогая Красная Армия погонит вас отсюда. Недолго вам тут хозяйничать, расплатитесь за всё.

Подошли к первому мосту через рукав Днепра. Моста не было, из воды торчали только железные обломки, балки, искореженные конструкции. Нас прогнали по понтонному мосту. Подошли по шоссе к бывшему Цепному мосту — его также не было. Только каменные быки, окруженные торчащими вокруг железными обломками. Этот мост, краса и гордость Киева, носил название «Мост Евгении Бош». Мы должны были отступать по этому мосту, но я знал, что уходя из Киева, мы его сами взорвали, но чтобы были взорваны все пролеты от берега до берега, я этого не знал. И вид этих обломков, и мертвых, одиноко стоящих быков, еще и еще раз больно полоснул по сердцу. Ничего, подумал я, вы, сволочи, и мост нам постройте другой, и по нему, как и прежде, побегут трамваи, поедут автомашины, пойдут люди. Неважно, что его взорвали мы сами. Война, которую навязали вы, ваш сумасшедший Гитлер, заставила нас это сделать. Значит, вы взорвали все наши мосты, и вы же их нам будете строить.

И у меня всплыли в памяти кошмары последних ночей. Мне уже не снилось, что я в Киеве, гуляю с Юрочкой, Аней, показываю Юрасику памятник Богдану Хмельницкому, фуникулер, большие пароходы на Днепре. Мне снилось, что я поднимаюсь от пристани к Крещатику, и по улице Калинина хочу подняться вверх, чтобы идти домой на Рейтерскую, но не могу найти этой улицы, кругом разрушенные дома, дорогу преграждают горы битого кирпича, весь Крещатик и все боковые улицы завалены этим ломом, и я карабкаюсь, карабкаюсь, и не могу выбраться на простор...

Какой же Киев там, наверху, в действительности? Снизу с Днепра не видно. Только широкий, голубой, мой Днепр. Сколько воды! Вот бы искупаться, напиться вдоволь, а пока нас гонят по качающемуся понтонному мосту. Куда пригонят? Увижу ли я центр

города, наш дом, да и цел ли он? Опять перед глазами Аня, Юрасик в капитаночке. Хочется кричать, а я молча иду, механически передвигая ноги... Какие еще испытания меня ждут впереди?

Конечно, это брехня, что говорил тогда тот немецкий офицер в первый день плена у домика на перекрестке дорог. Что и Харьков взят, и Москву немцы на днях возьмут, и что 200 километров нам предстояло прорываться из окружения...

Но факт остается фактом. Отступая, мы все считали, что Левобережье полностью наше, а в действительности на Левобережье мы, за каких-нибудь 50–60 километров от Днепра, от Киева, уже столкнулись с немцами, и нас, пленных, немцы сразу погнали не на запад, в свое логово, а на восток, куда мы и стремились. Да, ни я, ни кто другой тогда не знали, что немцы предприняли глубокий обход и взяли всю более чем полумиллионную Киевскую армию в тесные клещи, в кольцо или, как сейчас пишут историки, в «Киевский котел». Кто виноват, что мы допустили этот котел, — судить не мне...

Нас прогнали по Набережной до пристани, затем по Кирова, через Красную площадь, Житний базар, по Глубочицкой улице, затем наверх — пересекли Артема, и вот, наконец, пригнали в лагерь, устроенный на большом дворе между Керосинной и улицей Довнар-Запольского. Лагерь этот получил название «на Керосинной».

Двор, куда нас пригнали, — бывший парк танков. Когда-то там стояли наши танки. Железобетонные гаражи, бетонными плитами выстлан весь двор. Кое-где — кирпичные казармы, в основном, разрушенные бомбежкой, как и бетонные гаражи. Пленных там с нашим приходом насчитывалось, наверно, тысяч тридцать или сорок. Никто нас не переписывал и не считал. А мы с Шидловским и тем третьим, что выторговал за морковку место в ямке в Борисполе, — могли ошибиться, определяя, сколько же здесь томится бедных наших красноармейцев. Было ясно только одно. Мы здесь не первые, и нас будут гнать куда-то дальше. Но когда? И куда?

Где-то в соседнем дворе раздавали пищу. В соседний дворик впускали в один прием человек по двести. Это мы определили по выстроенным колоннам по десять человек в ряд. Этих колонн было двенадцать, и растянуты они были на добрых полквартала. Немцы

брали то из одной, то из другой колонны по 20 рядов (отсюда мы заключили, что за один прием бралось двести человек) и прогоняли в соседний двор, где стояли кухни, и выдавалась пища. По рассказам пленных раздача пищи начиналась еще задолго до рассвета, часов в 5–6 утра, и длилась до часов 10 вечера. Кроме того, мы узнали, что первые две «порции» людей — это человек четыреста, немцы после получения пищи обратно в лагерь не загоняют, а выпускают на волю.

Попасть в число первых 400 человек было почти невозможно, так как немцы каждый день меняли очередность колонн, из которых они брали первые 40 рядов. Например, вчера они начали с колонны № 1. Когда вся колонна прошла, они стали брать людей не из колонны № 1, а, скажем, из колонны № 7, и т. д. Знать наперед, из какой колонны они начнут брать завтра, невозможно. Но мы все-таки рискнули, и стали с вечера примерно в 15-й или 20-й ряд колонны № 1, рассчитывая, что будем если не первыми, то где-то 150-ми или 200-ми, во всяком случае, в пределах четырехсот и, если повезет, то попадем в число тех, которых выпускают на волю. Простояв всю ночь в очереди, а к утру колонна была уже полностью «скомплектована» и тянулась, как я сказал, на добрых полквартала, — мы ждали, когда начнется раздача пищи. Напрасные надежды. Немцы начали не с нашей колонны, а с колонны № 8, а очередь до нас дошла где-то к 4 часам дня.

Рискнули мы и на другую ночь. Заняли очередь произвольно в какой-то средней колонне. И опять неудача. Опять немцы начали впускать для получения пищи не избранную нами колонну, а какую-то другую, и следовательно, в число выпускаемых на волю мы опять не попали.

Так могло продолжаться бесконечно, но мы боялись, что упустим этот случай вообще. Когда нас прогоняли во вторую ночь в другой двор, я заметил, что был участок, ограниченный с одной стороны бетонной стеной гаража, с другой — разбитой и сгоревшей казармой — только стены, проемы для окон и дверь, а в середине груды кирпича, железного лома и все, что осталось от разбитого и сгоревшего здания. Разрыв от стены гаража до стены казармы метров 8–10. Длина прохода — метров 50. Вот, думаю, если

пересидеть в развалинах за стеной казармы, а потом незаметно вклиниться в первую или вторую группу утром, когда пропускают за пищей первые партии, то мы можем оказаться в числе первых, и добыть себе, таким образом, свободу. Но для этого надо на один день отказаться вообще от пищи. Нарочно стать в самый хвост любой колонны. За получением пищи нас будут гнать вечером в темноте. Пользуясь узким проходом, нырнуть в разбитый дверной проем и спрятаться в развалинах, а утром, когда еще также темно, и будут перегонять первые группы пленных, выйти из проема и пристроиться к идущим. Немцы не заметят, так как один сопровождающий идет впереди колонны, другой сзади, а колонна хоть и небольшая, но за идущими пленными этого они не заметят.

План обсудили втроем, и решили его выполнять. Все равно, мы долго не протянем. Две ночи не поспали, не поспим и третью. А тут хоть шанс, маленький, может один из ста, но все же шанс.

Устроили жеребьевку. Первым должен был нырнуть в дверной проем наш третий товарищ, вторым я и, наконец, Шидловский. Так мы и сделали.

Поздно вечером, когда прошла шеренга, в которую пристроился наш третий товарищ, мы с Шидловским с замиранием сердца стали прислушиваться. Тихо. Ни крика, ни стрельбы. Может, он трусил или пожалел потерять черпак баланды? Но вот пошла еще группа. Я встал крайним справа и когда проходил этим узким коридором, поравнявшись с проемом бывшей двери, ступнул в него и спрятался за стенку. Кирпичи под ногами зашерудили, но группа прошла. Я стал наощупь искать прикрытия. Немцы, как назло, выпустили ракету, которая сразу ослепила меня. Я приник к развалинам и не двигался. Благополучно. Тихо. Не заметили. При свете ракеты я глянул, скашивая только глаза по сторонам, но нашего первого не заметил.

Я стал ползком, стремясь не шуметь, пробираться вглубь, надеясь найти и нашего первого, и вообще более солидную глыбу или ямку, чтобы укрыться до утра. Таковую яму я обнаружил. Это была казарменная уборная. Обломки бетонных сидений с чашами

«генуя», торчащие рельсы, а на дне — то, что бывает в уборных. Тут немцы опять выпустили ракету, но я был уже хорошо укрыт, в ямке. При свете ракеты я заметил и нашего «первого». Мы молча пожали друг другу руки и стали ждать Шидловского. Его что-то долго не было. Но вот появился и он. Первая половина дела была сделана.

Теперь предстояло на какой-то железобетонной балке провести ночь, а утром, когда будет еще темно, незаметно вклиниться в группы счастливых — кандидатов на выпуск на волю. Мы опять потянули жеребки, и я опять оказался вторым. Зато Шидловский — первым, а третий — третьим. Мы слышали голоса в дворике, где стояли варочные котлы, чувствовали, что начинается очередная варка. Слышался и шум, где выстраивались колонны. Немцы периодически выпускали освещающие ракеты, но мы не вылезали из своего укрытия. Наконец, по крикам и командам на немецком языке поняли, что сейчас пойдет первая группа. Шидловский выбрался и подкрался к дверному проему. Прошло несколько минут. Тишина. Значит, удачно. Ко второй группе пробрался и я, и стал за стенку. Только бы не выпустили, гады, ракеты, только бы не выпустили! Наконец, группа пошла. Я пропустил несколько рядов и вышел в проем, сразу пристроившись к ряду пленных. Никто даже не обратил внимания, вроде я отстал от своего ряда и стал в следующий. Наш третий товарищ пристроился в эту же группу следом за мной.

И вот мы получаем свой пшеничный кондер. Затем нас отгоняют в сторону — это человек четыреста-четыреста пятьдесят, выстраивают в колонну, мы на ходу хлебаем свой кондер. Нас пригоняют в третий двор, где также рядами расположены казармы, но уже не кирпичные, а деревянные. Всех же остальных, получавших пищу, через другие ворота загоняют обратно в лагерь, где танковые гаражи.

Цель достигнута. Мы и поели, и находимся во дворе, из которого нас выпустят на свободу. Пока что мы, тесно прижавшись друг к другу, разлеглись на земле и дремали. Начало светать. В этом третьем дворе нас продержали почти целый день. Часов в 11 утра нас подняли, выстроили перед каким-то бараком, на крыльцо вышли

два фашистских офицера в сопровождении нескольких автоматчиков и переводчика. Один из офицеров произнес речь, которую переводил нам переводчик. Речь сводилась к следующему:

– Великая Германия освободила всю Европу, и силами своей доблестной армии заканчивает освобождение России и Украины. Наш гениальный вождь Гитлер... (при этих словах он сам, второй офицер и солдаты стали «смирно» и, вытянув вперед и чуть вверх правые руки, крикнули «Хайль, Гитлер!»)... наш гениальный и любимый вождь Гитлер устанавливает здесь новый порядок. Вы будете свободны от большевистского ига. Вы будете свободно трудиться на своей земле. Великой Германии и сейчас уже нужны ваши руки. Но вы, пока идет война, считаетесь, хоть и на свободе, но военнопленными. Вас выпустят, идите по своим домам, но знайте, что вы не имеете права читать советскую литературу и вести какую-либо враждебную работу или агитацию против великой Германии. Предупреждаю, что мы сейчас выпустим только украинцев, проживающих на Правобережье не южнее линии Винница — Кировоград — Черкассы. Русских или людей другой национальности мы не выпускаем. Предлагаю этим пленным отойти в сторону — они будут отведены обратно в лагерь. Если кто обманет и обман обнаружится, такие пленные будут немедленно расстреляны. А сейчас, по очереди, без толкотни по три-четыре человека заходите в барак, будете получать удостоверения.

Надо ли говорить, что среди нас не было и «русских». Все были украинцами с Правобережья. В сторону отошло только человек двадцать пленных — казахов или узбеков, в общем, людей, которых могла легко выдать и внешность, и нечистый русский говор. Бедные люди, они считали, что наступит свобода, а их погнали обратно в лагерь, в страшное неизвестное, на новые мучения.

Процедура выдачи удостоверений была удивительно проста. В комнате, куда мы зашли все трое, было три стола, за каждым из которых сидел немецкий офицер. Между столами ходил переводчик. Возле первого стола немец задавал несколько вопросов:

– Фамилия, имя? Год рождения? Где родился? Где проживал до войны и в какой населенный пункт иду?

На все вопросы я ответил правду, кроме национальности. Сказал, что украинец. Немец все мои ответы записал на моем удостоверении — бланке, напечатанном на немецком языке, и подписал. Затем передал его другому немцу. Тот повторил эти же вопросы, сверил с записанными ответами, и также подписал. После чего передал мое удостоверение третьему немцу. Этот опять задал те же вопросы, проверил ответы и поставил печать.

Тогда переводчик сказал:

– Вы должны в течение восьми дней, когда прибудете домой, зарегистрироваться у коменданта пункта, куда идете.

После этого нас выпустили через другую дверь, и мы вышли с противоположной стороны барака против калитки, ведущей на улицу. Там часовой, проверив наши удостоверения, выпустил нас.

своего... я подошел
старого кахого-то...
есть ли среди пленников...
не могли бы...
вогнали на кармана...
отражался...
мне...
своей...
своей...
при этом еще раз...
эти...
так! так! — Перелом...
вопроса и ответа...
нам хлопает...
грозь и вразгос...
шасы к прекрасному...
выпущены...
отда...
и

В ОККУПАЦИИ
(Киев 1941–1943 годов)

Мы на свободе! Кончились наши мучения в плену. Эта радость, какую словами передать невозможно. Я по-другому глянул вокруг, увидел дома, небо, уже облетевшие без зелени деревья, увидел наискосок через дорогу стадион. Мы все трое плакали. Ноги подкосились, и мы присели на бортовые камни. Наш третий товарищ вытрусил карман, собрав заваливавшиеся крошки махорки.

— Я дал себе слово закурить, когда вырвусь из плена. Вот и настала пора.

С этими словами он скрутил скрутку, сделал затяжку, потом дал мне, потом Шидловскому. Так, затягиваясь по очереди, мы курили одну сигарку. У меня закружилась голова. Ведь почти месяц я не курил настоящей махорки. Я даже на какой-то миг потерял сознание и пропустил одну затяжку.

Что делать дальше? Наш третий сказал:

— У меня на Подоле есть знакомые. Я пойду к ним, а завтра двинусь на Житомирщину.

Ближе всего было, конечно, мне. Я в Киеве, и мой дом в Киеве. Я предложил Шидловскому идти со мной ко мне, заранее предвкушая, как я приготовлю ужин, ведь я знал, что в шкафу у нас были какие-то продукты — рис, крупа, сахар, варенье. Как мы вечером поедим, напьемся сладкого чаю. Вот только уцелел ли наш дом на Рейтерской? А затем Шидловский двинет в свою Умань. Хоть помоемся за месяц как следует. Шидловский согласился.

Когда мы договорились, я обнаружил, что встать не могу, ноги не только не держат, но вообще отнялись. Я их не чувствую. Это реакция, которую я преодолевал только нервами, волей. А теперь это сказалось. Я заметил, что и руки у меня трясутся, и щеки дергаются, и вообще я дергаюсь весь, какая-то трясучка напала. Все тело стало бить нервной дрожью.

Наш третий товарищ, попрощавшись с нами, поднялся и пошел в сторону улицы Артема, а там — на Подол. Мы же с Шидловским посидели еще с полчаса, он помог мне, наконец, встать и, держа под руку, мы медленно двинулись. Я еле передвигал ноги, а если приходилось при переходе улицы с проезжей части встать на тротуар, я руками брал ногу под коленом, поднимал ее на бортик тротуара, затем с помощью Шидловского выпрямлялся, и уже дальше, волоча ноги, кое-как передвигался.

Так мы шли часа полтора расстояние, которое раньше я мог пешком преодолеть за полчаса. По дороге я обратил внимание, что все дома целы, не разрушены и не сгорели. Пешеходы почти не попадались. Улицы пустынные. Вид непривычный для глаза. Но скорей, скорей на Рейтерскую... Что там?

Смеркалось, а с наступлением темноты в городе комендантский час. Ходить нельзя. Об этом нас также предупредил переводчик при вручении удостоверений. Трижды встретили по дороге военный патруль, но только один потребовал показать удостоверение. Остальные два патруля процокали подковками сапог мимо нас и ничего не спросили.

Но вот и Рейтерская улица, вот и дом № 17. Я по-прежнему, поднимая руками то одну ногу, то другую, поднимаюсь на третий этаж. Сердце больно сжалось.

Не к себе я иду. Нет! Нет там Ани, нет Юрасика, а где они? Я ничего не знаю. Тогда, еще в армии, я жил надеждой, ожиданием письма от них. В плену только по ночам мне снились тяжелые кошмары, будто я разыскиваю Аню и Юрочку среди сотен людей, и мне казалось, что вот-вот я вижу их фигуры вдалеке, я проталкиваюсь к ним, а они, смешавшись с толпой, исчезают из поля зрения, и никак не могу их догнать. А днем, находясь почти беспре-

рывно под риском смерти, побоев, будучи поглощенным поиском чего-нибудь пожевать или глотнуть капельку воды, хоть чуть-чуть отогреться, наблюдая за пленными, за всеми выбрыками фашистов, видя, как на твоих глазах убивают ни в чем не повинных несчастных людей, чувствуя свое бессилие и невозможность помочь им, выручить — мысли о доме, о мирной жизни притуплялись, и я не чувствовал таких страданий, что нет возле меня Ани и Юрочки.

И вот теперь, уже будучи на свободе, я поднимаюсь в свою квартиру, но там нет Ани, нет Юрочки. Если они выехали из Днепропетровска, то линия фронта и многие сотни километров разделяют нас. А сколько месяцев мы будем в разлуке, пока прогоним немцев? Конец нашим мукам еще далеко.

Через стеклянную фрамугу над парадным входом я вижу, что в доме есть электрический свет. На косяке дверей по-прежнему три звонка — Волкову, Дмитруку, Худякову. Я нерешительно звоню Дмитруку. Слышу шаги. Дверь открывает Августа Григорьевна Дмитрук. Удивленный, несколько испуганный взгляд...

— Ах! Это Вы, Фёдор Фёдорович! Я чувствовала, что Вы вернетесь!..

Я не выдерживаю. Не могу проронить ни слова. Не соображаю, что я грязный, вшивый, обросший со странной «короной» на голове, с висящей на поясе брюк закопченной каской, похож на выходца из ада. Я хватаю Августу Григорьевну за руки, наклоняюсь и несколько раз целую в щеку:

— Я уже на свободе, на свободе... Вы понимаете... Вышел из плена... На свободе! Это мой товарищ по плену, он идет в Умань..., — наконец, я представил Шидловского. Августа Григорьевна, несмотря на мой ужасный вид, поцеловала меня в щеку, затем протянула руку Шидловскому и сказала:

— Идите оба в кухню, помойтесь, я вынесу вам полотенце, и заходите прямо ко мне. Там поговорим... Я все расскажу. Заодно и поужинаете.

Слово-то какое «поужинаете». Я и забыл, что есть на свете завтрак, обед, ужин. Я рад был раз в два-три дня получить черпак

баланды и жевать несколько зерен из поднятого где-то на дороге колоска, а тут: «поужинать».

Мы прошли в кухню, помылись с мылом над раковиной. Август-та в это время что-то разогревала на примусе...

В это время зашла на кухню Ольга Оскаровна Волкова, увидела нас, и попросила сначала зайти к ней на пару минут. Я знал, что Ольга Оскаровна немка, что она ждала и еле дождалась прихода немцев, что все наше советское она ненавидела, особенно после ареста ее мужа, Волкова, в первые дни войны после обыска и изъятия накопленного ею золота.

Короче говоря, зная, что у Августы Григорьевны я задержусь, я, как только помылся, пошел к Волковой. Чтобы успокоить ее подозрительность, я первым делом показал ей выданное мне удостоверение. Она предложила мне сесть, и первое, что она сказала, это было:

– В вашей комнате поселилась Кляпштейн с мужем, и у них уже есть ребенок. Я хочу вам сказать и вы должны мне поверить — я в вашу комнату не ступала ногой (признаюсь, зная ее, я поверил в это полностью) — ваши вещи Кляпштейн перенесла в комнату, где она жила раньше, ключ от комнаты у нее.

У меня промелькнула мысль: «Новый порядок», какой обещал немецкий офицер, когда выпускали из плена, эти гады уже начали устанавливать. Посмотрим, как вы, сволочи, будете выглядеть, когда вас погонят отсюда, и как я буду эту Кляпштейнху выбрасывать из нашей комнаты. Сказал только:

– Я вам верю, Ольга Оскаровна, и никаких претензий вам не предъявляю. Что касается того, что они заняли мою комнату, считаю это даже нормальным. Ведь их трое, а я пока один.

Затем Ольга Оскаровна вдруг заявила:

– Вы и ваша жена выбрались отсюда в первых числах июля. На другой день, как выехала ваша жена, Киевэнерго сняло показания электросчетчика за июнь. По распределению с вас следует...

И она назвала сумму что-то рубля два или около того. Ну, и дрянь же ты со своей немецкой «аккуратностью», — подумал я, но сказал спокойно:

— Вы видите, в каком я виде? У меня, кроме этого рванья да вшей под рубашкой, ничего нет. Ведь я из плена. Так что я ничего вам уплатить не могу. Если за меня уплатили вы, считайте это издержками войны.

— Нет, нет, — сказала она. — Это я так, для порядка...

У меня, правда, лежало в бумажнике что-то рублей 200 или около того. Жалование в армии почти за 3 месяца по 30 рублей в месяц и рублей 90 или 100 за те дни июля, какие я числился еще в Горжуправлении и получил 20-го августа, когда приезжал в Киев. И я мог бы ей эти 2 рубля дать, но я принципиально не хотел идти на поводу этой сверхакуратной немки.

С этим я вышел и пошел к Августе. Там за столом сидел Шидловский, и на столе дымились две тарелки какого-то супа. Лежали на тарелке и какие-то лепешки.

— Я вам много не даю, — сказала Августа, — так как на изголодавшиеся желудки вам может быть нехорошо. Кушайте на здоровье, а я вам расскажу, что произошло здесь.

Во-первых, о вашей, Фёдор Фёдорович, комнате. В первый же день прихода немцев Ольга Оскаровна вызвала немцев сюда, заявив, что здесь жили коммунисты и еврейка, и они, наверно, оставили бомбу. Немцы перевернули все вверх дном, искали бомбу, забрали все ценное, особенно шерстяные и суконные вещи, забрали картины и ушли. Тогда Кляпштейны решили переселиться в вашу комнату. Что они подобрали себе, а что перенесли в кабинетик, — не знаю. Я только успела из коридорчика спрятать ваше пальто и костюм, который вы оставили еще в начале июля, а также ботинки. Я как чувствовала, что вы вернетесь.

Затем она рассказала, что на третий день после прихода немцев в городе на Крещатике и прилегающих улицах — Институтской, Карла Маркса, Энгельса, Свердлова — начали рваться мины, заложенные в домах. Весь этот район стал гореть, и сейчас там одни развалины.

Но самое страшное, что она рассказала — это трагедия Бабьего Яра. Всем евреям было предложено 27-го сентября с утра выйти на улицу Артема и Большую Житомирскую, имея с собой все ценные

вещи — золото, деньги, драгоценности. Со всех концов города потянулись несчастные люди, в основном старики, женщины, дети. Несли с собой клумки. Набралось, по словам очевидцев, тысяч сто людей. Подгоняя дубинками и автоматами, их погнали по ул. Артема, затем Мельникова, обогнув расположенные там два кладбища — русское и еврейское, — выгоняли, по мере приближения колонны в поле, к Бабьему Яру, заставляли сбрасывать свои котомки и узелки в кучу на поле, а затем загоняли в яр и расстреливали из пулеметов и автоматов. Там было расстреляно не менее ста тысяч человек. Были там не только евреи. Там были и украинцы, и русские, и люди других национальностей, которые шли вместе со своими родными — евреями.

Я слушал, и мороз пробежал по коже. Как хорошо, думал я, что Аня выехала к своим в Днепропетровск, но что там? Вырвалась ли она из Днепропетровска или, может быть, и там такой же Бабий Яр?

Я видел убитых на войне, но там люди воевали, сами стреляли, я видел, как фашисты убивали пленных, но то были пленные солдаты, в чем-то нарушающие установленный немцами «порядок» в лагерях, но чтобы сто тысяч мирных жителей, женщин и детей, — такого зверства от фашистов я не мог и предположить. Да, вот он хваленый «новый порядок», какой устанавливал Гитлер, вот эта «свободная» Европа и «освобождаемая» фашистами Украина. Я содрогался при виде взорванных мостов, а что стоят эти мосты по сравнению с этим нечеловеческим злодеянием...

А Августа продолжала рассказывать:

— Они убили и мою сестру, помните, она приходила ко мне, жила где-то на улице Саксаганского. Так вот, сестра вместе с другими женщинами решила пойти в Переяслав к отцу и, по дороге их встретил немецкий патруль, она побежала, и немцы ее застрелили. Она несла кое-какие вещи, чтобы в Переяславе выменять на продукты.

Я промолчал, но подумал: «Ты и твоя сестра — поповское отродье. Вещи она несла, конечно, не свои, а награбленное в квартирах бедных евреев из Бабьего Яра или таких квартир, как моя. Ведь я уверен, что еще до обыска, когда немцы искали в моей комнате пре-

словутую «бомбу», до того, когда Кляпштейниха решила занять эту комнату, — ты первая побывала там, и взяла что тебе приглянулось. Осталось только то, что, как ты говорила — «сохранила для меня», так как верила, что я вернусь — старое зимнее пальто, костюм и ботинки, побывавшие в дезкамере, когда нас обмундировывали, и перепаленные горячим воздухом так, что рассыпались в руках. Конечно, это ты «сохранила», эти вещи никому не нужны и за них никто в селе не даст и стакана пшена. А белье, нательное и постельное — мое, Анино, верхние рубашки, шерстяные свитера. Нет! Ты тоже приложила руки, если твоя сестра понесла это в Переяслав и ее застрелили».

Но я молчал. Я же пленный, и кто знает, что ты себе думаешь. Я спросил о ее муже Игнатии Васильевиче Дмитруке. Знает ли она где он и что с ним? Она ответила, что он военкоматом был направлен куда-то на Кавказ, что имела от него два письма, ну а теперь, конечно, ничего о нем не знает.

Как дела вообще в городе, есть ли торговля? Открыты ли магазины? Что можно купить? Ответ был такой:

— Жизнь налаживается, через неделю после прихода немцев появилась вода, нашему дому дали электрический свет, хотя не все дома подключили. В этом районе открылось несколько магазинов — продовольственных, но в них ничего кроме кофе-суррогата нет. Открылось несколько комиссионных магазинов. Связи с окружающими селами нет, но базар работает — местные жители с окраин города продают пшено, горох, ячневую крупу, картошку. Иногда можно достать сахар, соль, но очень дорого. Деньги ходят советские. Немцы обещают, что скоро выдадут карточки, и будут выдавать хлеб, но пока что живем старыми запасами, печем лепешки, экономим.

При упоминании о магазинах дочка Августы — Зина (ей было 13–14 лет), до того молчавшая, вставила свое слово:

— Вот, если бы был папа, он открыл бы свой магазин, а он умеет все достать, и нам было бы хорошо.

Да, — подумал я, — твой папа умеет все достать, я знаю, он спекулянт хороший.

— Есть ли управдом и кто такой? — задал я вопрос.

– Есть какая-то женщина. Мы ее не знаем. Прислало райжилуправление. Вообще, вся структура гражданского управления городом осталась та же, что и при советской власти. Только названия поменяли: не Горсовет, а «Міська управа», не райсовет, а «райуправа» — поменялся только состав аппарата. Остались те же «кербуди», те же приписные кассы, и мы уже платили раз квартплату. Размер квартплаты не изменился.

В общем, обстановка в городе стала для меня проясняться. Позже я узнал, что кроме гражданского управления городом, существует еще и чисто немецкое военное управление — есть так называемый «Штадткомиссариат». Что касается Міськуправы, райуправы и жилуправлений, то, как бы они не назывались, это не наши советские учреждения, а те же немецкие, так как люди там, конечно, другие — ставленники немцев, и ухо, как говорят, надо держать остро и особенно не открывничать.

Сейчас главная задача — дожидаться утра, сходить в баню (Августа сказала, что работает Караваевская баня на углу улиц Пушкинской и Толстого), а потом уже думать, как жить.

Оставив Шидловского с Августой, я направился к Кляпштейнам за ключом от «новой своей комнаты». Кляпштейниха спросила, есть ли у меня какие-нибудь документы. Я показал удостоверение, выданное мне при выходе из плена. Она удовлетворилась, перевела мне содержание и сказала, что, мол, их здесь трое, а меня, мол, устроит и одна маленькая комната, что все, что они здесь застали, — они перенесли в ту комнатку. Я промолчал, но, кинув взглядом по сторонам, увидел, что стоит наш шкафчик-горка, что ребенок ее спит на Юрочкиной кровати, да и столовый стол был наш. «Всё, да не все», — подумал я, но ничего не сказал.

Взял ключи, и хотел идти. Тогда муж достал бутылочку и две рюмки и предложил мне по случаю освобождения из плена выпить. Я, — говорит, — работаю на спирто-водочном заводе, и нам изредка выдают по пол-литра. Меня разобрала злость. Вот, думаю, нахал. И я сдержанно сказал:

– Я вам очень благодарен, но пить не буду. Я целый месяц ничего не ел, если не считать раз в три-четыре дня какой-то баланды. Я

за этот месяц, если хотите знать, только один раз желудок имел — нечем было. Я так ослабел и вообще водки никогда не пил, а теперь даже эта маленькая рюмочка свалит меня окончательно. Еще раз спасибо, не могу.

С этими словами я взял ключ от комнаты и направился к выходу. В это время Кляпштейниха сунула мне в руки какой-то сверток: вам, говорит, надо будет переодеться, но среди ваших вещей белья я не видела, возьмите, это — мужа, оно хоть и старенькое, но чистое.

Я сверток взял, хотя думал, что в своих вещах я найду и белье, и все, что мне надо. Глупая наивность. Но завтра баня. Надо же мне сменить свою вшивую, грязную рубашку, а что там осталось из моих носильных вещей — не знаю. Вот и Августа говорит, что ей удалось «сохранить» для меня только пальто и перепаленный костюм и ботинки, и эта говорит, что белья моего она не видела. И я, хоть и заколебался, но взял. Черт с вами, все равно будете расплачиваться за все, а Юрочкину кроватьку я у тебя отберу, дай только стать на ноги.

В кабинетике, где мне предстояло теперь временно жить, были кое-какие вещи из моей мебели. Одежный шкаф, наполовину разобраный и пустой, диван — тоже пустой, письменный стол с двумя ящиками, переделанный когда-то еще в Черкассах из простого кухонного стола, шкафчик, где у нас была посуда, в виде комодика. В шкафчике стояло несколько предметов: стеклянная сахарница, какая-то вазочка для варенья и пара кружек. Продуктов никаких не было (а я на них рассчитывал). Еще стояла корзина — она раньше была в передничке, и мы в ней держали грязное белье и всякие ненужные вещи как, например, старый Анин бумазеевый халат, уже для носки негодный. Грязного белья не было. При Аниной аккуратности оно не залеживалось. Аня, при всей своей занятости, всегда стирала. Остальное тряпье годилось только на портянки.

Все, что нам удалось приобрести в последние годы, или что она привезла с собой еще из Черкасс, — платья, простыни, наволочки, скатерти, мое белье, верхние рубахи, брюки, Юрочкино постельное белье и одежда, шерстяные одеяла, шерстяные коврики, всякие джемпера и свитера, — все отсутствовало. Кровати тоже не было.

Лежала только в углу наша перина, хоть и старая, латанная, но нам она служила верно, да одна подушка (не знаю — наша или Юрочкина), без наволочки. Да! Почистили, сволочи, основательно.

Я расстелил на полу перину, а Шидловскому предложил диван, но он не согласился, и мы улеглись одетыми, грязными, как были, рядышком на перине. Какая благодать. Под крышей, нигде не дует, спать на перине. Перед сном я вышел в кухню. Наш кухонный стол стоял на месте. На месте был и примус. На полке над столом стояли кастрюли, сковородки. Еще ниже — бидон от керосина, но керосина в нем не было. На окне — ведро. На антресолях ночевка, выварка. Я заглянул внутрь кастрюль. В одной, когда снял крышку, было еще много рисовой каши, которую я последний раз варил еще 3-го или 4-го июля. Аня с Юрой ее не успели поесть. Каша поросла зеленым мхом, причем мох был до краев кастрюли. Я снял рукой мох, попробовал пальцем кашу. Ничего, вроде ничем не пахнет, не скисла и не прогоркла. Есть можно. Я почувствовал, что несмотря на Августина супчик — я голоден и начал горстями брать эту четырехмесячную кашу и есть. Я так увлекся, что не заметил, как съел ее всю. Затем я вернулся к Шидловскому, улегся рядом с ним и заснул.

Спали мы долго, часов до 9 утра. Впервые за все время плена не мерзли. Утром Шидловский сказал, что он где-то в Киеве имеет знакомого, пойдет к нему, а потом двинет на Умань. Мы распрощались.

Утром я увидел Кляпштейниху и спросил:

— Неужели из моих носильных вещей или продуктов ничего так и не осталось?

Я понимал, что это глупый вопрос, но мне хотелось узнать, что она ответит.

— Не знаю, не знаю... Когда мы решили занять вашу комнату, то только застали то, что вы видели. Больше ничего не было. До этого здесь были немцы, дворник, новая управдомша, да и Дмитручка рядом — может она что-нибудь знает...

— А где наша кровать?

— Кровать не пролазила возле уборной, видно, поломалась, и мы попросили дворника выбросить ее.

Я пошел к дворнику, он сказал, что кровать вынес в подвал, где сложено все имущество эвакуированных или погибших в Бабьем Яру людей. Он открыл подвал, где была конторка управдома. Там в обеих комнатах до потолка была навалена куча мебели — гардеробы, буфеты, столы, стулья, кровати, разобранные диваны. Нашей кровати на виду не было, но я увидел железную кровать с сеткой, стоявшую на переднем плане. Я взял эту кровать. Она была массивной, прочной, но сетка неважная. Во всяком случае, подумал я, крепче, чем наша. У той ножки подгибались. Я по частям перенес кровать себе в комнату.

После этого я пошел в баню. Надо ли говорить, какое блаженство я испытал. Там же, в бане, продавали кусочки простого мыла величиной со спичечную коробку. Я помылся, постирал вшивое белье, даже гимнастерку и х/б штаны. Хорошо выкрутил. Ничего, что надену мокрое. Ведь целый месяц оно всегда было под дождями мокрое, и ничего. А теперь я же в пальто. Потом зашел в парикмахерскую, побрился, и в чистом белье, в пальто, ничего, что оно зимнее, хоть еще не сезон, я чувствовал себя совершенно обновленным человеком. Я был без головного убора и в зимнем пальто, но это меня не смущало.

После бани и парикмахерской я почувствовал, что хочу есть. Пошел на Сенной базар. Идти мне было по-прежнему очень трудно. Поднимаясь с дороги на бортик тротуара, я, как и накануне, поднимал руками ноги, ухватившись под коленом. Хотелось посмотреть и на Крещатик.

Я шел по Красноармейской улице от площади [Льва] Толстого до Бессарабки. Проходя против Рогнединской улицы, я нос к носу столкнулся с девушкой из партизанского отряда, которая приходила к нам в штаб 2-го ОПБ в качестве переводчика, когда наши разведчики, переправляясь через реку Ирпень, приносили какие-нибудь документы или письма, взятые у убитых ими немцев. Не знаю, узнала ли она меня, но я не успел ее окликнуть — она быстро свернула в сторону, перешла дорогу и пошла вниз по Рогнединской улице. Если бы я знал как ее зовут, как фамилия, я бы крикнул, позвал ее. Если бы мог быстро двигаться — попытался бы

догнать ее. Но имени я не знал, а шел, еле волоча ноги, поэтому ни того, ни другого не сделал.

По Крещатику я дошел до того места, где была Прорезная улица (ул. Свердлова), но установить, где она начиналась, было невозможно. Крещатик в этом месте и начало Прорезной представлял сплошные груды развалин, перебраться через которые я был не в силах. Я возвратился к улице Ленина, и хотя вся нечетная сторона улицы также была разрушена, но здесь по четной стороне кое-как можно было пройти.

Поднялся по улице Ленина вверх, свернул на Короленко, потом на Ворошилова, и пошел на базар. Хотя время уже было позднее, часа 3 дня, я все же достал несколько стаканов пшена, несколько стаканов гороха и три пачки махорки. Махорку я намеревался отнести назавтра в лагерь военнопленных и перебросить им. Я вспомнил, как мы там страдали без курева.

Но самое главное — я у какого-то человека купил шапку-кубанку, старую, наполовину облезшую, но все-таки шапку, а не «корону». Истратил я больше половины своих денег, но, привыкнув почти ничего не есть, рассчитал, что моего продовольствия хватит мне недели на две с гаком, а там будет видно... В лагерь я решил пойти назавтра. Потом надо будет найти комендатуру, зарегистрировать свое удостоверение и, таким образом, полностью легализоваться, немного отдохнуть, отоспаться, а потом думать, как жить и что предпринимать.

Ведь встретил же я партизанку-переводчицу, может еще кого-нибудь встречу, завяжу связь и начну работать в подполье — мстить проклятым немцам, или подамся в окружающие леса, к партизанам. Вот только ходить надо нормально, а не волочить свои, ставшие чугунными ноги, да и трясучку ликвидировать.

Придя на другой день к лагерю, я застал его пустым. Даже часовых на вышках не было, только один автоматчик у ворот. Мимо проходила какая-то женщина с кошелкой. Я спросил ее, не знает ли она, куда делись пленные. Она ответила, что хотела им бросить сухари через забор, но их оказывается еще вчера всех вывели и погнали к Брест-Литовскому шоссе, наверно, погнали на Житомир. Так и

не удалось мне отдать купленной специально для них махорки. Одновременно я подумал, — как повезло нам троим, что мы вырвались из этого ада за день до нового перегона. Я бы уже не выдержал, и на первых трех-пяти километрах упал бы, и уже на крики «Аб!» не среагировал бы и, конечно, был бы пристрелен. Я сказал женщине:

— Как жалко, а я им, беднягам, табачку принес, хотел хоть чем-нибудь скрасить их пребывание в лагере.

По дороге домой, да и вчера, когда я шел из бани на базар, я несколько раз встречал немецкие патрули, но меня никто не останавливал. Проходя опять через Сенной базар, я увидел несколько человек в странной форме: черные шинели со светлыми, бежевого цвета, воротниками и такими же манжетами. Шинели нашего покроя. От кого-то я узнал, что это полицаи. Особенно их было много в районе базара. Я рискнул подойти к одному и спросил:

— Где в Киеве расположена немецкая комендатура?

Он насторожился, подозрительно глянул на меня и резко сказал:

— Документы!?

Я достал удостоверение, напечатанное на немецком языке. Он повертел его перед носом. Я видел, что прочитать он не может, и ничего в нем не понял. Я пояснил, что меня выпустили из плена, дали это удостоверение, и я должен его зарегистрировать у коменданта города. Тогда он сказал мне адрес: бульвар Шевченко, № такой-то (это возле Евбаза), и возвратил удостоверение. Я, конечно, поблагодарил его. Теперь осталось только идти на бульвар Шевченко, но я чувствовал такую усталость, что отложил этот поход на завтра.

Процедура регистрации у коменданта оказалась до невероятности простой. Постояв в очереди таких же пленных, а их было человек сто, я зашел в помещение бывшего магазина. Там еще были собраны в кучу под стеной прилавки, а по стенам висели полки. На свободном пространстве было установлены два письменных стола. За каждым сидел какой-то немецкий чин. Между ними стоял автоматчик. Такой же солдат-автоматчик стоял в дверях и впускал по десять человек. Подойдя к первому столу, я протянул свое удостоверение. Немец, даже не глянув на меня и не задав ни одного вопроса, подписал внизу это удостоверение, и движением руки пока-

зал на второй стол. Второй немец, также не глянув на меня, поставил возле подписи круглую печатьку, и возвратил удостоверение. Никаких расспросов, допросов, никаких записей ни один, ни второй не производили. Я молча взял удостоверение и вышел на улицу. Вот и вся процедура регистрации.

По дороге домой, — я поднимался по улице Чкалова, — я зашел на квартиру, где жил мой инспектор Харченко. Он занимал одну комнату в одноэтажном домике с пристройкой с выходом на улицу. Там, видно, еще до революции была мелочная лавочка. Дома застал только жену Харченко и его четырнадцатилетнюю дочь. Самого Харченко, конечно, не было. Он, как и я, в первых числах июля был мобилизован и, надо полагать, был также где-то в киевских частях. О судьбе Харченко его жена ничего не знала. Я, чтобы ее не расстраивать, поверхностно рассказал, как мы отступали, как я попал в плен и, наконец, как вышел из плена, стараясь внушить ей, что надо верить, вернется и Харченко. Она поплакала и рассказала о событиях в Киеве, о том, что Крещатик весь взорван, рассказала и о трагедии Бабьего Яра, в общем, все, что я уже знал от Августы Григорьевны. Жена Харченко угостила меня фасолевым супом, на вид очень аппетитным, но почему-то суп сильно вонял керосином.

Несмотря на это я съел тарелку супа с аппетитом, а про себя отметил, что я сегодня варить себе уже ничего не буду и сэкономлю полстакана пшена или гороха. Ведь поступлений в мой бюджет пока нет, а запасы ограничены.

При прощании жена Харченко пригласила заходить, может, она что-нибудь узнает о судьбе своего мужа. Но я побывал у нее лишь в конце декабря или даже в начале января 1942 года. Сам Харченко особой симпатией у меня не пользовался, даже наоборот. Хитрый, нахальный, себе на уме, как я его мысленно называл «кугутик». В его ведении находилось распределение нежилого фонда, в том числе торговой площади. Он всегда имел большую клиентуру всяких торговцев, кустарей. И я был уверен, что он нечист на руку, но раскрыть его, доказать его нечистоплотность у меня материала не было. И зашел я к нему на квартиру просто потому, что дом, где он жил, оказался по дороге. До этого я и не думал о нем.

Было у меня еще два инспектора, к которым я бы пошел с большей радостью. Один из них — Кожанов, жил почти рядом со мной, на улице Ворошилова. Он был призван в армию еще во время финской войны, и другой — Кесельман — мой ученик по техникуму, где мы готовили управдомов и я преподавал жилищное законодательство. В 1936 году, после окончания техникума, я взял его к себе в инструкторы, потом, после ликвидации Жилкооперации он, как и я, перешел работать в Горжилуправление инспектором. До работы в жилсистеме он служил в пограничных частях и имел офицерское звание, правда, маленькое — младший лейтенант. Он был призван в армию месяца за два до войны и проходил службу где-то на западной границе. За неделю до начала войны он был в Киеве, восторженно отзывался о своей службе, о местности, где проходила служба, мол, лес, река, для комсостава служебные квартиры. И вот числа 17–18 июня он забрал свою жену и четырехлетнего сынишку, и поехал с ними сначала во Львов, а потом на границу, чтобы лето провести, как на даче, с семьей. Я всегда думал о нем. Ведь если он успел приехать на границу, то почти на 100% его «дача» обернулась ему, его жене и сынишке могилой. Много позже, уже в 50-х годах, я узнал, что они добрались только до Львова, и там их настигла война. На границу они не поехали, он успел эвакуировать жену и сына, сам воевал в различных частях, дослужился до звания майора, а после войны обосновался в Ростове. Он сам меня нашел и приходил с женой к нам домой. По каким-то делам он был в Киеве, узнал мой адрес и пришел проведать. У меня свалилась гора с плеч. Слава Богу, как говорят, война его не погубила. Они все остались живы и здоровы.

Я знал, где они жили до войны, — на Красноармейской улице, но после Бабьего Яра я не пошел искать его жену. Я знал, что, если даже она вернулась в Киев после поездки на границу, то она как еврейка в Киеве не осталась, а, учитывая Бабий Яр, ее здесь вообще бесполезно искать.

Зашел я на квартиру к Кожанову, хотя знал, что его нет. Там я вообще никого не застал. Соседи Кожанова сказали, что его не было уже давно, а жена с сыном эвакуировалась еще в июле.

Почему я вспоминаю их сейчас? Во-первых, они были не только хорошими работниками, моими надежными помощниками, но они были и прекрасными людьми, верными друзьями. Мы с ними были связаны не только по работе, но часто делились своими семейными делами. А в то время, когда я вернулся из плена и, будучи в окружении своих «милых соседей» — немки Ольги Оскаровны, второй немки — Кляпштейнихи — и сомнительной с точки зрения своей идеологии Августы Григорьевны Дмитрук, я искал человека, с которым мог бы поговорить по душам. Но я пока такого человека не нашел.

Вместе с тем, я решил, что мне надо уйти с Рейтерской, 17 в другую квартиру в другом доме. И я стал искать управдомов. Но старых управдомов уже не было. Многие были призваны в армию, многие, особенно евреи, не успели эвакуироваться и погибли в Бабьем Яру.

Через пару дней, бродя без цели по улицам Ворошилова, Рейтерской, Стрелецкой — в общем, в районе, где мы жили, я встретил одного старого управдома по фамилии Билык, чеха по национальности. Он сказал, что по-прежнему работает управдомом по Рейтерской, 20, то есть там, где и до войны, что он по возрасту призван не был, а был на строительстве оборонных сооружений, выехать не успел и застрял в Киеве. Он у нас числился одним из лучших управдомов как технически грамотный человек, как честный добросовестный хозяин.

Когда пришли немцы, он заслужил доверие и у них, хотя бы потому, что он не русский, а чех, и организовавшиеся жилуправления оставили его на прежней работе. Он мне рассказал, что немцы на второй день прихода в Киев арестовали бывшего начальника Горжилуправления Левенштейна, начальника отдела эксплуатации тов. Титова и управдома дома по Крещатику, 25 (Пассаж, сейчас там «Детский мир») — женщину, коммунистку Сундстрем. Она также считалась наилучшим управдомом в Киеве, работала на этой работе с 1919 года, сначала в Домкомбедах, а потом управдомом. Почему они остались, не знаю, но предполагаю, что были оставлены для подпольной работы, а какой-то гад выдал их. Немцы всех троих,

якобы, раздели чуть ли не догола, прогнали по Крещатику, и на Бессарабке расстреляли.

У меня мелькнула жуткая мысль: «Уж не причастен ли ты, уважаемый Билык, к их расстрелу». Но я как-то привык верить людям, да и Билык знал много лет, еще с 1932-го года, и гнал от себя эту мысль.

Билык мне сказал, что на Большой Житомирской есть Горжилуправление, что там есть кое-кто из старых работников, что начальник там Кржесецкий, который раньше возглавлял Горжилснаб, начальник отдела эксплуатации жилфонда — некто немец Мерц, новый в жилсистеме человек. Он не настоящий немец, а «фольксдойче». Тут он пояснил, что местных немцев, родившихся и выросших в России, немцы называют «фольксдойчами», а приехавших из Германии уже во время этой войны — «рейхсдойчами». Он сказал, что в «почете» украинцы, русских на работу не берут, а вот в Ровно есть Украинское правительство, которое вскоре приедет в Киев. Да, — повторил он, — русских не берут, не говоря уже о евреях.

— Вы, наверно, уже слышали о Бабьем Яре. Евреев здесь вообще уже нет. Если будете поступать в Горжилуправление, не говорите, что вы русский, а только украинец. Обращаться в официальных разговорах друг с другом только со словом «пан». Пан Кржесецкий, пан Мерц, пан Шатаров (это заместитель Кржесецкого) и т. д.

Узнав, что мою комнату заняли соседи-фольксдойче, а мне предоставили маленький кабинетик, что там печное отопление, а дров у меня нет и уже наступают холода, — Билык сказал, что в его доме работает центральное отопление, что углем он обеспечил дом еще летом при советской власти, что в доме есть электричество и поэтому в котельной работают электромоторы, обеспечивающие принудительную циркуляцию воды и подпитку котлов и что у него в доме есть две свободные комнаты, правда на седьмом этаже, но там тепло, и что я могу перебраться и занять эти комнаты, а потом, мол, как-нибудь оформим.

Я согласился. Мне хотелось скорее выбраться от своих соседей. Да и топить печь мне там было нечем. Дров до войны мы не успели заготовить, а остатки прошлогдних были растянуты кем-то, так

как замок в сарае я застал сорванным, и дров там не было. Я собирал щепки, и на них в отопительной печи в эмалированной кастрюльке варил свой горох или пшено. А на дворе уже стоял декабрь, и морозы давали себя чувствовать.

Я в присутствии Билыка посмотрел комнаты. Они мне понравились — окна на Стрелецкую улицу. Первая большая, метров 25, вторая — спальня, метров 14–15. В спальне — балкон. Высоко, трудно подниматься, но есть лифт. Правда, лифт не работал уже два года, но ведь в конце концов придут наши, прогоним немцев, и лифт восстановим.

Комнаты солнечные, сухие и, если удастся здесь задержаться, мы с Аней и Юрасиком будем иметь приличную квартиру. Кроме этих двух, в квартире было еще четыре комнаты. В двух из них жила какая-то семья военного, которая якобы перебралась перед приходом немцев куда-то в район, в село, заперев свои комнаты. В третьей комнате жил какой-то парень, у которого мать жила где-то на Демиевке, и он только изредка наведывался. Четвертая комната — угловая с окнами на две улицы — пустовала. В ней стоял диван с содранной обивкой, несколько поломанных стульев и куча волоса из матраца. Верх также был сорван. В моих же комнатах был один большой боженковский буфет, а в спальне также лежала куча войлока или волоса из матраца. Самого матраца не было, видно, кто-то польстился на ткань.

Я ничего у Билыка не расспрашивал. Мне было ясно все и так. Это комнаты или эвакуированных, или погибших в Бабьем Яре.

Я объявил Августе и Оskarовне, что выбираюсь из комнаты, принадлежавшей раньше Кляпштейнихе. Ольга Оskarовна сказала, что ее это устраивает, так как она, кроме работы в бывшем Управлении Юго-Западной железной дороги, преподает немцам-железнодорожникам русский язык, и этот кабинетик ей пригодится для занятий.

Я начал перетаскивать вещи. Хотя и близко, но я переносил их больше недели. Ведь перенести один диван — надо было сделать четыре ходки, гардеробный шкаф в разобранном виде — шесть ходок, и это с третьего этажа вниз и на седьмой этаж вверх. Но в конце

концов я перенес все. Я блаженствовал. Главное — тепло, и нет перед глазами этих противных физиономий.

Забегая вперед, скажу, что в этой квартире я прожил до середины апреля. Дело в том, что в середине декабря немцы отключили электроэнергию, а без нее не работала котельная и центральное отопление. Сначала остыли батареи, потом начала падать температура внутри, стали остывать стены. На стене в первой комнате висел термометр, и я стал наблюдать. Когда я перебрался, было +19, через пару дней +15, еще через два дня +10, а затем пошло быстрее. К первым числам января на дворе термометр упал до 20–25 градусов мороза, а в моих комнатах опустился сначала до 5, потом — до 2 градусов тепла, наконец, дошел до 0. Я решил, что что-то надо предпринимать, но что я мог сделать? Опять перебираться? Куда? Да и дров у меня нет. А на дворе мороз дошел до 30–33 градусов, и ни одного дня послабления. Так прошли январь и февраль — то 27, то 30. В квартире термометр опустился до 14 градусов мороза. Замерз в кухне водопровод, замерзла вся канализация — полный унитаз замерзшего кала. Воды вообще в доме не было. Я собирал на улице снег, доломал все разломанные стулья, остов валявшегося дивана, сорвал доски с антресолей, поломал наш кухонный стол, разжигал плиту и на щепках что-то себе варил. Я собрал весь волос из матрацев и дивана в пустой комнате, свалив в спальне и спал не раздеваясь, в пальто, зарывшись в войлок и прикрывшись еще сверху нашей периной.

Только в марте на дворе появились первые теплые дни. Термометр стал показывать 15–20 градусов мороза, а в апреле даже 5–10. А в комнате по-прежнему было 14 градусов мороза. Где-то числа 10 или 12 апреля я даже открыл балкон. На дворе было 8 градусов тепла, а у меня в комнате — 14 градусов мороза, и я таким образом обогревал комнату.

В середине декабря я пошел на «разведку» в Горжилуправление. Я знал, что начальник — «пан» Кржесецкий; а кто еще остался из бывших сотрудников? Я увидел Тарина — пожилой человек, был начальником хозрасчетного бюро инвентаризации при жилуправлении. Он сказал, что и сейчас, при немцах, он организовал

бюро инвентаризации, набрал кое-какой аппарат, и что-то они делают. А что именно? Во-первых, для немцев составляют планы отобранных ими домов под всякие учреждения, а во-вторых и в основном, составляют планы усадеб и домов на окраинах — всяких Куреневках, Борщаговках, Соломенках, оставшихся без хозяев, по заявлениям отдельных граждан, желающих взять эти дома себе в собственность или долгосрочную аренду. Эти граждане платят и за составление планов, и за «юридическое» оформление, а бюро инвентаризации на это существует.

Он принял меня на должность техника. Оплата сдельная. Предупредил, чтобы я ни в какие «политические» разговоры с сотрудниками не вступал:

— Народ, знаете, неизвестный мне, могут оказаться провокаторы, подсланные немцами.

И я стал работать техником бюро инвентаризации. Ходил по заявкам граждан пешком на окраины, обмерял домики, делал записи, а потом вычерчивал планы. Тут я обнаружил ко всем своим болезням, что стал плохо видеть. Я уже едва мог разобрать написанное самим собой. Тарин видел это, и принес мне увеличительные очки +1,5. Я немного воспрял духом.

Но ходить по 7–10 километров куда-то на Куреневку или Демиевку мне было очень тяжело. И производительность моя была очень низкой. Я вырабатывал не более 200 рублей в месяц. А горох на рынке или пшено подскочили до 20–25 рублей за стакан. И я голодал, и в квартире мерз. С января месяца немцы выдали хлебные карточки. По 200 граммов хлеба два раза в неделю — вторник и пятница. У меня бывали дни, когда кроме этих 200 граммов я ничего не имел. Свои 200 граммов растянуть на три дня я не мог, и, конечно, съедал в один день, а потом два дня (среда, четверг) или три дня (суббота, воскресенье и понедельник), бывало, ничего не ел совершенно или варил себе полстакана пшена или гороха, но и на это денег из моего заработка не хватало, а работать больше я не мог физически. Я был в полном смысле дистрофиком. Ноги распухшие, как колоды, зрение ослабло, руки дрожали, непрерывное головокружение, шум в ушах, нервное подергивание головы.

Меня все время клонило ко сну, и я со страхом стал замечать, что в середине рабочего дня, сидя за столом и вычерчивая планы домов, я по несколько раз засыпаю. Неужели, думал я, я так и помру? Пережив несколько боев, уцелев от бомбежек, от пулеметных очередей, от шквального артобстрела, уцелев, наконец, от всех кошмаров плена, вынашивая в себе жажду мести проклятым фашистам, я беспомощен что-то предпринимать, и это очень меня мучило, больше, чем все физические переживания.

О партизанах ни слуху, ни духу. Где и как их искать? О подпольщиках я только мог предполагать, но опять-таки, где их найти? Никакой связи у меня ни с кем не было. Бывших сотрудников Горжизуправления не было, если не считать «пана» Кржесецкого и Тарина. Тарину я мог бы довериться, тем более что он один раз как-то даже сказал, как бы мимоходом:

— Вы ни с кем не открывайтесь, особенно с кассиром, поговаривают, что это агент гестапо.

Был у нас в ноябре один работник — инженер Дачного треста (до войны был такой трест, подчиненный Горсовету) — некто Сокол. Хороший человек. Я застал его при беседе с кассиром, а через три дня Сокола забрало гестапо, и о нем ни слуху, ни духу.

Я был очень благодарен Тарину и держал язык за зубами. Один раз при получении зарплаты спросил у меня:

— Вы слышали что-нибудь о большевистских «катюшах»? Что это такое?

Почувствовав подвох в этом вопросе, я безразличным тоном ответил:

— Катюша — это, как вы знаете, женское имя. Наверное, терпя поражение за поражением, большевики для «поднятия духа» остатков Красной Армии, нагнали в армию проституток и окрестили всех «Катюшами».

Он засмеялся. Но мне было не до смеха. Я, еще будучи во 2-м ОПБ слышал, что у нас было изобретено какое-то сильное оружие «катюша», нагонявшее страх на немцев. Что это за оружие я, понятно, не знал, да и в то время никто не знал, так как оно только в порядке опыта в первые дни войны применялось лишь на отдельных

участках тысячекилометрового фронта. Но вопрос кассира меня и обрадовал. Значит, это оружие действительно есть, действует и все-ляет ужас в немцев.

Мучил меня и вопрос о судьбе Ани и Юрасика. Вместо предполагаемой разлуки в два-три месяца, я видел, что эта разлука затягивается уже чуть ли не на год, если не навсегда. Я боялся этой мысли. Я старался уверить себя, что они живы. Не могли они остаться в Днепропетровске. Они, конечно, выехали — Аня, наверно, с госпиталем. Ведь она писала, что это стационарный тыловой госпиталь, а не полевой, не медсанбат какой-то части. Но все эти рассуждения спокойствия не давали. Я ведь живой участник и свидетель той паники, какая была при отступлении из Киева. Особенно мучился я по ночам, зарывшись с головой в кучу войлока. Мне уже не снились картинки из нашей довоенной жизни.

Я уже не держал Юрочку на руках, я уже не вскакивал ночью на его шепот «папа?», чтобы поставить на горшочек, я не гулял с ним по паркам, не показывал ему на железной дороге паровозы или в Дарнице живых коров и коз, нет — эти кошмары мне снились, когда я был еще в армии и особенно в плену. Сейчас я искал Юрочку, искал Аню, и ходил по каким-то улицам среди толпы людей, вдруг видел Аню с Юрочкой за ручку. Он в своей синей капитаночке, я проталкиваюсь через толпу к ним, а они сворачивают за угол. Я бегу к углу, поворачиваю, а их нигде нет. Вдруг вижу — они зашли в какой-то дом, я бегом за ними, вхожу в дом — большая пустая комната, только другая дверь захлопывается, и я через щель вижу синенькую капитаночку Юры. Я пробегаю комнату, попадаю в другую, но и вторая дверь только что захлопнулась. Они пошли туда — я опять бегу к той двери, и опять та же картина, едва я вхожу в следующую комнату — вторая дверь захлопывается, и они опять в следующей. Мне надо скорее перебежать, чтобы застать, пока они не ушли, но ноги тяжелые, еле двигаются, и так я перехожу из одной комнаты в другую, и не могу догнать ни Аню, ни Юрочку. То комнаты меняются, то на улице толпа людей мешает, то дома, в которые входит Аня с Юрочкой, пропадают. Я кричу во сне: «Подождите! Вот я!», но не слышу своего голоса.

Я просыпаюсь весь в поту, с сильным сердцебиением. Какой-то час прихожу в себя, засыпаю и... опять те же кошмары. И это почти каждую ночь.

Так проходило у меня время. Я не отдыхал, не поправлялся, а наоборот, здоровье ухудшалось, я слабел. Где-то в конце марта Тарин сказал, что меня вызывает Кржесецкий.

Мы работали на третьем этаже, а Кржесецкий — на втором. Я спустился, зашел в его кабинет. Видел его за все время второй раз. Я сразу заметил перемену. В декабре он носил на желто-голубом банте на груди значок украинских националистов времен петлюровщины (трезубец), — сейчас значка не было. Как потом кто-то мне сказал, что он снял этот значок после того, как немцы расстреляли в Ровно весь состав украинского «правительства», скомплектованного и организованного еще в Германии перед началом войны из остатков удравших за границу петлюровских и гетманских бандитов после Октябрьской революции.

Когда я поступал в это так называемое Горжилуправление, — над входными дверями на улице висело два флага — один немецкий фашистский — посредине на красном фоне большой белый круг с черной свастикой, другой желто-голубой с трезубцем — флаг украинских националистов. Но вскоре, примерно через месяц, украинский флаг был снят (это совпало со временем расстрела этого «правительства»), и остался только один фашистский флаг. Тогда же пан Кржесецкий и снял свой значок на желто-голубой ленте.

Но, вернусь к моему вызову. Увидев меня, Кржесецкий сказал, что, так как я работал в отделе эксплуатации жилфонда, у него есть мысль перевести меня из Бюро инвентаризации в Горжилуправление, в отдел эксплуатации. Я согласился. Там твердая ставка, а не сдельщина, оклад инспектору — 500 рублей.

Мне надо было явиться к заместителю Кржесецкого — «пану Татарову» — на первый этаж. Я пошел к Татарову. Высокий, дородный человек, лет 45, одет по тем временам слишком хорошо — прекрасный костюм, ловко пригнанный по фигуре, белая сорочка, цветастый галстук. В кабинете запах духов. В общем — «пан» в полном смысле слова. Я это оценил сразу, подумал — видно, западник, а

может, и из заграницы, сволочь, прикатил, но почему фамилия русская, а впрочем, не все ли равно. Во всяком случае, это не наш человек, и с ним надо быть тоже осторожным.

Татаров задал мне несколько вопросов: что конкретно я делал раньше в Горжилуправлении, в чем заключалась работа по эксплуатации домов, и оставшись, видимо, довольным моими ответами, сказал:

— Ну, питанням структури домоуправління, питанням бюджету, заготівлею палива для будинків, поточними ремонтами, питаннями законодавчого характеру ми зараз займатися не будемо, а от щодо санітарного стану, зараз це питання стоїть дуже гостро. Всі подвір'я завалено побутовим сміттям, мерзлими людськими екскрементами, а ще тиждень—другий — все розтане, і почнеться епідемія, а це загроза не тільки цивільному населенню, але й німцям, а вони нам цього не простять. Я вас направляю до пана Мерца, він очолює відділ експлуатації, дам йому відповідні вказівки, і ви разом з ним займетеся цим питанням, тобто — якнайшвидше навести в цих подвір'ях належну чистоту.

И вот я у Мерца. Низенький, худощавый, плюгавенький человек, как я потом узнал — немец по национальности, значит, «фольксдойче», то есть немец, родившийся в России и живший все время здесь на Украине. Позже он как-то похвастался, что ему за заслуги перед «великим Рейхом» присвоили звание «рейхсдойче», хотя он говорил, что даже не знает немецкого языка. Но после того, как ему присвоили это звание — «рейхсдойче», — у него под пиджаком стал заметно оттопыриваться задний карман брюк, как потом мы определили, что ему дано право носить оружие, и он держал в этом кармане пистолет. В общем, личность, не заслуживающая доверия.

Весь отдел эксплуатации состоял из Мерца, его секретарши Кульчицкой и трех инспекторов — двух молодых женщин, сестер (фамилии не помню), и одного парня по фамилии Горстов, тоже как будто из выпущенных пленных. Эти три инспектора занимались исключительно вопросом переселения жильцов.

Дело в том, что немцы наводнили Киев своими различными учреждениями — конторы всяких фирм, разные агентства,

«бау-бюро», различными военными организациями, облюбовали себе по наружному виду большие и малые дома, а всех живущих там людей предлагали отселить. Вот эти три инспектора мотались по районам, и при помощи райжилуправлений выискивали квартиры, свободные комнаты и занимались переселением жильцов. А на меня легла обязанность очищать дворы от скопившегося с осени бытового мусора и смерзшихся и начавших подтаивать глыб человеческих отходов.

Картина была очень неприглядная. Из дворов вытекали реки желтой вонючей жижи, особенно из дворов-колодцев, окруженных многоэтажными домами. Ведь канализация почти нигде не работала, воды в домах не было. Задача, прямо скажу, немыслимая. Никакого транспорта не было. Трест саночистки не существовал, частных каламашников тоже не было. Всех лошадей, оставшихся у частников, немцы реквизировали для нужд «великого Рейха».

Я добрую неделю ограничивался в своей работе только тем, что ходил по дворам и смотрел, смотрел, и приходил в отчаяние. Еще припишут, сволочи, саботаж. Но что я мог сделать? Я ходил в Горкомхоз, в Горсанинспекцию (были и такие учреждения по прежней советской структуре). В Горкомхозе только развели руками — транспорта нет, и ничем помочь не можем. В Горсанэпидстанции я встретил двух знакомых врачей — одна некто Манежик, теперь уже не товарищ, а «пани» Манежик, другая тоже «пани» — Квитницкая.

С Манежик я почти не говорил, она куда-то сразу ушла, а с Квитницкой мы повздыхали, но договорились до чего-то определенного, а именно: предложить во всех домах силами населения закопать бытовой мусор. Если его присыпать на 15–20 сантиметров земли (не более, чтобы был доступ воздуха), он через четыре–пять месяцев перегниет и превратится в чернозем. Вытекающая жижa постепенно стечет в канализацию или ливнестоки. По тем улицам, где есть трамвайная линия, добиться от трамвайного треста площадок, производить погрузку силами жильцов, а площадки будут отвозить в отведенные места на окраинах города — по дороге в Пуща-Водицу, в яр в конце Красноармейской улицы. В трамвайном тресте мне заявили, что надо получить разрешение штабт комиссариата.

Я этот план доложил Мерцу, а вместе с ним Татарову. Они согласились. Затем составил письмо в штадткомиссариат, директиву райжилуправлениям. Штадткомиссариат разрешение дал, дал и указание трамвайному тресту — выделить для Горжилуправления необходимое число площадок на улицы, какие мы укажем.

«Колесо» завертелось, и моя работа приняла конкретный характер. Я определял, к каким домам, на какие улицы подать площадки, договаривался в трамвайном тресте, затем разыскивал управдомов, обязывая их поднять жильцов на подноску к подъездам из глубины дворов мусора, а с 7 часов вечера — на погрузку его на площадки.

Я выматывался из сил. Площадки подавались то на улицу Артема, то на Красноармейскую или Саксаганского. Днем никакого трамвайного сообщения не было. Для населения немцы трамвай не давали. Приходилось эти концы преодолевать пешком, да по вечерам еще проверять — были ли площадки, были ли люди на погрузке. Я видел, что сам не справляюсь. Стал просить себе помощников. В мае двух помощников я получил.

Один из них Харченко — мой бывший инспектор по Горжилуправлению, другой — некто Жук, его привез Мерц. На них я немного остановлюсь.

На квартире у Харченко, как я уже писал, я как-то в конце декабря был. Тогда жена его сказала, что о нем никаких известий. Зашел я к нему [во] второй раз в марте. Харченко был дома, лежал больной, еле мог говорить, с трудом узнал меня. По словам жены — он уже дома больше месяца, и только в последние дни узнает ее, их дочку Нелли, а то все время был как помешанный, говорил что-то несуслазное. Как попал он домой, рассказала жена. Где-то в январе месяце к ним зашел какой-то бывший военнопленный и передал записку от Харченко. Записка короткая, всего несколько слов: «Я в лагере [для] военнопленных в Здолбунове, спаси меня. Тех, к кому приходят жены, немцы выпускают». Здолбунов — это станция на границе Западной Украины и Волыни. Записка была почти месячной давности, но она поехала в Здолбунов. Где и как она достала пропуск, не знаю. Она говорила, что ей это очень дорого обошлось,

но особенно не распространялась, да я и не расспрашивал. Ехала несколько дней, с остановками на сутки и более, с пересадками с поезда на поезд, с эшелонами для раненых немцев, с подбитой военной техникой. Последний участок пути она попала в вагон пассажирского типа. Подъезжали к станции Здолбунов. Она стояла и смотрела в окно. Вдруг увидела, что вдоль полотна железной дороги, навстречу поезду, от станции идет какой-то солдат в русской шинели, идет медленно, пошатываясь. Это был Харченко. Она его не узнала, но скорее почувствовала, что это он, и ринулась к выходным дверям, но двери были заперты, а в тамбуре немецкий автоматчик. Поезд едва прошел семафор и, пока не остановился у перрона против здания вокзала, немец дверей не открывал. Дальше было так (расскажу примерно ее словами):

— Я выскочила на перрон, и бегом побежала догонять этого солдата. Я его уже не видела, ведь нас разделяло расстояние больше километра. Я бегу, задыхаюсь, спотыкаюсь, не замечаю ни снежных сугробов, ни шпал под ногами. Наконец, за семафором я увидела его, он по-прежнему идет в ту сторону, откуда только что приехал поезд, идет медленно. Я бегу и начинаю кричать: «Саня! (его имя Александр), Саня!» Он не поворачивается, вот уже до него шагов пятьдесят — «Саня!!!» — он продолжает идти. Я подбегаю к нему, смотрю в лицо — он и не он, обросший, черный, глаза бессмысленные, меня не узнает. Я потрогала лоб — горячий, видно высокая температура. Мы вернулись на станцию. Опять упросы, подкупы, слезы, опять с пересадками доехали до Фастова. Там у меня был знакомый старичок-врач, я к нему, он устроил мужа в больницу. Температура 40, диагноз — тиф. В больнице он пролежал полтора месяца. От тифа выздоровел, но открылся туберкулез и тихое помешательство. Из Фастова привезла его на подводе. В больнице дали лошадь и возчика, конечно, не бесплатно. И вот только с неделю тому назад он пришел немного в себя, стал нас узнавать, кое-что рассказал, но многое не помнит. Попал в плен где-то под Полтавой. В лагере под Здолбуновым стоял под расстрелом. Немцы выстроили шеренгу, заставили рассчитаться на «первый-второй», а потом каждого второго расстреляли. Он случайно был первым и остался жив.

И вот в мае месяце я еще раз был у Харченко дома, предложил ему пойти к нам на работу. Он согласился и я, таким образом, занимал себе помощника и, как думал, верного товарища. Ведь мы оба были в плену, видели все ужасы и отступления, и плена. Позже я стал сомневаться в честности и верности Харченко, хотя внешне он был «свой человек, советский». Но об этом — потом.

Второй мой помощник — инспектор Жук. Тоже как будто пленный и тоже несколько месяцев болел. Откуда его знал Мерц, не знаю. Но этого Жука я остерегался. Одно только, что его привел ко мне Мерц, вселяло недоверие, и я с ним был в подчеркнуто официальных отношениях. По его словам, он закончил в Одессе киноинститут, вышел с дипломом кинорежиссера, был направлен для работы на Киевскую киностудию, женился на какой-то артистке Оперного театра, потом война, армия, ранение, госпиталь, не смогли эвакуировать, плен у немцев, и вот сейчас надо жить, и он — инспектор по саночистке.

В апреле месяце я опять сменил «квартиру». Произошло это так. На дворе, хотя и лежали сугробы снега, но солнышко пригревало, и температура колебалась от 2–3 градусов мороза до 10–12 тепла. У меня же в комнате было без перемен — 14 градусов мороза. Не помогало даже, когда я открывал на весь день балконную дверь. Стены так промерзли, что это весеннее тепло еще не действовало. Чтобы умыться по утрам, я приходил пораньше в Горжилуправление, и там, в туалете, мылся, вытирался какой-нибудь тряпкой, а в большинстве случаев обсыхал у радиатора. Меня как-то застал Мерц рано утром за умыванием. Спросил, в чем дело? Я рассказал, как провел зиму. Тогда он предложил мне перебраться в дом по Большой Житомирской, 25.

— Это наш дом, для сотрудников жилуправления, там живет и Кржесецкий, и я (то есть Мерц), и главный инженер Винницкий, и Татаров, и еще кое-кто. Есть и свободные комнаты. Работает отопление, есть вода. В общем, все в порядке. Вам надо было раньше сказать, и я давно вас устроил бы в этом доме.

И вот я получил ордер на комнату 20 [квадратных] метров на третьем этаже в пятикомнатной квартире с большим венецианским

(тройным) окном на юго-восток. Вторую комнату занимала какая-то семья из двух человек — муж и жена, еще молодые, кто они, не знаю — я их почти не видел: утром рано уходили, а приходили вечером, закрывались, и не выходили даже в кухню. Еще две комнаты занимал какой-то полицай с женой и девочкой лет десяти. Соседство, конечно, неприятное. Пятая комната была закрыта на висячий замок, видно, пустовала. В моей комнате было пусто. Стоял только один большой боженковский буфет.

Дворник дома дал мне санки (Юриных санок в сарае на Рейтерской я не обнаружил, да и не до того мне было), и я в течение трех-четырех дней перевез остатки своего имущества. Тут мне пришлось в голову обратиться к Мерцу: возможно ли у Кляпштейнихи забрать остаток своих вещей — столовый стол, шкафчик-горку, Юрочкину кровать, в общем, все, что она присвоила.

К моему удивлению, Мерц через несколько дней принес мне бумажку, напечатанную на двух языках — немецком и украинском, подписанную штадткомиссаром. В бумажке было примерно сказано: «Пани Кляпштейн, штадткомисариат предлагает Вам возвратить пану Худякову все его вещи, какие остались в бывшей его комнате».

Я пошел к Кляпштейнихе. Она была одна. Ни Волковой, ни Дмитруков не было дома. Кляпштейниха, видимо, растерялась. Я предложил снять все со стола, освободить шкафчик-горку, вынес все это на площадку лестничной клетки. Вернулся, — с болью посмотрел на Юрочкину кровать — там лежал чужой ребенок, а где сейчас Юрочка? Имеет ли он хоть крышу над головой? У меня закипела злость. Этим летом, безусловно, будет перемена на фронтах, немцев погонят, вернутся Аня с Юрочкой, — где он будет спать? Нет, я этой сволочи кроватку не оставляю. И я предложил забрать ребенка и постель. Мне было уже не до разглядывания, какие там были подушки или простыни. Кляпштейниха со злостью подняла ребенка, убрала всю постель, я сложил кроватку и также вынес на площадку. Затем вернулся, оглядел комнату, увидел на письменном столе свой чернильный прибор. Мне его подарил дядя Юзя, приезжавший как-то в 1926 или в 1927 году в Черкасы. Красивая черная мраморная плита с двумя чернильницами,

медными подсвечниками по бокам и медной лирой для укладки ручек и карандашей. Я хотел взять чернильный прибор, но Кляпштейниха вдруг закипела:

– Это не Ваш, это моего первого мужа!

Я не стал спорить. Черт с ней, подумал я, все равно ты все бросишь, когда будешь драпать с немцами, а я себе приобрету другой прибор. Хватит с тебя, что ты свое дитя вынула из кровати. И, не попрощавшись, ушел. Погрузил имущество на санки и перевез в свою новую комнату.

Поступок Мерца с комнатой и с моими вещами меня, откровенно говоря, очень удивил. Я решил повнимательней присмотреться к нему. К Мерцу часто приходили различные немцы, но он всегда разговаривал с ними через переводчика. Я даже спросил его, — почему он не говорит по-немецки. Он ответил, что немецкого языка не знает совершенно, что он родился и вырос где-то в Черкасском районе, и как бы в доказательство показал мне свой военный билет, выданный еще в 1922 году за подписью Черкасского уездного военкома Рябоконя. Подпись Рябоконя я знал хорошо, ведь в 1921 и 1922 годах я Рябоконя знал, и сотни раз видел документы, подписанные им.

Мерц сказал:

– Был справедливый хороший человек, погиб в 1936 году как «враг народа».

Вместе с тем Мерц всегда очень искренне радовался успехам немцев на фронтах и очень переживал, когда доходили вести о том, что англичане и американцы бомбят немецкие города или здесь, на Восточном фронте, у немцев были какие-то неполадки.

К сожалению, лето и осень 1942 года на всем южном фронте у немцев были только успехи. Они полностью завладели Крымом, пал Севастополь, они взяли Ростов и стали продвигаться на Кавказ, они, оккупировав всю Украину, двигались к Сталинграду, к Волге. Мерц имел дома радиоприемник и слушал Москву, сводки Информбюро, и иногда делился с нами, что услышал. Это тоже заставляло меня, соблюдая осторожность, изучать его. Может, это наш советский человек, работает подпольно, и только для вида вытягивается в струнку и с поднятой рукой кричит: «Хайль, Гитлер!»

Летом 1942 года секретарша Мерца, Кульчицкая, когда мы остались как-то наедине, спросила меня:

— Правда это, что ваша жена еврейка и коммунистка? Где она сейчас?

Кульчицкой я раньше никогда не видел. О жене я ни с кем не говорил, разве что с Харченко. Он знал, что она и еврейка, и коммунистка. Но и ему я говорил, что моя жена после моего призыва в армию эвакуировалась, где она и жива ли, я ничего не знаю.

Я ответил Кульчицкой так же:

— Правда, но где жена и сын, — я не знаю, так как они эвакуировались еще в июле 1941-го года, и я от них никаких вестей не имел.

А сам подумал: «Откуда ты это узнала, кто тебя надоумил задать мне такой вопрос, уж не Харченко ли стал распространять эти вести, и куда ты их понесешь дальше?» В общем, будь что будет, а от жены, своей Анечки, и от моего Юрасика я не откажусь ни при каких обстоятельствах. Для меня эти вопросы Кульчицкой так по сегодняшний день и остались загадкой, тем более, что после освобождения Киева Кульчицкая на третий или четвертый день была арестована советской властью вместе со всеми другими мерцовскими инспекторами, работавшими по переселению жильцов, и о ее судьбе я ничего больше не слыхал и где она — не знаю.

Недоверие и осторожность по отношению к Мерцу опять усилились после вопроса Кульчицкой, несмотря на явное расположение ко мне с его стороны. Поделиться же мне своими мыслями было не с кем.

Харченко, как я уже говорил, особой симпатии не вызывал. Просто обыватель, приспособленец и кулачок по нутру. Он как-то проболтался, что ты (это значит я), мол, не умеешь жить. Вот даже еще при советской власти он не гнушался иметь левые доходы от всяких кустарей. Он распределял нежилой фонд, а также ведал сдачей в аренду бесхозных индивидуальных домиков на окраинах. Вот, говорит, поступают на такой домик от двух граждан заявления. Каждый просит сдать домик ему. Один представляет документы — рабочий завода «Большевик», ходатайство завкома, перечисляет свои заслуги в гражданскую войну. Я ему обещаю, что подготовлю решение Горсовета сдать дом ему, но, мол, это будет стоить 100 рублей, так как кое-кого

надо «подмазать». Беру от него 100 рублей и готовлю проект решения Горсовета. Другой, подавший заявление, — тоже рабочий, но уже завода «Ленкузница», тоже ходатайство завкома, тоже заслуги в гражданской войне. Я обещаю и ему, что подготовлю решение Горсовета сдать домик ему, и беру тоже для «подмазки» 100 рублей. Каждому обещаю, что домик с огородом, садиком будет сдан в аренду только ему, но если что-то случится и домик ему сдан не будет, я тут же возвращаю данные мне 100 рублей. Затем я ни за кого не хлопочу, ничего не делаю, а подаю в Горсовет два проекта решения. Так как больше претендентов нет, Горсовет решает домик сдать в аренду рабочему, скажем, завода «Большевик». Тогда рабочему завода «Ленкузница» я возвращаю его 100 рублей: ничего, мол, не получилось. Первый претендент пресилил: у него, мол, стаж службы в Красной Армии чуть больше. И я, таким образом, чист, и перед первым рабочим я выполнил обещание, а 100 рублей пошли на «подмазку», и чист перед вторым рабочим — у меня ничего не вышло, и я возвратил ему деньги. Вот и всего делов-то. Все шито-крыто. Оба рабочих не проговорятся, что покупали меня, то есть давали взятки, и никто этого проверить не сможет. Решил Горсовет. После такого рассказа я Харченко вообще перестал верить. Он может продать кого угодно.

После он как-то проговорился, что у его жены был день рождения, что у них были гости: бывший руководитель капеллы «Думка» (он, якобы, не успел эвакуироваться), который подарил жене золотой царский червонец. Где-то в июле или в августе он попросил у Мерца отпуск на несколько дней, каким-то образом достал железнодорожный билет в Сумы, нагрузился, как он говорил, всяким тряпьем, и поехал менять на продукты. Я подумал — тряпье, конечно, не твое, а награбленное твоей женой в квартирах эвакуированных или погибших в Бабьем Яру. Я ничего ему не сказал, но понял. Подлец ты окончательный, продажная душа, и не в какие откровенные разговоры с ним не вступал.

Второй инспектор Жук, как я сказал, был ставленником Мерца, и я тоже ему не доверял. Скажу о нем несколько слов. Он завязал знакомство с какими-то немцами, покупал у них коровье масло по 500 рублей за килограмм, продавал торговкам на базаре по 800 руб-

лей, а те в свою очередь по 1000 рублей. Расчет вел только на немецкие марки. Одна марка приравнивалась к 10 рублям. Правда, ходили и советские деньги, но купюрами не больше трех рублей, а уж 5, 10 и больше были заменены украинскими карбованцами. Позже Жук уехал в Одессу. Пропуск от штадткомиссара достал ему тот же Мерц, а визу у румынского консула он получил сам, как рассказывал, за взятку — вложил в заявление 200 марок, и на приеме у консула подал сложенное заявление с двумя стомарковыми ассигнациями. Так, мол, посоветовала секретарша консула. Мотив поездки — он сам одессит, там рос, учился, там его родные.

С сотрудниками других отделов я не сталкивался, но я остерегался откровенничать с любым. Я везде видел подвох, подлость, предательство. Случай с кассиром, с его вопросом о катюшах, всю мерзость Харченко, любопытство Кульчицкой, загадочность Мерца, а главное — моя беспомощность. Я же все время страдал и трясучкой, и слабостью, и болями в голове, и постоянным засыпанием, и голодухой, и потерей зрения — все это не давало мне возможности предпринять что-либо серьезное, чтобы хоть чем-нибудь оправдать свое существование.

Я думал о партизанах, но где они? Где их искать? Ведь не остались они в том лесу у Ирпеня, где мы стояли. Кругом села, да и Киев в каких-нибудь 20 километрах. Лес, безусловно, прочесан немцами не один раз. В городе помимо военных немцев, мадьяр, румын, вообще всяких воинских частей, развелось уйма полицаев, которых я ненавидел всей душой. Это с их помощью немцы беспрерывно устраивали облавы на улицах, на базарах, хватали всех молодых людей, особенно девушек, и увозили в крытых машинах. Куда? Тогда я не знал. Потом узнал — на пункт отправки в Германию. Между прочим, один раз в одном полицае я узнал своего командира взвода по 2-му ОПБ — лейтенанта Середкина. Молодой парень, был комсомольцем, вообще симпатичный человек, был, конечно, симпатичным, и вдруг — полицай. Я не поверил своим глазам. Но мы столкнулись нос к носу. Он меня узнал и, глянув в глаза, спросил:

— Худяков?

Я не выдержал, отшатнулся, у меня перед глазами встал образ Гончара, и я процедил сквозь зубы с презрением:

– А ты, лейтенант, уже полицей?

Он ответил:

– Что ж, времена переменялись, жить надо...

Дальше я не слышал. Я поспешно отошел, и больше его не видел, хотя вспоминал его и очень жалел.

Может быть, я упустил шанс, может, это была просто маскировка со стороны Середкина, может, это было одно из звеньев подпольной организации, за которое мне надо было ухватиться, а не поддаваться сгоряча чувству ненависти к немцам и нашим предателям. И я еще пристальнее стал присматриваться к окружающим меня людям — к Мерцу, к заместителю начальника «пану» Татарову, к главному инженеру «пану» Винницкому, но все их поведение говорило о беззаветной преданности немцам и их «новому порядку». Мерц по-прежнему очень радовался успехам немцев на фронтах, очень горевал, когда англичане и американцы бомбили немецкие города, когда в Африке армия Роммеля стала терпеть неудачи и поражения.

Татаров один раз с ноткой презрения спросил у меня, почему я не снимаю военного красноармейского наряда, не снимаю обмоток, не надену приличных штатских брюк и пиджака. И когда я сказал, что у меня такой одежды нет, что, вернувшись из плена, я застал в своей комнате каких-то «фольксдойче», что ничего из носильного не было, все уже было разграблено милыми соседями, что купить на толкучке у меня нет средств, что люди сейчас ломают головы, чтобы что-то продать и выручить на еду, а я свободен от этой головомки, а жалования мне хватает только, чтобы не умереть с голоду, на горох или пшено, — то купить что-нибудь из одежды я пока не могу.

Тогда Татаров сказал, что в городе есть под властью у немцев склад реквизированного барахла. Он даст распоряжение снабженцам, и они мне кое-что достанут. Действительно, через некоторое время Татаров вызвал меня и передал сверток. В нем были брюки навыпуск зеленого цвета с красным кантиком по шву от пояса до низу (такие брюки носили до войны работники НКВД) и синий

шевиотовый старенький чисто гражданский пиджак. Пиджак был еще целый, только сильно вылинявший на плечах, спине и с сильно вытертыми локтями. Передавая пакет, Татаров сказал:

— Из брюк выпорите красный кант и покрасьте в нейтральный тон — черный или темно-синий, а пиджак можно перелицевать, он будет хороший. І сніміть вже цю огиду, — и он презрительно оглядел меня с ног до головы.

Я подумал: тебе, откормленная сволочь, «соромно», а каково мне. Я до войны в самые трудные дни при своей заботливой Анечке ходил всегда и аккуратным и чистым, и было у меня все, чтобы не было «соромно». Я, конечно, ему это не сказал, а только поблагодарил. Взял сверток и вышел из кабинета.

Выпороть кант, обратно сшить и перекрасить я попросил жену Харченко. У них была машинка, краску я купил на толкучке на раскладушке. Пиджак жена Харченко перелицовывать не взялась. Несколько позже я встретил некую Анисимову, жену того Анисимова, который когда-то работал в Черкассах в Окрпарткоме, был председателем округа МОПР, а потом председателем Жилоюза. Его жену я хорошо знал. Она на момент войны случайно оказалась в Киеве — гостила у Станченко, а когда Станченко эвакуировалась, осталась в Киеве, и вот застряла.

Я встретил ее случайно на улице, чем-то ей помог, — через Мерца достал ордер на помещение бывшей дворницкой комнатухи в полуподвале на Михайловском переулке, куда ее без всяких документов вселили (дом на Козловской, где она жила у Станченко, немцы забрали под госпиталь, и ее с барахлом, принадлежавшем Станченко — выселили, но ордера не дали) и ее якобы часто беспокоил управдом, чтобы она получила ордер.

Анисимова взялась перелицевать пиджак, что и сделала. Правда, возилась очень долго, что-то месяца два. У нее своя горькая судьба. Сам Анисимов занимал в последнее время до войны должность управляющего Маслотрестом где-то в Молдавии. Связался с какой-то красоткой, бросил жену и уже взрослую дочь и якобы уехал в Москву. Дочь вышла замуж и уехала с мужем. И вот Мария Ефремовна Анисимова осталась одна. Приехала в Киев к Станченко,

и так на период оккупации осталась. Голодала, изредка подрабатывала шитьем, в общем, бедствовала. Мне было ее искренне жаль, но я ничем ей помочь не мог. Разве только что разговорами — не отчаивайтесь, не теряйте надежды, будет же, в конце концов, перелом в войне, и немцев скоро прогонят (а немцы уже воевали в Сталинграде), делился и своим горем, неизвестностью судьбы Ани и Юрочки, своим теперешним положением.

Вернусь еще к Татарову. Осенью он ушел из Жилуправления, а зимой 1942/1943 года по какому-то поручению Мерца я был в Миськуправі. Это было уже после разгрома немцев под Сталинградом, когда наши войска подошли к Харькову. Там я встретился в коридоре с Татаровым. Поздоровались. Татаров мне и говорит:

— Знаете, пан Худяков, я сейчас работаю в статистическом управлении, и мы изучаем причины колебания рыночных цен. За несколько дней до этого я провел одну спекулятивную операцию. Нам на паек выдали по 300 или 400 грамм соли, в общем, стакан соли за несколько копеек, а на базаре соль стоила 30 рублей стакан. Я решил продать соль и купить стакан гороха. Когда я пришел на базар, то увидел, что стакан соли стоит 200 рублей. И я свою соль продал, а через два или три дня обстановка на фронте изменилась, и соль опять упала в цене до 30 рублей. Я смог за вырученные свои 200 рублей купить и соли, и пшена, и гороха.

Так вот, когда мне Татаров сказал, что статуправление городской управы изучает причины колебания рыночных цен, мне сделалось смешно, и я ответил:

— Дуже ціка-а-ва проблема, хоча я вам скажу, що ця проблема давно вже вивчена і про неї добре сказано в підручниках з політекономії.

Татаров неопределенно двинул плечами, и мы разошлись.

После этого я мог ожидать всего чего угодно, вплоть до ареста гестапо, но все обошлось благополучно. И это заставило меня подумать о Татарове несколько по-другому. Может, это тоже одно из звеньев наших подпольщиков, только сильно замаскированный. И брюки какие, он мне дал — это не со склада бесхозьяственного имущества, а его личные, и он, наверно, бывший работник НКГБ, оставленный в Киеве как подпольщик.

Скажу еще об одном человеке — главном инженере «пане» Винницком. Как главному инженеру ему следовало заниматься ремонтом жилого фонда. Он этим и занимался, но не вообще ремонтом домов, в которых жило наше население, а исключительно ремонтом домов, какие немцы отобрали себе, и из которых наше население было выселено. Сам Винницкий, человек лет 45, может, немного больше, всегда с иголки одет, держал себя высокомерно, ни в какие разговоры не вступал. У него в кабинете постоянно толпились немцы — военные, штатские, была своя переводчица, секретарша и два или три инженера-инспектора, в том числе инженер по лифтам и центральному отоплению — некто Грачев. До войны Грачев работал по своей специальности в конторе по ремонту лифтов и центрального отопления при Горжилуправлении, и я его знал, но он держал себя замкнутым и занимался только по специальности — ремонт котельных, ремонт и восстановление лифтов в отобранных немцами домах. Я как-то спросил его:

— Где они берут материалы?

Он сказал, что им по их заявкам всё присылают из Германии. Снабжение несравненно лучше, чем было при советской власти.

Сам Винницкий облюбовал себе особнячок — вероятно, комнат пять или шесть, в отдельной усадьбе с садиком, капитально его отремонтировал и поселился. На ремонтах работали в основном пленные, приводимые под немецким конвоем из концлагерей, и общения с ними немцы не допускали. Везде стояли часовые с автоматами. В общем, Винницкий у меня никакой симпатии не вызывал. Пристроился, думаю, подлец, приспособился, и считает, что в жизни уже достиг своей вершины.

Позже, где-то в марте или апреле 1943 года, Винницкий, когда я по какому-то вопросу зашел к нему в кабинет и там нас было только двое, он сидел за столом, подперев обеими руками голову, увидев меня, он задумчиво сказал на плохом украинском языке:

— Плохи наши дела на фронте. Большевики наступают, Харьков уже давно заняли..., сейчас уже почти весь Донбасс заняли...

Я подумал: «Сволочь ты, за свой особняк дрожишь, да и за голову свою заодно, а по мне — хоть бы скорее подошли наши к Днепру, освободили Киев». А сказал я примерно следующее:

– Вы, пан Винницкий, напрасно зажурились. Читайте лучше газету. (В Киеве выходила какая-то газетка, где печатались сводки с фронтов немецкого командования, речи Гитлера, Геринга, Геббельса и других вожakov фашизма, и всяческая дрянь: антисоветские фельетоны, рассказы, клевета, восхваление «нового порядка» и прочая грязь.) Как раз на этих днях была не то статья, не то речь Гитлера о том, что не важно, в какой географической точке океана встретились две эскадры. Важно, чтобы «наша эскадра» разгромила, потопила все суда противника. Так же и на суше. Не важно, в какой географической точке земли встретятся армии двух сторон, — важно, чтобы немецкая армия разгромила большевиков, а это, мол, неизбежно произойдет, так как скоро в немецкой армии будет применено новое оружие, а то, что мы сейчас как будто отступаем, это просто выравнивание линии фронта и никакого значения не имеет.

Винницкий отлично понял, о чем я говорю, не знаю, уловил ли он иронию в моем голосе, но он ответил:

– Да, это так и будет.

Больше я с ним не говорил, а уходя, подумал, — сколько все-таки сволочей было среди нас, советских людей. Поди знай, перед кем открыться, излить душу, посоветоваться, что делать, как ускорить избавление от нашествия этих гадов-фашистов. А фашисты делали свое черное дело.

Как-то пронесся слух, что по городу произведено много арестов. Гестапо забрало всех коммунистов, зарегистрировавшихся в первые дни оккупации. Были, оказывается, и такие, поверившие немецким объявлениям. Об этом мне как-то рассказал главный инженер трамвайного треста (забыл фамилию), с которым я согласовывал график подачи площадок для вывозки мусора.

На Бессарабке, против Крытого рынка, был повешен какой-то фельдшер, живший на Подоле. В расклеенных объявлениях было сказано, что немцы его приговорили к повешению публично якобы за то, что он насиловал девушек, приходивших к нему за медпомощью, потом убивал, а из человеческого мяса делал жаркое и продавал на базаре. Никто, конечно, не верил этим объявлениям. Скорее всего, это был подпольный работник. Но никто об этом не

говорил, все замкнулись в себе, все боялись друг друга, боялись провокаторов.

Мне как-то пришлось обслужить трамвайными площадками два немецких «заведения» — Театральный ресторан на углу Владимирской и Ленина (напротив Оперного театра — там весь дворик был завален пищевыми отходами). Это задание мне поручил сам «пан» Кржесецкий.

— Договоритесь, — сказал он, — чтобы ресторан обеспечил рабочих для выноски мусора со двора и погрузки.

Я пошел в ресторан. Через входную дверь с улицы меня не пропустили. Там стояли немецкие часовые: «Нур фюр дойче». Через черный вход долго допытывались, что мне надо. Наконец, вышел директор ресторана с переводчиком. Разговор происходил в подъезде. Я успел уже определить, что надо не менее двух площадок. Когда я сказал, что две площадки я обеспечу, директор обрадовался, но стоило мне заикнуться, чтобы он обеспечил рабочих для выноски мусора и его погрузки, — немец стал неистово что-то кричать, топтать ногами, в общем, впал в бешенство. Я стоял спокойно, ничего не понимая в его словоизвержении. Наконец, не выдержал и, обращаясь к переводчику, спросил:

— Чего он разорался?

Не знаю, как переводчик перевел мое слово «разорался», но что-то сказал немцу. Тот вроде немного успокоился, и передал через переводчика:

— В ресторане кроме поваров и официантов рабочих нет, а раз мы беремся вывозить мусор, должны сами его грузить.

Я попросил переводчика передать немцу, что у нас тоже нет рабочих, мы не специальная организация по саночистке, в нашу обязанность входит договориться с трамвайным трестом о подаче площадок, а грузит мусор само население тех домов, откуда мусор вывозится. Придется запланированные вам назавтра площадки отложить, я доложу начальству, и как оно решит, так и будет. С этим я ушел. Кончилось тем, что Кржесецкий дал распоряжение райжилуправлению через управдомов мобилизовать жильцов окружающих жилых домов, обеспечить вилами, лопатами и носилками, вынести этот мусор со двора и уложить штабелями вдоль трамвайной линии,

а мне проследить, когда мусор будет вынесен, подать площадки, и силами тех же мобилизованных жильцов погрузить мусор. Кончилось тем, что мусор со двора выносился целую неделю, а пока изодня в день штабель у трамвайной линии увеличивался, распространя вонь и тучи мух. Наконец, подали площадки, и его вывезли.

Второе «заведение» — это гестапо, расположенное на Владимирской улице на углу Ирининской (против Рейтерской). Там до войны было НКГБ. Опять меня вызвал Кржесецкий. У него в кабинете был какой-то гестаповский офицер. Разговаривали через переводчика. Гестапо или что-то строило внутри двора, или перестраивало внутри здания, но вся проезжая часть улицы перед зданием была завалена горами строительного мусора, битого кирпича, отбитой старой штукатурки, кусками досок. Я, имея опыт с рестораном, задал вопрос: кто будет грузить и много ли мусора, сколько надо площадок? Перевела переводчица Кржесецкого. Гестаповец тоже через переводчицу ответил, что люди для погрузки у них есть, а вот сколько надо площадок — предложил проехать с ним (он был на машине) и посмотреть самому. И вот я поехал с ним. Шофера не было, он сам управлял машиной — сидел за рулем, а я рядом с ним. Пренеприятное чувство, ехать в гестаповской легковой машине рядом с гестаповским офицером. Я молчал. Вдруг фашист на чистейшем русском языке заявил:

— Ну и поганые у вас мостовые в Киеве, почти нигде нет асфальта, только покрышки рвутся.

Действительно, Большая Житомирская улица, по которой мы ехали, была замощена обыкновенным булыжником, даже не брусчаткой. Ишь чего захотел, подумал я, — мы тебе, видите ли, не приготовили асфальта. Удивило меня, что он, зная русский язык, разговаривал в кабинете Кржесецкого через переводчика. И я ответил:

— А вы же прекрасно говорите по-русски, почему же там, в Жилуправлении, разговаривали через переводчика?

Немец ответил:

— Немецкий язык — это государственный язык, и все официальные разговоры мы ведем только на языке великого Рейха.

— Что касается «поганой мостовой», — продолжал я, как бы пропустив его слова о «языке великого Рейха» мимо ушей, — то не все

сразу делается. Были, надо полагать, другие отрасли хозяйства, куда большевики считали более целесообразным направлять средства, но теперь об этом поздно говорить. Вот кончится война, и придется асфальтировать улицы вам, немцам.

Он ничего не ответил, и мы молча проехали еще квартал до Советской площади, откуда было хорошо видно бывшее здание ЦК КП(б)У — теперь Обком партии.

— А что это за дом? — опять спросил гестаповец.

Я ответил:

— В этом доме был ЦК Компартии Украины.

— Ах, да! Я знаю. Мы этот дом разденем, то есть снимем с него все, что может нам пригодиться — мраморные ступени и перила с лестниц, паркет, — там прекрасный дубовый паркет, ну, и другую мелочь, а потом взорвем его.

Да, думал я, вы, гады, это умеете. Но ничего ему уже не говорил. Мы подъехали к гестапо, я осмотрел груды мусора, договорился, сколько и на когда подать площадок, и пошел в трамвайный трест. Три площадки подали на другой день к 7 часам вечера. К этому времени из гестапо вывели человек шестьдесят-семьдесят арестованных, оснащенных лопатами, и они стали нагружать площадки. Арестованных сопровождал усиленный отряд автоматчиков, которые почти сплошной цепью окружили и их, и площадки, меня загнали в будку вагоновода, и с двух сторон поставили по автоматчику. Мы, таким образом, никакого общения иметь с арестованными не могли. Часа через два площадки были нагружены, арестованных увели, и около нас убрали часовых.

Я пошел домой, а площадки уехали. Кто их там, на свалке, разгружал, я уже не знаю. Шел я в глубоком раздумье. Бедные арестованные, это же все — кандидаты на смерть, как хотелось бы хоть словом перекинуться с ними, хоть узнать, кто они, может они, со знавая свое положение, сами бы хотели что-то передать родным, да и оставили ли немцы их родных на месте. А эта сволочь, немецкий гестаповский офицер, язык «великого Рейха», «поганные мостовые», «здание ЦК разденем и взорвем». Я, кажется, ему хорошо ответил — не до мостовых нам, когда надо было восстанавливать

после разрухи разоренное хозяйство, а о том, что асфальтировать после окончания войны придется им, немцам, может, этого и не надо было говорить...

Не знал я тогда, что эти мои слова окажутся пророческими. Уже в 1945 году летом на Большой Житомирской улице была снята трамвайная линия, и улицу, заново спланированную, заасфальтировали, причем, все работы проводились пленными немцами. Пришлось-таки немцам асфальтировать ее, но улица осталась у нас, наша улица, в нашем Киеве, а от «великого Рейха» осталась пыль.

Пришлось мне столкнуться еще с одним высокопоставленным немцем: начальником «Тодт». Что это за организация и чем она занималась, не знаю, но этот «Тодт» ведал отправкой в Германию в рабство наших людей, завербованных, которые шли добровольно (были и такие, которых прельщал паек на дорогу — килограмм колбасы, и буханка хлеба и обещания сытой жизни в Германии), и просто схваченных в облавах в городе и близлежащих селах, в основном молодые девушки. Так вот, пунктом «своза» всех отправляемых людей был «Тодт», который занимал одно из зданий школы, но уже несколько месяцев как туда никого не привозили, а пункт «Тодта» перенесся в здание бывшего Облвоенкомата на Артема, 24, хотя у здания школы продолжал держать по двое человек автоматчиков, которые регулярно через каждые два часа сменялись.

Местное население возбудило ходатайство через городскую управу организовать в школьном здании школу, так как дети школьного возраста прервали учение уже больше года. Ответ пришел через штадtkомиссариат, так как городская управа не вправе была решать такой вопрос. Ответ был послан инициаторам ходатайства. Ответ был краткий. Штадtkомиссариат не возражает против открытия школы с четырехлетним образованием (большого, мол, вам, рабам, не полагается) при условии, если это здание уже не требуется «Тодту». И вот была состряпана бумажка к начальнику «Тодта», и мне Мерц поручил пойти на переговоры.

Я со страхом пошел в это «учреждение», навевавшее ужас на всех честных людей, благополучно миновал двойной караул — при входе в здание и перед приемной начальника, — попал в приемную.

Там сидела женщина — секретарь-переводчик. Подал ей бумажку и попросил доложить обо мне. Машинально глянул на висящие настенные часы. Было без двадцати четыре. Секретарша вышла и сказала:

— Господин начальник вас примет без десяти минут четыре. Обождите.

Я сел на стул для посетителей и терпеливо стал ждать. Ровно без 10 минут 4 открылась дверь кабинета, и вышел начальник в военной форме, держа в руках мою бумажку. Так как в комнате никого кроме меня и переводчицы не было, он сделал один шаг в мою сторону. Я, в свою очередь, поднялся и сделал пару шагов навстречу ему, сознательно не сделав обязательного приветствия с вытянутой рукой «Хайль, Гитлер», а только наклонил чуть голову. Он протянул мне нашу бумажку и что-то резко сказал по-немецки. Переводчица перевела:

— Господин начальник сказал, что здание школы вы можете занимать.

Я глянул на бумажку, вижу, что никакой резолюции на ней нет. Что значит «можете занимать», там же часовые, разве они нас послушают? И я попросил переводчицу — он же тут ничего не написал, и как быть с часовыми? Переводчица перевела. Немец вдруг, потеряв напускное величие, начал топтать ногами и что-то кричать (мне вспомнился директор ресторана). Я конечно, ничего не понял, только переводил взгляд с этого, с позволения сказать, начальника на переводчицу и обратно. Наконец, заговорила переводчица:

— Господин начальник возмущен. Как вы смеее требовать что-то написать, это у большевиков надо было делать все письменное, а у немцев достаточно его слов, раз он сказал, значит, все, никакой волокиты не требуется. Что касается часовых у школы — это не ваше дело. Раз начальник сказал, что здание можно занимать, часовые будут оттуда убраны.

Что мне оставалось делать? Я взял бумажку, пробормотал «извините», поклонился и вышел. На другой день часовых у здания школы уже не было. Но школа так и не открылась. Не то контингента детей не набралось, не то преподавательского состава, не то требовался большой ремонт — всюду была грязь, исписанные

стены, поломанные парты. А может, просто некому было взяться за это. Немцам же было не до того.

Я продолжал заниматься подачей площадок под мусор к жилым домам. Вопрос с питанием несколько улучшился, с апреля месяца 1942 года нам стали выдавать ежедневно, кроме воскресений, по 300 грамм хлеба (это уже не 200 грамм два раза в неделю, как было зимой). По воскресеньям хлеба не давали, так как по правилам немцев мы в эти дни не работали, а они соблюдали принцип — кто не работает, тот не ест. В Жилуправление иногда привозили дополнительно кое-что из продуктов. Например, соленые огурцы, квашеную капусту, порубленные кости коровьих черепов прямо с зубами, но без единой скибочки мяса. Капуста и огурцы прошлогодние, вонючие, но все же — разнообразие в пище. Кости, хоть без мяса, но кое-какой навар был для пшеничного кондера. Но всего этого было, конечно, мало.

Силы мои не восстанавливались, и я чувствовал себя все хуже и хуже. Стал чаще засыпать, даже на ходу. Ноги были опухшие. Хлеб, который нам выдавали по карточкам, был ужасного качества — 50% просяной шелухи, процентов 25% ячневой муки и лишь 25% ржаной. От просяной шелухи хлеб блестел, и мы его прозвали «золотисто-золотой». Харченко смеялся: когда ешь хлеб, то не только во рту язык и десны царапает, но даже в уборной дерет задний проход. Вообще, я видел у одной пекарни, когда привезли эту просяную шелуху, сгрузили просто навалом во дворе, и зав. пекарней дал распоряжение своим рабочим — треть шелухи в тесто, а две трети — на топку пекарских печей. Но все-таки это было что-то. «Фольксдойчи» имели особые карточки, и им выдавали чисто ржаной хлеб.

С какой завистью я смотрел на этот черный ржаной хлеб, я все время ощущал голод. Но успокаивал себя — терпи, крепись, главное — выжить до победы. Ведь будет, в конце концов, перелом в войне. Разве наш русский народ потерпит такое?

И опять мои мысли возвращались к Ане, Юрочке, к мирной жизни до войны, мне по ночам опять стали сниться всякие кошмары. А немцы все шли вперед. Они уже у Волги, они на Кавказе. Правда, от Москвы их отогнали, и далеко отогнали. В сводках уже

не фигурируют близкие к Москве города. Вторую зиму они не выдержат. Отгонят и от Волги, прогонят и с Кавказа, и с Украины, вообще прогонят. К осени 1942 года стали разноситься слухи о действиях партизан, но это где-то на Брянщине, в Белоруссии, а под Киевом — тихо. Нет партизан. Не с кем поговорить, разузнать что-либо. Да и доберусь ли я до Брянщины со своими силами? Надо терпеть и ждать.

Осенью 1942 года взамен уехавшего в Одессу Жука Мерц привел мне двух новых инспекторов — один, якобы бывший архитектор, — Качуровский, другой — якобы брат Винницкого, — бывший работник кинофабрики. Правда, Мерц предупредил, что Винницкого просто зачислили на «вакантную» должность, но он будет работать по ремонтам в подчинении своего брата — главного инженера Винницкого, а Качуровский — со мной на саночистке. Этот Качуровский оказался очень говорливым, носил с собой карту европейской части СССР и все делал отметки, наносил карандашом линию фронта, громко радовался успехам немцев, а уже зимой 1942/1943 годов, после разгрома немцев под Сталинградом, с особым вниманием читал немецкие сводки, стараясь уловить в них успехи Советской Армии, и уже радости не проявлял, а только многозначительно говорил:

— Немцы в сводках пишут — «ведут эластичные бои», — это значит, что немцы гнутся то туда, то сюда. Боятся написать, что отступают...

Или:

— Немцы пишут, что в порядке выравнивания линии фронта оставили такой-то город. Боятся написать, что драпают...

Так мы втроем — я, Харченко и Качуровский — иногда, когда не было Мерца, склонялись над картой и обсуждали дела на фронте. Я не доверял ни одному, ни другому, но ловил каждое слово, стараясь разгадать теперь уже Качуровского. Харченко для меня был ясен.

С осени 1942 года у нас ввели обязательное изучение немецкого языка. Три раза в неделю к нам приходил немец-учитель, и мы занимались в основном разговорным языком. Занимались по 2 часа. Тогда в нашей комнате собирался весь отдел эксплуатации, то

есть нас трое, Мерц со своими квартирными инспекторами и секретаршей, в общем, — группа человек восемь. Я немецкий язык ненавидел с детства, он мне очень трудно давался. Но сейчас я очень прилежно заучивал слова, завел блокнотик, записывая фразы. Грамматикой мы не занимались. Этот блокнот сохранился, и сейчас где-то у меня.

Как-то ко мне зашел брат Винницкого с какой-то женщиной. Представил меня ей и ее мне.

— Это моя жена. Она преподает в мединституте лечебную гимнастику. Я видел как-то, вы рисовали на листе бумаги всякие рожицы. Не сможете ли вы ей помочь?

Оказывается, ей надо было на больших листах нарисовать женские фигуры в различных положениях для демонстрации во время ее лекций. Она пригласила к ним домой на Пироговскую улицу. Сказала, что мединститут оплатит. Она мне там покажет эти рисунки, их надо только увеличить в несколько раз. Я согласился.

И вот я на Пироговской улице. Пошел днем в договоренное время. В хорошем доме, с первоклассной обстановкой, с пианино, тюлевыми занавесками, с коврами на стенах и полах они занимали несколько комнат. Других жильцов не видно. Она показала мне учебник лечебной гимнастики для женщин. Позы аховые. На ее месте я бы постеснялся показывать эти картинки вне класса со студентами будущими медиками. Я задал ей вопрос:

— Неужели существует мединститут, работает и разве немцам нужно все это (и показал на книжку с картинками). Кто же в институте учится?

Она сказала, что мединститут есть, студентов много, в основном девушки, а немцам они нужны. Не забывайте, что еще идет война, много раненых, для которых после всяких хирургических вмешательств нужна лечебная гимнастика.

— Да, но женщины?

— А это по программе есть цикл и такой гимнастики. Вам картинки понятны?

Я сказал, что в основном понятны, хотя некоторые очень мелкие и трудно разобрать. Тогда она скинула с себя халат, осталась в

одном купальном костюмчике в обтяжку, и тут же на ковре начала воспроизводить все те аховые позы и движения. Не скрою, сложена она была хорошо, но мне противно было на нее смотреть. Ах ты, дрянь, несчастная проститутка, захапали со своим муженьком чужую шикарную квартиру (ведь до войны вы здесь не жили, это ясно). Старший братец себе особнячок отгрохал, а ты с своим Винницким здесь пристроились и благоденствуете! Немцам кадры готовите. Еще я подумал, что с Винницким надо держать ухо востро. Затем мы договорились о цене, что рисовать, я взял книжку и ушел. Через неделю я изрисовал четыре листа ватманской бумаги, вручил младшему Винницкому, получил 120 рублей (на 4 стакана пшена), и на этом все кончилось.

Осенью 1942 года немцы, окрыленные своими успехами (как же — дошли до Сталинграда, заняли Северный Кавказ), нагнали все больше и больше. В городе появилось много гражданских немцев, ходили они почти все в шортах — трусиках до колен. Представители различных фирм — промышленных, торговых. Увеличился спрос на развод им домов, а значит, и на выселение живущих там людей. Мерц гонял своих инспекторов. К счастью, меня к этой работе не подключал. Может, видел, что я еле хожу, и я по-прежнему занимался подачей площадок для вывозки мусора.

Один раз в трамвайном тресте мне главный инженер сказал:

— Скоро мы будем не городским трестом, а частным. Трест со всем хозяйством передается в ведение какой-то немецкой фирмы.

Был я по какому-то вопросу в Водоканале — это на берегу Днепра, сразу за речным вокзалом. Там я увидел старичка-плановика, работавшего до войны. Он вышел на набережную, и мы откровенно поговорили. Он был явно встревожен:

— Что будет? Что я буду делать? Мы вдвоем со старухой, а трест Водоканал забирают немцы. Были у нас представители какой-то фирмы, интересовались структурой треста, штатами, кто чем занимается. Они никак не могли понять, чем занимается плановый отдел. Что, говорят, планировать? Сколько дают скважины воды — больше не дадут, сколько не планируй. Не хватает воды? Так закройте магистрали на окраины, отрежьте сотню-другую

второстепенных потребителей. У вас разная цена на воду? Глупости, вода для промышленности и вода для населения — вся вода по одной цене. Себестоимость определит бухгалтерия. Нечего и финансы планировать. В общем, плановый отдел не нужен, и мы его упраздним. Значит, скоро меня уволят. Что я буду делать? Я ведь почти сорок лет проработал в Водоканале...

Бедный старичок. Я старался его успокоить. Во-первых, трест еще не в руках немцев, во-вторых, он и не будет принадлежать немцам. Это городское хозяйство, и всегда будет городским, значит, никакой капиталист владеть им не будет. Да и вообще не будет здесь капиталистов. Видите — немцы с своим «блиц-кригом» провалились. От Москвы их отогнали, Ленинград они так и не взяли, на Волге застряли, и скоро их начнут гнать. Советский народ никогда не допустит их владычества, никогда не сделается их рабами. Я, вы видите, больной, но живу надеждой увидеть здесь в Киеве наш красный флаг вместо этого фашистского паука. Живу надеждой встретиться с женой, увидеть своего сынишку. Вы никого не ожидаете, у Вас нет родных, но верьте мне — все окончится хорошо, и вы работы не потеряете. Пусть пока скудный паек поддерживает вас, а там, — придут наши, и вы будете получать пенсию. Крепитесь, и не падайте духом.

Я говорил, говорил ему, а сам думал — тебе уже, наверно, больше 60 лет. Выдержишь ли ты? Доживешь ли до счастливых дней?

Накрапывал осенний дождик, и мы распрощались. Ушел я и взволнованный, и с каким-то облегчением. Излил, наконец, свою душу. Правда, это не фигура — этот старичок, он ничем мне не поможет, да и я ему тоже ничем не помогу. Но, поделившись своими горестями и надеждами, я чувствовал, что и он сделался как-то бодрее...

В Жилуправлении я застал Мерца в сильном волнении. Он рассказывал, что многие немцы, которые в последнее время сильно беспокоили его в части отвода домов, экстренно уехали в Германию. Дело в том, что американцы и англичане сильно бомбили Гамбург и ряд других немецких городов, что это уже не города, а сплошные развалины, а там находились родственники и семьи этих немцев — ну, они и поехали узнать, что с ними.

Так вам, сволочи, и надо, думал я, но почему ты, Мерц, так переживаешь? Впрочем, ты «фольксдойче», то есть такой же немец и фашист. Это естественно.

Несколько дней спустя наша тройка — я, Харченко и Качуровский — как всегда рассматривали карту и обсуждали положение на фронте. Верховодил Качуровский. Он вытащил киевскую газету и прочитал часть статьи — что-то из речи Геббельса. Эта часть статьи как всегда гласила о непобедимости немецких войск, об их героизме, но там были и такие слова (примерно): «Мы Сталинград еще не взяли, но Сталинграда как города по сути уже нет. Одни груды развалин, и занять эти развалины — дело нескольких дней, да они и не стоят того, чтобы губить жизни наших доблестных воинов». Тут Качуровский подчеркнул слова — «губить жизни». Значит, в Сталинграде наша Советская Армия есть и воюет, и «губит жизни» немцев. Так им и надо. Дальше в статье (или речи Геббельса, Гитлер уже тогда не выступал) были опять хвастливые слова: «Вот то, что мы (то есть немцы) сделали со Сталинградом, мы сделаем со всеми русскими городами, — Ленинградом, Москвой, с промышленными центрами. Сравняем их с землей, прогоним большевиков за Волгу, за Урал, и пусть себе там, в тундре и тайге, живут, а европейская часть, богатая углем, металлом, хлебом, нефтью, будет принадлежать нам и служить Великому Рейху, единственному носителю европейской культуры».

— Вот так хватил, господин Геббельс! — сказал я, — Значит, полностью уничтожить Советский Союз — вы уже и не ставите себе такой задачи! Вы уже согласны устанавливать свой «новый порядок» только до Урала, не жирно ли?

— Да и от Москвы вас отогнали уже год тому назад на 400–500 километров, и возле Ленинграда вы топчитесь больше года, хотя в сентябре–октябре прошлого года трезвонили, что до овладения Ленинградом остались считанные дни, — добавил Харченко. Я удивился этой реплике Харченко. Обыкновенно он молчал и только слушал. Говорили Качуровский и я.

Так мы, когда была возможность (не было Мерца), прочитывали сводки немецкого главного командования, статьи и речи в газете —

ловили каждое слово, делали свои выводы, читали между строк то, что не было написано, но явно говорило о действительном положении. «Упорные бои» — значит, немцам достается, «оборонительные бои» — значит наши наступают, «эластичные бои» — значит, немцы то отступают, то наступают, «выравнивание линии фронта» — это значит, что немцы под напором наших войск отступают, и т. д.

Меня только мучило, что я не в состоянии принять ничего действительного, а главное — не было сил. Я уже по домоуправлениям не ходил, не мог пешком преодолеть расстояния от Большой Житомирской до улицы Саксаганского или на Подол, на улицу Мельникова, Дмитриевскую. Это я поручал Качуровскому и Харченко, а сам только составлял графики подачи площадок и ходил в трамвайный трест с заявками.

Но вот наступил январь 1943-го года. В городе появилось много солдат в какой-то странной форме. Коротенькие, едва до колен сине-зеленые шинелишки, ботинки и гетры на пуговицах, в шапочках перья из петушиных хвостов. А так как было много снега, и стояли морозы — поверх шапочек на них были намотаны самых разнообразных расцветок бабские платки, шарфы, а ноги во многих случаях обмотаны какими-то тряпками и завязаны бечевками. Эти солдаты ходили по базару, по дворам жилых домов, стучались в окна и молча стояли с протянутой рукой. Кое-кто им что-то выносил из пищи — или краюху хлеба, или несколько картофелин, сваренных в мундирах, или в консервной баночке вареный горох. Они что-то лопотали по-своему, видно, слова благодарности, и тут же жадно поедали то, что им дали. Затем рылись по карманам, и что-то оставляли: компас, бинокль, пару перьев из шапочки. На Евбазе (теперь — площадь Победы) была частная харчущка, где можно было поесть или пшеничного кондера, или рассольника — в общем, баланды. Был случай, что этих солдат зашло человек пять или шесть. Они поставили свои винтовки в этой харчущке под стенкой, поели, встали и ушли, оставив винтовки в этой харчущке как плату за еду.

Пронесся слух, что это итальянцы, пригнанные немцами сюда, на «восточный фронт». Эта итальянская часть была под Сталинградом, не выдержала натиска Красной Армии и допустила прорыв со-

ветских войск на одном из участков Сталинградского фронта. Немцы сняли итальянцев с фронта, погрузили в товарные вагоны, как скот, и в наказание отправили обратно в Италию. Весь путь от Сталинграда до Киева — несколько дней — держали их взаперти, без пищи, в холодных дощатых вагонах, и лишь в Киеве разместили в каких-то казармах. В городе появились расклеенные на домах, телеграфных столбах, рундуках на базарах объявления. Вот одно, почти дословно: «В последние дни в городе отдельные военнослужащие союзных Германии государств выпрашивают у населения продукты питания, меняя их на военное снаряжение и даже оружие. Если эти военнослужащие будут замечены немецкими патрулями — они, как и те граждане, что им что-то давали, будут расстреляны на месте без всякого расследования».

Итальянцы перестали встречаться на улицах. Поговаривали, что их опять погрузили в вагоны и отправили обратно к Муссолини.

Но вот в первых числах февраля немцы в сводках объявили, что вся немецкая 6-я армия, которая была в Сталинграде, была окружена советскими войсками и, ведя тяжелые бои, несмотря на принятые меры по ликвидации этого окружения, во избежание ее полного уничтожения — капитулировала. Немцы потеряли «талантливоего полководца генерал-фельдмаршала Паулюса» и до 300 тысяч его солдат и офицеров убитыми и попавшими в плен.

По всей Германии и на оккупированных территориях был объявлен траур. Немцы приуныли, абсолютно все нацепили на рукава черные креповые повязки. Повесили носы и наши «пань» кржесецкие, мерцы и другие. Тоже нацепили себе траурные повязки, разговаривали почти шепотом.

Все ждали, что будет дальше. А пока на улицах, где только были какие-нибудь немецкие учреждения или учреждения местной городской управы, — висели спущенные в знак траура немецкие флаги с черными траурными лентами.

Мы, наша тройка, только переглядывались. И наши взгляды говорили друг другу: «Наконец-то! И это тебе не «эластичная война» — это перелом. Это — грандиозное поражение немцев. Теперь пойдет и пойдет...»

В Жилуправлении ввели на каждом этаже по воскресеньям дежурства. Отдел эксплуатации был на первом этаже. На втором — отдел ремонтов, отдел снабжения и кабинеты Кржесецкого и Винницкого. На третьем — бюро инвентаризации. В одно из ближайших воскресений пришлось дежурить и мне. Обязанность простая. Сидеть и караулить, может, будет какой телефонный звонок. Я сидел, думал о последних событиях, вспоминал Аню и Юрочку. Скоро, уже скоро Киев будет советским, и я начну разыскивать вас, я найду. Обязательно найду, где бы ты ни была. Конечно, я буду в армии. Но одно дело при хаосе отступления, другое, когда мы будем наступать. Мы сплешемся. Ты мне все расскажешь, как ты бедовала, а я расскажу о своей горькой судьбе, а там — кончится война, и мы опять будем вместе. Ведь теперь уже недолго, потерпи, дорогая. Ох! Если бы только были живы! При этой мысли у меня мороз пробежал по спине...

В это время со второго этажа прибежал Мерц, там собиралось все начальство. Бледный, трясущийся...

— А!? Это Вы, пан Худяков? Вы ничего не знаете... да не знаете... Все пропало! Понятия? Все пропало... Большевики заняли Харьков! А от Харькова до Киева никаких укреплений нет, никаких водных преград нет, одна равнина... Значит, сегодня Харьков, а завтра... Киев. Все пропало.

Я едва мог скрыть свою радость. Да, скоро, скоро, дорогая моя Анечка, дорогой Юрасик, мои мечты сбудутся, а вы, проклятые фашисты, и все ваши прихвостни — мерцы, кржесецкие, винницкие — будете уничтожены. Но пока вы еще здесь и хозяйничаете, сила в ваших руках. Надо быть осторожным. И я успокоительным тоном сказал Мерцу:

— Вы напрасно так расстроились. Харьков — это отсюда километров 600, не менее, и не одна армия Паулюса была у немцев. У них есть и войска, и техника. И все еще может перемениться. Не впадайте в отчаяние.

А сам думаю. Так тебе, гад, и надо, беги скорее домой и поменяй белье, а то, наверно, уже наложил со страху.

На эти дни отреагировал и базар. Все цены подскочили сразу в пять — шесть раз. Вот тогда-то мне и удалось совершить свою «опе-

рацию» со стаканом соли. Но прошло несколько дней, и немцы Харьков отбили. Наши войска отступили. Теперь уже наша тройка приуныла. Правда, ненадолго. Еще несколько месяцев, и после боев на Курской дуге Харьков советские войска все-таки освободили, и теперь уже окончательно, хотя по немецким сводкам в районе Харькова все время шли упорные бои. На остальных же участках фронта, как кратко сообщалось, — «бои местного значения», хотя немцев гнали с Кавказа. По всему было видно, что после победы под Сталинградом, которой сопутствовало и освобождение значительной территории Советского Союза, в частности и Украины, от фашистских захватчиков, — зимняя кампания Советских войск на этом пока закончилась, и наша армия стала усиленно готовиться к летней 1943 года кампании. Естественно, к летней кампании готовились и немцы. Потерпев такое крупное поражение, они еще не сдались и не бросили мечту о полной победе. Но и нам, и им требовалось время, чтобы подтянуть резервы, произвести перегруппировку войск, подтянуть технику, боеприпасы, накопить силы. Поэтому весна прошла без особых крупных событий на фронте.

В Киеве исчезли штатские представители всяких фирм, исчезли и рыжеволосые немки, которых в конце 1942 года появилось очень много. Видно, облюбовывали себе будущие «собственные» дома, которые обещал им фюрер в знак признания заслуг их мужей. Перестали говорить о передаче немцам из городского хозяйства трамвайного треста, Водоканала, Киевэнерго. У Мерца с его квартирными инспекторами работы поубавилось, и он ходил, как пришибленный. Зато усилился угон нашего населения в Германию. Почти ежедневно подъезжали крытые фургоны, полные забранных с территории области — в селах и райцентрах — женщин, девушек и даже детей. Их привозили на ул. Артема, 24, куда я осенью ходил насчет школы. Там, во дворе, было несколько казарм. Этих несчастных людей там группировали, потом отвозили на вокзал, грузили в вагоны и отправляли в Германию. Кровью обливалось сердце, когда приходилось видеть или слышать их плач: «Ох, мамочка моя, прощай!» «Ой, матусенько рідненька, що тепер з нами буде!» А чем помочь? И эта беспомощность еще больше вселяла ненависть к немцам.

Видно, у немцев не хватало рабочей силы. Они провели тотальную мобилизацию, брали в армию чуть ли не пятнадцатилетних мальчишек и убежденных сединой стариков, а рабочей силы для работы на военных заводах, на фермах не хватало. Гитлер и его подручные, всякие геббельсы, в своих речах говорили, что хотя «великая Германия» сейчас и переживает тяжелый момент, но надо, мол, напрячь все силы, выстоять, а в скором времени немецкая армия будет оснащена новым оружием, которое коренным образом изменит ход войны, и тогда за два-три недели будут уничтожены все советские города и промышленные центры. Мы тогда ничего не знали об атомной бомбе, и смеялись над «новым оружием». Но Гитлер, конечно, знал, о чем говорил, и старался хоть такими обещаниями подбодрить своих вояк. Не знал Гитлер только, что атомной бомбы немцы так и не смогли создать до полного поражения в Берлине.

В апреле 1943 года городская управа созвала сотрудников всех своих отделов и управлений на бульвар Шевченко, 18. В этом доме есть большой зрительный зал человек на тысячу, если не больше. Пришли сотрудники Жилуправления, Комхоза, Наробраза, сотрудники самой городской управы. Расселись на стулья. Сцена закрыта занавесом. Через боковую дверь впускают по пять человек за кулисы. Там стоят три стола. За каждым — немецкий офицер. Возле первого стола стоит еще один офицер, «пан» Кржесецкий, и переводчик. Я подошел к первому столу. Немец что-то сказал — переводчик перевел: «Дайте свою арбайткарточку». Я подал. Немец взял, прочитал, потом, как скотину на базаре, оглядел с ног до головы. Рост у меня высокий, лицо, может, опухшее, но не производит впечатления истощенного. Спросил что-то через переводчика у Кржесецкого. Тот ответил, что я инспектор по саночистке города. Тогда немец что-то сказал сидящему за столом, и передал мою арбайткарточку. Тот молча взял. Тоже осмотрел меня, поставил на карточку какой-то штемпель и передал на второй стол. Тот, уже не глядя на меня, вписал меня в какую-то ведомость и также молча передал карточку на третий стол. Там возле немца стоял переводчик. Третий немец молча взял карточку, тоже вписал меня в какую-то ведомость, и спрятал карточку в ящик стола. Переводчик, обращаясь ко мне, сказал:

– Всё! Вы подлежите отправке в Германию. Вам надо завтра к 10 часам явиться в организацию «Тодт» на Артема, 24, иметь с собой продовольствия на три дня. Всё! Можете идти! — и указал на дверь с другой стороны сцены.

Я был ошеломлен. Даже сразу не сообразил, в чем дело. Неужели всё?..

Спускаясь по ступенькам в зал, я столкнулся с Мерцем.

– Ну как? — спросил он.

Я сдавленным голосом ответил:

– Всё! Арбайткарточку забрали, завтра к 10 часам утра на Артема, 24 для отправки в Германию.

– Для отправки в Германию?

Мерц отвел меня в сторону (возле нас толпились люди) и тихо проговорил:

– Ничего, не унывайте. Завтра никуда не ходите. Вообще скройтесь дней на 5 где-нибудь. Дома не ночуйте. Могут прислать облаву с полицией. Они наберут свою тысячу человек для отправки, и на пару недель успокоятся. А я вам достану другую арбайткарточку. Через кого-нибудь передам. Пришлите человека...

Тут я заметил, что в двух шагах от нас стояла сотрудница бюро инвентаризации некто Сазанская. Да, она слышала все. И лишь Мерц отошел от меня — подошла она.

– Если согласитесь, — можете, Фёдор Фёдорович, эти несколько дней перебыть у нас. Вы знаете, наш дом в глубине дворов. В квартире кроме меня, матери и Славика (ее сын лет трех) никого нет. Две соседки — студентка и одна старушка — уже больше месяца отсутствуют, где-то в селе. Почти никто к нам не заходит, иногда, очень редко, какая-нибудь соседка из другого флигеля. А когда будет можно, я у Мерца узнаю и вам передам.

Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы объяснить, кто такая Сазанская, так как ее существование отразилось на всей моей жизни вплоть до сегодняшнего дня.

Сазанская работала тогда в бюро инвентаризации техником, ходила, как и я, на обмеры частных домиков, хотя эта работа никому не была нужна. 20-го апреля 1942 года был день рождения Гитлера.

Нам тогда по этому случаю вместе с нормой хлеба выдали по карточке по одному яйцу (в 1943 году Гитлер на такую «щедрость» уже не пошел). Получил я это яйцо, и стал в раздумье — выпить его сейчас же или принести домой и сварить. Подумал о Юрасике — где он, видит ли яйца. Подошел к жилуправлению. Смотрю, стоит женщина и держит за руку маленького мальчика в синей капитаночке. Из-под шапочки выбиваются светлые, неостриженные кудряшки. Вся эта картина опять мне напомнила моего Юрасика, и я даже вздрогнул, так эта фигурка была похожа на Юрочку. Это была Сазанская со своим мальчиком. Я хоть и не был с ней знаком, но поздоровался и говорю:

— Вот, Гитлер в день своего рождения угощает... — и показал ей яйцо, что держал в руках. В это время мальчик вырвался из рук матери, подбежал ко мне и, протянув руку, забормотал:

— Яичко, яичко...

Я глянул ему в лицо — худенькое, бледное, с непомерно большими глазами. Я, совершенно не думая, просто под влиянием своих мыслей о Юрочке, в порыве какого-то душевного прилива, то ли жалости к ребенку, то ли на фоне общего бедствия и моей тоски по своему Юрочке, — протянул ему яйцо:

— Возьми, пусть мама тебе сварит.

Может, подумалось мне, кто-нибудь и Юрочку выручит и чем-нибудь поможет Ане.

Сазанская запротестовала, но я уже не мог из рук ребенка взять обратно яйцо. Так мы познакомились, и уже при встрече — здоровались. Осенью 1942 года она как-то попросила помочь ей сложить в комнате плитку. Она, мол, на развалинах набрала межигорского кирпича, достала где-то духовку, дверцы и плиту с конфорками, мотивируя тем, что топить голландскую печь не в силах, да и варить не на чем — нет керосина, а тут можно сразу двух зайцев убить: будет на чем варить и в комнате тепло. Я никогда печником не был, но соображал, как должны лечь дымоходы в плите, чтобы и огонь был близко к конфоркам, и чтобы духовка грела. Согласился, хотя предупредил, что это моя первая в жизни плита и за качество я не ручаюсь. Через несколько дней плитка была готова, на удивление

удачная — и тяга хорошая, и огонь близко к конфоркам, и духовка обогревалась со всех сторон и снизу. Сазанская предлагала мне заплатить, но я отказался.

Примерно недели через две после этого ко мне обратился еще один сотрудник бюро инвентаризации, некто Захарченко, техник, мужчина лет 45, с просьбой сложить и ему плитку. Захарченко жил на Пушкинской улице в большом доме с центральным отоплением, но отопление не работало. Не ожидая зимы, он решил сложить плитку. Этого Захарченко я не знал совершенно, но согласился. Он обещал заплатить. Сложил плитку я и ему, и тоже удачно. Он мне уплатил 50 рублей и дал еще два стакана пшена. Когда я заканчивал плитку, и дело шло к расчету, я спросил его, где его семья, почему я никого не видел, как получилось, что он остался здесь в Киеве, а не в армии, и не эвакуировался. Он ответил, что был на оборонном строительстве под Новоград-Волынским. Не успел уехать, так как этот район в первые дни войны захватили немцы. Пробрался в Киев, но смог попасть сюда только после прихода немцев. А семья? Он достал фотокарточку, на которой была снята женщина с двумя девочками лет восьми и двенадцати.

— Вот моя семья. Сейчас она в Бабьем Яре.

Больше он ничего не говорил. А я и не расспрашивал. Чувствовал, что лишнее любопытство будет только больше терзать его травму, и мысли мои опять перенеслись к Ане и Юрочке. Подумал я и о том, что этот человек и есть тот, с кем надо будет поддерживать связь, с кем можно будет поделиться и своим горем и, может, предпринять что-нибудь существенное, чтобы отомстить фашистам, помочь советскому народу избавиться от их гнета. Но вскоре он уволился из Бюро инвентаризации, и больше его я не видел.

Возвращаюсь к Сазанской. Примерно в конце октября или в начале ноября она опять обратилась ко мне с просьбой помочь спилить у них во дворе засохшее дерево. Она его, якобы, купила в комхозе на дрова. Мне не хотелось продолжать это знакомство, она не вызывала у меня симпатии, и капризный мальчишка-сын, который уже не напоминал мне Юрочку, — полнейшая противоположность характера и поведения, но больше всего неприятно было смотреть

на старуху-мать. Видно, злая, наполовину прикованная к постели, все время что-то шипела, ворчала про себя. Но, несмотря на это, я все-таки согласился спилить ей дерево. Она успела мне сказать, что окончила киноинститут, получила специальность кинооператора, муж ее, якобы военный, и где-то сейчас воюет, если жив; что не эвакуировалась, так как не могла тогда взять с собой больную лежачую мать, да и не верилось, что Киев отдадут немцам, что это произошло очень неожиданно, и вот она здесь, перебивается кое-как...

Дерево я спилил, но в течение зимы 1942/1943 годов к ним не заходил, а только при встрече здоровался, не вступая в разговоры.

Поэтому я удивился, когда она предложила мне на несколько дней скрыться, чтобы не попасть в Германию, у них. Хотя я, безусловно, мог найти себе другое убежище, например, у Анисимовой или у Зумбаревой, но мне показалось, что она чувствует угрызения совести за плитку и дерево, и решила таким образом отблагодарить меня, и я согласился. Сказал только, что раз мне надо завтра явиться на вербовочный пункт, значит, никакой облавы сегодня не будет, и эту ночь я буду ночевать дома, а приду завтра днем.

Я так и сделал. Когда я пришел — старуха была одна дома с мальчишкой. Старуха мне сказала, что я могу спокойно передвигаться в квартире, а на ночь ее дочь устроила мне постель в кухне на антресоли, нагромоздив спереди всякого хлама — ночевки, выварки, поломанные стулья и прочее. Там на антресоли я провел две ночи. Через два дня Сазанская мне принесла от Мерца новую арбайткарточку и заявила, что Мерц сказал, что я могу являться на работу, что кампания отправки очередного эшелона закончилась, и в этом отношении в городе спокойно. Я был благодарен Сазанской, и считал, что мы квиты. Я ей сделал некоторую услугу, она — мне. И дальнейшие мои отношения с ней опять приняли прежний характер:

– Здравствуйте, как себя чувствует мама? Передавайте привет от меня.

Вот и все разговоры.

Я по-прежнему занимался планированием и согласованием графика с трамвайным трестом, для мобилизации населения на по-

грузку мусора направлял Харченко и Качуровского, а между этим занятием мы обсуждали скудные немецкие сводки о делах на фронтах. По всему чувствовалось, что вот-вот нагрянут большие события. Прошел май и июнь.

В июне ко мне неожиданно явился дворник — бородатый симпатичный старик, — и заявил:

— Вот вы уже больше года живете в нашем доме, а не прописаны, дайте паспорт, я пропишу, а то, не дай Бог, проверка или облава, — наорит и вам, и мне.

Когда я сказал, что все мои документы — это арбайткарта и что я выпущен из плена, он успокоил: это дело, мол, нескольких дней.

— Обратитесь в отделение полиции, и вам выдадут паспорт.

Но дело с паспортом оказалось сложнее. В полиции мне дали бланк заявления, два бланка свидетельских показаний, удостоверяющих, что я действительно Худяков Фёдор Фёдорович, родился в г. Вильно в 1905 году, что по вероисповеданию я православный, и еще что-то. На заявлении должна была быть резолюция начальника админотдела некоего Каламацкого.

Фамилия Каламацкий мне показалась знакомой. Да, до войны в Ленинском РЖУ был юристконсульт Каламацкий, а я со всеми юристконсультами райжилуправлений был знаком и в хороших отношениях. Один из этих юристов, некто Киселевич, при немцах был начальником Шевченковского (бывшего Молотовского) райжилуправления, а Каламацкий, оказывается, полез выше — был начальником админотдела городской управы, и ему подчинялись все полицейские отделения города.

Я взял бланки заявления и свидетельских показаний и обратился к Харченко и Качуровскому с просьбой заполнить и подписать. Они посмеялись, какие они свидетели моего рождения, если были почти моего возраста, может на два-три года старше, да и никогда не были в Вильно. Немного поколебавшись, все-таки заполнили бланки и подписали. Я пошел к Каламацкому. Он меня узнал, принял очень приветливо, сразу наложил резолюцию «Выдать паспорт», и только пожурил, почему я раньше не обратился к нему. Но в полицейское отделение я не пошел. Я уже полтора года прожил

без паспорта, на черта мне себя афишировать. Теперь уже скоро будут наши, проживу как-нибудь и это время.

В начале июля месяца началась грандиозная битва на Курской дуге. Немцы вначале имели некоторый успех, с севера и юга потеснили нашу оборону, грозя создать грандиозный котел, получить, таким образом, реванш за Сталинград. С каким самовосхвалением они трезвонили об этом и в военных сводках, и в статьях в газетке!

Мы с тревогой считали в небе пролетающие немецкие бомбардировщики, базирующиеся в Киеве на Жулянском аэродроме. Вот летит на восток к Курской дуге 18 самолетов. Часа через 3 возвращается только 12. Значит, 6 штук сбито. Мало, но тоже неплохо. Вот вторая партия самолетов летит — 15 штук — обратно только 7. Значит, еще 8 сбито. Харченко и Качуровский бесценно дежурили на улице (якобы пошли мобилизовывать население на вывозку мусора) или на склонах к Днепру возле Андреевской церкви, где открывался широкий горизонт для обозрения, и делились результатами своих наблюдений, а потом втроем обсуждали положение. Должен сказать, что после поражения немцев под Сталинградом Харченко сильно изменился, перестал разглагольствовать о своих машинациях, открыто в нашем присутствии ругал немцев и радовался успехам советских войск.

Но вот закончилась знаменитая битва на Курской дуге, закончилась полным поражением немцев. Нашими войсками был освобожден Орел, Белгород, окончательно освобожден Харьков, и линия фронта еще на 100–200 километров приблизилась к Киеву, к Днепру. В эти дни мы впервые увидели советские самолеты. В течение двух-трех недель они почти ежедневно делали разведывательные полеты над городом, а по вечерам, этак с 9–10 часов до 12 ночи, производили бомбежку расположения немецких казарм, железной дороги. В городе появилось очень много немецких военных — солдат, офицеров. В разных направлениях тягачи перетягивали орудия — зенитные, полевые, разных калибров, тарактели танки.

Немцы принимали все меры, чтобы укрепить свою оборону и задержать наступление советских войск хотя бы на Днепре. Был дотла сожжен жилой поселок на Трухановом острове, сожжены

были и предместья: Никольская и Кухмистерская слободки на территории теперешнего Гидропарка и жилых массивов Русановка и Березняки.

Все склоны к Днепру, начиная от Андреевской церкви и Владимирской горки до Лавры, укреплялись бетонными ДОТа́ми. Немцы, видимо, ждали прямого в лоб штурма Киева советскими войсками. В зону склонов никого не пропускали, стояли цепи автоматчиков. По вечерам, когда начинались налеты наших самолетов с бомбежкой, по всему городу открывалась стрельба зениток трассирующими снарядами, сотни прожекторов лучами бороздили небо. Не будь это война и не лови немцы наши самолеты, — зрелище было бы потрясающее. Но наши летчики избрали оригинальную тактику. Они летали на небольшой высоте — может быть, метров 200 или 300, не более (судя по звуку мотора), причем, сбрасывали сотнями осветительные ракеты, которые медленно опускались на парашютах, ярко освещая землю и все наземные цели. Сами же самолеты находились сверху этих ракет, в темном небе, их с земли не было видно (свет ракет слепил глаза), и они были неуязвимы ни для зениток, ни для лучей прожекторов. Слишком низко они летели. А близкий рокот моторов и ожидание каждую минуту сброшенной бомбы психологически действовали на немцев.

Надо сказать, что советские летчики Киев не бомбили, а очень искусно выбирали военные объекты. Так они разбомбили казармы на Нивках (за заводом «Большевик»), разбомбили здание КПИ, превращенное немцами в казарму, сбросили бомбу на дом специалистов напротив КПИ. Бомба не взорвалась, проскользнула через вентиляционную трубу в подвал, в бомбоубежище, и только там разорвалась. В этом доме жил тогда исключительно командный состав фашистской армии, и все они на время налета попрятались в бомбоубежище. Результат: около сотни гробов. Другая бомба попала в Киевский оперный театр. Попадание было исключительно точным. Бомба пробила стеклянный купол над партером, пробила перекрытие в подвал, и там лежала аж до освобождения Киева нашими войсками. Ее лишь через несколько месяцев извлекли уже наши саперы. Но эффект от этой бомбы был огромный. Оперный театр

был «нур фиор дойче», то есть только для немцев. В этот вечер там было полно немцев, в основном, конечно, военных. Погибли, к сожалению, только те, под которыми провалились кресла вместе с ними в подвал, пострадали и те, кого обсыпало осколками разбитого стеклянного купола, а жаль...

Немцы забили входные двери в театр досками наперекрест, и театр уже не функционировал. Были, конечно, и случайные попадания бомб в ничем не примечательные, обыкновенные жилые дома. Так, например, в районе Ботанического сада, на ул. Назарьевской (теперь — Ветрова) был разрушен пятиэтажный жилой дом. Цель была, конечно, у нашего летчика не этот жилой дом, а мощная зенитная установка, с прожекторами и орудиями, оборудованная немцами в Ботаническом саду через дорогу от этого дома, но общий вывод: наши наступающие войска щадили и город, и гражданское население, и с исключительной добросовестностью выбирали себе цели для бомбежки.

Меня налеты наших самолетов, гул разрывающихся бомб не пугали. Я радовался, чувствовал прилив сил. Это же наши, наши самолеты бомбят проклятых фашистов. Пусть бомба упадет на наш дом, пусть все жильцы — всякие мерцы, кржесецкие погибнут, пусть погибну и я под развалинами этого дома, но в последнюю секунду своей жизни я буду знать, что немцам приходит конец.

Я как-то вышел во двор. Увидел картину: по двору бегал старик-дворник, смотрел в освещенное ракетами небо и размахивал руками. В небе слышался звук мотора нашего самолета. Он приговаривал: «Давай! Давай!» Я понял внутреннее состояние этого человека и проникся к нему большой симпатией. Я подбежал к нему, схватил за руку и пожал ее. Я хотел что-то сказать, но слезы радости подступили к горлу, и я едва выговорил: «Наши..., наши...»

Вернувшись в квартиру, я застал другую противоположную картину. Мой сосед — полицай — бегал взад-вперед по длинному коридору и кричал: «Зина! Зина! Идем на лестницу, там безопаснее». И он со своей Зиной и девочкой бежали на лестничную клетку. А лестница — внутренняя — освещалась стеклянным фонарем в потолке. По ступенькам лестницы, по стенам бегали блики от спус-

кающихся на парашютах ракеток. А уже через минуту этот полицейский бежал обратно крича: «Зина! Зина! Идем в комнату, там безопаснее!» Мерзкое трусливое существо, продажная душа, тебе только на базаре баб гонять да в облавах хватать девчат для посылки в Германию, — подумал я.

Так прошли август и половина сентября. У нас по-прежнему три раза в неделю проходили занятия по изучению немецкого языка, наша тройка по-прежнему занималась подачей площадок для вывозки мусора, начальство по пол-рабочего дня запиралось в кабинете, о чем-то совещалось. Остальные сотрудники слонялись без дела, читали книжки, а мы в свободное время, когда никого не было, обсуждали военные сводки. По всей обстановке чувствовалось напряженное ожидание. По хлебным карточкам регулярно получали свой «золотисто-золотой». Экономя каждый рубль, я покупал на базаре то стакан гороха, то стакан пшена, то стакан ячменя, который варил на утюге, а потом колючий, еще совсем твердый, жевал. Почему на утюге? Да просто потому, что почти не надо было дров. Расколов деревянное пресс-папье на щепки, мне хватало топлива, чтобы закипятить и чуть-чуть приварить кастрюльку этого супа.

На базарах усилились облавы — ловили людей без арбайткарточек для угона в Германию. Числа 16-го или 17-го сентября по городу был расклеен приказ коменданта. В городе объявлялась трехкилометровая от берегов Днепра запретная зона на случай боевых действий. Граница зоны проходила по ул. Мельникова, Артема, Дмитриевской, через Евбаз, ул. Саксаганского и Красноармейскую. Вся часть города от этих улиц в сторону Днепра — запретная зона. Всему населению, проживающему в этой зоне, приказывалось в течение 48 часов ее покинуть и переселиться в часть города, не являющуюся запретной зоной, или вообще оставить город. Двигаться по дороге — Житомирское шоссе. В приказе было сказано, что по истечении 48 часов любой человек из гражданского населения, обнаруженный в запретной зоне, будет расстрелян на месте. Никакие объяснения выслушиваться или приниматься в расчет не будут.

В день объявления приказа военного коменданта Мерц объявил, что на этом «пока» кончается существование городского

жилищного управления и нам следует пойти в бухгалтерию, получить расчет, после чего мы свободны, можем идти собираться в дорогу, кто куда пожелает. Зарплату нам дали полностью за весь сентябрь месяц, и так как удержаний не делалось, я получил чистоганом 500 карбованцев. В переводе на продукты — это примерно 15–16 стаканов гороха, пшена или ячменя. По полстакана в день — это продовольствия на месяц. В хлебном магазине выдали «золотисто-золотого» на три дня. Это тоже чего-то стоило.

Ко мне подошла Сазанская, и попросила помочь ей закопать в сарае несколько коробок с отснятыми и проявленными кинолентами каких-то картин, которые она унесла перед нашим отступлением с фабрики и которые хотела сохранить до прихода обратно советских войск. Я согласился, сказал, что приду в пять-шесть часов вечера. Я хотел использовать этот день, чтобы наварить себе гороха, да и подкупить чего-нибудь, так как понятия не имел, где и когда буду следующий раз есть, и вообще ничего предположить о будущем не мог. Для меня было только ясно — никуда я из Киева не уйду. Буду блукать по Соломенке или Чоколовке, пока наши не освободят Киев.

Под вечер я зашел к Сазанской, выкопал ей в ее сарае небольшую ямку, она сложила туда штук пять-шесть коробок с кинолентами, положила еще пару каких-то узелков, яму засыпали, забросали щепками и опилками, что были в сарае. Сверху еще нагромоздили дров и всякого хлама. Было еще светло и можно было свободно передвигаться по улице. На вопрос, куда я думаю идти, я ответил, что понятия пока не имею. Сазанская и мать предложили идти с ними, мол, у нее есть детская коляска и в нее можно погрузить вещи. Какие вещи? У меня ничего нет. Все, что мне надо, я в узелке возьму на плечо. А брать с собой обузу, везти ее вещи, мать — еле двигающуюся старуху — и малого мальчонку мне не хотелось. Пойти с ними, значит, в какой-то мере взять на себя ответственность за их благополучие. Я понимал, что наступают последние дни пребывания немцев в Киеве, значит бои, линия фронта. Как поведут себя немцы в последнюю минуту — неизвестно, может, придется пересидживать где-нибудь в яру, в ливнестоке, в лесу — одному сподручней. Им,

двум женщинам с ребенком, любая хата даст приют, а со мной — я буду связывать их, они меня. Нет, не надо. Я за предложение идти с ними поблагодарил и отказался.

Я вернулся к себе в комнату — решил провести последнюю ночь среди дорогих мне вещей, каждая из которых напоминала мне Аню и Юрасика, особенно его детская кроватка. Уже стемнело. Долго не мог заснуть. Мысли перебегали с одного на другое, и я не мог ни на чем сосредоточиться. Строил всякие планы: пойти через Святошино в Пуща-Водицу или к Гостомелю, там большие леса, местность я знаю, можно пересидеть. Можно податься здесь, в Киеве, за полотно железной дороги в сторону Соломенки. На далекий путь я расчета не делал. Я был очень слаб, с распухшими от систематического недоедания ногами: мог пройти три, максимум пять километров, а до Пуща-Водицкого или Гостомельского леса — добрых 20 километров, да наверно они и не пустые. Немцы, готовя оборону Киева, скрывают там свои военные силы. А Соломенка и Чоколовка, — так за ними немецкий военный аэродром. Там тоже не пусто. На Житомир я не пойду. Я останусь в Киеве при всех обстоятельствах. С такими мыслями я незаметно уснул. Утром я сварил кастрюлю гороха, сварил с десяток картошек в мундирах, отобрал самые дорогие мне карточки Ани и Юрасика, упаковал все в узел. Взгляд мой упал на альбом с фотокарточками, который оставил мне более года назад мой инспектор Жук, уезжая в Одессу, и брошюрку стихов Рыльского. На брошюрке была дарственная надпись: «Милій Клаві від М. Рильського». Жук, уезжая, сказал: «Моя жена — оперная артистка Киевского театра. За ней ухаживал Рыльский. Я уезжаю в Одессу. Когда вернутся наши, разыщите в оперном театре мою жену, расскажите, где вы видели меня и куда я поделся. Отдайте ей альбом и эту брошюру». Но этих предметов я с собой не взял. Идя в неизвестность, каждый грамм ноши имел значение. Затем я как мог немного починил свои еще военные, по-прежнему тесные ботинки. На них в носках подошв уже образовались отверстия. Подбив кое-как подошвы, я решил, что всё. Было три часа дня. Я запер комнату, одел пальто, которое мне сохранила еще Дмитручка, облезлую шапку-кубанку, и ушел из дома. Куда? Еще сам не знал. Через Сен-

ной базар стал спускаться по улице Воровского к Евбазу. По улице шли одиночками и группами по 3–4 человека женщины, многие с детьми. Изредка попадались мужчины, в основном старики или пожилые люди, везли тачки, тележки, детские коляски со скарбом. Многие шли с мешочками или узелками за плечами, как и я. Люди шли медленно, понутив головы, но шли, усталые, измученные, с тревогой, не разговаривая между собой. Шел молча и я, машинально придерживаясь общего потока движущихся людей.

В 6 часов вечера истекал зловещий срок — 48 часов, после чего расстрел на месте, кто застрянет в запретной зоне. На углу ул. Воровского и Гоголевской путь к Евбазу преградила немецкая воинская часть. Фургоны с пехотой, какие-то другие спецмашины. Уходящие из зоны люди свернули по Гоголевской улице на Павловскую. Зачем пробираться к Евбазу и Брест-Литовскому шоссе через немецких автоматчиков? Подальше от греха. Свернул на Павловскую улицу и я, затем по Павловской пересек Дмитриевскую (граница зоны) и вышел к родильному дому, где родился Юрочка. Опять мысли вернулись к тому счастливому, хоть и беспокойному, времени, когда Аня лежала в роддоме, а я бегал узнавать, как ее здоровье и как мне, наконец, сообщили, что поздравляют с сыном. Как это было давно... где они сейчас? На Керосинной улице, почти на углу Брест-Литовского шоссе я решил, что дальше мне идти незачем. Ведь из Киева я не уйду, а забираться по ту сторону железной дороги мне тоже не хотелось.

Здесь, на Керосинной улице, возле Брест-Литовского шоссе, в каком-то полуразрушенном домике я нашел «приют» у одной старухи. Она занимала одну комнату, метров шесть, не более, и кухню с выходом прямо во двор. Я у этой старухи прожил неделю. Когда варил горох или пшено — угощал ее. Этим и ограничивалась моя плата. Старухе было лет 70–75, она ничего не помнила и чем жила, — не знаю. Грязь у нее была невероятная, в сенцах перед входом в кухню стояло ведро, куда она ходила, от него несло, как от ассенизационной бочки.

После этой старухи я четыре раза менял свое «местожительство», но об этом — потом. Дня через три-четыре после того, как я по-

селится на Керосинной улице у старухи, на Брест-Литовском шоссе я встретил инженера-теплотехника Грачева. Он «работал» в ремонтном управлении у Винницкого. Он сказал, что на Брест-Литовском шоссе возле дома специалистов сформировалась городская управа и жилищное управление. Начальник жилищного управления, некто Киселевич, — бывший юрист Молотовского РЖУ (до войны), а во время войны, при немцах, — начальник Молотовского райжилуправления. Сейчас он возглавил горжилуправление. Чем же занимается сейчас горжилуправление? На этот вопрос он ответил:

— Да ничем. Набирает работников, управдомов, дворников, сажетрусов, уборщиц, разбивает кварталы, где разрешено жить, на домоуправления, из набранных людей — 80–90% мертвые души, это знакомые или родственники тех, кто действительно существует. Якобы штаткомиссариат обещал выдавать всем паек и выдает специальные повязки на рукав красного цвета с надписью «эрзатц Киев», что означает, что этот человек имеет право сидеть в Киеве, его никуда не заберут, так как он якобы делает что-то полезное для немцев.

Пошел и я к Киселевичу. Там я застал Винницкого в роли главного инженера, Харченко, Качуровского, секретаршу Мерца Кульчицкую, двух Мерцевских инспекторов — Горстова и еще кого-то, — а также начальника бюро инвентаризации Тарина, нескольких его техников, каких-то трое-четверо человек из отдела снабжения — вот и все. А штат на это «минижилуправление» был составлен на триста с лишним человек, и против каждой штатной единицы была проставлена фамилия. Штаткомиссариат утвердил только сто штатных единиц и, как обещал, стал отпускать продукты: пшено, соль, хлеб — тот же «золотисто-золотой», но по 400 грамм в день на «работника». Эти продукты доставляли работники-снабженцы, оборудовав в каком-то магазинчике на Брест-Литовском шоссе раздаточный пункт. Этих управдомов, дворников, сажетрусов и уборщиц я в глаза не видел. Нас в жилуправлении едва насчитывалось двадцать пять — тридцать человек, но в день выдачи продуктов появлялись все сто, и продукты получали аккуратно.

Устроилась на «работу» и Сазанская. Она была связана с работниками бюро инвентаризации и, наверно, Тарин ей составил протекцию. Она числилась не то управдомом, не то дворником в каком-то мифическом домоуправлении на Соломенке. Там же числилась и жена Тарина, кажется, сажетрусом, женщина лет 50-ти. Но никто ровным счетом ничего не делал. С повязками на руках прохаживались вдоль Брест-Литовского шоссе и бульвару Шевченко до Евбаза и обратно. Наблюдали за движением немцев.

А движение было сильное и мне непонятное. Танки десятками двигались в обе стороны по шоссе: то в сторону города, а значит, по бульвару Шевченко и дальше — по Красноармейской на Васильковское шоссе, то в обратную сторону — по Брест-Литовскому шоссе в сторону Житомира. Между танками двигались сотни машин легковых и грузовых, фургонов, пароконных подвод, груженных различным барахлом. Например, мне врезалась в память такая картина: в повозке, запряженной двумя лошадьми, на каких-то узлах стояла белая эмалированная ванна. В ванне лежали тоже узлы, а сверху восседал на узлах фашистский солдат с автоматом. Видно, гитлеровцы, отступая, не гнушались ничем, и тянули в свой «фатерланд» все, что удавалось захватить. Но больше двигалось по шоссе военной техники. Кроме танков, крытых машин двигались самого различного вида, калибра и назначения орудия — от легких противотанковых пушек и минометов до зенитных орудий и тяжелой осадной артиллерии. И это все нескончаемым потоком, вперемишку с подводами, с пешими колоннами.

По бокам шоссе, на тротуарах собиралось много гражданского населения. Это злило немцев, они уже не ограничивались расклейкой приказов: оставляйте Киев, двигайтесь по Житомирскому шоссе. Они начали цикл облав, хватали тех, кто помоложе и без спасительной повязки на рукаве, насильно втягивали в крытые машины и увозили на вокзал, там сажали в вагоны и увозили или в Германию, или просто за город. Я был свидетелем такой картины. Тянули к машине одну молодую женщину, она плакала, кричала:

— Пустите, у меня дома грудной ребенок остался!

Фашисты тянули ее за руки, подталкивали прикладами и громко хохотали. Перед самой машиной она разорвала на себе кофточку и двумя руками надавила грудь. Брызнуло молоко. Она, по-видимому, считала, что они не понимают, и хотела доказать, что она мать. Тогда из машины раздался голос по-русски:

– Давай, давай ее, нам молочные тоже пригодятся.

И два гитлеровца подхватили ее и втокнули в крытую машину. Это были хуже, чем гитлеровцы, это были предатели-власоцы, которых немцы привезли в Киев и дали им полную волю разбивать, грабить все квартиры, оставленные жителями в запретной зоне.

Где-то в начале октября Киселевич с Винницким и Грачевым написали письмо в штадткомиссариат с просьбой разрешить бригаде слесарей из пяти человек пройти в запретную зону, и в домах с центральным отоплением спустить воду из систем. Мол, приближается зима, могут грянуть морозы, а дома не отапливаются, и на чердаках да и в квартирах полопаются трубы и радиаторы.

К нам часто наведывался заместитель штадткомиссара господин Уде. Высокий, худощавый, чопорный немец в военной форме. Он утверждал, что наш штат, и вообще дважды в неделю приезжал «посмотреть», чем мы занимаемся. Ему в руки Киселевич и вручил это письмо. В следующее посещение он привез ответ. Ответ гласил: «Зачем вам беспокоиться о том, что все равно подлежит полному уничтожению». Коротко и ясно. Сколько цинизма и сколько нескрываемой правды о себе и о фашистах вообще высказал этот господин Уде.

Как-то Киселевич пожаловался Уде, что у нас в жилуправлении нет ни бумаги, ни пишущей машинки, и «очень трудно работать». Нельзя ли, мол, сходить или съездить на Большую Житомирскую улицу, в запретную зону, в старое помещение, и взять оттуда необходимые канцпринадлежности. Уде ответил, что можно, но машину поведет он сам. В следующее посещение он приехал на грузовой машине в сопровождении автоматчика, и разрешил взять Киселевичу с собой еще трех человек. За рулем сидел сам Уде. Киселевич сел рядом с ним. Автоматчик взобрался в кузов грузовика. Туда же сели и мы трое человек (нас выделил Киселевич). Это я, какая-то женщина

«инспектор», которую я никогда не видел, и инспектор Мерца Горстов. Мы проехали до Евбаза (пл. Победы), поднялись по Воровского (Кудрявской ул.) до Сенного базара и свернули на Большую Житомирскую. Улицы совершенно пусты. Ни одного человека, только в районе базара встретился патруль из трех человек, но, увидев в кузове немецкого автоматчика, а за рулем немецкого офицера, даже не остановил машины. У здания жилуправления Уде высадил всех из машины, пропустил внутрь, пересчитав: «айн, цвай, драй, фир», оставил автоматчика в дверях, а нам предложил за полчаса собрать, что необходимо, сказав, что он подъедет ровно через 30 минут. Киселевич с Горстовым начали в шкафах собирать бумагу и еще всякую мелочь, я занялся отбором пишущей машинки. Выбрал новенький «Ундервуд» на разворотный лист, хотел надеть футляр, но он не заперся, и решил взять в открытом виде. Тут в одной комнате я обнаружил занавески из сурового полотна в виде портьер, я сорвал их, решив завернуть в них машинку, причем подумал — пригодятся мне на портянки. Женщина, что была с нами, начала барахолить, пощипывала шелковые портьеры в кабинете Кржесецкого, сняла несколько маленьких картин в золоченых рамках. Все это мы снесли к выходу на улицу. Подъехал Уде, и мы стали грузить взятое нами имущество в машину. Уде наблюдал за нами. Увидев клумак шелковых портьер и завязанные в них картины, сказал по русски:

— Это не есть канцелярские принадлежности, — и запретил это барахло грузить. Глянув на мою ношу и убедившись, что в парусиновые занавески завернута пишущая машинка, ничего не сказал, а молча показал на грузовик. Парусиновые старенькие, потрепанные, хоть и вышитые, занавески, не возбудили у него подозрения и убедили, что «грабить» я вовсе не собирался и взял их только как упаковочный материал.

Приехали мы на Брест-Литовское шоссе благополучно без всяких происшествий. Потом только Киселевич ругал женщину за жадность, говоря, что мы хорошо отделались, а Уде мог всех нас завести в гестапо, и — «прощай белый свет».

Так прошел октябрь месяц. Мы ничего не делали, но получали регулярно «золотисто-золотой» хлеб, раз в неделю, пшено и наблю-

дали за движением немцев, стараясь понять, в какую сторону они отступают, — то ли на Белую Церковь через Демиевку, то ли на Житомир через Святошин.

Наша тройка — я, Харченко, Качуровский — частенько, стоя на улице, обсуждали положение, где сейчас наши, подошли ли уже к Киеву на той стороне, хорошо бы перебраться за Днепр, но как? Ведь немцы на этой стороне Днепра держат много войск, берега укрепили, тут не пройдешь, а куда-то километров за 40–50 мы, особенно я, не дойдем. К нашей тройке увязался какой-то тип. Видно, подслушал наш разговор. Начал с того, что ругал немцев, потом сказал, что удрал из концлагеря на Сырце. Что он ждет — не дождется освобождения, что если немцы говорят, что всех русских, кто был у немцев в плену, большевики расстреливают, — это брехня. Свои своих не стреляют, в крайнем случае, направят в штрафные батальоны на передовую, а он только этого и хочет, чтобы опять с оружием в руках драться с немцами, отомстить за все мучения, что пережил. Наконец, он сказал, что хорошо знает местность и, если соберется небольшая группа — восемь-десять человек, он может провести всех к месту, где может быть скрытно подготовлена переправа через Днепр, чтобы соединиться со своими.

Он так искренне говорил, что ему можно было бы поверить. Но мы пока согласия не давали. Его это явно злило, а его злость вселяла еще большее недоверие к его плану. Этот тип обрабатывал нас несколько дней. Как-то подошел к нам Винницкий:

— Ну что, ребята? Что думаете делать дальше? Может, двинетесь на Житомир? А то по всему видно, что скоро здесь будет Красная Армия.

— Ни на какой Житомир я не пойду, — сказал я, — и от Красной Армии мне бежать незачем, — выпалил я, забыв всякую осторожность.

Винницкий сказал:

— Правильно. Будем ждать прихода Красной Армии здесь, в Киеве. Но вот что я хотел бы вам сказать. Здесь шныряют различные гестаповские провокаторы. Сколачивают группы якобы для переправы через Днепр для того, чтобы соединиться с Красной Армией.

Не верьте. На днях одну такую группу в 25 человек завели в ловушку, и там всех немцы перестреляли. Будьте осторожны.

Через пару дней к нам опять подошел тот тип.

– Ну как, ребята? Надумали? У меня уже есть пять верных человек, да я с вами: будет девять. Хватит. И, как говорят, «с Богом».

Тут вышел вперед Харченко:

– Вот что, дружок! Проваливай отсюда подальше, пока я не позвал немецкий патруль, чтобы тебя за такую агитацию упрятали в гестапо.

Тип развел руками, пролепетал что-то вроде «как хотите», и скрылся в толпе.

После того, как я ушел с Керосинной улицы, я около недели прожил в каком-то не то сарае, не то складе на Соломенке, в районе начала улицы Урицкого, где был до войны базарчик. В этом сарае поместились прямо на земле семейств десять, в основном, женщины с детьми, было и два старика. Там же нашли приют и Сазанская с матерью и сыном. Спали прямо на земле, сделав себе подстилки из задохшего бурьяна, который в обилии рос на берегу ручейка, протекавшего по ул. Мокрой в каких-нибудь ста метрах от базарчика.

Потом я перебрался на квартиру к Качуровскому, у которого прожил также чуть больше недели. Качуровский жил на углу улиц Жилянской (Жадановского) и Красноармейской, по которой проходила граница запретной зоны. Нечетная сторона — запретная зона, четная — свободная. Качуровский жил один. Семья эвакуировалась. Других жильцов в квартире не было. Комнаты стояли закрытые. Видно, побоялись жить на самой границе запретной зоны.

А по Красноармейской днем и ночью — сильное движение, грохочут танки, едут машины, и снова-таки в обе стороны. Чувствуется паника у немцев. Качуровский, видно, большой трус. По ночам вскакивал, прислушивался к любому шуму и стуку, наконец, сказал, что надо все-таки отсюда уйти. Раз ночью на улице раздалось несколько автоматных очередей, и это решило вопрос. Назавтра я стал искать новое пристанище.

У нас работал у Винницкого один пожилой инженер — некто Иванов. Он жил на Жилянской улице, напротив завода «Ленкуз-

ня». Он согласился «приютить» меня у себя, но сказал, что занимает с женой одну маленькую комнатку с кухонькой. В кухне я могу временно поселиться, спать на раскладушке. Это меня очень устраивало, так как не надо было пешком ходить в такую даль по Жилинской улице от Красноармейской до «Ленкузни». И вот я уже в четвертом месте — у Иванова.

Как-то мне Иванов сказал, что за заводом Транссигнал, в тупике переулочков, возле самой железной дороги, был склад обуви (немецкий) и, мол, один какой-то его сосед вчера вечером был там, склад разломан и разграблен, но среди мотлоха бумаг и поломанных ящиков этот сосед нашел пару немецких военных ботинок. Мои ботинки, полученные еще в армии, разваливались, я их еле поддерживал, прибивая подошву гвоздями к верху, и меня мысль найти себе новую пару очень прельщала. Я, взяв у Иванова мешок, пошел в этот склад.

Склад выходил лицевой стороной на перрон товарной станции, а тыловой частью — в замкнутый дворик, ограниченный каменным забором высотой метра четыре и торцевой стеной соседнего дома. На улицу — железные ворота тоже в высоченной каменной стене. Когда я зашел в дворик, там никого не было. В помещении склада было три широких двери, все раскрыты. Я поочередно заглянул во все три двери. Да, там была обувь, стоял крепкий запах кожи, какой всегда бывает в обувных коробках, на полу лежали сотни бумажных мешков и поломанных фанерных ящиков, но ботинок не было ни в одном отделении склада. Либо их действительно разграбили, либо немцы, открыв двери на перрон, успели все вынести и отгрузить в вагоны.

Тогда я решил набрать всяких обломков досок, будет хоть топливо. Для того чтобы сварить себе пшенный кондер, мне нужны были дрова, а жена Иванова скулила, что, мол, идет зима, а дров у них нет. Я натолкал в мешок всяких обломков, увидел лопату для отгребания снега, к ручке прибит лист фанеры, а ручка сама с поперечной перекладиной на рукоятке. Я ногой отломил фанеру, но в местах, где она была прибита, остались огрызки от фанеры, подержал ручку в руках, — палка толстая, будет, подумал, тоже топливо

на одну варку, и сунул эту палку в мешок, но палка оказалась длинной и рукоятка с перекладинкой осталась торчать. Затем взвалил мешок за спину и вышел во дворик.

В этот момент с улицы во двор зашел немецкий офицер. Увидев меня, он быстрым движением выхватил из кобуры револьвер и направил его на меня. Хотя нас и отделяло шагов десять-двенадцать, но я ясно увидел кругленькую дырочку дула пистолета. В какую-то долю секунды у меня промелькнуло несколько мыслей. Бежать некуда. Внутрь склада? — там нет ни другого выхода, ни места, где можно спрятаться. Из дворика тоже никуда не убежишь, да и пуля догонит. Если я растеряюсь и сделаю движение уклониться, — он выстрелит, и всему конец. Значит, надо не подавать вида, что я растерялся или испугался, и идти прямо на него.

И я, не останавливаясь, пошел прямо на зловещую черную дырочку в пистолете. Офицер стоял, не двигаясь и не опуская руки с пистолетом, нацеленным прямо мне в лицо. Я шел спокойным твердым шагом и смотрел ему в глаза. Когда между нами расстояние сократилось до трех шагов, офицер поднял вторую руку, давая понять, чтобы я остановился, что я и сделал, продолжая держать мешок на плече. Затем офицер жестом руки показал, чтобы я сбросил мешок с плеч. Я сделал и это. Мешок упал на асфальт, и всякие обломки палок и досточек загрохотали специфическим деревянным звуком. Немец глянул вниз и увидел торчащую рукоятку лопаты, затем, держа меня на прицеле пистолета, подошел к мешку и тронул его ногой. Шум деревянных обломков повторился. Тогда он, показывая рукой на злополучную рукоятку от лопаты, задал один вопрос по-русски:

– Лопата?

Я ответил двумя словами:

– Нет, дрова...

Он, не опуская пистолета, носком сапога зацепил перекладку, вытянул из мешка рукоятку лопаты и увидел обломки фанеры. Затем постоял несколько секунд, молча опустил пистолет и вложил его в кобуру. Затем вышел за ворота на улицу. Я поправил свои «дрова» в мешке и тоже вышел из этого дворика. Немца

там уже не было, и я благополучно дотащил мешок на квартиру Иванова.

Растеряйся я при встрече с немецким офицером, сделай хоть малейшее движение куда-то бежать или даже уклониться от дула пистолета, он бы, безусловно, выстрелил. Что этим фашистам стоит добавить к миллионам своих жертв еще одного покойника, но моя выдержка и внешнее спокойствие спасли меня.

30-го или 31-го октября немцы вывесили новый приказ коменданта: запретной зоной объявлялся весь город Киев. Всему населению было предложено выйти из города, указано направление: по-прежнему на Житомир по Брест-Литовскому шоссе сроком с 1-го по 10-е ноября. Всем, кто имеет право остаться в городе, — сосредоточиться на участке, ограниченном бульваром Шевченко от Евбаза до улицы Тимофеевской, потом по Тимофеевской и Чеховскому и Обсерваторному переулкам — до Павловской улицы, по Павловской — до Дмитриевской и по Дмитриевской мимо Евбаза — до бульвара Шевченко. Для городской управы со всеми ее отделами был отведен дом по Ленина, 55 (бывший Авиаинститут).

И вот, 1-го ноября наше жилищное управление и другие отделы горуправы (админ. отдел, комхоз, здравоохранение, наробраз, трамвайный трест, водоканал, торговый отдел и еще какие-то липовые организации) перебазировались с Брест-Литовского шоссе на Ленина, 55. Мы все понимали, что это — последняя агония немцев, что нас всех соберут на этот участок города, а потом его разбомбят, но никто не захотел уходить из Киева. Комната Харченко оказалась в разрешенной зоне, и он вернулся, по сути, к себе домой. Принять к себе отказался, заявив, что к нему переселились какие-то родственники с Демиевки (о которых он до сих пор никогда не упоминал). Остальные «сотрудники» жилищного управления расселились кто где. На этот участок города нахлынуло много людей с Соломенки, Демиевки, а мне нигде пристроиться не удалось. Качуровский тоже исчез. О Сазанской я не вспоминал, и куда она подевалась, не знал, да и ее квартира оставалась в запрещенной зоне.

На Ленина, 55 к нам опять заявился зам. штадtkомиссара Уде, подписал наскоро сколоченную штатную ведомость, утвердив

что-то для жилуправления с управдомами, дворниками и другими единицами человек восемьдесят, и обещал, что пришлет на них паек. Уде свое слово сдержал, и числа 3-го ноября он прислал мешок пшена, буханок тридцать «золотисто-золотого» хлеба и пол-мешка сахарного песку — мокрого, коричневого, не очищенного от малясы. Этот паек у нас был быстро распределен. Я не знаю, откуда взялись люди, но на всех не хватило. Давали по две кружки пшена, по полбуханки хлеба и по одной кружке сахарного песку (примерно стакан). Ночевал я в жилуправлении под видом дежурного.

1-го ноября немцы вывесили опять «приказ», в котором говорилось, что поскольку боевыми действиями может быть охвачен весь город, «во избежание жертв среди мирного населения» всем опять предлагалось оставить город Киев, но направление, куда идти, было уже указано, — Белоцерковское шоссе (через Демиевку), опять-таки сроком до 10-го ноября.

Мы тогда не знали, что наступление Советской Армии, принятое ранее южнее Киева на Букринской переправе, затем было продублировано севернее Киева — у села Лютеж, и после тяжелых боев наши войска перешли на правый берег, и к началу ноября охватили Киев с севера в районе Коростышева, перерезав, таким образом, дорогу на Житомир. Этим и объяснялось и непрерывное движение по бульвару Шевченко и Брест-Литовскому шоссе немецких войск и техники в обе стороны. Немцы метались — то к Букрину, то к Лютежу и Житомиру в панике, — но все еще думали, что в Киеве боевые действия развернутся где-то не раньше второй декады ноября, а пока что немцы начали разрушать город.

В эти дни они сожгли очень много замечательных административных и жилых зданий, в том числе Университет, Библиотеку им. КПСС, жилые дома на Артема, Ленина, Красноармейской. Теперешнее здание ЦК партии, здание Верховного Совета, Совета Министров, правление ЮЗЖД и другие были заминированы. В эти же дни немцы подожгли Владимирский собор, здание редакции и издательство газеты «Коммунист» и много других. В городе то совсем близко, то где-то вдалеке все время раздавались звуки взрывов, в

воздухе пахло гарью, а по ночам небо в десятках мест полыхало заревом от пожаров. По всему было видно, что эти сволочи-фашисты приступили к последней акции своего пребывания в Киеве — уничтожению города, как и обещал господин Уде.

Урчание машин и грохот танков на бульваре Шевченко в районе Евбаза не прекращались, а наоборот, усиливались, но никто, в том числе и я, туда не приближались. Мы уже боялись находиться в здании бывшего Авиаинститута, предполагали, что и оно заминировано, и в один прекрасный момент вместе с нами взлетит на воздух, поэтому 4-го и 5-го ноября разбрелись кто куда.

Я забрел в тылы дворов по ул. Чкалова на участок, ограниченный ул. Гоголевской и Воровского (Кудрявской). Там, в каких-то сараях или других деревянных складских помещениях я прятался. Там же находилось еще десятка с два незнакомых мне мужчин. Мы наблюдали за ул. Воровского и Чкалова, по которым почти непрерывным потоком шли отступающие «передовые» части немцев, видимо, с Подола. Вид у них был жалкий, немцы шли до бесконечности уставшие, сгорбленные, в грязном рваном обмундировании, волоча по земле автоматы. Если случалось, что ехала подвода, нагруженная их барахлом, такую подводу со всех сторон окружали эти вояки, держась за краешки бортов руками, чтобы не упасть. Попадать им на глаза было рискованно. У них все-таки было оружие и, озлобленные отступлением, они, при всей усталости, могли перестрелять нас, и мы благоразумно на улицу не выходили, а наблюдали за немцами через щели заборов. Так вам, гады проклятые, и надо.

5-го ноября во второй половине дня это шествие отступающих передовых частей немцев закончилось, но мы были свидетелями, как немцы поджигали дом редакции газеты «Коммунист». Подъехал небольшой грузовик, немцы выломали ломami входную дверь, вкатили внутрь бочонка два-три бензина, видно, внутри разбили их и разлили бензин в комнатах на полу, затем вышли на улицу и через разбитые окна бросили внутрь гранаты, сами же поспешно вскарабкались на ужедвигающийся грузовик и стали отъезжать. В это время раздался взрыв, и почти изо всех окон первого этажа брызнуло пламя, затем раздалось еще два взрыва, и пламя

уже лилось сплошными потоками из окон обоих этажей. Темными оставались только окна одной правой торцевой части здания. С расположением комнат я был знаком. Еще в 1932 году там я занимался, будучи аспирантом Научно-исследовательского института жилкооперации. Во дворе против бокового входа в эту часть здания стояло несколько штабелей дров. Разрыв между дровами и входом в здание был не более трех-четырёх метров, а сразу за дровами примыкала стена еще недостроенного в свое время здания РАТАУ. Я подумал: если загорится и эта часть здания редакции, — огонь перекинется на дрова, а от них — на здание РАТАУ. Надо растащить эти штабеля. И я сказал об этом стоящим рядом со мной людям. Мы все, не долго думая, выскочили на улицу, пересекли ее, забежали во двор редакции и занялись разбрасыванием штабелей дров.

Боковая дверь здания редакции оказалась открытой. Дом в этом месте еще не горел, и мне захотелось заглянуть вовнутрь. Пламя, которое буквально выливалось из окон остальной части здания, относилось ветром в противоположную сторону. Внутри здания, в первых больших комнатах, находился склад газетной бумаги в рулонах. У меня мелькнула мысль: заниматься раскидыванием штабелей дров бесполезно. Пламя из окон относится ветром в другую сторону, и дрова не загорятся, а вот бумага, газетная бумага, нам пригодится и очень будет нужна. Ведь вряд ли мы сейчас производим такую бумагу. Надо спасать бумагу. И я выскочил, закричав:

— Товарищи! Бросайте дрова, идем спасать бумагу!

Глянув наверх, я увидел, что второй этаж этой части здания начал гореть. Из окон валил дым, из-под крыши — тоже, но первый этаж был пока невредим. Мы — человек пять-шесть — забежали внутрь — и стали выкатывать катушки с бумагой во двор. Остальные, открыв ворота, перекачивали эти катушки на другую сторону улицы Воровского. Мы выкатили уже штук пятнадцать катушек с газетной бумагой, когда из окон второго этажа уже шел не дым, а лилось пламя. В одной из боковых комнат рухнуло перекрытие, и все помещение заполнилось дымом. Больше оставаться внутри зда-

ния было нельзя. Каждую минуту могло прогореть перекрытие и рухнуть нам на голову. А жаль, там, на складе, было еще десятка два катушек с бумагой.

Мы прекратили спасательные работы и выскочили во двор. И вовремя. Еще две-три минуты, и рухнул потолок в коридоре, и пламя преградило нам путь в склад с катушками газетной бумаги. Катушки со двора мы общими усилиями перекатали на противоположную сторону улицы. Улица была пустынная, только с Евбаза доносился шум моторов и грохот танков, но не прошло и получаса — стихло все и там. Было около 1-го часа ночи уже 6-го ноября. Мы довольные, что хоть немного спасли бумаги, смотрели с горечью на полыхающее со всех сторон небо, на горящую редакцию «Коммуниста». Было тихо.

Множество
Темные роды
в дождь.
2-3 минуты
в воздухе
по ночам
или в
дожде
перелет
пути
на
свои
клетки



**В ОСВОБОЖДЕННОМ
КИЕВЕ**

Опять послышался лязг гусениц и грохот танков. Но этот грохот чем-то отличался от звука двигавшихся немецких танков. Кто-то сказал:

– Может, это уже наши танки, слышите, как они урчат?! Идем на Евбаз!

И мы гурьбой двинулись в сторону бульвара Шевченко. Остерегаясь, что где-то внизу улицы Воровского могла застрять какая-нибудь группа отступающих немцев, мы пошли не по улице, а тылами дворов, пересекли Гоголевскую, затем Тургеневскую улицы, и с Тургеневской через проходной двор вышли на Евбаз. От зарева пожаров в городе небо было оранжево-красного цвета, и на Евбазе было светло. По шоссе гуськом двигались наши танки. На площади стояло толпой человек сто народу.

Один из танков съехал с шоссе, приблизился к стоящей толпе, открылся люк, из которого высунулись фигуры двух танкистов.

Я бегом подбежал вплотную к танку. Слезы радости заливали мне глаза. Я припал к броне танка, и начал целовать холодное железо. Пронеслись в мозгу картины, как мы отступали из Киева, ехали по Подольскому железнодорожному мосту на машине, как тогда отблеск пожаров в Киеве освещал наши молчаливые насупленные лица, как поблескивали красными огоньками штыки на винтовках, как я думал: мы вернемся, дорогой наш город, мы этих гадов выгоним, уничтожим... И вот мы вернулись.

Я говорю «мы», потому что я ни в плену, ни в оккупации ни на секунду не отделял себя от нашего советского народа, от Красной

Армии, я верил в нашу победу. Мне было очень тяжело и больно чувствовать, что лично моего участия в этой победе, в освобождении Киева — нет. Но, видно, так уж построен человек, что бессознательно ищет себе если не оправдание, то хоть объяснения своему поведению. Разве я виноват, что тогда, в 1941 году, в киевском окружении я попал в плен в числе полумиллионной армии, разве виноват я, что все два года оккупации я мерз, голодал, еле передвигал ноги, а после контузии почти потерял зрение, еле ходил с распухшими ногами, десять раз на день засыпал в любом положении тела — лежа, сидя, стоя, в момент ходьбы или еды. Разве виноват я, что вся обстановка во время хозяйничанья немцев была пропитана недоверчивостью, скрытностью, на каждом шагу были или мерещились предатели, агенты гестапо?

Но все эти размышления у меня возникли потом, а пока я радовался искренне, горячо, от всей души, от всего сердца. Я плакал и целовал, целовал танк. Я видел, что еще с десяток людей, стоя на коленях, целовали этот танк. Но вот один из танкистов, видимо офицер или политработник, заговорил:

— Товарищи! Запомните, что в город первыми вошли сталинградские танкисты. Но это не все. Еще половина Украины находится под гнетом фашистов. Фашисты еще зверствуют в Белоруссии и в других республиках Советского Союза. Под игом фашистов еще находятся другие европейские страны. Наша задача бить этих гадов до самого их логова в Берлине, полностью их уничтожить, поэтому мы должны двигаться дальше...

Он продолжал:

— А вы? (он показал на горящее небо) Вы видите, эти сволочи подожгли город. Среди вас, наверно, есть люди, знающие, где водопровод, где электростанция. Идите туда, скорее восстанавливайте эти сооружения, дайте городу воду, тушите пожары, не допускайте, чтобы огонь перебрасывался на соседние дома, — а мы едем дальше добивать немцев.

При этих словах танк заурчал сильнее, въехал опять на шоссе, вклинившись в общую колонну, и уехал. Толпа стала медленно расходиться. Я еще постоял в небольшой группе и пошел. Куда? Пошел на Большую Житомирскую в свою комнату.

Шел я медленно, едва двигая ногами. Сказывалась и усталость от двух бессонных ночей, и вся нервная напряженность, особенно последних дней. Улица Чкалова, по которой я поднимался вверх, была пустынна. Окна домов отражали красное полыхающее небо. Но на душе было радостно. Киев опять наш, советский. Невыносимо хотелось лечь тут же на тротуаре, вытянуться и заснуть хоть на десять, хоть на пять минут. Мысли проносились обрывками. Первым делом я буду искать Аню и Юрочку. Напишу в Днепропетровск на адрес Веры, может, там их и нет, но кто-то из жильцов дома еще остался. Да, так и напишу: «Любому жильцу дома № 9 по ул. Плеханова. Известно ли вам что-нибудь о судьбе Арона Лифшица, Веры Сапожниковой и ее сестры Ани Сапожниковой. Срочно сообщите!!»... А освобожден ли Днепропетровск? И когда почта начнет работать? Успею ли я, ведь я солдат, и меня сразу же возьмут в армию и на фронт, какой я дам свой обратный адрес? А наши танки, какие они милые, дорогие, уже наверно догоняют немцев по Васильковскому шоссе, а сейчас, наверно, по Евбазу двинется наша пехота, артиллерия. Почему я еще не задержался на Евбазе? Домой еще успею. Но лечь, заснуть хоть на несколько минут, а в Днепропетровск писать еще рано. Вот возьмут в армию, тогда и напишу. Будет у меня и адрес — номер воинской части.

Так я шаг за шагом, едва перебарывая желание лечь, поднимался вверх по улице. Вот и перекресток Тимофеевской улицы и здание, где помещался штаб КиУРа, вот и глазная клиника. Вдруг раздался оглушительный взрыв. Это подорван заложенной миной замедленного действия новый, выстроенный перед самой войной большой пятиэтажный дом на углу Ворошилова и Чкалова. К числу пожаров в городе прибавился еще один. Обходя этот дом, я продолжал идти уже не по тротуару, а посреди улицы. Впереди еще несколько больших домов. Чем черт не шутит, может, и они каждую минуту могут взлететь на воздух. Еще не хватало, пережив столько, погибнуть сейчас от какого-то кирпича, отлетевшего при взрыве в сторону. И я машинально ускорил шаги.

Но вот я на углу Большой Житомирской. Парадный вход на улицу распахнут настежь. Кругом — никого. Поднимаюсь на свой третий этаж. На площадках лестничной клетки все входы в квартиры

разбиты. Некоторые двери сорваны с петель, на некоторых выбиты филенки. Захожу в свою квартиру через выбитую филенку. Коридор завален щепками, кусками фанеры, обломками филенок, бумагами, обрывками газет, какими-то фотографиями, битой посудой. Все двери в жилые комнаты тоже разбиты, сломаны, в некоторых комнатах двери сорваны с петель. В комнатах что-то невообразимое: столы опрокинуты, подушки распороты, кругом пух, ящики от комодов и столов все выдвинуты и их содержимое рассыпано по полу. В моей комнате столовый и письменный столы с отломанными ножками, тумбочка без ящика вообще, с дивана содрана обивка, с Юрочкиного матрасика сорван тик, весь войлок на полу, из подушки и перинки выпущен пух. В буфете выворочены все полки. Окно разбито. В общем — погром. Что здесь делали немцы, что искали? Потом говорили, что в Киев прибыла власовская дивизия, и немцы за две-три недели до своего ухода из Киева дали им вволю пограбить и похозяйничать в городе, в так называемой «запретной зоне». Убирать ничего не хотелось, была еще ночь, и комната освещалась только заревом от пожаров. Смертельно хотелось спать, я присел на кровать и не заметил, как сразу же заснул, растянувшись на разодранной перине.

Проснулся, наверно, часов в 10 утра, осмотрел весь učinенный в комнате разгром. Подумал, стоило ли все это таскать на плечах с довоенной квартиры с третьего этажа на Рейтерскую, 22 на седьмой этаж, потом оттуда на Большую Житомирскую — опять на третий этаж. Ведь столы уже непригодны, и их вряд ли можно починить, постелей нет, дивана нет. Конечно, все это можно как-то сбить, но стоит ли? Я же солдат, попавший в плен, и меня сразу же возьмут в армию, и все это разломанное, оборванное имущество все равно придется бросить. Хотел сберечь для Ани и Юрасика, но, видно, не судьба. Затулил кое-как выбитую филенку на двери, выходящей в коридор. Замок, к счастью, эти сволочи не сломали, а ключ от комнаты у меня был с собой. Почувствовал, что хочу есть и пить. У меня была еще краюха «золотисто-золотого» из последнего «пайка», что милостью господина Уде нам выдали в последний раз. Пожевал небольшой кусочек, а вот питья не было: водопровод не работал. В ванной комнате нашел полное ведро воды. Ведро принадлежало какому-то соседу, а вода была, види-

мо, наточена еще в сентябре, до ухода из запретной зоны, то есть простояла полтора месяца. Но эта находка меня обрадовала. Я с жадностью выпил кружку этой вонючей воды, и повеселел. Пару дней переживу.

Надо искать коменданта города, явиться, так, мол, и так, я пленный красноармеец, берите меня и определяйте в воинскую часть. Я запер комнату, почистился от перьев из подушки и перины, протер смоченной в воде какой-то тряпкой лицо и вышел на улицу. Когда я спускался по лестнице, то слышал, как где-то выше, в какой-то квартире кто-то стучал молотком, видимо починяя входную дверь. Я же не стал заниматься ремонтом входа в квартиру — не было ни инструмента, ни материала.

Пошел по городу искать военного коменданта. По улицам уже двигалось много народу (условно «много» — восемь-десять человек в поле зрения на квартал). Все несли узлы или тащили повозочки, сделанные из детских колясок. Проходили и небольшие группы красноармейцев, но они шли строем по дороге, и я не решался их спросить, где расположена комендатура. На площади Богдана Хмельницкого я встретил советского офицера. Он шел по тротуару в сопровождении двух автоматчиков. Тут только я заметил, что на офицере и солдатах были погоны. Это было для меня новостью. Я подошел к нему и как мог по-военному сказал:

— Разрешите обратиться!

Он ответил:

— Слушаю вас.

— Я красноармеец одной из частей, оборонявших Киев в 1941-м году. 22-го сентября попал в окружение под Яготинном и в плен. Эти два года я был частично в плену, а потом здесь в Киеве в оккупации. Сейчас ищу комендатуру, чтобы опять вернуться в воинскую часть. Не скажете ли вы, где находится военный комендант?

Он ответил:

— Военный комендант расположился на бульваре Шевченко, 18, но вряд ли он будет направлять вас в часть. Впрочем, пройдите и там узнаете.

Я поблагодарил и пошел по улице Короленко к бульвару Шевченко. Дом № 18 — длинный, на полквартала, двухэтажный, два

входа. На дверях первого входа приколочена вывеска, написанная наспех от руки чернилами: «Комендант города». Перед входом на улице много военных, много автомашин: «Виллисы», «Эмки», грузовые, крытые. В приемной коменданта тоже полно народа, все военные, судя по погонам — офицеры, но в званиях я тогда не разобрался. На меня никто не обращал внимания. Только один какой-то офицер спросил, что мне здесь надо. Я ему повторил то, что уже говорил на улице тому офицеру, который встретился на площади Богдана Хмельницкого. Этот мне сказал, что в первой комнате налево есть дежурный. Сам комендант по этому вопросу говорить не будет.

Возле дежурного было еще больше народу, но я все-таки просунулся, и когда коротко сказал, зачем пришел, — получил ответ:

— Комендатура этими вопросами не занимается и никого никогда не определяет. Этим будут заниматься военкоматы, которые на днях будут организованы. Идите и ждите приказов и объявлений.

И я вышел в полной растерянности. Машинально смотрел на погоны, считал звездочки на них, машинально разглядывал тупокрылые виллисы и грузовые студебекеры. Да, таких машин в 1941 году у нас не было. У второго входа в это здание было пусто, но висела на таком же картоне вывеска: «Городской Совет», а рядом объявление: «Исполком Городского Совета просит всех бывших работников Горсовета и его отделов явиться 7-го ноября к 9 часам в Горсовет по ул. Бульвар Шевченко № 18 в комнату № ... (не помню).

Теперь мне стало ясно, с чего начинать. У меня сохранился единственный советский документ — трудовая книжка, которую еще в августе 1941-го года я взял в Горжилуправлении, когда приезжал из 2-го ОПБ в трехчасовую отлучку в город. Я эту книжку берег рядом с карточками Ани и Юры, и носил всегда с собой. Значит, доказать, что я довоенный работник системы Горсовета, у меня есть чем. И уже немного успокоившись, я пошел домой.

По дороге я зашел к Харченко. Он с женой и дочкой заканчивали уборку. Говорили, что застали свою квартиру в жутком разгромленном состоянии, и вот, мол, с утра не могут убрать. Я не задерживался, сказал только о том, где я был, и что завтра иду к 9 часам утра в Горсовет.

Затем я зашел, поднимаясь выше по Чкалова, к Сазанской. Она с матерью и сыном вернулись в свою квартиру только днем 6-го ноября. Квартира, как и все квартиры в доме, была разбита, двери стояли с выбитыми филенками, а внутри — что-то невообразимое. Сазанская рассказала:

— Вещи, что вы помогли закопать в сарае, все похищены, дрова разбросаны, а яма отрыта. Там я сохраняла одну кинокартину — пленка в шести коробках, так коробки пустые валяются во дворе, а на земле куча пепла от сгоревшей киноленты. Жаль. А дома? Не знаю, за что браться. Устроила кое-как постель, и мать с ребенком уложила спать. Сейчас сообщаю, что приготовить поесть.

Помогать ей разбираться в ее мусоре, в тряпках я не хотел. Вызвался только пристроить филенки к входным дверям. Кое-как заколотил двери. На ночь можно было запереть. Двух ее соседок еще не было — одна старуха, другая молодая, по словам Сазанской, студентка, занимала одну маленькую восьмиметровую комнатку. Двери и в их комнаты были разбиты, а внутри — все вверх ногами, причем, как и во всех домах, во всех комнатах.

Я попрощался, и пошел к себе на Большую Житомирскую. Сварил с полстакана пшена, пользуясь все той же застоявшейся водой, поел и завалился спать. Было темно, делать ничего не хотелось, даже убирать, да и сил не было. Для чего все это? Завтра пойду в Горсовет, а через два-три дня организуются военкоматы и, конечно, в первую очередь вызовут меня и других военнопленных и отправят в часть, все равно все придется бросить. Комната освещалась заревом пожаров, и я некоторое время наблюдал как по стенам и полу перебежали розовые блики. Из разбитого окна сильно дуло. В квартире — тишина. Я завернулся с головой в пальто и скоро заснул.

Проснулся рано. Еще было темно, если не считать всполохов в небе от пожаров. Город еще горел. Пришел в Горсовет еще задолго до 9 утра. На дворе стоял маленький морозец и чуть припорошил снежок. Перед зданием Горсовета было человек пятьдесят народу. Среди них я увидел Киселевича, инженера-сантехника Грачева, секретаршу Мерца Кульчицкую, инспектора Горстова. Потом подошел и Харченко. В вестибюле висело большое объявление, кому куда направляться:

бывшие работники аппарата Горсовета — указаны номера комнат, бывшие работники Горплана — номер комнаты, работники Горкомхоза — номер комнаты, работники здраводела — номер комнаты, и т. д. Работники торговдела, наробраза, жилуправления — для всех отделов были уже отведены комнаты. Вошедшие люди рассредоточились по надлежащим комнатам. В комнате жилуправления собралось человек пятнадцать. Пришел начальник бюро инвентаризации Тарин, начальник сажетрусной конторы Протопопов, какие-то женщины — бухгалтер, машинистка, и еще кто-то, кого я не знал.

Выделили старшим Киселевича. Он составил список, и к 11 часам пошел на совещание к председателю Горсовета некоему Лебедю. Вернулся через час, и стал составлять штатное расписание. Назначал людей на должности. Меня назначил на должность зав. отделом эксплуатации, Харченко — зав. жилбюро, Грачева — зав. ремонтным отделом, остальных — по специальности (зав. инвентаризационным бюро, бухгалтером, секретарем, инспекторами и т. д.). Харченко должен был выдавать ордера на жилые комнаты под жилье, а меня сразу прикомандировали к председателю горсовета Лебедю. Никакой работы по эксплуатации я не вел, а должен был размещать учреждения и распределять нежилрой фонд.

Первые трое суток я сидел неотлучно в кабинете Лебедея, там на диване и спал. Нам всем, начиная с 7-го числа, стали выдавать по 400 грамм хлеба — настоящего черного ржаного хлеба, которого я не видел уже более двух лет. Каким он мне показался вкусным после «золотисто-золотого», передать словами не могу.

Первые дни я занимался тем, что размещал военные учреждения, госпитали по школьным зданиям, всякие общежития, гаражи, всевозможные склады военного снаряжения, различные хозяйственные учреждения. Город я знал хорошо, давал адреса, писал решения Исполкома, которые тут же подписывал Лебедь, выходил иногда на место сам. Лебедь получил у коменданта города пропуск для меня на круглосуточное право ходить по городу. На третий день Киселевича, секретаршу Мерца Кульчицкую и инспектора Горстова арестовали. Вместо Киселевича начальником Горжилуправления был назначен какой-то офицер (фамилии не помню), а в званиях я

тогда не разбирался, да почти и не видел его, так как сидел не в комнате жилуправления на втором этаже, а в комнате Горсовета на первом этаже рядом с Лебедем. Работы у меня прибавилось, так как кроме военных организаций мне пришлось отводить помещения всем партийным, советским, профсоюзным, комсомольским, общественным организациям — республиканского, областного, городского и районного масштабов. Мне Лебедь отвел рядом со своим кабинетом небольшую комнату, и в ней я производил прием посетителей. У меня с утра до позднего вечера всегда толпилась уйма народу, и все с мандатами, с требованиями, далеко выходящими за пределы возможного (а сплошь и рядом завышенными).

А нежилого конторского фонда было очень мало. Центральная часть города, где в основном был сосредоточен этот фонд, разрушена или еще горела. Ведомственные дома в районах — тоже. Были созданы райсоветы со своими отделами, в том числе и райжилуправлениями. Я написал решение президиума Горсовета, которым все райсоветы обязывались предоставлять районным организациям помещения в своих районах, Лебедь его подписал, и представителей районных организаций я стал направлять в райсоветы. Но городских, областных и центральных организаций была уйма, и я просто терялся, что мне делать.

То появлялся какой-то Мясомолснаб, на другой день — Мясомолсбыт, потом еще через день Мясомолторг. Или Заготзерно при СНК СССР, Заготскот тоже при СНК СССР, то Инспекция цен, то Управление мер и весов, то еще и еще, не говоря уже о том, что нужны помещения всем наркоматам, их главкам, их стройуправлениям, Облисполкому, Горсовету и всем его отделам и всяким хозяйственным трестам, снабм, управлениям и прочим. И всем им дай помещения только в центре города, только в домах с печным отоплением (шла зима и центральное отопление нигде не работало, да и топлива никто не заготавливал, и его в городе вообще не было), и только с целыми стеклами в окнах, что тоже было редкостью.

Крупные административные здания — ЦК КП(б)У у фуникулера, штаб Киевского военного округа на ул. Орджоникидзе, Управления ЮЗЖД на ул. Лысенко и другие — стояли на двухмесячном

карантине (а вдруг там немцы припрятали мины замедленного действия), хотя саперами эти дома, как и большинство других, были проверены, и хотя на них висели таблички «проверено, мин нет», но время от времени они все-таки взрывались, горели и рушились.

Я все ожидал, когда появятся представители военкомата. Наконец, числа 15-го ноября появился горвоенком — полковник Полежаев. Ему для областного и городского военкоматов нужно было уже не просто помещение из пяти-шести комнат в доме с печным отоплением и целыми стеклами, а целый обособленный дом, с отдельным большим двором, с гаражом и складскими помещениями, без всяких посторонних жильцов и, конечно, в центре города. Такого дома я не знал. Лебедь распорядился, чтобы я с Полежаевым прошелся по ряду адресов.

Я повесил на дверь своей комнаты объявление «Сегодня прие́ма не будет», и с утра пошел путешествовать с Полежаевым по разным адресам. Ничего подходящего мы не нашли, но остановились на адресе Артема, 24, где и до войны был Обл. и Горвоенкомат, а при немцах — пересыльный пункт для отправки в Германию наших людей. Правда, два корпуса сгорели, еще два были целы условно. Окна выбиты, но зато двор был обособлен, были склады и гаражи. По дороге я с Полежаевым говорил опять о своем возвращении в армию. Он ответил, что сейчас идет организация райвоенкоматов, и что примерно через неделю будет приказ явиться всем военнообязанным для регистрации, учета, и лишь в начале декабря райвоенкоматы будут рассылать повестки для призыва и зачисления в воинские части.

К этому времени я подыскал помещение для Горжилуправления — на втором этаже дома на углу улиц Франко и Ленина, Горкомхоза — на третьем этаже этого же дома, для Бюро инвентаризации — на улице Свердлова в подвальном этаже одного из флигелей и для других отделов Горсовета. Ниже к Крещатику все дома сгорели. Бюро инвентаризации хоть и считалось при Горжилуправлении, но в его штаты не входило, а представляло самостоятельную хозяйственную организацию, ее комплектованием работниками занимался Тарин. Там же устроилась и Сазанская.

Она как-то меня спросила, где я живу. Я сказал, что там же, на Большой Житомирской, но вообще не знаю, как мне быть. Во-первых, я на днях буду призван в армию, комната не моя. По закону — вернутся ее довоенные жильцы, и комнату вернут им. Меня не будет, и все, что я сохранил для своей семьи, пропадет. Юридически комната за мной не оформлена, и потом не будет считаться, что я занял ее при немцах. На моей старой квартире на Рейтерской поселился работник НКГБ. Когда вернется Аня с Юрочкой, вряд ли она сможет добиться нашей довоенной комнаты. А жить мне на Большой Житомирской не очень-то хорошо. Дом не отапливается, окна выбиты. И я решил — будь что будет. Сазанская сказала, что в их квартире освободилась маленькая комната, где жила какая-то девушка, которая на днях выбралась, забрала свои вещи и куда-то переехала. Если я хочу, могу получить ордер и занять ее. Тогда, если я пойду в армию, на эту восьмиметровую комнату никто не польстит-ся, и ее можно будет сохранить для моей семьи.

Я видел, что творится у Харченко. Посетители у него толпились ежедневно сотнями, все требовали ордера. Многие просто явочным порядком занимали квартиры или комнаты. Везде понаклеивали записки: «Комната (квартира) занята работником НКГБ, работником НКВД, семьей офицера Красной Армии» и т. д., и оформляли у Харченко ордера. Но они сажали в эти комнаты членов своих семей, а мне поселить кого-нибудь не было возможности. О судьбе Ани и Юрочки я пока ничего не знал, хоть и предпринимал меры их разыскать. Но об этом — потом. Я подумал: Сазанская говорит резонно. Если я займу, хоть и маленькую, но комнату, где я буду уверен, что никакой жилец, раньше живший в ней, претендовать не будет (девушка выехала уже после освобождения Киева от фашистов), комната невзрачная, где-то в глубине большущего двора, я ее займу по ордеру, выданному уже советской властью, смогу взять бронь или даже просто запечатать официально. Комната будет под наблюдением Сазанской — я ее сохраню для Ани, а если вернусь с войны, то будет и мне пристанище. Короче говоря, я согласился, получил через Харченко ордер, и в течении нескольких вечеров перетасил все, что уцелело из имущества на Большой Житомирской.

Правда, не удалось взять остатки Юрочкиной кровати — матрац был ободран, а пружины рассыпались по полу, — и шкафчика-горки — его кто-то из «добросовестных» соседей во время моего отсутствия утащил. Зато я достал в соседнем дворе, где была расположена казарма, спинки, царги и сетку от какой-то кровати, а также большую перину и подушку. Царги оказались неподходящие, и потом мне пришлось мудрствовать, делать дубовые колышки, чтобы их можно было насадить на спинки, но тогда я этого не заметил. И вот я живу в одном дворе, в одной квартире с Сазанской. И пока меня не призвали в армию, ищу Аню и Юрочку.

Какие только шаги я ни предпринимал для розыска. Я несколько раз ходил на Рейтерскую — расспрашивал соседей, просил, а вдруг будет письмо от Ани, — сохранить его для меня. Написал в Днепропетровск по адресу Веры, но на конверте написал: «Вере Сапожниковой или любому жильцу в этой квартире» — просил срочно ответить, известно ли им что-либо об Ане, Вере, матери и, конечно, Юрочке и Люсиньке. Узнал, что в Бугуруслане есть центральное справочное бюро по делам эвакуированных — написал запрос в Бугуруслан. Расспрашивал всех приезжающих, может, они что-нибудь слышали, но никто ничего не знал, ни от кого ответа по почте я не получил. Наконец, в январе месяце я получил ответ из Бугуруслана: «Таковой не числится».

Но я не терял надежды. Я знал, почта идет долго. В Бугуруслан я успел в конце декабря послать вторичный запрос. На него я получил ответ лишь в марте месяце, когда я уже знал адрес Ани. Бугуруслан подтвердил этот адрес.

Но вернусь к январю месяцу. Где-то в середине января ко мне пришел представитель Наркомздрава. Молодой человек лет 30–32, некто Гольдберг. Ему требовалось помещение для Наркомздрава. Действовало постановление СНК СССР, что если в освобожденных от фашистской оккупации городах сохранились здания или помещения, которые до войны занимали госучреждения и организации, то после освобождения эти помещения предоставляются тем организациям, которые занимали их до войны. Тут мне искать ничего не было нужно. Я сразу же написал решение Президиума Горсовета — отдать

дом по Рейтерской, 22 Наркомздраву, и на следующий день вручил это решение Гольдбергу. Одновременно я рассказал, что в Наркомздраве работала моя жена — Сапожникова Анна Ильинична. Не знает ли он что-либо об ее судьбе? Может, находясь в эвакуации, она что-то писала в Наркомздрав, может, и сейчас работает там. Он ответил, что Наркомздрав сейчас состоит из пяти-семи человек, штат пока не набирают. Все архивы и поступившая за эти годы корреспонденция упакованы в ящики, находятся в Харькове, куда перевезены из Куйбышева, никто ее не разбирает, а вот когда привезут в Киев, тогда будем разбирать, и если что-то он узнает, сообщит мне. Одновременно он сказал, что фамилия Сапожников ему как будто знакома. Ему припоминается, что при отступлении еще в августе или сентябре 1941 года из Черкасс он попал в группу, где был, кажется, какой-то Сапожников. Имени его он не знает, но помнит, что он был военный, а где он служил — в армии или в органах НКВД — не знает, но, пробиваясь на Полтаву, этот Сапожников погиб: был убит. Больше он, Гольдберг, ничего сказать не может. Сейчас сам Гольдберг — после ранения и лечения в госпитале — имеет отсрочку, но скоро опять будет призван в армию, а пока работает в Наркомздраве, и вот в качестве квартирьера «добывает помещения и жилплощадь».

Милая, дорогая Анечка, родной Юрасик. Как я скучал без вас. Дни шли за днями, люди массами возвращались из эвакуации. Приехал Масляненко с женой. Он был директором Музтреста, а знали мы их еще из Черкасс — были хорошими друзьями. Приехала Коляда (я писал о ней, это жена репрессированного прокурора Киевского военного округа). Встретил я и Гельмана (тоже писал о нем; я был «свидетелем», когда его судили как «врага народа»). Приехал из эвакуации бывший работник Укржилсоюза Закашанский (я его хорошо знал). Появился Озаковский — хороший друг и товарищ Ани и мой, он был уже инвалидом войны. После ранения в лицо потерял один глаз. Возвратились еще и еще десятки людей, которых я знал. У всех была своя судьба, своя доля, но первые вопросы, какие я задавал им, — не слыхали ли они что-либо об Ане. Они сочувственно вздыхали, все советовали обращаться в Бугуруслан, и бежали к Харченко за ордерами на жилплощадь для себя.

Меня брало отчаяние. По ночам опять начали сниться всякие кошмары, я метался в постели и плакал. Да! Плакал. Раньше я знал: я здесь на оккупированной территории, Аня с Юрочкой, если еще чудом живы, там — на советской территории. Нас разделяют сотни, может быть тысячи километров, разделяет линия фронта. И я ничего предпринять не могу, чтобы их разыскать. Но сейчас! Уже проходит месяц за месяцем, и я ничего предпринять не могу. Дорогая Анечка, ты не представляешь всех моих мук в то время. Единственно, что меня поддерживало, — это то, что скоро я опять буду в армии и буду мстить всем этим фашистским гадам, мстить за все — за тебя, Юрасика, за наш Киев, за нашу Родину, за тех, кого вы замучили, убили.

А в армию меня пока не брали. Еще в декабре месяце 1943 года, наконец, организовались райвоенкоматы. Вызвали всех мужчин на регистрацию, потом на медосмотр, потом выдали военные билеты. Потом сказали — ждите повесток. В конце декабря месяца и начале января я получил три повестки. Повестки присылали на дом. «Явиться к 10 часам утра... Для зачисления в часть иметь при себе паспорт (у меня его вообще не было), военный билет (я числился пулеметчиком — стрелять из пулемета не умел, хотя и начинал войну в пулеметном батальоне), иметь крепкую обувь (ботинки мои разваливались по всем швам), ложку, кружку, котелок и продовольствия на три дня». Ложку, кружку и какую-то кастрюльку вместо котелка я имел. Продовольствия — я получил по 400 грамм — всего 1,2 кг хлеба вперед на три дня по карточке — другого «продовольствия» у меня не было. Я с повесткой и со всеми этими предметами бежал утром в жилуправление, заявляя, что должен немедленно явиться в военкомат. Забирал свою трудовую книжку, никакого расчета со мной делать не успевали, да я и не обращал никакого внимания, что в трудовой книжке никто никаких записей не делал, а о деньгах я вообще не думал, и шел в военкомат. Начальник только на прощанье разводил руками:

— А как же мы без вас?

Но меня это уже не интересовало. Военкомат находился на Воровского, 26. Там отбирали повестку, военный билет, и оставляли ждать в холодном нетопленном зале. Мы все, призванные, сидели

на полу, кое-что жевали, курили и больше молчали, ждали все своей доли. Потом часа в 2 или 3 дня появлялся писарь военкомата, вызывал меня по фамилии и приглашал к военкому. Военкомом был некто майор Крыленко. Военком объявлял мне:

– Поступило письмо председателя Горсовета Лебеда: просит дать вам отсрочку, так как вы сейчас очень необходимы для работы в Горсовете. Заберите у писаря свои документы и идите на работу, а мы вас вызовем в следующий раз новой повесткой.

Через три дня я получал новую повестку, и все повторялось сначала. Правда, на третий раз Лебедь написал уже не райвоенкому, а горвоенкому. Это было 9-го января. А горвоенком — полковник Полежаев — наложил резолюцию: «Забрать 14-го числа». Таким образом, я получил отсрочку не на три дня, а на пять дней. Меня это и мучило и злило. Я искренне хотел скорее попасть в армию. Работа здесь, уже в тылу, по распределению нежилых площадей мне казалась ненужной, бесполезной. Писать проекты решений Горсовета может и кто-нибудь другой. Да и какая уже с меня работа, если я два дня работаю, третий сижу в военкомате в томительном ожидании.

На 14-е января меня повесткой не вызвали. Письмо Лебеда с резолюцией Полежаева мне майор Крыленко отдал, и оно сохранилось и до сего дня*. Не вызывали ни в январе, ни в феврале числа до 20-го. Наконец, 21-го февраля я получил стандартную повестку — явиться для отправки в часть 22-го февраля к 10 часам утра...

Я, как и раньше, забежал в Горжилуправление, забрал трудовую книжку, успел получить денежный расчет и отправился в райвоенкомат. Там я явился не к писарю, который забирал повестки, а пошел на прием к райвоенкому Крыленко. Когда я к нему попал, я сказал:

– Товарищ майор! Меня уже в четвертый раз вы вызываете для отправки в часть. Первые три раза по ходатайству председателя Горсовета Лебеда вы, продержав меня здесь в военкомате пару суток, освобождали от призыва, давали отсрочки. Поймите меня

* Тут отец несколько ошибся в датах. Письмо Лебеда датировано 15 января 1944 г., а резолюция военкома от 17.01.1944: «Отправить 24.01.44». — *Прим. Ю. Худякова.*

правильно. Испытав всю тяжесть немецкого плена и жизни здесь, в оккупированном Киеве, я горю желанием скорее попасть в действующую армию, я хочу мстить проклятым фашистам за все, что они сделали на нашей советской земле, с нашим советским народом. Поэтому убедительно прошу вас: пусть напишет Лебедь, даже сам Хрущев (а Хрущев был тогда Председателем Совнаркома [УСССР]) — не освобождайте меня, а отправляйте в часть, тем более что я здесь, ежедневно ожидая повестки военкомата, тоже уже не могу работать с полной отдачей.

Крыленко внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Хорошо, товарищ Худяков, обещаю вам, что на сей раз вы будете зачислены в часть. Идите, сдайте повестку и документы.

Я ушел от Крыленко с облегченным сердцем. Сдал повестку и военный билет, и отправился в «зал ожидания». В этом зале мне пришлось просидеть до 25-го февраля, то есть четыре дня. Ежедневно, три раза в день, нас всех, призываемых, а было человек 50, выстраивали, делали перекличку и предупреждали никуда не отлучаться, так как, мол, через час-два придет представитель воинской части и нас заберет. Мой трехдневный запас хлеба кончился, и если бы товарищи по призыву 24-го февраля не поддерживали меня ломтем хлеба и парой вареных в мундирах картофелин, — я бы полностью голодал. Впрочем, я научился не есть по несколько суток, и только потуже затягивал ремешок на брюках. 25-го февраля появился какой-то лейтенант. Нас выстроили, сделали перекличку, и повели в баню на Жиланской напротив «Ленкузни». Там постригли, помыли и привели обратно в военкомат. Опять перекличка и опять «не расходитесь, через час отправка». Но отправки не было. Часов в 8 вечера опять перекличка и опять «не расходитесь, в 12 часов ночи отправка». Но и в 12 часов ночи не было отправки. Утром 25-го февраля в 6 часов опять перекличка, опять «не отлучаться, в 9 часов утра будет отправка».

Только что закончилась перекличка. В «зал ожидания» входит Сазанская. Увидела меня, подошла:

— Как хорошо, что я вас еще застала здесь. Вас разыскивал еще вчера вечером курьер Горжилуправления. Сказал, что вам есть письмо от жены, но письма не дал. Он не был у вас?

– Письмо от Анечки? Почему же вы не пошли в Горжилуправление и не взяли его? Может, еще успеете. Нас будут отправлять в 9 часов утра.

– Я успею, сейчас только 7 часов.

И она быстро ушла.

Боже мой! Какой я все-таки счастливый. Если бы Сазанская только успела! В последнюю минуту я все-таки узнаю об Ане. Но кого она так рано застанет в Жилуправлении? Хоть бы отправка задержалась и сейчас. Я уже не мог сидеть на полу спокойно. Я ходил взад-вперед по залу, каждые пять минут выглядывал в широкий коридор, не идет ли Сазанская, не идет ли тот вчерашний лейтенант, который должен нас забрать для отправки в часть. А время шло. Уже 8, уже половина девятого. Примерно без четверти 9 появилась Сазанская. О! Какое счастье! Она успела!

Я бросился к ней и, еще ничего не зная, задал ей один вопрос:

– Успешно?

Она коротко ответила: «Да!»

Я обхватил ее, и крепко, от души расцеловал. Вспоминая то свое состояние сейчас, я нередко повторяю, что если бы в ту минуту мне собака на хвосте принесла бы весть о моей Анечке, я бы собаку расцеловал и в морду, и в хвост, и под хвостом.

Но письма не было. Сазанская рассказала, что приходил некто Гольдберг из Наркомздрава и сказал, что разбирая ящики с делами, нашли письмо Сапожниковой, что она в Бухаре, и ее адрес: Швейная фабрика им. XVI Партсъезда. Вот и все. У меня была с собой бумага и химический карандаш. Я сразу же на подоконнике написал Ане письмо. Сижу, мол, в военкомате, жду отправки в часть. Пока жив, здоров. Что с вами, с Юрочкой, как ты живешь, что с Верой, мамой, Люсенькой, где Арон? Сейчас же напиши мне всё, всё. Я очень истосковался и намучился. Был в плену, сейчас отправят в действующую армию, и я опять буду бить фашистов. Пиши мне по адресу... Тут я задумался. А по какому адресу? Номера полевой почты своей будущей воинской части я не знаю. Пока узнаю, напишу, мой адрес придет в Бухару не раньше, чем через месяц, а может быть, два. Аня захочет мне ответить сразу же, так как это письмо получит значительно раньше.

Пусть пишет на адрес по ул. Ворошилова — Сазанской. Здесь ближе к фронту, и пока мои письма будут путешествовать в Бухару, а Анино ко мне — номер полевой почты я сообщу Сазанской, она будет знать его значительно раньше, а, получив первое письмо от Ани из Бухары, — сможет переслать его мне. В дальнейшем я, конечно, если останусь жив, буду вести переписку с Аней без посредства Сазанской.

Сазанская согласилась с моими рассуждениями, и я дописал в своем письме, куда Аня должна отправить первое письмо. Потом Сазанская достала из кошелки горшочек с супом и кусок хлеба. Она сказала, что догадывается, что я голоден, так как мой трехдневный запас пищи кончился. Она успела забежать домой и захватила для меня чего-то перекусить. Я был ей очень благодарен, так как был действительно голоден, наскоро похлебал суп, а хлеб завернул и спрятал, так как не знал, когда еще раз придется есть, попросил письмо отнести на почту и бросить в ящик, а на прощанье еще раз поцеловал Сазанскую.

Призванные в армию товарищи спросили меня:

— Это ваша жена приходила?

Нет, говорю, знакомая, но она мне принесла адрес моей жены, о судьбе которой я ничего не знал все два года, что был в оккупации, а в течение трех с лишним месяцев старался разыскать, но бесполезно, и вот в последний день из одного источника мне сообщили ее адрес. Вы себе представляете, как я обрадовался?

Была половина десятого. Нас пока не отправляли, только предупредили: никуда ни на шаг не отлучаться.

Вдруг меня вызывает военком Крыленко. В кабинете у Крыленко сидит какой-то майор в белом полушубке, в светло-серой смушковой полковничьей папахе. (Я только потом, много лет спустя, узнал, что такие папахи — это форменный головной убор полковников и генералов. Офицеры младшего звания, даже подполковники, имеют право носить только шапки-ушанки, а не папахи. Но тогда я этого не знал.) Новый майор производил очень сильное впечатление, и нисколько не был похож на простецкого майора Крыленко в его серой солдатской шинели. Крыленко протянул мне листок. Читаю:

Постановление ЦК КП(б)У и Совнаркома Украины. Смотрю, подписи: Хрущев, Коротченко. «Предоставить Гипрогражданст-

рою, организованному по решению Совета труда и обороны для производства проектных работ по восстановлению города Киева здание в г. Киеве по ул. Воровского, 26».

— Вот, сказал Крыленко, — я вам, т. Худяков, обещал, что больше отсрочек не дам, а отправлю в часть. Но сейчас я вас прошу — найдите помещение для нашего военкомата, так как мы это помещение должны срочно освободить майору Хабарову — директору Гипрогражданстроя — для размещения его института.

Что мне оставалось делать? Я только что узнал адрес Ани, отправил ей письмо, и буду с нетерпением ждать ответа. Ответ придет по адресу Киев, ул. Ворошилова. Может, пока я буду искать помещение для военкомата, ответ еще застанет меня здесь, в Киеве. Во мне боролись два чувства: желание скорее попасть в армию и желание узнать все подробности Аниной жизни. И это второе желание пересилило. Я не стал возражать, и согласился.

Но тут я подумал и о своем желудке. Чем я буду питаться эти дни? Ведь февраль кончается, а на март я нигде не числюсь? и никто мне даже хлебной карточки не выписал. Я обратился к Крыленко и попросил его зачислить меня на питание в военкомат, на что Крыленко ответил, обращаясь одновременно ко мне и Хабарову:

— Это вы, т. Худяков, не для нас задерживаетесь, нам и здесь хорошо, а для Гипрогражданстроя. Думаю, что майор Хабаров найдет возможность обеспечить вас питанием.

Хабаров сразу согласился. Мы зашли в пустую комнату на первом этаже. Там сидел какой-то человек, а на столе стояла пишущая машинка. Человек от руки составлял какой-то список. Хабаров распорядился:

— Включите в список Худякова!

Человек задал вопрос:

— А приказ на него есть? На какую должность?

— Гм? — и обратился ко мне: — Что вы можете делать?

Я ответил:

— По проектированию — ничего, разве что чертежником.

Ну, сказал Хабаров, — пишите. И протянул мне лист бумаги.

— Зачем писать, я напечатаю.

Я сел за машинку и быстро под диктовку Хабарова напечатал приказ о моем зачислении чертежником. Хабаров удивился:

– Так ты и печатать хорошо умеешь и правильно располагаешь текст! Так вот, я тебя назначу управляющим делами института.

И попросил приказ перепечатать, сказав, что список, который составлял тот человек, это заявка на хлебные и продовольственные карточки на март месяц.

Итак, я — управделами Гипрогражданстроя. Дом для райвоенкомата я нашел быстро, в течение двух дней. Но он был занят караульной ротой ЦК КП(б)У. Лебедь без санкции ЦК КП(б)У не решился подписать решение Горсовета о передаче дома райвоенкомату. Надо было выселять караульную роту. К тому времени ЦК уже переехал в облюбованное им здание на ул. Орджоникидзе, и держать свою караульную роту на Саксаганского в районе площади Победы было не с руки: слишком далеко. Я знал, что вот-вот караульная рота переберется в здание ЦК или куда-то поблизости в один из домов рядом со зданием ЦК. Короче, мне надо было получить согласие ЦК партии на передачу этого дома по ул. Саксаганского райвоенкомату. В ЦК КП(б)У этими вопросами ведал один из секретарей — некто тов. Гонта, которого я уже немного знал раньше по отводу помещений для различных учреждений, подчиненных ЦК. Я пошел к нему на ул. Орджоникидзе. Часовой в дверях ЦК меня знал в лицо, и сразу без всякого пропуска пропустил. Гонту я застал, и он дал согласие, сказав, что караульную роту ЦК заберет через неделю, сразу наложил визу на проект решения Горсовета, приписав, что ЦК не возражает передать дом райвоенкомату после освобождения его караульной ротой. Увидев визу за подписью Гонты, Лебедь подписал решение Исполкома Горсовета, я перепечатал несколько экземпляров, Лебедь подписал, пристукнул печатку, и я на крыльях полетел в райвоенкомат. На все это ушло около пяти дней. Я принес решение райвоенкому Крыленко.

– Вот теперь все. Караульте, когда эта рота будет выбираться, и сразу занимайте, а меня отправляйте в часть.

– Нет, — ответил Крыленко, — Мы тебя отправим уже из нового помещения, а пока работай у Хабарова.

Хабаров, между тем, набирал штат — инженеров-конструкторов, сантехников, изыскателей, электриков, архитекторов, чертежников и других. Многих, кого он знал лично, вытребовал прямо из действующей армии через Министерство обороны, многим местным, застрелявшим в Киеве на период оккупации, вытребовал броню от мобилизации в армию. Очень многим нужна была прописка в Киеве, многим надо было достать ордера на жилплощадь, между прочим, и самому Хабарову. Я, пользуясь тем, что ордерами ведал мой бывший инспектор Харченко, достал Хабарову несколько ордеров для некоторых работников — некиевлян, чем заслужил у Хабарова вполне естественное удивление и восхищение. Он мне заявил:

— Я вас, тов. Худяков, оставляю у себя в институте на постоянную работу. Что? Вы военнообязанный, должны идти в армию? Чепуха. Я вам получу броню. У меня есть мандат и постановление СТО (Совет труда и обороны) за подписью самого Сталина. Я имею право принять на работу пятьдесят человек, кто бы они ни были, хоть бывшие пленные, хоть просто проживали на оккупированной территории, хоть находящиеся сейчас в действующей армии. Вы же видите — я отзываю людей прямо с фронта, и всем получаю бронь. А на вас я бронь уже затребовал, и со дня на день жду ее. Так что не артачьтесь!

Я не чувствовал себя вполне оправившимся. Я был слаб, дистрофик, ноги, как колоды, еще не вошли в норму, страдал головокружением, головной болью, засыпал по несколько раз в день сидя, стоя, на ходу. Я сознавал, что боец из меня никудышный. Я хотел мстить немцам, проклятым фашистам, и скрывал все эти свои недомогания и от медкомиссии в военкомате, и вообще от окружающих. Но тут сама судьба так складывалась, что меня, против моей воли, в армию пока не взяли. Промелькнула мысль об Ане и Юрочке. Ведь письма из Бухары я еще не имел, и что с ними, по сути, ничего не знаю. И я «не артачился». Бронь пришла через несколько дней, бронь со сроком по 31 декабря 1944 года.

Где-то в середине марта я получил из Бугуруслана ответ на мой второй запрос, был уже указан адрес Ани — Бухара, швейная фабрика, но это я уже знал, а вот ответ Ани я получил только в середине

апреля. Какое счастье: Аня и Юрасик живы, правда, горя хлебнули много. Бедная Вера потеряла Арона, Люсеньку, — каково ей. Надо сделать так, чтобы мы теперь жили все вместе — мы с Аней и Юрочкой и Вера с мамой.

Надо было думать о квартире, а этот вопрос усложнился, так как в Киев нахлынула уйма людей. Эвакуированные по праву возвращались домой. Но этим воспользовались многие сотни, если не тысячи разных граждан, проживавших раньше в других городах Киевской и не Киевской областей, ничего не имевших общего с Киевом. Всем хотелось жить в столице. Действовал закон, что людям возвращается та жилплощадь, какую они занимали до войны. А на многие квартиры уже были выданы ордера совсем другим лицам. Начались бесконечные судебные процессы по выселению, уплотнению, переселению. Не избежал этой сумятицы и я. Меня трижды вызывал прокурор, заявляя, что на мою комнату претендует та девушка, что раньше в ней жила. Но, узнав, что она эвакуированной не была и выехала из комнаты после освобождения Киева, а я получил вполне законно на комнату ордер Горжилуправления, а не занимал ее самовольно или при немцах, дело закрывали, и комната оставалась за мной.

А жилплощади в Киеве уже давно не хватало. Ведь до 30% основного жилфонда, сосредоточенного в крупных домах в центре города, было сожжено немцами. Чтобы сдержать приток всех желающих поселиться в Киеве, по решению Совнаркома Украины была создана правительственная комиссия, которая выдавала разрешения на въезд в Киев. Причем, эта правительственная комиссия рассматривала заявления и документы не только граждан какого-нибудь Житомира, Корсуня, Бердичева или другого городка или местечка, но и заявления и документы всех эвакуированных из Киева. Правительственная комиссия обосновалась на бульваре Шевченко, 4. Там собиралась тысячная толпа. Люди ввели списки очередности. Когда я записался, я был что-то 2800-м. Чтобы не потерять очередь, надо было трижды отмечаться — в 3 часа ночи, в 6 часов утра и третий раз — в 6 часов вечера. И вот я около месяца ходил трижды в сутки отмечаться в очереди. Так прошел май. Наконец, очередь дошла до меня. Я, конечно, получил разрешение на въезд Ани и

Юрочки. Но Вера и мама? Я даже точно не знал, как маму зовут. Пока я запросил Аню в Бухару, пока получил ответ, прошли май и июнь. Веру я назвал своей женой (иначе разрешения не дали бы).

В июле я повторил цикл стояния в очереди и трехкратных в сутки отметок и, наконец, получил разрешение на въезд в Киев Веры и мамы. Эти разрешения я немедленно отправил в Бухару. Я торопился. Обстоятельства так складывались, что, несмотря на бронь, меня могли бы взять в армию. Хабаровов вовсе не был таким добреньким дядей. Я ему был нужен, когда надо было выселить райвоенкомат, я ему был очень полезен, когда «добывал» ордера на жилплощадь. К лету 1944 года это сделалось, несмотря на знакомства, невозможным. Я в 6 часов утра ходил в правительственную комиссию. Правда, я возвращался в институт и работал ежедневно до 10-11 часов вечера; пока он сидит, я уходить не имел права. Наконец, я днем несколько раз засыпал и чувствовал, что Хабаров начинает тяготиться мной.

Для характеристики Хабарова сделаю отступление. Приходит он на работу в 9 утра. Вызывает меня (а мой стол возле дверей его кабинета) .

— Попросите ко мне начальника сантехнического отдела инженера Крамаренко.

Иду, зову. Входит Крамаренко.

— Товарищ Крамаренко! Что у вас сейчас делает техник Болотова?

Крамаренко отвечает:

— Болотова, кажется, заканчивает чертеж отопления здания Верховного Совета.

— Вам это кажется или действительно она делает этот чертеж? Какой же вы начальник отдела, если точно не знаете, что делают ваши подчиненные! Не хотите сами работать — не надо. Я вас разбронирую и отправлю в военкомат. Убирайтесь вон!

Крамаренко уходит.

— Товарищ Худяков! Попросите ко мне начальника электротехнического отдела Маевского.

Иду, зову. Входит Маевский.

— Здравствуйте, товарищ Маевский! (Протягивает ему руку.) Скажите, когда вы пришли сегодня на работу?

Маевский отвечает:

– В 9 часов утра, ну, может быть, было минуты три десятого...

– А кто вам дал право опаздывать даже на три минуты, лодырничаєте? Пример подчиненным показываете? Работать не хотите! Разбронирую и отправлю в военкомат! Убирайтесь вон!

– Товарищ Худяков, попросите инженера-конструктора Пожарскую!

Я пошел звать Пожарскую. Ее на месте не оказалось. Начальник конструкторского бюро инженер Примак сказал, что только что вышла, может в уборную, и пошел сам к Хабарову.

– Пожарская только что куда-то вышла. Что вы хотели?

Хабаров вспылал:

– Что значит, куда-то вышла? Вы начальник отдела и не знаете, где шатаются ваши подчиненные в рабочее время. Работать не хотите? Разбронирую и отправлю в военкомат. Убирайтесь вон!

И так с каждым начальником отделов: «не хотите работать, разбронирую и отправлю в военкомат. Убирайтесь вон!» При этом пересыпает свои слова матерной бранью.

Взъелся как-то из-за чего-то на меня, и тоже «разбронирую..., в военкомат..., вон!»

В кабинете был главный инженер Юровский и еще кто-то. Я не выдержал, и как мог спокойно ответил Хабарову:

– Стыдно вам, коммунисту, директору института, подполковнику превращать военкомат в место какой-то ссылки. По-моему, военкомат, да еще во время войны, выполняет почетную работу, и пугать военкоматом вам не к лицу.

Хабаров несколько опешил и сказал:

– А если лодыри не хотят работать, мать их так и перетак, пусть лучше идут Родину защищать.

Но я, раз уже начал, то решил: пусть будет что будет, но я ему скажу все:

– Чем дальше, тем «лучше». По-вашему Родину защищают лодыри. Если бы это были лодыри — наша армия от Сталинграда не дошла бы до государственных границ, и Украина не была бы освобождена от фашистов. А как по мне — отправляйте в военкомат

хоть сейчас. Я видел немцев и в бою в атаке, и в плену, и в оккупации здесь в Киеве. Не то что некоторые, даже с высокими званиями лица, знают немцев только по картинкам...

Хабаров помолчал, наконец, выдавил из себя: «Вон!» Я ушел. Прошло минут десять. Хабаров вызывает опять меня. В кабинете никого уже не было. Мы один-на-один. Хабаров, переходя на «ты», обратился ко мне:

— А здорово ты, Худяков, посадил меня, да еще в присутствии сотрудников. Ты вот что скажи, когда я ругаюсь, за дверями слышно?

— Все от слова до слова слышно!

— Так вот, если я разойдусь, ты входи без вызова и шепни мне, что, мол, потише, товарищ Хабаров, люди за дверями смеются...

В военкомат он меня не отправил и реже стал бушевать в кабинете, но зло затаил. Для полной характеристики Хабарова приведу еще такой случай. К Хабарову зашел в кабинет начальник планового отдела Лейферман. Принес на подпись какую-то ведомость. Хабаров внимательно стал рассматривать и, обращаясь к Лейферману, сказал:

— Зачем вы ввели еще эту графу? В моей форме, что я вам дал, этой графы не было.

Лейферман ответил:

— Я показывал эту ведомость главному инженеру тов. Юровскому, и тот сказал, что надо ввести эту графу. Сведения будут полнее и яснее.

Хабаров вспылил:

— Юровский? Что вы называете оболтусов, какие у меня работают? Я это знаю и без вас. Перепишите ведомость без этой графы, и в дальнейшем научитесь выполнять мои указания без отсебятины и без советов всяких болванов.

При этом разговоре присутствовал я и сам Юровский. Кстати скажу, что Юровский со всех точек зрения — замечательный человек, — занимал должность главного инженера и главного конструктора института. Человек большой эрудиции и высокой квалификации. Очень сердечный и душевный человек. И вдруг — оболтус, болван. Я глянул на Юровского. Тот покраснел, потом побледнел, но промолчал. Я видел только, как у него нервно запрыгали желваки на

щеках от стиснутых зубов. Лейферман ушел, вышел и я. Не знаю, состоялся ли у Хабарова по этому поводу разговор с Юровским.

Для чего я все это пишу? Ведь моей биографии это непосредственно не касается. Вероятно, для того, чтобы понятно было, в каких условиях мне приходилось работать, чтобы видно было, какие у нас при советской действительности водились самодуры, облеченные и чинами, и властью. Это в какой-то мере отразилось и на моей психологии. Мне вспомнились и времена «ежовщины», и комиссар 2-го ОПБ, пьяница и развратник, и нарком Госконтроля Украины — взяточник Черновол и еще, и еще люди, с которыми я сталкивался. Конечно, хороших было больше. Конечно, правда, в конце концов, всегда торжествовала. И всякие самодуры, властолюбцы или просто корыстолюбцы, подхалимы и хабарники встречались реже, но эти факты заставили меня не окружать ореолом святости никого, независимо ни от занимаемой должности, ни от звания.

Я упомянул наркома Госконтроля Черновола. Поясню фактом. Кстати, скажу пару слов и о моем старом знакомом заместителе Председателя Совнаркома УССР Митьке Жила. О его братце Мишке Жила я уже писал. Примерно в январе 1944 года председатель Горсовета Лебедь направил меня к Черноволу, сказав, что «сам» Черновол хочет осмотреть какой-то дом, чтобы установить степень его разрушенности с тем, чтобы передать его какой-то организации. Лебедь недвусмысленно сказал, чтобы я в акте о разрушениях не стеснялся в красках. Когда я пришел к Черноволу и отрекомендовался, что я представитель Горсовета, Черновол предложил мне немного подождать, сказав, что сейчас за нами заедет машина, и жестом указал на стул около его стола. В это время зазвонил телефон, и я был свидетелем такого разговора (понятно, я слышал только Черновола). Передаю почти дословно:

— Что? В час дня отправляется самолет в Харьков... Так поторопливайтесь. Напоминаю адрес — улица Саксаганского, 28, квартира № (не помню) на 3-м этаже в ванной комнате стоит немецкая ванная колонка, снимите ее, отвезите в аэропорт и погрузите на самолет... Да! Это для зампреда Совнаркома Жилы... Он был здесь, видел колонку, ему понравилось, и он распорядился отправить ему

на харьковскую квартиру... Поторопитесь, чтобы не опоздать к отлету самолета!

Я подумал: какой же ты, Митька Жила, несмотря на свое положение, барахольщик и мерзавец. Идет война. Немцы еще под Киевом и бомбят Киев почти каждый день, а ты уже полазил по квартирам и облюбовал себе «трофей» — немецкую ванную колонку. Ведь через месяц-другой ты из Харькова переедешь в Киев. Так нет, не терпится уже сейчас попользоваться колонкой. Да и Черновол хорош, видно, подхалим порядочный. Ведь война, город забит ранеными, транспорт не справляется с отправкой в тыловые госпитали, а тут «колонку для Жилы, поторопитесь».

Так я молча сидел и размышлял. Но вот пришла машина с какими-то двумя «представителями». Мы с Черноволом вышли, уехали и поехали на ул. Назарьевскую (сейчас — Ветрова). Там против Ботанического сада стоял пятиэтажный дом, принадлежавший до войны железной дороге. Он и был выстроен в 1938 году железной дорогой. Дом жилой и совершенно целый. С внешней стороны, кроме нескольких разбитых окон, никаких повреждений заметно не было. Внутри также особых повреждений не было. Белые мраморные ступени лестницы кое-где имели трещинки. Потолки в комнатах тоже имели небольшие трещины. Дом был пустой. При немцах он использовался под какую-то фирменную контору, и на первом этаже две квартиры были соединены в одну как конторская площадь. На остальных этажах было жилье. Дом, естественно, не отапливался, и батареи в комнатах были холодные. Мы вышли на чердак — крыша была целая, но в некоторых местах светились дырочки, видно, пробитые пулями при обстреле с самолета. Маленький затек был виден на потолке одной комнаты.

Я сказал Черноволу:

— Дом целый, требуется, конечно, текущий ремонт, частичная перетирка потолков, побелка, небольшой ремонт крыши, ну, конечно, надо затопить котельную, проверить центральное отопление, может, если вода не спущена — где-то замерзла в трубах.

Сел писать акт. Но тут Черновол стал мне диктовать. Пиши, говорит: «Наружные стены в трещинах от крыши до самого низа, все

стекла в окнах выбиты, потолки в половине комнат обрушены, крыша вся разворочена, система центрального отопления и водопровод разморожен, трубы и радиаторы растресканы, лестничная клетка разрушена, ступени выбиты, общий процент разрушений составляет 60%. Поэтому комиссия считает возможным передать дом для совместного восстановления и пользования Укрмясомолпрому, Укрмясомолснабу и Укрмясомолсбыту».

Я запротестовал:

– Дом принадлежит железной дороге, а по закону дома могут передаваться другим ведомствам только, если процент разрушений составляет больше 50. Тут же, хотя Вы определили 60%, на самом деле не больше 10% разрушений. Железная дорога может опротестовать, и получится скандал.

– Ну, пока железная дорога очухается, в дом въедут мясомолпромы, нагонят людей, начнут что-то мазать, стучать, и железная дорога останется с носом, а документ за моей и твоей подписью как представителя Горсовета, останется в деле, а из этого документа будет видно, что дом был разрушен на 60%, и все будет в порядке, и никому никаких неприятностей не будет.

Черновол сам своей рукой написал акт, подписал его первым и протянул мне: «Подписывай», — сказал он. Я смалодушествовал, отступил от своего принципа, быть всегда правдивым. Может, повлиял авторитет наркома Госконтроля, может, вспомнились слова Лебеда, он же председатель Горсовета, — «не жалеть красок», но я акт подписал. После меня акт подписал и представитель Мясомолпрома. Второго представителя не было. Мы вышли на улицу. Машины не было. Минут через 15 подъехала машина со вторым представителем. Мы уселись и поехали. Сидя в машине, Черновол обратился ко мне:

– Где ты живешь? Мы сначала завезем тебя домой.

Я ответил:

– А я на работу, ведь еще рабочее время (было 4 часа дня).

– А я хочу отвезти тебя домой. Сегодня на работу можешь не идти. Уже поздно, а Лебедею я скажу.

Когда мы подъехали к Ворошилова, 25, где я жил, и я стал вылезать из машины, Черновол протянул мне сверток.

– На, возьми, это тебе пригодится. Сейчас время трудное...

Я понял, что это взятка за подпись акта. Меня бросило в жар, я за-протестовал. Но Черновол стал уговаривать. В конце концов, я главное уже сделал. Липовый акт с моей подписью у Черновола в портфеле. Семь бед — один ответ. Черт с вами всеми, подумал я, тем более что увидел в машине еще один пакет, так раза в четыре больший, чем мой. А это, подумал я, — тебе, уважаемый нарком Госконтроля. Мясомол-промовцы купили и тебя. Время же трудное... И я взял пакет. В нем оказалась замороженная курица и килограмм сливочного масла. Продукт, которого я не видел уже несколько лет. Курицу я съел дня за три, а масло растянул недели на три, держа его между створками окна. Меня все время мучила совесть, да мучает и сейчас еще. До чего я дошел, какая я гадость, мерзость, пошел на поводу... Что мне нарком Черновол? И это называется Госконтроль? А Лебедь? Предгорсовета... «не жалейте красок»: сволочи вы все. А эти мясомолпромовцы, спекулян-ты, пристроились в теплых местечках, а народ жизнь свою отдает, чтобы освободить страну от нашествия фашистов, чтобы сделать жизнь в нашей стране еще лучшей. Но я сказал, что хороших больше и что правда всегда восторжествует. Сейчас мне известно, что Жила в Киев не переехал. Его сняли с должности зам. пред. Совнаркома еще в 1944 году, примерно в 1944 или 1945 году сняли и Черновола с должности наркома Госконтроля за пьянство, разврат и служебные преступления, сняли и Лебеда в 1944 году. Куда они подевались, не знаю. А эта курица и масло меня мучают и сейчас. Дом же по ул. Ветрова так и остался в ведении масло-мясо-молпрома. Я как-то уже в 60-х годах ходил, и видел на дверях их вывеску.

Я продолжал работать в качестве управделами. Хабаров взял себе личного секретаря, какую-то красивую «девушку» с пышными волосами каштанового цвета с бронзовым оттенком и синими глазами. Она во время войны была личным секретарем какого-то генерала, была ранена в бедро в области таза, и лежала в Киеве в госпитале несколько месяцев. Где Хабаров ее подцепил — не знаю. Когда он ее представлял мне, он сказал:

– Это синеглазый Том. Будет моим секретарем, а вы занимайтесь делопроизводством и хозяйством. Вам и так хватает работы.

Две машинистки, кладовщик, уборщицы, вахтеры, а по моему звонку будет ко мне ходить Том!

Когда я спросил нового хабаровского секретаря, как ее зовут, она ответила:

– Вообще мое имя Тамара, но генерал, при котором я была, называл меня синеглазым Томом, так за мной и закрепилась эта кличка.

Генерал уехал с войсками задвигающимся на Запад фронтом, а его «Том» застрял в госпитале в Киеве. Я пишу о ней только потому, что она доставила мне много неприятностей и волнений. Как-то раз Хабаров должен был поехать в командировку в Москву вместе с представителем Управления по делам архитектуры при СНК УССР. Хабаров получил в Наркомате Жилгражданского строительства два бланка командировочных удостоверений. Выписал на одном командировку себе (подписал Юровский), а так как фамилии представителя Управления по делам архитектуры не знал, оставил бланк пустым, но подписал его, поставил печать и штамп и оставил у меня. Представитель должен был прийти через два дня, назвать себя и я должен был заполнить уже подписанный бланк и выдать ему. Хабаров в этот день выехал, а подписанный и оформленный бланк спрятал в боковой ящик своего письменного стола. Бланки командировочных удостоверений были бланками строгой отчетности, и за утерю такого бланка грозила судебная ответственность с наказанием тюрьмой до 5 лет. Свое распоряжение Хабаров давал мне в присутствии этого «Тома» и при ней же я положил бланк в ящик стола и закрыл на ключ. Вечером перед уходом домой я проверил ящик, но бланка не нашел. «Том» уже ушла домой. Я еще и еще раз перерыл все бумажки, но бланка не было. Что делать? И я пошел на вокзал к билетным кассам и стал наблюдать за очередью «командировочных». Я заметил, что все командировочные, когда до окошка оставалось в очереди 5–8 человек, доставали для предъявления свои документы, разворачивали их, и я стал толкаться возле, стараясь через плечо заметить свой бланк. Я пропустил уже около сотни людей, но безрезультатно. Было уже 12 часов ночи, а в час ночи отправлялся последний поезд — на Львов. Я потерял надежду поймать вора. Но вдруг увидел какого-то молодого

парня, и в руках у него бланк, подписанный Хабаровым, характерная размашистая подпись сразу бросилась в глаза. Я взял парня за руку и сказал «выйдем на минутку». Парень вышел из толпы. Я его держал за руку, но заметил, что в руке у него уже ничего не было. Я оглядывался по сторонам, ища глазами милиционера или вообще дежурного с повязкой на рукаве, но никого не было.

— Отдайте украденное вами командировочное удостоверение, — сказал я, — иначе я отведу вас в отделение милиции!

— Да нет его у меня, и не было! Чего вы ко мне прицепились!

— Врешь! Чего же ты стоял в очереди в кассе?

— Да я не стоял, я стоял сбоку, случайно.

— Тогда пошли к дежурному! И я потянул его за рукав.

А сам тщетно оглядывался, ища глазами какого-нибудь блюстителя порядка, но никого в толпе не видел. Тут этот парень рванулся и смешался с толпой. Видно, он был не один и, когда я его выводил из очереди, командировку успел передать кому-то другому. Я уловил только возглас из толпы — «подвел нас синеглазый!». Но кто сказал это и сказал ли вообще, — может, это мне почудилось — не знаю.

Утром, пользуясь тем, что Хабарова нет, Тамара пришла на работу с опозданием. Я успел рассказать все Юровскому. Юровский меня успокоил:

— Бланк для представителя я сегодня в НКЖГС достану. Тамару к работе не допускайте и никуда не выпускайте. Я поговорю с ней, а там видно будет. Без Хабарова ничего предпринимать пока не будем. Это же его кадр.

В кабинете Юровского Тамара расплакалась, призналась, что это она взяла бланк, она, мол, не знала, что это бланки строгой отчетности, она дала двум ее знакомым парням, которые хотели поехать во Львов. Они приезжали держать экзамен в какой-то киевский институт, их приняли, и они ехали домой взять вещи и продовольствие, от армии их освободили на медкомиссии, сами они из-под Львова, командировку они, испугавшись, сожгли, она возратить не может.

Кончилось тем, что Юровский достал новый бланк, «синеглазого» Тома я не впускал даже в рабочую комнату, и она пять дней аккуратно приходила к 9 часам утра, уходила в 6 часов вечера, но весь

день слонялась по коридорам, ожидая Хабарова. Хабаров приехал из Москвы через пять дней, и сразу же ее уволил, а мне сказал:

– Молодец, проявил бдительность.

Но это эпизод в моей жизни, и о нем можно было бы не вспоминать, хотя он и заставил меня в свое время сильно поволноваться. Но основное мое волнение было, как я приведу Аню с Юрой, Верой и мамой в свою 8-ми метровую комнату. Жилья в городе не хватало, и даже Харченко, ведающий распределением жилой площади, отказался мне помочь. Ищи, говорит, найдешь, — выдам ордер. А где искать? Не ходить же мне из дома в дом, нет ли здесь пустующих комнат, тем более, что знакомых управдомов не было. На мое счастье, Гипрогражданстрой имел какую-то сумму, порядка 200–250 тысяч рублей, на восстановление жилого дома для своих специалистов. Деньги эти по тем временам очень небольшие, и найти такой дом было почти невозможно. Наконец, один инженер, живущий в Печерском районе, сказал, что на Московской улице, 5 есть половина пятиэтажного дома. Одна половина сгорела дотла, одни развалины, а во второй половине сгорела только крыша и частично чердачное перекрытие, но в общем, можно эту половину восстановить, и иметь несколько квартир с числом комнат до 40. Если кооперироваться с какой-то другой организацией, можно иметь комнат 20. Хабаров ухватился за этот дом, стал искать компаньона, нашел его в лице Проектстальконструкции, добился решения ЦК КП(б)У и Совнаркома, предписывающее Киевскому Горсовету отдать дом под восстановление Гипрогражданстрою. И стал искать подрядную организацию для производства работ. Дело в том, что и мы, и Проектстальконструкция имели деньги, а материалов и рабочей силы не имели. Такой подрядной организацией оказался 4-й строительный мостовой участок — организация военная, восстанавливающая железнодорожный мост через Днепр. Юридически хозяином дома был Гипрогражданстрой. Заключение договора, и летом 1944 года начались работы. Работали солдаты. Но получилось так, что и 4-й мостовой участок, и Проектстальконструкция и не думали восстанавливать весь дом, а начали не с крыши и не с чердачного перекрытия, а с квартир второго, потом третьего эта-

жей. Причем, восстановят квартиру, и сразу же вселяют своих работников, а в первом этаже жили старые довоенные жильцы. Второй и частично третий этаж заселил 4-й мостовой участок. У нас в Гипрогражданстрое был составлен список, кому будет предоставлена жилплощадь. Мне было предназначено 2 комнаты (ведь у меня семья состояла из 5 человек вместе с Верой и мамой).

Хабаров заявил:

– Пока дом восстанавливают, всю жилплощадь захватит мостовой участок и Проектстальконструкция, и мы останемся с носом. Поэтому занимайте сейчас, вселяйте свои семьи и сидите, не оставляя квартир пустыми. Черт с ним, что нет света, воды, что выбиты стекла, текут потолки, печи разрушены.

Мне отвели две комнаты на третьем этаже, но мне некого было поселить, а через два-три дня Хабаров эти две комнаты отдал инженеру Рябошапке, к которому приехала из эвакуации жена с четырьмя детьми, и он сидел с ними в коридоре в институте. На втором этаже две комнаты занял нач. ТНБ Лобков, у которого жена с двумя дочками где-то ютилась, еще две комнаты тоже на втором этаже занял инженер-электрик Гайдай, также с женой и двумя дочками. Впрочем, Лобков и Гайдай заняли на втором этаже комнаты еще до решения Хабарова, поэтому и успели их захватить. Рябошапка тоже успел вселить свою «капеллу». Остальные все комнаты на втором и третьем этажах захватили 4-й мостовой участок и Проектстальконструкция, и мне уже пришлось забираться на четвертый этаж, где я облюбовал себе две комнаты, смежные, но с отдельными ходами. Комнаты такие, в каких впоследствии на пятом этаже жил Черноус.

Первым делом я купил на раскладушке на толкучке два хороших кольца и замок, заплатил что-то около сотни рублей, и закрыл их, потом месяца полтора ходил и пробивал замурованную дверь, соединяющую эти две комнаты, забил фанерой выбитые стекла в окнах, и все ждал: вот-вот приедет Аня. Но случилось так, что Аня выехать не могла, а я разрывался на части.

Первые три этажа в доме были заселены. К началу зимы 1944 года 4-й мостовой участок начал делать поползновения приступить к ремонту четвертого этажа. К этому времени Хабаров образумился, и

расторг договор с мостоучастком по мотивам, что они дом не восстанавливают, а только захватывают себе квартиры. Мы опять остались без подрядчика, а дом без крыши, без света, воды, с трещиной от карниза до уровня четвертого этажа и отклонившейся стеной на улицу Левандовского (теперь — Онищенко).

Скажу, что на эту половину дома каждая из организаций открыла свою подворную книгу. Мы в своей прописали Лобкова, Гайдая и Рябошапку с семьями. Стаьконструкция прописала своих, кого вселила, а мостовой участок — своих. Кроме того, существовала еще 4-я книга домоуправления, в которой были прописаны старые жильцы первого этажа. На этом прекратились все работы по дому.

Зимой 1944–1945 года мы нашли нового подрядчика — УВР-7 (железнодорожная восстановительная организация). Заключение договора. Определили в договоре точно — весь четвертый этаж — для УВР, весь пятый этаж — для Гипрогражданстроя. У себя разместили, кому на пятом этаже какие комнаты. Мне — две комнаты общей площадью 28–30 метров, окнами во двор, в том крыле, где как раз было сгоревшее перекрытие и часть крыши.

УВР-7 с весны 1945 года начал работы. Стянул железными штангами отколовшуюся стенку, стал делать перекрытие, крышу, и одновременно начал заселять четвертый этаж и ту часть дома на пятом этаже, где крыша была целая. Хабаров был к этому времени переведен в Москву, а к нам был прислан директором некто Ткаченко — архитектор и бывший белорусский партизан. Ткаченко сразу встретил в штыки идею восстановления дома и не захотел спорить с УВР-7. Мое, говорит, дело заниматься проектированием и восстановлением разрушенных правительственных домов, а не обеспечивать всяких сотрудников жильем. Я в это дело вмешиваться не буду. Заварили кашу, расхлебывайте теперь сами.

Я видел, что мои надежды трещат, и к концу 1945 года лопнули совсем. Поддержки у Ткаченко я не имел. Юровский, хоть и величина, но в этом вопросе держал себя — «моя хата с краю». Настроение у меня было убийственное. Ко всем прочим неприятностям на службе, с квартирой, я обносился совершенно. Я весь 1944 и 1945 годы собирал понемногу деньги, чтобы к приезду Ани было бы что-то, но ботин-

ки мои, которые я носил еще с 1941 года, несмотря на то, что я их бесконечное число раз и подбивал, и подшивал, и подвязывал — развалились окончательно, и я где-то в августе 1945 года купил себе на толкучке новые военные ботинки за 1400 рублей. Ботинки американской поставки, выглядели очень добротными, но на осенних дождях раскисли, подошвы как блины, верх промокал, в общем, дрянь. Пальто тоже пришлось в полную негодность. Я его пошил еще в 1933 году, мало что носил все время, но в зиму 1941–1942 года особенно, да и потом заворачивался, укрывался им. Не было и костюма, в общем — ничего. Я все латал, штопал, но все уже было к носке непригодное. С наступлением зимы в 1945 году я вынужден был купить на базаре шинель. Это еще 1500 рублей. Шинель — новая. Но что толку, если я на ботинки и шинель израсходовал все свои накопления, которые берег для встречи с Аней. А получал я всего 700 рублей — после вычетов налога и за подписку на заем — у меня оставалось что-то около неполных 600 рублей. А на рынке все было баснословно дорого.

Цены держались, как при немцах. Стакан пшена или гороха — 25–30 рублей, килограмм картошки — 50–60 рублей, буханка хлеба — 100 рублей. Пакет очень скудный, хлеба, правда, давали по 400 грамм на день, сахара — 400 грамм в месяц, но сахар давали раз в три-четыре месяца, а то и заменяли какими-нибудь пряниками. По карточке числилось мясо, жиры (100 грамм на месяц), крупа. Но продуктовые карточки я сдавал в столовую и получал, правда, за деньги, обед — рассольник, напоминающий баланду, какой нас кормили в плену, и одну столовую ложку жидкой кашицы — пшенной размазни на второе. Так что я, по сути, жил впроголодь. Спасался только хлебом. Сахар я собирал для встречи с Аней, и набрал уже около трех килограмм. Приготовил я и Юрасику подарок — покупал на толкучке разные книжки — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Жюль Верна, разные путешествия. Все это было, конечно, не то, в чем Аня и Юрасик нуждались. Я это узнал лишь потом.

Но тогда из Аниных писем я ничего установить не мог. Она всегда писала, что все у них благополучно, что ничего им не надо. Я себе и сейчас не могу простить, что не послал им денег. За все время я мог хоть пару раз собрать и послать Ане хоть по 500 рублей. О

том, каковы перспективы ее возвращения в Киев, Аня не писала, отделиваясь одной фразой: не отпускают. Ну, в первое время она, может быть, боялась, что фронт близок, что Киев могут бомбить. Потом, летом 1944 года — болела, потом на зиму ехать боялась, но весь 1945 год — не пускают, и всё.

Последний месяц от нее вообще не было писем, и вдруг числа 15-го декабря — телеграмма из Днепропетровска. Приезжай, заведи нас. Не могу описать, какая радость охватила меня. Наконец, я увижу своего Юрасика, свою Анечку. Она уже здесь, на Украине, а не в далекой Бухаре. Надо ехать! Но с чем? Денег у меня нет. Квартиры в Киеве тоже нет и перспектив на квартиру нет. Что мы будем пятеро делать в моей маленькой комнатухе? Продуктов у меня тоже почти нет. Всего с пуд картошки, килограмма 3 сахара и немного пшена, купленного на стаканы на базаре. Продуктовые карточки я же сдавал в столовую. А ехать за Аней надо. Как бы там ни было. Я впал в отчаяние. Я упросил директора Ткаченко дать мне отпуск на пять дней для поездки в Днепропетровск, дождался 20-го числа аванса в счет зарплат, получил 300 рублей, одолжил у сотрудников еще 200 рублей, да и у меня еще оставалось около 200 рублей из моих сбережений, и стал охотиться за билетом на поезд.

Командировку в Днепропетровск (там у нас был организован филиал Гипрогражданстроя) мне Ткаченко отказался дать, а достать билет без командировки было делом очень трудным. День проходил за днем, а я билета достать не мог, и уже подумывал ехать на ступеньках вагона без билета, рискуя замерзнуть и свалиться под колеса.

У Сазанской отец был железнодорожным кассиром, и после его смерти остались знакомые, правда, с ними связь потеряна была уже много лет, но она предложила мне найти их и помочь достать билет. Я этой ее помощью не воспользовался. В городской железнодорожной кассе мне подсказали постоять в очереди, где билеты продавались по броне ЦК и Совнаркома, и за две — три минуты до закрытия кассы у них оставались билеты, и можно было достать. Я так и сделал, и билет в конце концов достал.

Вагон был набит до отказа, я еле втиснулся, почти всю дорогу стоял, прижавшись к стенке. Только после станции Бобринская (те-

перь — Шевченко) удалось сесть, не спал. Настроение подавленное, и только образ Ани и Юры меня воодушевлял. В полудреме все время проносились образы, как мы жили до войны, как пыталась Аня уехать из Киева, как мы прощались на улице, оба растерянные, без ободряющих друг друга слов, как Юрочка растерянно, испуганно смотрел на меня. Теперь все кончилось. Прошло четыре с половиной года. Какими я увижу их? Рассказать мне есть о чем. Да и им пришлось туго. Правда, Бухара — это не фронт, не пули в лоб, не мины и снаряды по тебе, не колючая проволока в лагере для пленных, не ежедневные расстрелы, когда не знаешь, что с тобой будет через пять минут, наконец, не два года жизни в оккупации, когда в каждом видишь предателя, изменника, не говоря уже о голоде, холоде, что пришлось пережить. Но и им там, в Бухаре, было нелегко. Хотя Аня и не описывала мне, но я знаю. Но они были среди своих, советских людей.

А как я достану обратные билеты на Киев? Мне Юровский перед отъездом сказал, чтобы я обратился к Умрихину (директор филиала Гипрогражданстроя), он мне поможет. Так всю дорогу мои мысли прыгали с одного на другое.

В Днепропетровск поезд пришел часа в 2 ночи. На дворе мороз, метель. Люди искали приют где-нибудь в закрытом помещении, но вокзал был разрушен. Сбоку были какие-то, видимо, складские помещения. Забрался в одно из них и я. Надо было дожидаться утра. Примостился на полу, но спать не мог. Народу было уйма. В основном, ехали демобилизованные из армии. Еле дождался первого трамвая, и часов в пять или в начале шестого утра поехал. Было, конечно, темно, ведь конец декабря. Нашел улицу Плеханова, нашел дом 12, нашел квартиру. Но стучать долго не решался. В окнах темно, значит, спят, не хотел будить. Так простоял около часа. Наконец, не выдержал, постучал. Кто-то через закрытую дверь спросил: «Кто там?»

— Я, Худяков, муж Ани Сапожниковой.

Дверь открыла сама Аня. Боже! Какая радость! Я начал тискать ее в своих объятиях, целовать. Подошел Юрочка — какой он большой, совсем не похож на того маленького в капитаночке Юрасика.

— Папка! Папка! — и он прижался лицом к моей шинели. Я начал его целовать, прижимать к себе, и не замечал, как слезы текли у

меня по щекам. Я не мог вымолвить ни одного слова, в горле застрял комок. Какие это были счастливые минуты! Я от Ани бросался к Юре, целовал их. Наконец, мы вместе. И войны уже нет. Правда, у нас нет квартиры, ничего вообще нет. Все надо начинать сначала.

А Юрочка, мой бедненький сынок, какой он худенький. Аня как будто не изменилась, даже вроде пополнила, руки стали толще, на спине не чувствуются выделяющиеся позвонки, как было раньше, до войны. Впрочем, эти мысли проскочили у меня мельком. Я еще и еще раз одной рукой прижимал Юрасика к себе, другой не мог отпустить Аню. Но подошли Вера, мама. Долг вежливости и чувство близких, родных мне людей заставили меня оторваться от Ани и Юрасика, и так же горячо, обнимая и целуя, поздороваться с ними. Хотелось скорее разузнать все, что было с ними, как они вырвались из Днепропетровска, как путешествовали до Бухары, в общем, всё. Рассказы о себе я решил оставить на потом.

Комната Веры была нахрапом занята неким Купершляком. Это был один из инженеров ремонтной конторы Молотовского райжилуправления в Киеве. Я его хорошо знал. Верткий хват. До войны он в компании еще кого-то делал надстройку в одном из домов на улице Артема, выстраивая себе отдельную двух- или даже трехкомнатную квартиру. Для меня было ясно, что и материалы, и рабсилу он брал из фондов, предназначенных для ремонта домов. Этой квартирой он не воспользовался — началась война. Где он был во время войны, что делал — не знаю. Знаю только, что после изгнания немцев он оказался в какой-то военной строительной организации, и восстановление разрушенного Днепропетровска начал с того, что облюбовал себе квартиру — комнату Веры и погибшего Арона и еще одну комнату. Дом и эти комнаты не пострадали и требовали, в лучшем случае, просто побелки и незначительного текущего ремонта. Но он сумел оформить этот ремонт как восстановление разрушенной квартиры и якобы за свой счет им восстановленной.

О том, как это делается, я уже знал по факту с Черноволом и Укрмясомолпромом в Киеве. Вере, не искушенной во всех этих делах, убитой горем от потери Арона и Люсеньки, было не под силу бороться с Купершляком. Я же помочь ничем не мог. Купершляк

показал мне акты, подписанные райсоветом и горсоветом, в которых говорилось, что и потолки были обрушены, и окон не было, и решение горсовета, что эту квартиру отдать ему, Купершляку, для восстановления за свой счет. Да и времени заняться установлением истины не было. Понадобились бы месяцы на всякие суды, поиски свидетелей и прочее. Я видел, что помочь Вере я не смогу. А пока — пока Вера, Аня, мама и Юрочка поселились в комнате площадью 16 метров, где жили родные Арона, — тоже человек пять, то есть всего человек девять или десять. Теснота невообразимая. Спали все по-коматом на полу. Я узнал, что Вера и мама ехать в Киев отказываются. Значит, я заберу только Аню и Юру, но и так я облегчу положение этих добрых, отзывчивых людей — родных Арона.

Меня насторожили некоторые реплики и вопросы со стороны Ани и ее матери. Из этих реплик и вопросов я видел, что они ничего не понимают и понять не смогут никогда, что означало находиться при немцах здесь.

— Значит, ты сдался в плен этим фашистам, а как же теперь буду я? Я ведь член партии, ты же это знал?

— Ты мне объясни, почему тебя немцы не убили? Они же всех убивали и вешали.

— Как ты мог ходить по киевским улицам при немцах? Я бы и одного дня не могла вытерпеть, что эти улицы топчут своими сапогами эти сволочи-фашисты. А ты два года прожил с ними.

— Так с квартирой, говоришь, дело лопнуло. Неужели ты не мог, ожидая нас, подготовить хоть какую-нибудь приличную комнату?

Мои слова, объяснения ничего не достигали, они их вообще не воспринимали, или, поглощенные всем пережитым в эвакуации, делали свои какие-то выводы, которыми, не стесняясь, обменивались тут же при мне на еврейском языке, которого я не понимал.

Горькая досада овладевала мной, мне было больно, но я успокаивал себя, что вот приедем в Киев, начнем устраивать свою жизнь, и все это пройдет. В мозгу проносились картины отступления, раненый с оторванной рукой, которому я сделал перевязку и которого через несколько минут разметало разорвавшимся снарядом, а меня засыпало землей; картины, как я с другими бойцами несколько раз

шел в атаку на «ура» под пулеметным огнем, и как из 96 человек нас осталось только шестнадцать; как я попал в плен, после того, когда прикладом автомата немец выбил у меня винтовку из рук, как застрелился Гончар, наконец, плен с ежедневными расстрелами, с баландой, с ночевками на голой земле без шинелей, под дождем и снегом, когда мы, пленные, своими телами отогревали друг друга, когда сотнями за ночь умирали от истощения и холода наши бойцы. А в плен в киевском окружении попало до полумиллиона человек (а теперь: «Ты сдался в плен, а как же я буду, ведь ты знал, что я еврейка и коммунистка»). А годы оккупации — первая зима 1941/1942 года в комнате, где температура дошла до 14 градусов мороза и не поднималась до апреля месяца, и отогревал я свою комнату наружным воздухом через открытое настежь окно. Ведь на дворе было уже 10, потом 8, 6 градусов мороза, и только во второй половине апреля наружная температура стала плюсовой, а в комнате у меня при промерзших стенах еще держался мороз до 10 градусов. Потом полтора года голодания, ходил с опухшими ногами, чтобы подняться на одну ступеньку, руками поднимал ногу. Жизнь в окружении немцев, их шпионов и провокаторов из наших предателей, когда каждое слово надо было взвешивать, прежде чем его произнести, — это может понять только тот, кто находился в этих условиях.

Ясно, что Аня меня не понимала, да и не хотела понять. Она уже тогда вбила себе в голову, что я предатель, сдался в плен, потом изобразил непонятным образом из плена, затем служил немцам, катался при немцах, как сыр в масле, не был ни подпольщиком, ни партизаном — в общем, не подходящий для нее муж. А тут еще кумушки из родни Арона ей подлили масла в огонь. Сказали, что, наверно, у Феди есть уже другая женщина. Я же совершил глупость. В одном из разговоров о квартире я вспомнил, как еще летом 1945 года, когда была возможность занять в доме на Московской, 5 на третьем этаже две комнаты, я не занял их, так как мне некого было поселить там. Я вышел из себя и сказал:

— Киев был освобожден в ноябре 1943 года. В феврале 1944 года я тебя нашел, писал, ждал тебя. Ты тогда не приехала. Не приеха-

ла и на протяжении почти всего 1945 года. Я упустил из-за этого хорошую возможность получить квартиру. А если бы ты не приехала и сейчас, я бы женился на другой.

— А на ком бы ты женился?

Я задумался, кого бы мне назвать? Хотел было сказать «на Зумбаревой», но потом сказал:

— На Сазанской.

На этом наш разговор оборвался. А она решила: так значит другая женщина, о которой ей сказала Лиза, родственница Арона, — это и есть Сазанская... Значит, мы жить с тобой не будем, — только сказала мне Аня.

Я чувствовал, что сказал глупость, но своим словам я сам не придавал значения и уж никак не думал, что Аня их примет всерьез. Ведь мы уже вместе сейчас, а будущее уладится и с квартирой, и материально. Главное — война кончилась, и жизнь войдет в свою колею. Надо только скорее уезжать в Киев.

Плацкартные билеты на поезд мне помог достать директор Днепропетровского филиала Гипрогражданстроя Умрихин. На эти билеты я израсходовал почти весь остаток денег. Меня угнетало, что я не в состоянии даже на прощание с родственниками Арона, с Верой и мамой устроить за свой счет хотя бы хороший обед. Аня, конечно, наш разговор «о другой женщине» всем рассказала, и я это сразу почувствовал в их отношении к себе. Не только настороженность, подозрительность, но и полная отчужденность, я бы сказал — враждебность. Со мной не разговаривали. На мои вопросы, не глядя на меня, отвечали однословно: «да», «нет», причем, даже не смотрели на меня, а это «да» или «нет» произносили, глядя куда-то в сторону.

Да, вы все чистенькие, беленькие, вы всю войну были за тысячи километров, вы немцев видели только на картинках и в кино, вы были со своими советскими людьми, вы могли открыто переживать за наши неудачи на фронтах и горести утрат, а я черненький, грязненький в ваших глазах, ведь я был в плену, *<рукопись обрывается>*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Воспоминания о жизни мой отец, Фёдор Фёдорович Худяков, написал в 1983–1984 годах.

Я никогда не видел отца записывающим. Записи сделаны на листах бумаги разного формата, в основном, это листки из школьных тетрадей. Тесно расположенные строки, мелкие буквы, твердая рука и — почти без исправлений. Удивительно: у отца было очень плохое зрение, особенно в преклонном возрасте. Одним глазом он вообще не видел. Как ему удалось все это записать!

Были причины, понуждавшие отца писать скрытно. Мать не поощряла эту работу, боялась, что записи отца, сделавшись достоянием посторонних людей, могут как-то повредить сначала ему и ей, а затем и мне. Поэтому она и заставила в первые послевоенные годы уничтожить записи отца, относящиеся к 1941–1944 годам, — годам войны, обороны, а затем оккупации фашистами Киева, пребыванию в плену. Эти записи, сделанные примерно в 1944 или 1945 году, действительно имели разоблачительный характер, и последствия их обнаружения в те годы могли оказаться трагическими. Впоследствии отец восстановил воспоминания о событиях военных лет, свидетелем и участником которых он был.

До сих пор не знаю, когда и как отец писал воспоминания. Отдельные эпизоды, описанные отцом, он раньше рассказывал мне, о многом же я впервые узнал из текста его воспоминаний. На обложке последней тетради воспоминаний стоит типографская дата ее изготовления — 1979 год. Для некоторых из листов рукописи отцом

использовалась обратная сторона каких-то моих рабочих записей, ориентировочно 70-х годов. Но это говорит лишь о том, что воспоминания не могли быть написаны раньше.

Все годы после смерти отца у меня зрело желание их опубликовать и дать возможность прочесть друзьям и знакомым. Кроме того, мне казалось, что в виде книги эти материалы имеют больше шансов сохраниться для моих детей и внуков, ибо оригинал, к сожалению, не вечен.

Как-то я рассказал о воспоминаниях отца Вадиму Михайловичу Шарапову, бывшему главному архитектору Киевпроекта, ныне пенсионеру, человеку, пережившему многие из описываемых отцом событий. Вадим Михайлович заинтересовался, я дал ему прочесть оригинал, и по его отзывам почувствовал, что эти заметки могут быть интересны многим.

Отец умер 19 июля 1984 года на 80-м году жизни. Незадолго до смерти он отдал мне эти записки и несколько раз спрашивал, прочел ли я их. К сожалению, я, ссылаясь на занятость (работа, командировки, семья), отговаривался, что вот-вот начну, что уже начал читать. А ему так хотелось услышать мое мнение и о своих воспоминаниях, и об описываемых событиях. Сожалею, что не успел спросить отца о многом.

До последнего дня отец сохранял ясный ум, умение точно оценивать происходящее. Естественно, в оценках событий, свидетелем и участником которых ему довелось оказаться, чувствуется влияние общей обстановки того времени. Отец никогда не был за границей, «за железным занавесом». Все, что он видел, знал, понимал, — ограничивалось рамками «советской действительности». Иногда в разговорах он давал очень резкие оценки происходящему, не стеснялся в выражениях по поводу многих тогдашних руководителей и их действий. Отец был стопроцентным «советским человеком». Хотя, в отличие от матери, которая все происходящее воспринимала буквально, то есть так, как было написано в газетах, отец ко всем событиям относился аналитически. Конечно, он не был диссидентом или инакомыслящим, и нигде о своих сомнениях и несогласии открыто не заявлял. Его «советская» сущность просматривается в тексте воспоминаний.

Проживи он еще несколько лет и переживи Чернобыль, горбачёвскую перестройку, распад СССР, узнав о многом, опубликованном только сейчас, может быть, многие события своей жизни и страны он оценил бы несколько иначе. Но таким, как отец, была большая часть того сообщества, которое называлось «советский народ». Я с достаточной уверенностью об этом говорю, потому что мать «прозрела» в возрасте более 80 лет, и открыто критиковала всех и вся.

В воспоминаниях отца много действующих лиц — это живые люди, те, с кем его сводила жизнь и, как всегда бывает, есть положительные и отрицательные «герои».

В книге полностью сохранена подлинность оригинала. Может быть, описание некоторых эпизодов покажется растянутым, но мне хотелось максимально сохранить стиль отца, строй его мышления. Ясная, образная память отца позволяет зримо представить многие события его жизни, а взгляд художника способствует более красочному представлению об описываемом, что, казалось бы, не просто при спокойной, почти деловой манере изложения. Я поражаюсь остроте памяти отца на даты, фамилии, адреса при описании событий, произошедших за сорок-шестьдесят лет до момента написания воспоминаний о них. В тексте упомянуты более сотни людей, жизнь которых так или иначе перекликалась с жизнью отца.

Нужно отдать должное матери и отцу: они умели хранить документы. В последние годы жизни мама все уцелевшие бумаги рассортировала, разложила по пакетикам. Иногда это совершенно истлевшие бумажки, рассыпающиеся в руках, текст едва можно прочесть. Сегодня они представляют несомненный интерес. И некоторые из них я поместил факсимильно в этой книге. Документы 20-х и 30-х годов, уцелевшие необъяснимо чудесным образом в период войны, сегодня воспринимаются как исторические раритеты. Документы как бы дополняют и подтверждают написанное отцом.

Часть документов и несколько страниц рукописи воспоминаний отца я передал в киевский Музей Великой Отечественной войны. К моему большому удовлетворению документы не заняли место в запасниках музея, а активно использовались в качестве экспонатов

временных выставок и постоянной экспозиции. Также на стендах музея экспонировались выдержки из рукописи отцовских воспоминаний.

Не являясь в чем-либо исключительной, жизнь отца, как мне кажется, тем и интересна, что подобные воспоминания о жизни могли бы написать в нашей стране миллионы людей. Они отличались бы только деталями. Жизнь отца проходила на фоне событий XX века, своей жестокостью превысившего всю предыдущую историю человечества. Судьба отца, его родных, друзей типична для поколений, переживших революции, войны, голодомор, террор и насилие.

Записи отца прерываются буквально на середине фразы. Может быть, за прошедшие годы какие-то страницы были утеряны, но, скорее всего, не более одной-двух страниц. Видимо, отец не считал нужным описывать послевоенную жизнь, полагая, что я, — а писал все это он для меня, — и так об этом знаю.

Записки обрываются на высокой щемящей ноте. Трагедия жизни, боль из-за несправедливости, чувство бессилия перед обстоятельствами. Все годы моего послевоенного детства прошли при постоянных конфликтах и ссорах между родителями. Любя отца и мать, мне больно было присутствовать при их ссорах и тем более поддерживать одну из сторон. Отец, в основном, отмалчивался или уходил из дома на улицу, ходил там по несколько часов, пока мать не успокоится. Упреки в супружеской измене перемежались бранными словами, среди которых «гитлеровец» и «фашист» были для отца самыми обидными. Мать почти никогда не называла отца по имени, а так — «ты», «он». Я не знаю, были ли какие-то личные отношения у отца и Сазанской, даже не хочу знать. К сожалению, эта тема на долгие годы испортила жизнь отцу, матери и мне. Я никогда не спрашивал отца об этом, а сам он тоже не проявлял инициативы, чтобы что-то рассказать. С расстояния сегодняшнего дня эта история выглядит пустой, даже несерьезной, но в той, реальной жизни все воспринималось как жизненная драма. И, может быть, если и не было бы никакой Сазанской, события подталкивали к тому, что ее нужно было придумать. Только в последние годы жизни все как-то понемногу улеглось, успокоилось.

Послевоенный период жизни родителей был относительно спокойным событиями: однообразным, без каких-либо резких колебаний. Все эти годы жизнь их проходила в квартире на последнем, пятом этаже дома № 5 по улице Московской. Отцу все-таки удалось получить эти две комнаты, в которые мы переехали, несмотря на незавершенность строительства, в начале 1946 года. Жили сначала с печным отоплением на угле и дровах, затем на газе, а уже с 1959 года — с центральным отоплением. Постоянно протекала крыша, и родители сочиняли многочисленные просьбы и жалобы в ЖЭК и РЖУ, требуя ремонта.

Соседями по квартире были две семьи — Черноусов и Кованько, — и такое совместное проживание, к счастью, никогда не приводило к ссорам или конфликтам. А с 1959 года в результате перепланировки квартира стала отдельной. Высокие этажи, крутая лестница, отсутствие лифта и мусоропровода создавали неудобства, но расположение дома в центральной части города, близость места работы матери (завод «Арсенал») эти неудобства компенсировали.

Прежде чем коротко рассказать о жизни отца в послевоенные годы (отца, потому что это повесть о его жизни), не могу не поделиться одним впечатлением об им написанном.

Интересно, что жизнь лучше любого сценариста и постановщика выстраивает драмы и трагедии по самым высоким критериям большого искусства. Добросовестному описателю следует только воспроизвести последовательность событий. Вот, например, в воспоминаниях отца есть история с Гельманом. Это чудо, свершившееся на фоне страшных массовых репрессий тех лет. Или первые месяцы армейской службы отца летом 1941 года. Почти дачная обстановка обороны Киева на Ирпене — боевые листки, сталинские сто грамм, молоко, теплое лето, почти опереточный «шпион», которого караулил отец. И даже небольшие раздражители в виде четырех-пяти авиабомб, падающих в глубине леса, не уменьшают ощущения относительного благополучия. Напряженность возрастает с неудачной вылазкой разведки, прорывом немцев через мост и дальше — начало отступления-бегства. Так с каждой минутой нарастает, усиливается страх перед опасностью, страх перед бес-

толковицкой. Пробки на дорогах, бомбежки, обстрелы, гибель людей... Бесплезные атаки и гибель, гибель, гибель. И вот — кульминация — пленение, смерть Гончара и Серебрякова. А дальше — одна трагическая нота — плен. И снова всплеск надежды — чудесное, почти неправдоподобное избавление на последнем пределе сил.

Или невероятное появление в военкомате, в последний момент перед отправкой отца на фронт в начале 1944 года, майора Хабарова, и получение сообщения о письме от матери, круто изменившие дальнейшую судьбу отца. Но, хватит комментариев. Перейду к сухому описанию событий.

После недолгого периода работы в Горжилуправлении в конце 1943 — начале 1944 годов отец несколько раз менял место работы. Сначала проектный институт Гипрогражданстрой (сейчас — Гипрогражданпромстрой), где он проработал с февраля 1944 по ноябрь 1948 года. Затем работа в тресте Киевгазстрой (в СМУ-1, СМУ-3, СМУ-4) и в тресте Укргазстрой с ноября 1948 года по сентябрь 1955 года. В том же месяце 1955-го отец перешел на работу на Участок спецработ № 24 ОКАС КВО, переименованный позже в войсковую часть 01560. На последнем месте работы отец проработал 16 лет до выхода на пенсию в ноябре 1971 года в возрасте 66 лет.

Должности, которые занимал отец, — инженер по труду, мастер, инженер-экономист, инженер сектора труда и зарплаты, инженер ПТО, — были достаточно скромными. Никогда после войны отец не был ни на каких руководящих должностях. О характере работы отец дома распространялся мало, особенно о работе в воинской части. Из трудовой книжки видно, что он дал подписку о неразглашении государственной тайны.

Войсковая часть 01560 занимала скромное помещение на первом этаже двухэтажного дома на Подоле. Никакой вывески на фасаде не было. Тут находилось только руководство — несколько человек военных, остальные вольнонаемные. Объекты строительства, а это была строительная организация, находились, в основном, в пределах Укraiны, хотя можно предположить, что и в других местах. Отец часто ездил в командировки «на участки» в Хмельницкую, Винницкую и

другие области Украины, но иногда и на Урал и другие районы СССР: военные строители сооружали шахты для ракетных установок.

Свидетельством добросовестной работы отца являются многочисленные записи о поощрениях со всех мест работы, заполнившие трудовую книжку. Тут и грамоты, и благодарности, и денежные премии «за внедрение рацмероприятий», «за выполнение заданий по строительству», «за ввод в эксплуатацию объектов», «за успехи в соцсоревновании» и т. д. Особо отец гордился двумя нагрудными знаками «Отличник военного строительства», которые давались не всякому.

Как и большинство наших граждан, отец был членом многочисленных общественных организаций: ДОСААФ, ДСО, Общества рационализаторов и изобретателей, НТО, любителей природы, любителей книг, любителей памятников истории. В большинстве случаев его участие в этих организациях ограничивалось уплатой членских взносов. Остались разноцветные книжечки этих обществ с клееными марками.

Отец любил природу, особенно животных: он не проходил мимо бродячих собак, и мог погладить любую. Любил лес, птиц. Особенно любил Днепр, хотя в послевоенные годы греться на пляже и купаться в Днепре приходилось нечасто.

Примерно в 1951 или 1952 году с отцом произошел неприятный случай. Воры в трамвае у него вытащили бумажник с документами. Пропал паспорт, военный билет, какие-то другие документы и деньги. Паспорт отец восстановил. У нас в доме, в одном с нами парадном, на третьем этаже жил один военный, который работал заместителем военкома Печерского района. Отец обратился к нему за помощью в восстановлении военного билета. Тот порекомендовал отцу не заниматься этим, поскольку возраст у него уже не призывной и военный билет ему практически не нужен, а так — лишние хлопоты, объяснения.

В дальнейшем, при юбилейных торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне и массовых награждениях юбилейными медалями и значками, отец никуда не обращался, нигде не состоял на учете как участник войны и как-то не очень этими проблема-

ми интересовался. Правда, когда он работал в войсковой части 01560, его наградили медалью «За оборону Киева», а позже, уже пенсионера, еще одной — «В память 1500-летия Киева», но эту медаль и наградой нельзя было считать.

Ветераны войны ходили на шествия ветеранов, выступали в школах с воспоминаниями, рассказывали о своих подвигах. Отец был в стороне от этого. Он как бы добровольно согласился, что он не участник войны, хотя больше некоторых других имел основания считаться таковым. В 1970–1980-е годы ветераны войны были прикреплены к специальным продовольственным магазинам, где по государственным ценам можно было купить самые обычные, но ставшие дефицитными, продукты — творог, масло, чай, конфеты, кофе, муку, яйца. Отец никогда не заявлял о своем праве пользоваться услугами таких магазинов. Медалью, которые он получил, отец очень гордился, хотя ни разу не надевал их.

Вероятно, если бы отец проявил необходимую настойчивость, он мог бы получить инвалидность и статус инвалида войны. Такой статус также давал определенные льготы: бесплатный проезд, скидка по квартплате, санаторные путевки. А основания для этого были. Когда отец нервничал или даже смеялся, он начинал весь трястись и чуть не падал, а бывало и падал. Часто у него на какие-то мгновения отключалось сознание. Если он не успевал сесть, то падал, а иногда и разбивался. На работе об этом знали, были к отцу внимательны и предупредительны, и когда, сидя за столом, он опускал голову на руки и закрывал глаза, все знали, что на несколько минут его следует оставить в покое. Скорее всего, такое состояние отца было следствием контузии. Но это нужно было объяснять, доказывать, куда-то обращаться, писать. Отец ничего этого делать не хотел и не делал. Мать и я часто его уговаривали заняться этим, но он и слушать не хотел.

Видимо, причиной такого его поведения было молчаливое несогласие с тем, что бывших в плену и оккупации считали людьми ненадежными, неполноценными, не заслуживающими продвижения по службе и, тем более каких-либо поощрений. В любой анкете при поступлении на работу была графа-вопрос: «был ли на временно окку-

пированной территории?». Это отца и угнетало, хотя в том, что с ним произошло, никакой собственной вины он не видел.

Оценить масштабы катастрофы, произошедшей под Киевом в сентябре-октябре 1941 года, можно из последних публикаций, в частности, из статьи Сергея Махуна (газета «День», 2001, 28 сентября, № 175). Текстом этой статьи и фотографией колонны пленных красноармейцев (из книги Д. В. Малакова «Київ. 1941–1943: Фотоальбом», К., 2000) хочется дополнить воспоминания отца (см. приложение). Вглядываясь в лица пленных, ищу отца, хотя понимаю, что при более чем 660 тысячах пленных такая вероятность ничтожно мала. Да и пленные на фото в шинелях. Отец же пишет, что фашисты раздели их до гимнастерок, а некоторых — до нижнего белья.

Недавно в своих архивах я обнаружил интересный листок. В 1970 году Союз архитекторов СССР организовал туристическую поездку в Египет. Я как один из претендентов на участие в поездке заполнял анкету. Сохранившийся листок — черновик этой анкеты, заполненный на официальном бланке. Среди многих вопросов в анкете был такой: «Был ли сам или ближайшие родственники в плену или интернированы в период Великой Отечественной войны, где, когда и при каких обстоятельствах освобождены». И мой ответ: «Отец попал в плен под Киевом, освобожден при освобождении Киева». Заметьте, это происходило через 25 лет после окончания войны. Бланк анкеты предусматривал ответы и на другие вопросы: состоял ли ранее в КПСС, имеет ли партийные взыскания, имеет ли родственников за границей, привлекался ли к судебной ответственности, когда и за что; цвет глаз, цвет волос, рост и т. д.

Скромность занимаемых отцом должностей в послевоенный период его жизни объясняется еще и тем, что в послевоенные годы стали уходить в прошлое наркомы и командармы с неоконченным начальным образованием. Образование становилось жизненно необходимым. Природных способностей и ума, а отец несомненно обладал и тем и другим, оказывалось недостаточно. И тут как не вспомнить трагедию семьи отца как следствие мировой войны, революции и всех последующих событий 20-х и 30-х годов.

Родители пережили очень тяжелую зиму 1958–1959 годов. Я в это время после окончания института работал в Донецке. Дом, где мы жили с первых послевоенных лет, — одна уцелевшая от бомбежки секция, — стал на капитальный ремонт. Водяного отопления не было, а газ отключили. Родители не захотели переезжать во временное жилье. В доме ломали перекрытия, меняли кровлю, производили перепланировку, заменяя коммунальные квартиры отдельными. Отцу зимовать в холодном доме было не впервой, а матери было тяжело. Как они пережили эту зиму, удивляюсь, хотя отец сильно переболел и долго лежал в постели. Риск и упрямство родителей ничем не были оправданы.

Постепенно обустроился быт родителей. Появилась кое-какая мебель, холодильник, телевизор. Помню, как радовался отец первому в нашем доме скромному ламповому радиоприемнику, подолгу крутил ручки, слушая разные голоса, музыку, новости. В доме было много книг, особенно по искусству и архитектуре, постоянно выписывалось несколько газет.

После выхода на пенсию отец как-то сник, не найдя себя в какой-нибудь деятельности, заменяющей работу. Он часто ходил в Мариинский парк и там играл в шахматы с такими же как и он пенсионерами. Иногда родители делали обход магазинов в надежде купить что-нибудь подешевле и получше качеством. Они приносили носки, рубашки, майки, иногда обувь. Получаемой ими пенсии для того скромного образа жизни, который они вели, вполне хватало и даже еще что-то оставалось, и они свои «запасы» откладывали на сберкнижку. Говоря о скромном образе жизни родителей, я назвал бы его не просто скромным, а пуританским. У нас дома не принято было отмечать праздники, дарить подарки по случаю дней рождения, может быть, только иногда что-то из одежды. В доме никогда не было спиртного, к нам очень редко приходили гости, конечно, не считая моих школьных и институтских друзей. Родители никуда не ходили. Отец обычно приходил с работы очень поздно. Мама подозревала его в том, что он там просиживает вечера за шахматами. Днем, в выходные дни, отец часто ложился на диван и засыпал. Мать его ругала за это, стараясь расшевелить, но, видимо, в этом у отца была настоящая потребность.

Матери было легче. Она нашла себе отдушину в «пенсионной жизни». Она каждый день на протяжении многих лет ходила в библиотеку завода «Арсенал» и там помогала библиотечным работникам, считая эту неоплачиваемую работу своим партийным поручением. Позже она с таким же постоянством ходила в музей «Арсенала», сидела как дежурная, а при необходимости отвечала на вопросы и давала пояснения немногочисленным посетителям. Кроме того, на ней в большей степени лежало ведение домашнего хозяйства. Родители редко куда-либо ездили отдыхать. Лишь несколько раз по профсоюзным путевкам, всегда раздельно, им удавалось поехать на отдых и лечение.

В последние годы жизни отец каждое утро рабочего дня встречал меня на автобусной остановке вблизи станции метро «Арсенальная». Эти встречи стали своеобразным ритуалом. Мы обменивались несколькими фразами, я садился в автобус и ехал на работу. Многие мои сослуживцы, ездившие тем же маршрутом, уже знали отца, и в те дни, когда он по какой-то причине отсутствовал, спрашивали: «Не случилось ли что с вашим папой?» А по вечерам таким же ритуальным был мой телефонный звонок родителям. Несколько слов о том, как прошел день, вопрос о здоровье, такие же вопросы от них, пожелания нам и детям.

Отец прекрасно рисовал. Талант он унаследовал от отца — моего деда. Удивительно, как человек, не имея специального образования, достиг совершенства в рисунке карандашом и пером. И это в возрасте чуть больше двадцати лет. Отец не пишет, каким образом сохранились некоторые его рисунки 20-х годов. Возможно, он нашел этот альбом среди прочих вещей, оставшихся после разгрома квартиры на Рейтарской (отец называет улицу Рейтерской — так она называлась до войны) в момент возвращения его из плена. В квартире на Рейтарской было много живописных работ — картин, написанных маслом. В большинстве это были копии работ известных мастеров, но были и оригинальные работы. К сожалению, ни одна из этих картин не сохранилась. После войны отец редко занимался рисунком и живописью, хотя поощрял меня, начиная с 7–8 классов, рисовать и писать маслом. Под его руководством я освоил технику

масляной живописи, и уже в 9–10 классах писал большие картины — копии с полотен Шишкина и Айвазовского. Отец же написал одну картину — копию картины Куинджи «Березовая роща». Эти картины, пролежав много лет на антресолях и в подвале, сохранились. Со мной и сохранившиеся папины рисунки, некоторые из которых я привел в этой книге (к сожалению, уменьшенные копии не передают полного впечатления от оригиналов).

Отец никогда не подталкивал меня к выбору профессии. Однако я думаю, в том, что я стал архитектором, опосредованно присутствует влияние отца. Возможно, какие-то гены сработали: сочетание способности отца к рисованию и черчению с аналитическим, я бы сказал инженерным мышлением, теоретически могло бы сделать его архитектором. Для меня очень ценным является сохранившееся приглашение отца от коллектива авторов проекта, победившего в конкурсе на восстановление и застройку Крещатики, на торжества по поводу этого события. Ведь он был хозяйственником в Гипрограданстрое, но его почему-то пригласили. Хочется думать, что это был не просто знак вежливости. Символично — на приглашении нет инициалов, просто фамилия, как будто это меня, одиннадцатилетнего мальчишку, приглашали архитекторы на свой праздник.

Смерть отца была быстрой и неожиданной. Днем он пошел в магазин, принес домой хлеб. Затем почувствовал резкую боль в сердце. Лег на диван. Мать дала ему валидол, нитроглицерин. Но ничего не помогло. Часа в 4 дня мать позвонила мне на работу: «Срочно приезжай. С отцом плохо». Я примчался минут через пятнадцать, зашел в квартиру вместе с врачами скорой помощи. Отец был уже мертв. Мама была внешне спокойна, что-то говорила врачам. Создавалось впечатление, что она еще не осознала, что произошло. Отца похоронили на Лесном кладбище, а через девять лет рядом с ним легла и мама.

Из всех моих родственников старшего поколения дольше пробыла среди нас только папина сестра Вера. Ей была уготована очень тяжелая судьба. Трудное детство в Черкассах, затем поездка в Ленинград к дяде Юзе, после убийства Кирова — арест и высылка Юзи и его семьи, затем тюрьма и смерть. Молодая девчонка остается

одна в большом городе. Как-то устраивается. Затем война. Весь период блокады Ленинграда — она в городе. Тяжкие болезни. Вся последующая жизнь в корсете из-за неизлечимой болезни позвоночника, инвалидность. Без семьи. Тем не менее, как-то пробились, работала. Ее поддерживал природный оптимизм, веселый нрав. Уже в возрасте 80 лет — тяжелейшая травма — перелом шейки бедра, операция. Врачи говорили, что она не поднимется. Все-таки поднялась, с костылями — но ходила. Последние годы жизни она провела в пансионате ветеранов войны и труда, с трудом передвигаясь по комнате. Тетя Вера умерла в мае 2000 года на 93-м году. Сохранилась фотография, сделанная в День Победы — ее фотографировали как ветерана, а через два дня ее не стало.

Следы второй папиной сестры — Ляли — затерялись безвозвратно.

Мамины же младшие сестра и братья умерли раньше ее. Самый младший в семье — Яша — умер до войны от туберкулеза, второй брат — Григорий — погиб на войне. Третий брат — Абраша, в 1942 году попал в плен, оказался там русским, изменив имя, очутился в американской зоне оккупации Германии, стремился вернуться домой, был передан нашим (как он рассказывал, его с такими же военнопленными гнали колонной пешком из Германии до Минска), был сослан на 10 лет куда-то за Урал, на шахту. Только в 1955 году вернулся в Днепрпетровск. Создал семью, но детей не было. Абраша был малограмотным, работал электриком. Был на редкость душевным, добрым человеком. В Днепрпетровске его знали как одного из самых знаменитых болельщиков команды «Днепр». Умер в 1990 году. Мамина сестра Вера потеряла во время войны сына и мужа. Мой двоюродный брат Ильяша (Люсенька) умер у меня на глазах в больнице в Бухаре. Наши койки стояли рядом. У нас были одновременно корь, дизентерия и воспаление легких. Его организм не справился. Вера осталась одна. Для меня она была второй матерью. Более доброго, мягкого, любящего человека я не знаю. Тетя Вера умерла в 1988 году.

Жизнь сурова, и часто то, что не сделано вовремя, позже сделать уже невозможно. Мог же я, уже после смерти отца, прочесть

эти воспоминания матери и уточнить неясные места. Мог, но не сделал. Остается только казнить себя за это.

Судьба отца, его родных, друзей типична для поколений, переживших революции, войны, голодомор, террор и насилие. Своей типичностью эти воспоминания, как мне кажется, могут быть интересны не только мне, моим родным и близким, но и любому, кто интересуется жизнью поколения отцов и дедов. Я благодарен каждому, кто прочтет эту книгу.

Я благодарен Вадиму Михайловичу Шарапову, первому читателю этих записей, поощрившему меня напечатать их. Я благодарен Якову Давидовичу Гитштейну и Сусанне Николаевне Тихомировой за оказанную помощь в подготовке первых самодельных экземпляров книги, а также за многочисленные дружеские советы.

Особая благодарность — Николаю Мефодиевичу Дёмину и Андрею Александровичу Пучкову, сделавших издание этой книги реальностью.

Юрий ХУДЯКОВ
народный архитектор Украины

СЕНТЯБРЬ 1941 ГОДА: МЯСОРУБКА «КИЕВСКОГО КОТЛА»*

Одной из самых страшных и тяжелых для понимания страниц истории второй мировой войны является гибель Юго-Западного фронта Красной Армии во второй половине сентября 1941 года. После 73 дней героической обороны 19 сентября Киев был оставлен частями РККА.

Войска Юго-Западного фронта получили приказ Ставки Верховного главнокомандования любой ценой удерживать столицу Украины — третий по значению город Советского Союза. Но участь города с почти миллионным населением, а также мощной группировки советских войск (до 1 млн солдат и офицеров) была предreshена — главная угроза исходила с флангов обороны выступа, в центре которого был плацдарм на правом берегу Днепра. 22 августа Гитлер отдал секретный приказ об уничтожении киевской группировки РККА.

Операция со стратегической точки зрения была продумана блестяще. Сняв с подступов к Киеву последние танковые части, немцы стали планомерно готовить плацдармы для охватывающих ударов. К концу августа 1941 года 1-й танковой группе вермахта удалось захватить крупный плацдарм на левом берегу Днепра у Кременчука. На северном фланге киевского выступа положение стало опасным после разгрома сил Брянского фронта и выхода 2-й армии и 2-й танковой группы Гудериана в район Новозыбокова и Трубчевска. 25 августа немцы начали наступление в южном направлении в сторону Нежина и Конотопа. В почти двухнедельных боях они су-

* Публикуется по: С. Махун. Сентябрь 1941 года: Мясорубка «Киевского котла» // День. 2001. № 176. 29 сентября. С. 5.

мели оттеснить остатки малочисленных советских сухопутных частей (танковые части дислоцировались возле Киева) за Десну.

Маршал Георгий Жуков еще в середине августа предупреждал о надвигающейся катастрофе — возможном окружении сил Юго-Западного фронта. Но зловещая магия Сталина оказывала на руководство фронта (командующий — генерал-полковник Михаил Кирпонос) и Ставки просто оцепеняющее влияние. Верховный главнокомандующий считал, что оставлять столицу Украины ради стратегических интересов нельзя; по его мнению, эта потеря отрицательно сказалась бы на боевом духе советских воинов. Настойчивые требования Г. Жукова начинать эвакуацию стоили ему поста начальника Генерального штаба и перевода в Ленинград, где также сложилась угрожающая обстановка. А М. Кирпонос упрямо продолжал оборонять Киев (немцы с конца августа только имитировали активность у его окраин), с явной неохотой отправив навстречу танкам (!) часть артиллерии и кавалерийский корпус.

Крупные резервы советских войск (необстрелянные маршевые части) почти без поддержки бронетехники пытались остановить движение танков Гудериана. Но, увы, пал Конотоп — крупный железнодорожный узел, связывающий Киев с Москвой, — и драгоценное время для вывода войск из намечавшегося окружения было упущено.

10 сентября из района Кременчука на север навстречу Гудериану двинулась еще одна мощная группировка немцев. 1-я танковая группа и 17-я



армия врага сломили сопротивление малочисленных советских частей, и уже 16 сентября у Лохвицы на Полтавщине окончательно замкнули кольцо окружения. Таким образом, образовался самый крупный «котел» Второй мировой войны. Для сравнения — под Сталинградом советскими войсками была окружена немецкая группировка в 330 тысяч человек, то есть в три раза меньшая.

Опыта в уничтожении «котлов» немцам было не занимать. Удерживать Киев в такой ситуации не имело никакого смысла. Сталин наконец-то отдал приказ оставить город, предварительно взорвав мосты через Днепр и уничтожив плавсредства. 19 сентября почти все части Юго-Западного фронта, произведя взрывы днепровских мостов радиоуправляемыми фугасами, переправились в Дарницу. По указанию партийного и военного руководства городские магазины и склады утром 19 сентября были отданы на откуп местным жителям. В столице Украины наступил страшный хаос, впрочем, очень скоро на улицах города появились немецкие мотоциклисты из передовых частей. Всего через несколько дней, 24 сентября, в центре Киева начались взрывы и пожары, организованные советскими саперами и подпольщиками; горел Крещатик и прилегающие к нему улицы. Исторический центр столицы Украины в течение недели превратился в сплошные руины.

Громадное количество людей и техники начали движение на восток; командование и штаб фронта потеряло все нити управления. Необычайно ясная погода помогала немецкой авиации, буквально «утюжившей» в степных просторах Киевщины и Полтавщины разрозненные группы отступающих войск, оставляющих на полях десятки тысяч единиц вооружения и техники. Силы 2-го и 4-го немецких воздушных флотов действовали последовательными волнами, постоянно поддерживая танки и пехоту. Попытки свежих, но плохо обученных резервных дивизий с Дальнего Востока и кавалерийских корпусов, которые возглавил сам маршал Семён Буденный, прорвать извне кольцо окружения, были безуспешными. Вся система материально-технического обеспечения и внутренние коммуникации Юго-Западного фронта оказались в руках врага. Отступление зачастую превращалось в беспорядочное бегство, но отдельные группы солдат и офицеров пытались организованно прорваться на восток; погибли с оружием в руках М. Кирпонос и начальник штаба фронта генерал-лейтенант

В. Тупигов. Картина разгрома была страшной. К концу сентября «Киевский котел» был расчленен на отдельные части.

Престиж на весах руководства Ставки значил куда больше, призрачные идеологические дивиденды были важнее людских судеб. Итог известен — в скрупулезной сводке германского верховного главнокомандования сообщалось о взятии в плен 665 тысяч человек, захвате 3718 орудий и 884 танков. Эти цифры приводит Курт фон Типпельскирх в своей «Истории Второй мировой войны» (М., 1956). Советские данные 1960 года — «оттепель» была в самом разгаре — говорят о потере пленными почти 335 тысяч человек и столько же — убитыми. Десятки тысяч красноармейцев и командиров сдавались в плен, надеясь, что им удастся вырваться из него, выжить. Первое время немцы, явно обескураженные таким количеством пленных, разрешали родственникам (многие воины призывались из ближайших к месту боевых действий районов) забирать их домой, но очень скоро они пересмотрели свои «гуманные взгляды», и многотысячные толпы голодных советских солдат потянулись на запад, навстречу смерти и новым испытаниям.

Страшный парадокс — пожалуй, самое страшное и оглушительное поражение в степях на восток от Киева — стало отдаленным предвестником общей победы Советского Союза в этой войне. В то же время на Западном фронте шли позиционные бои, Москва была еще в относительной безопасности. Мобильные танковые части вермахта увязли на левом берегу Днепра, и приближалась зима. Время для проведения блицкрига было упущено.

Но как же смириться с ощущением, что Победа была добыта через унижение, трагедию отступления и «котлов», через боль плена миллионов наших соотечественников? Исследователи называют разные цифры: от 4,5 до 6,4 миллиона советских воинов прошли через ад нацистской неволи. В этой войне руководство СССР шло на страшные жертвы, не думая о том, насколько тяжелы были масштабы морального излома в душах людей. «Колосс на глиняных ногах» выстоял. Только вот цена Великой Победы оказалась несопоставимо высока. И трагедия, которая развернулась на восток от Киева ровно 60 лет тому назад, — лишнее тому подтверждение.

Сергей МАХУН

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>От редколлегии</i> ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ДЕТСТВО	9
МОЛОДЫЕ ГОДЫ	41
КИЕВСКИЙ ПЕРИОД (1932–1941 годы)	143
ВОЙНА	195
ПЛЕН	285
В ОККУПАЦИИ (Киев 1941–1943 годов)	327
В ОСВОБОЖДЕННОМ КИЕВЕ	409
<i>Юрий Худяков</i> ПОСЛЕСЛОВИЕ	452
<i>Сергей Махун</i> СЕНТЯБРЬ 1941 ГОДА: МЯСОРУБКА «КИЕВСКОГО КОТЛА»	466

И з д а т е л ь с к и й д о м А . С . С

Литературно-художественное издание

Фёдор Фёдорович Худяков

ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ

Подготовка к публикации, послесловие

Юрия Фёдоровича Худякова

ISBN 966-8613-07-4

На форзацах — карта окрестностей Киева

с маршрутом отступления 2-го ОПБ КиУРа. Сентябрь 1941

Главный редактор А+С — *Б. Л. Ерофалов*

Литературный редактор — *А. А. Пучков*

Макет, обложка — *А. С. Червинский*

Сдано в производство 30.08.2004. Подписано в печать 30.12.2004. Формат 60 x 84 ¹/₁₆.

Бумага офс. № 1. Способ печати офсетный. Гарнитура “Петербург”. Усл. печ. л. 30,5 + 4 п.л. вкл. Уч.-изд. л. 29,5.

Заказ № 4-....

И з д а т е л ь с к и й д о м А . С . С

03057, Киев, ул. Лукьяновская, 63, оф. 97

*Свидетельство о внесении в Государственный реестр издателей, изготовителей
и распространителей издательской продукции ДК № 1772 от 28.04.2004*

Отпечатано в типографии Концерна “Видавничий дім “Ін Юре”

04107, Киев, ул. Багговутовская, 17–21